



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

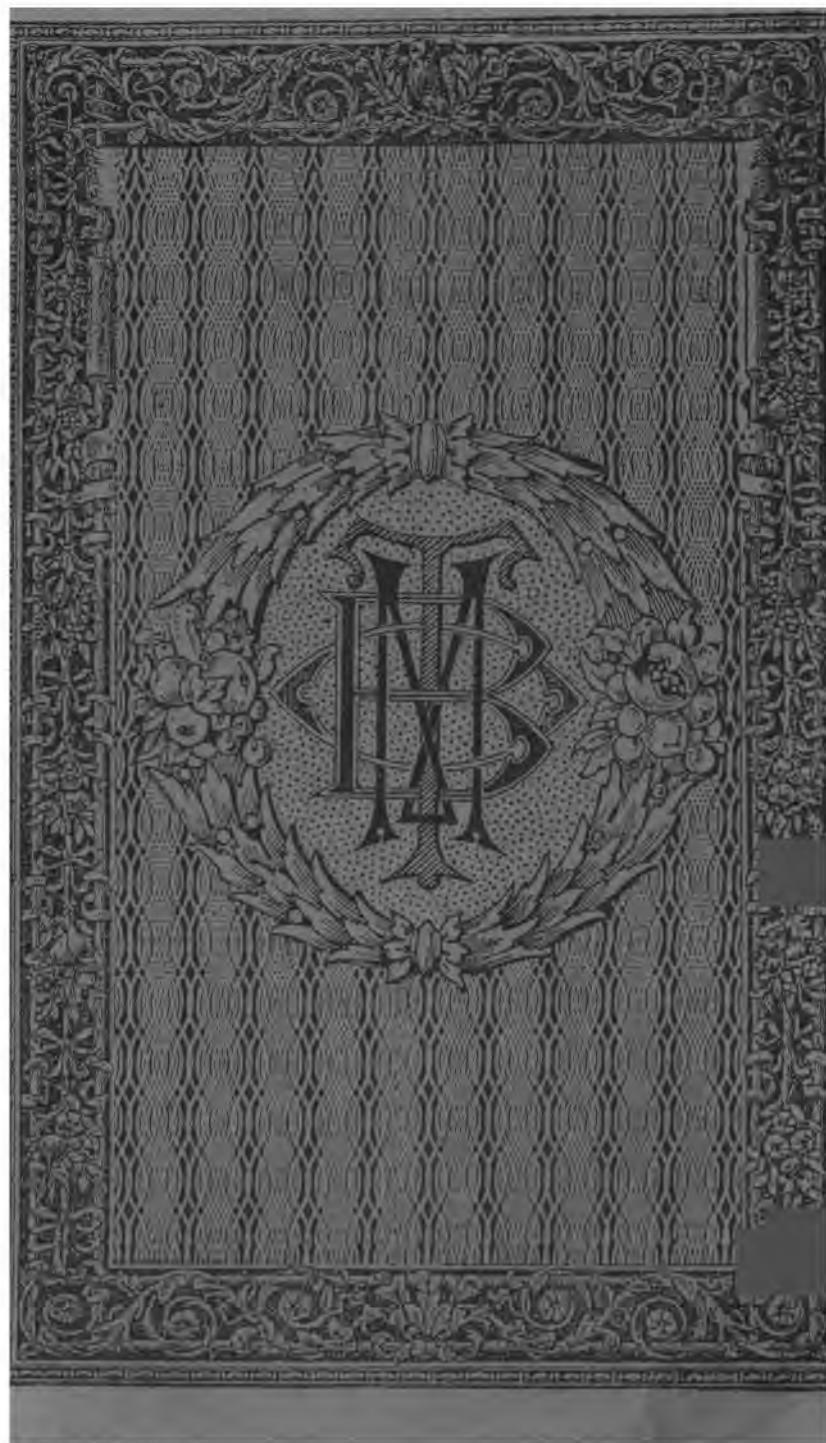
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



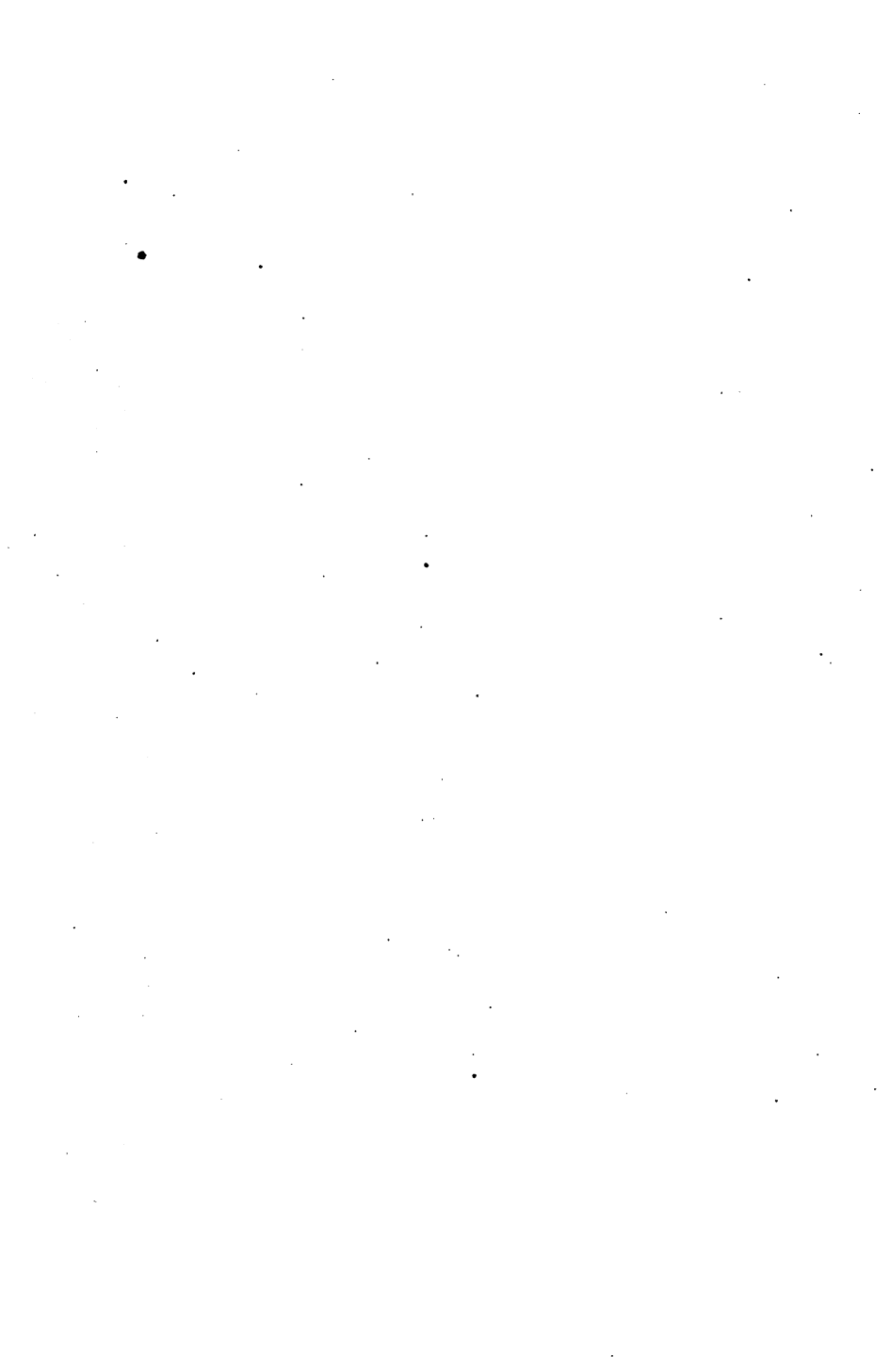




СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА

ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ



Zagoskin, M.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

М. Н. ЗАГОСКИНА



ТОМЪ ЧЕТВЕРТЫЙ



КУЗЬМА ПЕТРОВИЧЪ МИРОШЕВЪ

РУССКАЯ БЫЛЬ

ВРЕМЕНЪ ЕКАТЕРИНЫ II



ИЗДАНИЕ

поставщиковъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Гостиный дворъ, 18 | МОСКВА, Кузнечий мостъ, 12

1901

РГ 3447

Z2

1901

v. 4

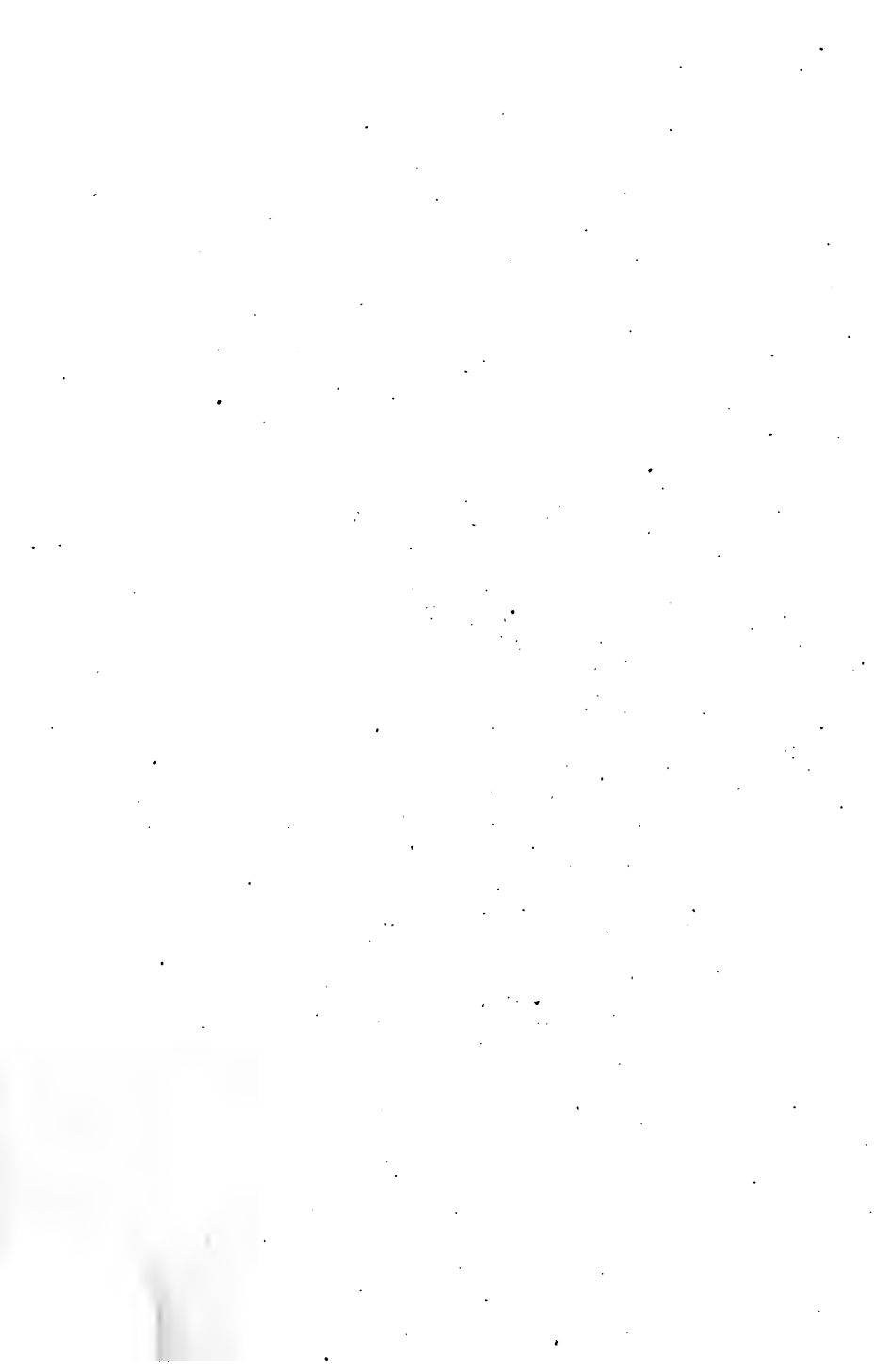
Дозволено цензурою. Спб. 1-го июня 1901 г.

Типографія Товарищества М. О. Вольфъ. Спб., Вас. Остр., 16 л., д. № 5—7.

КУЗЬМА ПЕТРОВИЧЪ
МИРОШЕВЪ

РУССКАЯ БЫЛЬ

ВРЕМЕНЬ ЕКАТЕРИНЫ II





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

О ТОМЪ, ГДѢ И КОГДА СЛУЧИЛОСЬ ТО, О ЧЕМЪ РАЗКАЗЫВАЕТСЯ ВЪ ЭТОЙ ИСТИННОЙ ПОВѢСТИ.

Въ нашихъ степныхъ губерніяхъ есть народная поговорка: «Сура рѣчка важная, течетъ потихоньку, донышко у нея серебряное, круты бережка позолоченные». За что—думалъ я всегда — такая похвала этой рѣчкѣ, которую съ грѣхомъ пополамъ называютъ судоходною? Что въ ней хорошаго? Ея угрюмые берега поросли мрачными сосновыми лѣсами, течетъ она къ сѣверу, и хотя въ нее впадаетъ рѣчка, которая называется *Бездна*, но сама-то она вовсе не походитъ на бездну морскую: лѣтомъ черезъ нее во многихъ мѣстахъ куры въ бродъ переходятъ. Мнѣ удавалось слышать отъ пензенскихъ жителей, что въ ней ловятся отличныя стерляди,—быть-можетъ, только видно это бываетъ очень рѣдко. Я знаю навѣрное, что когда въ Пензѣ собираются дать какой-нибудь торжественный обѣдъ на славу, то всегда посылаютъ за стерлядями въ Саратовъ. То ли дѣло близкій сосѣдъ Суры, красавецъ Хоперь, рѣка также второстепенная; но какими она течетъ привольными мѣстами, какъ роскошествуетъ природа на ея плодоносныхъ берегахъ! Хо-

перъ течетъ на югъ, извиваясь подъ тѣнью своихъ дубовыхъ лѣсовъ, красуясь своими липовыми рощами и орошая свѣтлыми водами своими одинъ изъ счастливейшихъ уголковъ нашей матушки святой Руси. Пуститесь по теченію Хопра, и черезъ нѣсколько дней вы увидите себя среди земель Донского войска, въ Хоперской станицѣ, которая славится по всему Дону своимъ привольнымъ житьемъ и богатствомъ.

Въ тысяча семьсотъ осмидесятомъ году, на правомъ берегу этой рѣки, верстахъ въ десяти отъ уѣзднаго городка Ново-Хоперска, у подошвы высокаго холма стоялъ, срубленный изъ дубовыхъ бревенъ и покрытый тесомъ, небольшой господскій домъ о семи окнахъ. Прежде чѣмъ я познакомлю васъ съ хозяиномъ этого дома, Кузьмою Петровичемъ Мирошевымъ, не угодно ли вамъ будетъ прогуляться вмѣстѣ со мною по его владѣніямъ, взглянуть на его наслѣдственную *отчину* и полюбоваться господскою усадьбою? Мы начнемъ съ дома.

Я уже сказалъ вамъ, что онъ былъ срубленъ изъ дубовыхъ бревенъ, покрытъ тесомъ и освѣщался съ лицевой стороны семью окнами. Быть-можетъ, вы станете смѣяться надо мною; но я убѣжденъ, что дома, точно такъ же, какъ и люди, имѣютъ свои собственные фizioноміи, — и суровыя, и привѣтливыя, и гордыя, и радушныя. Посмотришь, иной домъ — ну точно хмуритъ брови, а другой какъ-будто улыбается. Вотъ, напримѣръ, хоть этотъ, о которомъ идетъ рѣчь, кажется, въ наружности его не было ничего привлекательнаго, а я увѣренъ, вы посмотрѣли бы съ удовольствіемъ на этотъ скромный пріютъ небогатаго русскаго помѣщика. Эта ничѣмъ не окрашенная тесовая кровля и кусты великолѣпныхъ розановъ, которые цвѣли подъ окнами дома; эти голыя бревенчатыя стѣны и чистое крылечко, уставленное цвѣтами; этотъ красивый лугъ, который опускался гладкою скатертью отъ дверей дома до самаго Хопра, — все это вмѣстѣ было такъ свѣжо, такъ мило, что вы пожалѣли бы, еслибъ

тутъ, вмѣсто простаго бревенчатаго домика, стояли каменныя палаты или затѣйливая дача съ разными вычурами и причудами, которыя стоятъ такъ дорого лѣтнимъ жителямъ невскихъ острововъ, петергофской дороги и московскаго парка.

По обѣимъ сторонамъ дома разбросано было нѣсколько жилыхъ службъ и холостыхъ строеній: сарай, конюшня, погреба, амбары, застольная изба, баня и господская кухня; всѣ эти строенія были крыты соломой. По двору, почти всегда, преважно расхаживали индѣйскіе пѣтухи, бѣгали куры и гулялъ павлинъ со своею павою. Съ лѣвой стороны, за частоколомъ, которымъ обнесена была вся дворовая усадьба, стоялъ довольно обширный скотный дворъ; съ правой тянулось огороженное плетнемъ барское гүмно, уставленное одоньями. Посреди двора росла огромная черемуха; подъ благовоннымъ и роскошнымъ шатромъ ея пушистыхъ вѣтвей можно было въ знойный полдень отдохнуть на скамьѣ и подышать прохлагою. Прямо противъ нея, въ глубинѣ двора, за рѣшетчатымъ заборомъ, виднѣлся фруктовый садъ, въ которомъ, посреди густыхъ куртинъ вишенъ, сливъ и черешни, подымали свои курчавыя головы яблони и грушевыя деревья. Этотъ садъ оканчивался небольшимъ огородомъ; за нимъ, по отлогому скату, взбѣгала до половины высокаго холма тѣнистая дубовая роща; потомъ начинался мелкій кустарникъ, а на самой вершинѣ, подъ тѣнью двухъ вѣковыхъ липъ, стояла деревянная часовня. Она была построена надъ истокомъ холоднаго и прозрачнаго, какъ ледъ, горнаго ключа. Простой народъ называлъ этотъ родникъ *громовымъ студенцомъ* и пилъ изъ него воду, какъ лѣкарство отъ разныхъ болѣзней, вѣроятно потому, что въ часовнѣ была икона Божіей Матери, и что объ этомъ источникѣ передавалась изъ рода въ родъ одна народная легенда, которой содержаніе было слѣдующее:

«Давнымъ-давно, въ незапамятныя годы, неизвѣстно при какомъ великомъ князѣ, только прежде еще татар-

скихъ погромовъ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь часовня, стояла уединенная келья одного святаго отшельника. Шестидесять лѣтъ спасался онъ, живя на этомъ холмѣ, среди дремучаго бора, котораго теперь слѣдовъ не осталось. Двадцать лѣтъ не выходилъ онъ изъ лѣсу, и изъ всѣхъ окружныхъ селеній никто не зналъ о немъ, кромѣ одного благочестиваго деревенскаго священника, который два раза въ году приходилъ приобщать его Святыхъ Таинъ и оставлялъ у него мѣшокъ сухарей; этого было достаточно для пустынника на цѣлые полгода, потому что онъ былъ великій постникъ и съѣдалъ только по два сухаря въ недѣлю; за водой же онъ ходилъ самъ на Хоперь. Вотъ посѣтилъ его Господь Богъ скорбію: отнялись у него ноги. Это случилось лѣтомъ, въ Петровки; жара стояла нестерпимая, у него въ кельѣ не было ни капли воды, и какъ онъ ни силился дотащиться до рѣки, но въ цѣлые два дня не могъ отползти и пяти шаговъ отъ своей хижины. Вотъ прошелъ день, другой,—зной все тотъ же, на небѣ ни облачка, а солнце такъ и палитъ. Какъ ни велико было терпѣніе благочестиваго старца, но онъ былъ человѣкъ, а жажда еще мучительнѣе голода. На третій день старецъ изнемогъ совершенно, страданія его сдѣлались нестерпимыми, и что-то похожее на ропотъ мелькнуло въ душѣ его. Лукавый того только и дожидался: онъ явился передъ старцемъ, но только не такъ, какъ является иногда, не подъ личиною ангела свѣта, не во образѣ даже человѣческомъ, а просто во всемъ адскомъ своемъ безобразіи. Старецъ хотѣлъ перекреститься, но демонъ удержалъ его руку, поставилъ передъ нимъ чашу со свѣжею водою и сказалъ: «Вотъ, старикъ, я не въ тебя: ты проклиналъ, ненавидѣлъ меня, а пришла бѣда, такъ я же къ тебѣ на выручку. У тебя нѣтъ ни капли воды,—вотъ тебѣ полная чаша! Да не отворачивайся, старинушка: вѣдь я не жидъ какой, не попрошу твоей души за ковшикъ воды; съ меня будетъ и того, если ты за это мнѣ поклонись».

Нѣтъ, — прошепталъ старецъ, — не поклонюсь я никогда врагу моего Господа. «Врагу!» повторилъ насмѣшливо сатана. «Да что за радость быть слугою-то? Вотъ хоть ты, нечего сказать, вѣрный слуга, а что, много выслужилъ? Нѣтъ, старинушка, твой господинъ живетъ высоко, до тебя ли ему; а я у тебя подъ бокомъ. Не хочешь мнѣ кланяться, такъ, пожалуй себѣ, не кланяйся: я за этимъ не гонюся. Скажешь спасибо — хорошо, не скажешь — такъ и быть! Только не мори себя, голубчикъ, напрасно: выпей водицы! А вода-то какая, вода! Посмотри любезный!» Тутъ онъ поднесъ къ устамъ страдальца чашу съ водою, чистою и прозрачною, какъ хрусталь. Испытаніе было ужасно, но старецъ устоялъ. Онъ зажмурилъ глаза, чтобъ не видѣть соблазнителя, и сказалъ: «Лучше умереть въ страданіяхъ по волѣ Господней, чѣмъ жить тобою, врагъ Божій. Исчезни, сатана!»

Едва онъ выговорилъ эти слова, какъ вдругъ раздался ударъ грома, и ослѣпительная молнія обвилась вокругъ искушителя; онъ вспыхнулъ, разостлался сиратынымъ дымомъ по землѣ, завылъ вихремъ по лѣсу, разметалъ, какъ соломинки, направо и налѣво столѣтнія сосны и съ воемъ исчезъ въ рѣкѣ. Еще грянулъ громъ, и у самыхъ ногъ старца огромный камень разсѣлся на-двое; изъ трещины брызнулъ источникъ живой воды, закипѣлъ между камнями и помчался внизъ по скату горы. Разумѣется, старецъ напился, вскорѣ почувствовалъ облегченіе отъ своей болѣзни и прожилъ еще двадцать лѣтъ, хваля и славя Бога.

Теперь, когда вы дошли вмѣстѣ со мною до часовни, то можете однимъ взглядомъ окинуть всѣ владѣнія Кузьмы Петровича Мирошева, и въ то же время полюбоваться живописнымъ видомъ Хопра и всѣхъ его окрестностей. Прямо передъ вами, то-есть, по ту сторону холма, широкія поля, господскія усадьбы, села и кой-гдѣ изгибистый Хоперь, который то появляется, то исчезаетъ за рощами и холмами. Вдали, на высокомъ берегу его, подымается крѣпостной валъ,

а за нимъ нѣсколько бѣлокаменныхъ зданій и соборъ, прежде бывшей крѣпости, а нынѣ уѣзднаго города Хоперска. Если мы обернемся, чтобъ идти назадъ, то передъ нами откроются виды, не менѣе прекрасные. Внизу, подъ нашими ногами, дубовая роща. Вотъ вѣтеръ пахнулъ сильнѣе, и вершины сплошныхъ деревьевъ заволновались какъ зеленое море; онъ стихъ, и передъ нами разостлался зеленый бархатный коверъ. Далѣе господская усадьба и покатиный лугъ до самаго Хопра; по ту сторону рѣки обширная пойма, лѣтомъ покрытая густою зеленью и цвѣтами, весной залитая верстъ на пять въ ширину обильными водами Хопра. Налѣво, шаговъ сто отъ барскаго дома, на самомъ берегу рѣки, село Хопровка, то-есть, двѣнадцать крестьянскихъ дворовъ съ пятьюдесятью ревизскими душами. Эта небольшая деревенька, съ восемьюстами десятинами земли въ окружной межѣ, съ поемными лугами, рыбною ловлею и разными другими доходными статьями, была наслѣдственной и единственной отчиною Кузьмы Петровича Мирошева; она почти никогда не давала ему менѣе шестисотъ рублей годового дохода. Вы можете судить поэтому, какимъ отличномъ хозяиномъ былъ Кузьма Петровичъ. Правда, было къ чему и руки приложить: Хопровка славилась своими угодами; всѣ окрестные жители называли ее золотымъ дномъ, и, конечно, самый плохой помѣщикъ не получилъ бы съ нея менѣе трехсотъ рублей въ годъ дохода; однимъ словомъ, эта деревенька вполнѣ оправдывала русскую пословицу: «малъ золотникъ, да дорогъ».

Съ землею Кузьмы Петровича Мирошева сходилась земля одного порядочнаго села, принадлежащаго графу Р***му; имъ управлялъ приказчикъ, а самъ баринъ зналъ это село только по слуху; и неудивительно: въ немъ было съ небольшимъ четыреста душъ; слѣдовательно, оно не составляло даже и четырехсотой части его огромнаго имѣнія. Почти всѣ остальные сосѣди Мирошева были мелкопомѣстные дворяне, исключая

одного богатаго помѣщика, о которомъ мы поговоримъ послѣ.

II.

откуда происходилъ родъ мирошевыхъ, и отчего у прадѣда Кузьмы Петровича было двѣ тысячи душъ, а у него только пятьдесятъ.

Древнѣй родъ дворянъ Мирошевыхъ произошелъ слѣдующимъ образомъ отъ рода князей Барашевыхъ, младшаго колѣна рода князей Звенигородскихъ.

У князя Ивана, княжъ Петрова сына Звенигородскаго, было два сына: князь Иванъ Барашъ, да князь Михайла Спячій; у князя Бараша сынъ князь Иванъ Адашъ; у князя Адаша сынъ Недашъ; у князя Недаша сыновья: Алексѣй Звѣнецъ, Юрій Мочька и Петръ Мирошъ; отъ Петра пошли Мирошевы. Въ родѣ Мирошевыхъ, которые всѣ служили вѣрою и правдою великимъ князьямъ и царямъ русскимъ, было двое окольничихъ, четыре стольника и человекъ пять стряпчихъ, изъ которыхъ одинъ при царѣ Θεодорѣ Иоанновичѣ былъ даже стряпчимъ *съ ключемъ и путемъ*. Онъ удостоился этой особенной милости за то, что отлично трезвонилъ въ колокола. Я думаю, вамъ извѣстно, любезные читатели, что царь Θεодоръ Иоанновичъ весьма жадовалъ колокольный звонъ и очень часто изволилъ самъ потѣшаться этою забавою. Въ царствованіе царя Θεодора Алексѣевича оставался изъ всего рода Мирошевыхъ одинъ только Петръ Голышъ; у Петра Голыша было три сына: Андрей Кочерга, Степанъ Шаранъ, да Петръ Бутузъ. Андрей и Степанъ умерли бездѣтными. У Петра Бутуза былъ сынъ Кузьма Петровичъ; у Кузьмы Петровича сынъ Петръ Кузьмичъ, а у Петра Кузьмича родился сынъ Кузьма Петровичъ, теперешній помѣщикъ сельца Хопровки.

Прадѣдушка Кузьмы Петровича, то-есть Петръ Голышъ, былъ сначала писанъ въ разрядныхъ книгахъ московскимъ жильцомъ и служилъ въ холопьемъ при-

казѣ; потомъ, при царяхъ Іоаннѣ и Петрѣ Алексѣевичахъ, вошелъ какъ-то въ милость у царевны Софьи Алексѣевны, жалованъ отъ нея разными помѣстьями и переименованъ въ стольники. Онъ умеръ, оставивъ послѣ себя двѣ тысячи душъ крестьянъ и домъ какъ полную чашу. Сынъ его, Кузьма Бутузъ, попалъ было при царѣ Петрѣ Алексѣевичѣ въ потѣшные, но за неуклюжесть и необычайную дородность былъ уволенъ отъ фрунтовой службы, отправился жить въ свои помѣстья, завелъ огромную псовую охоту, и, чтобъ перещеголять знаменитаго князя Ромодановскаго, у котораго садилось на коня безъ малаго сто человѣкъ псарей и стремянныхъ, онъ выѣзжалъ въ поле съ тремя переменными стаями, и охотниковъ у него было сто двадцать человѣкъ, которые порскали, спали, пили, ѣли и скушали, наконецъ, вмѣстѣ съ борзыми и гончими собаками, почти все его имѣнье. Кузьма Петровичъ Бутузъ скончался на сороковомъ году отъ одышки, передавъ въ наслѣдство единственному своему сыну, Петру Кузьмичу, съ небольшимъ четыреста душъ, до тла разоренныхъ крестьянъ. Мать Петра Кузьмича умерла вскорѣ послѣ своего мужа, оставивъ пятилѣтняго сына совершеннымъ сиротою. Родной братъ покойницы взялъ его на свои руки. По счастью, этотъ дядя былъ человѣкъ честный и добрый: онъ далъ своему племяннику воспитаніе, по-тогдашнему весьма хорошее. На тринадцатомъ году Петръ Кузьмичъ читалъ безъ запинки псалтырь, а святцы зналъ наизусть отъ доски до доски. Писалъ онъ очень бойко и выводилъ такіе отличные крючки, что дядя, который служилъ самъ секретаремъ въ провинціальной канцеляріи, не могъ безъ радостныхъ слезъ смотрѣть на необычайный почеркъ своего питомца. Въ ариметикѣ онъ также былъ очень силенъ: всякій разъ, какъ дядя его справлялъ свои именины или день рожденія, — а къ нему въ эти дни стѣзжалось человѣкъ до тридцати гостей, — Петръ Кузьмичъ долженъ былъ выдерживать публичный экзаменъ. Старикъ дядя, желая похвастаться

при всѣхъ ученостью своего племянника, брать въ руки огромную книгу въ кожаномъ переплетѣ и начиналъ испытаніе слѣдующимъ образомъ:

— Послушай-ка, братецъ! Вопросъ: что есть ариеметика?

— Ариеметика, или числительница, — отвѣчалъ обыкновенно нараспѣвъ и тоненькимъ голоскомъ Петръ Кузьмичъ, — есть художество честное, независтное, удобопонятное, многополезнѣйшее, многохвалнѣйшее...

— Хорошо! Теперь скажи-ка мнѣ, колико-губа есть ариеметика практика?

— Есть сугуба: ариеметика-политика и ариеметика-логистика.

— Изрядно, изрядно! Ну, а что есть адicio?

— Адicio, или сложеніе, есть дву или многихъ числъ во едино собраніе, или во единъ перечень совокупленіе.

— Такъ, Петруша, такъ! Изрядно!.. А что есть мультипликаціо?

— Мультипликаціо, или умноженіе, есть имъ-же что въ числахъ умножаемъ, или коликимъ вещамъ, по множеству другихъ вещей, раздаемъ и количество ихъ числомъ показуемъ.

— Хорошо! Изрядно, весьма изрядно!.. Ай да, Петруша! Спасибо, братъ, спасибо!

Тутъ добрый дядя закрывалъ книгу, и со всѣхъ сторонъ начинались восклицанія:

— Ну, ребенокъ!.. Какіе годы и какое разуміе!.. Умудряетъ же Господь Богъ младенцевъ!..

— Да это что еще! — говаривалъ дядя, потирая съ радостію руки. — То ли еще мы съ Петромъ знаемъ! Вотъ, наприкладъ: если вы поѣдете отсюда до Москвы, такъ хотите ли, онъ скажетъ, сколько разъ во всю дорогу у вашей повозки колесо обернется?

Всѣ гости ахали отъ удивленія, многіе не вѣрили, иные даже обижались такою явною насмѣшкою хозяина; но никто не смѣлъ прекословить почтенному старику. Одна только двоюродная его сестрица, су-

пруга воеводскаго товарища, не скрывала иногда своего неудовольствія.

— Хи, хи, хи! Что вы это, батюшка-братецъ! — говаривала она, покачивая головою, — побойтесь Бога! Ну, кто вамъ повѣритъ? Кто можетъ счесть, сколько разъ колесо и на десяти верстахъ повернется?.. А то, шутка ли—семьсотъ!

— Эка важность! Да будь хоть семь тысячъ, — сочтемъ, матушка, говорю вамъ, сочтемъ!

— Полноте, Иванъ Ѳедоровичъ? Вѣдь это ужъ и грѣхъ. Да этакъ, пожалуй, про васъ скажутъ, прости, Господи...

• — Да, матушка-сестрица, мы съ нимъ колдуны! Или не угодно ли вамъ знать, сколько отъ васъ до Москвы вершковъ будетъ?

— Перестаньте, братецъ, перестаньте! Что вы это, въ самомъ дѣлѣ? Да отсюда до Москвы вершкамъ-то и счету нѣтъ!

— Авось какъ-нибудь сочтемся! Петруша, ну-ка, братъ, смекни!

Петръ Кузьмичъ бралъ листъ бумаги, въ нѣсколько минутъ приводилъ семьсотъ верстъ въ сажени, сажени въ аршины, аршины въ вершки и, къ удивленію всѣхъ гостей, объявлялъ утвердительно, что до Москвы шестнадцать милліоновъ восемьсотъ тысячъ вершковъ.

— Ахъ, батюшки-свѣты! — сказала однажды эта двоюродная сестрица, когда Петръ Кузьмичъ вычислилъ при ней, сколько капель воды въ сороковой бочкѣ.—Да это ужъ и въ самомъ дѣлѣ премудрость! Да онъ этакъ, братецъ, сочтетъ, сколько песку на днѣ морскомъ!

— Ну, это дѣло другое, матушка-сестрица,—отвѣчалъ простодушно дядюшка.—Этому онъ еще не обучался. Да и какіе здѣсь учителя? Вотъ хоть, напримѣръ, Андрей разстрига,—ну, конечно, проходилъ въ семинаріи всѣ науки; да такой пьяница, что избави, Господи! Схватить за десять уроковъ полтинку, да и

въ кабакъ; давнымъ-давно весь умъ пропиль! Или дядечекъ Ома: училъ Петрушу грамотѣ, а теперь самъ у него поучится. Нѣтъ, дастъ Богъ, подрастетъ, такъ мы отправимъ его доучиваться въ Москву. Не знаю нынче, а въ старину на Сухаревой башнѣ всему обучали. А не то и до резиденціи дойдемъ. Тамъ, говорятъ, всякія школы есть и заморскихъ учителей довольно; а все завелъ батюшка Петръ Алексѣевичъ, дай Богъ ему царство небесное! То-то былъ Царь-Государь! Поколачивалъ онъ, бывало, нашу братью-секретарей, и старшимъ подчасъ доставалось, — зато все шло какъ по маслу... Эхъ, да что объ этомъ говорить,—не наше дѣло! Вотъ такъ годика черезъ три я пооблегчусь, да, можетъ статься, и самъ съ тобою въ Питеръ скатаю!

И точно, онъ поѣхалъ съ нимъ въ Петербургъ, только не черезъ три года, а черезъ пять лѣтъ: по разнымъ обстоятельствамъ дядюшка не могъ собраться прежде въ эту дальнюю дорогу. Межъ тѣмъ Петръ Кузьмичъ подросъ, выровнялся и сталъ такимъ молодцомъ, что любо-дорого было посмотреть! Ростомъ и дородствомъ онъ пошелъ по батюшкѣ, только ладъ-то въ немъ былъ не тотъ. Петръ Кузьмичъ былъ малый проворный, ловкій, и, по словамъ стариковъ, какъ двѣ капли воды походилъ на своего дѣдушку. Когда дядя привезъ его въ Петербургъ, то, по общему совѣту всѣхъ знакомыхъ и благопріятелей, отдалъ его не въ школу, а записалъ въ конногвардейскій полкъ, который только-что былъ сформированъ. Петръ Кузьмичъ служилъ такъ удачно, что чрезъ три года попалъ въ каптенармусы, а черезъ шесть махнулъ за отличие прямо въ старшіе вахмистры. Черезъ годъ послѣ этого умеръ его дядя; имѣньемъ управлять было некому, и Петръ Кузьмичъ долженъ былъ поневолѣ выйти въ отставку, чтобъ заняться своимъ хозяйствомъ. Онъ былъ уволенъ отъ службы съ чиномъ армейскаго капитана, и вмѣсто четырехсотъ разоренныхъ крестьянъ, у него оказалось, по милости покойнаго, слишкомъ

семьсотъ душъ, устроенныхъ, приведенныхъ въ порядокъ и дающихъ отличный доходъ. Петръ Кузьмичъ могъ бы жить прииѣваячи; но, на бѣду, онъ влюбился въ одну дѣвицу княжескаго рода, у которой наслѣдственнаго имѣнья не было, благопріобрѣтеннаго также; но зато много было спеси и глупаго чванства. Она вышла за него замужъ потому, что ей нечего было кушать, но ей такъ тяжело было перейти изъ сѣятельныхъ въ благородныя, эта жертва казалась ей столь необъятною, что она полагала себя въ правѣ тиранить своего мужа день и ночь, помыкать имъ какъ слугою и, при всякомъ удобномъ случаѣ, напоминать ему, что она урожденная княжна Бирдюкова. Напрасно возражалъ ей иногда Петръ Кузьмичъ, что онъ также происходитъ отъ князей Барашевыхъ: это не помогало; одно безусловное повиновеніе мужа заставляло ее забывать на нѣсколько минутъ, что она должна вымещать на немъ потерю своего княжескаго достоинства. По волѣ жены своей, Петръ Кузьмичъ переѣхалъ жить въ Москву. Сначала купилъ онъ домъ на Арбатѣ, чистый, спокойный, съ прекраснымъ садомъ, и долго выносилъ нападки отъ своей жены, которая хотѣла имѣть домъ на Тверской; но подконецъ эти напѣствія сдѣлались такъ часты, что ему пришлось хоть въ петлю лѣзть. Жена кричала съ утра до вечера, что Арбатъ улица мерзкая, что въ ней самый нездоровый воздухъ, что домъ расположенъ скверно, что онъ холоденъ и сыръ, какъ могила, и что она непременно умретъ, если останется жить въ этомъ гробѣ. Дѣлать было нечего: домъ уступили за безцѣнокъ, продали полтораста душъ и купили огромныя двухъ-этажныя развалины на Тверской. Надобно было ихъ отдѣлать, а это стоило также не дешево. Вѣдь каменный домъ не то, что деревянный! Конечно, очень пріятно сказать при случаѣ: «мой домъ на Тверской!» Но это еще не все: у кого большой каменный домъ на Тверской, тотъ и живетъ ужъ не такъ, какъ живутъ въ деревянныхъ домикахъ подъ Дѣвичимъ или

за Москвой-рѣкой. Въ этомъ же домѣ была огромная зала въ два свѣта, а я спрашиваю всякаго: можно ли тому, у кого въ домѣ большая зала въ два свѣта, не дѣлать праздниковъ? Нельзя! Вѣдь это почти все то же, что построить театръ и не давать въ немъ представлений.

Въ то же время жить было гораздо дешевле нынѣшняго, да зато и доходы были не такіе, какъ теперь; разумѣется, Петру Кузьмичу ихъ недоставало, чтобъ поддерживать свое полубоярское житіе. Лѣтъ черезъ пять накопилось много долговъ. Жена посовѣтовала ему удвоить крестьянскій оброкъ и усилить запашку. И подлинно, въ первый годъ, послѣ этого экономическаго распоряженія, годовой доходъ былъ самый блестящій: старыхъ долговъ не заплатили, но зато не нажили и новыхъ; во второй годъ оказались недоборы. Строгій приказъ управителю: «Взыскать все до копѣйки». Взыскано; но зато на третій годъ всѣ оброчныя статьи превратились въ одну огромную недоимку, и господскія поля остались незабѣянными. «Чтожь это такое? Сейчасъ смѣнить управителя, послать другого!» Послали, и вотъ новый управитель доноситъ, что тѣхъ крестьянъ, которые были на барщинѣ, ему не зачѣмъ и въ поле выгонять: они, дескать, поморили всѣхъ лошадей на господской запашкѣ, потому что ее удвоили, а число тягловъ оставалось все то же, съ оброчныхъ же мужичковъ брать вовсе нечего, по той причинѣ, что они сами питаются мірскимъ подаваніемъ. Эта причина показалась весьма глупою госпожѣ Мирошевой; она закричала, что второй управитель хуже перваго, что всѣ русскіе приказчики или дураки, или мошенники, и что непременно должно нанять нѣмца. Петръ Кузьмичъ предложилъ было женѣ ѣхать самимъ въ деревню, — куда!.. Урожденная княжна Бирдюкова подняла такой штурмъ, что онъ не зналъ, куда отъ нея и дѣваться.

— Да помилуй, матушка, — сказалъ онъ наконецъ своей разгнѣванной супругѣ, когда она поуспокоилась

и сѣла за свой туалетный столикъ,—скоро ли найдешь нѣмца? А вѣдь намъ ѣсть нечего.

— Я, Петръ Кузьмичъ, въ эти подробности не вхожу: мое дѣло женское, — отвѣчала Екатерина Семеновна, приклеивая къ правому виску черную бархатную мушку;—объ этомъ должны заботиться мужья, а не жены.

— Но чтожь прикажете мнѣ дѣлать?

— Какъ, что? Да почему же вамъ не продать это скверное имѣнье, которое не даетъ намъ никакого дохода? Продайте его и купите подмосковную. У княгини Хабаровой есть подмосковная; у князя Кожухова есть подмосковная; у графини Бирюлькиной есть подмосковная; у всѣхъ порядочныхъ людей есть подмосковныя;—почему-жь у насъ нѣтъ? За семьсотъ верстъ приказчикамъ не трудно грабить и обманывать своихъ господъ, а это будетъ у насъ подъ глазами.

— Такъ, матушка, такъ! Да вѣдь имѣнье-то въ два дня не продашь: на это надо время; ну, разсуди сама...

— Это ужъ, Петръ Кузьмичъ, не моя забота; я не для того вышла замужъ, чтобы заниматься вашими дѣлами. Продавайте или не продавайте, для меня все равно; только не забудьте, что я сегодня буду играть у княгини Хабаровой въ реверси, и что мнѣ нужны деньги.

И вотъ еще двѣсти душъ проданы за полцѣны. Правда, деньги пошли не всѣ на вѣтеръ: на имя Екатерины Семеновны Мирошевой куплено сорокъ душъ въ десяти верстахъ отъ Москвы. Изъ этихъ сорока душъ, выключая малолѣтнихъ, всѣ остальные души были горькіе пьяницы; земли всего двѣсти десятинъ, угольевъ никакихъ; но зато господскій домъ съ бельведеромъ, рѣчка, пруды и садъ на двадцати десятинахъ.

Я позабылъ вамъ сказать, любезные читатели, что у Екатерины Семеновны Мирошевой была родная сестра, княжна Елена Семеновна, дѣвица лѣтъ пятидесяти. Она жила гдѣ-то въ Саратовскомъ намѣстни-

чествѣ, въ небольшой деревушкѣ, которую отказала ей, по духовной, крестная мать, также изъ рода князей Бирдюковыхъ. Екатерина Семеновна Мирошева была за что-то въ ссорѣ со своею сестрою, не пригласила ее даже къ себѣ на свадьбу, и никогда о ней не говорила, какъ-будто бы ее повсе и на свѣтѣ не было. Когда родился у Мирошевыхъ сынъ, а это еще было до ихъ переселенія въ Москву, Петръ Кузьмичъ извѣстилъ потихоньку отъ жены княжну Елену Семеновну объ этомъ счастлиvomъ событіи и получилъ отъ нея самый ласковый и родственный отвѣтъ.

Екатерину Семеновну Мирошеву нельзя было называть нѣжною матерью: она вовсе не хотѣла заниматься воспитаніемъ своего сына; да и то сказать: когда ей было думать объ этомъ? Вѣдь не легко поддерживать большое знакомство, ѣздить на вечера и принимать гостей, а сверхъ того у нея и такъ было на рукахъ двѣ москы, котъ ангора и дюжины двѣ канареекъ, — было съ кѣмъ нянчиться! Можетъ-быть, Екатерина Семеновна не была бы такъ холодна къ этому ребенку, еслибъ у него было другое имя; а то — представьте себѣ: мужъ осмѣлился, безъ ея вѣдома, назвать его, въ честь дѣдушки, Кузьмою!.. Кузьмою! А я васъ спрашиваю, какъ можно приласкать ребенка Кузьму? Ну, какъ его назовешь? Кузенька — не хорошо! Кузи — еще хуже! По крайней мѣрѣ, такъ всегда говорила Екатерина Семеновна.

— Да ужъ это, матушка, — сказалъ однажды Петръ Кузьмичъ, — искони вѣковъ ведется въ родѣ Мирошевыхъ: у Кузьмы всегда сынъ Петръ, у Петра сынъ Кузьма...

— Прекрасное обыкновеніе!.. Кузьма! Да Кузьмою можетъ только называться лакей или кучерь, это — имя холопское. Вотъ что вы, сударь, надѣлали: по вашей милости я не могу любить моего сына!... Да, да, я видѣть его не могу!.. Лишь только онъ подрастетъ, извольте отвезти его въ Петербургъ и отдать въ кадетскій корпусъ!

Вслѣдствіе сей милостивой резолюціи, Петръ Кузьмичъ не далъ засидѣться въ Москвѣ своему сыну. Когда ему исполнилось тринадцать лѣтъ, батюшка сколотилъ рублей тысячу, то-есть занялъ подъ залогъ имѣнья, и отправился съ сыномъ въ Петербургъ; сына онъ помѣстилъ въ кадетскій корпусъ, деньги истратилъ на разные заморскіе гостинцы для своей супруги и поспѣшилъ возвратиться въ Москву.

Пока Кузьма Петровичъ учится въ кадетскомъ корпусѣ, я расскажу вамъ въ двухъ словахъ, чѣмъ кончилось житье-бытье Мирошевыхъ, которымъ не суждено уже было видѣться въ здѣшнемъ мірѣ съ единственнымъ ихъ сыномъ.

Пять лѣтъ еще прожили они кой-какъ на Тверской, а тамъ должны были продать домъ, потому что Екатерина Семеновна не хотѣла разстаться со своею подмосковною; другихъ крестьянъ у нихъ давно уже не было. Къ концу шестого года у Петра Кузьмича, вслѣдствіе небольшой семейной размолвки, разлилась желчь, и онъ умеръ скоропостижно. Неутѣшная вдова объявила всѣмъ знакомымъ и роднымъ, что намѣрена разстаться навсегда со свѣтомъ.

И дѣйствительно, она уѣхала въ свою подмосковную. Это было въ концѣ апрѣля; въ началѣ октября она возвратилась въ городъ посоветоваться съ докторами о своемъ здоровьи; въ ноябрѣ скинула черное платье и надѣла бѣлое; въ декабрѣ, для разсѣянія, начала играть попрежнему въ реверси, а въ январѣ простудилась на балѣ у княгини Хабаровой и умерла нервическою горячкою. Послѣ ея смерти подмосковную описали за долги, продали съ публичнаго торга и отослали сыну триста рублей, которые остались за удовлетвореніемъ всѣхъ займодавцевъ покойной его матери.

Теперь вы знаете, любезные читатели, отчего у прадѣдушки Кузьмы Петровича было дѣѣ тысячи душъ, и куда дѣвалось это богатое родовое имѣніе; но вы еще не знаете, и я долженъ вамъ рассказать, какимъ образомъ Кузьма Петровичъ, которому, кромѣ трех-

сотъ рублей, ничего не досталось въ наслѣдство, сдѣлался господиномъ пятидесяти душъ, то-есть помѣщикомъ сельца Хопровки.

III.

КТО ТАКОЙ БЫЛЪ ПРОХОРЪ КОНДРАТЬИЧЪ, И КАКЪ ОНЪ ВЫ-
ТОРГОВАЛЪ ТРИДЦАТЬ РУБЛЕЙ У НѢМЦА-ПОРТНОГО.

Триста рублей, доставшіеся Кузьмѣ Петровичу послѣ матери, пришли очень кстати: онъ назначенъ былъ къ выпуску. По своему отличному поведенію и успѣхамъ въ наукахъ, Кузьма Петровичъ стоялъ однимъ изъ первыхъ кадетовъ по своему корпусу. Грустно было бѣдному сиротѣ подумать, что ему некого было порадовать своимъ офицерскимъ чиномъ. Конечно, онъ не былъ избалованъ ласкою своихъ родителей: мать его не любила, отецъ не смѣлъ любить, и онъ успѣлъ ужъ привыкнуть заранѣе къ своему сиротству; но иногда ему приходило въ голову, что когда онъ явится къ матери молодцомъ, въ красивомъ мундирѣ, когда ей можно будетъ взглянуть съ улыбкою гордости на своего сына, то, вѣроятно, сердце ея забьется сильнѣе обыкновеннаго, и она съ любовью протянетъ къ нему свои руки. Бѣдный ребенокъ, онъ не зналъ еще, что у дурной матери вовсе нѣтъ сердца; онъ не зналъ, до какой степени гордая, упрямая и избалованная женщина можетъ ожесточить свою думу. О, конечно, дурная мать во сто разъ хуже всякой мачихи! Та хоть людей постыдится; а родной матери чего бояться? Кто осмѣлится подумать, что она можетъ безъ причины ненавидѣть свое дитя? Я и самъ бы не повѣрилъ этому, еслибъ не зналъ матерей, которыя одного ребенка боготворять, а другого ненавидятъ со дня его рожденія. Что за небесное созданіе, кроткая и добрая женщина! Но зато, если она зла, — избави, Господи! Мужнина, чѣмъ бы онъ ни былъ, а все-таки въ немъ остается что-то человѣческое; одна только

женщина можетъ быть и совершеннымъ ангеломъ и воплощеннымъ сатаной.

Впрочемъ, я ошибся, когда сказалъ, что Кузьмѣ Петровичу некого было порадовать своимъ офицерскимъ чиномъ: нѣтъ, онъ не вовсе былъ спротою: у него былъ дядька, по имени Прохоръ Кондратьичъ. Этотъ образчикъ старинныхъ русскихъ домочадцевъ, которые выныачивали на рукахъ своихъ дворянскихъ дѣтей, стоитъ того, чтобъ я познакомилъ васъ съ нимъ покороче.

Прохоръ Кондратьичъ былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти, приземистый, широкоплечій и нѣсколько сутуловатый. Широкій лобъ его, покрытый морщинами, сливался съ огромною лысиною, которая оканчивалась почти на самомъ затылкѣ нѣсколькими клочками свѣтлорусыхъ волосъ съ просѣдью. Съ перваго взгляда широкое лицо его, нѣкогда румяное, а теперь багровое, не обѣщало ничего добраго: вы побились бы объ закладъ, что онъ горькій пьяница, и проиграли бы навѣрное, потому что Прохоръ Кондратьичъ и въ ротъ не бралъ хмельного. Блѣдносѣрые подслѣповатые глаза съ нависшими бровями, толстый, круглый носъ и ротъ до ушей, все это было вовсе не красиво; но подъ этою грубою оболочкою таилась самая добрая и честная душа; въ этихъ прищуренныхъ, безцвѣтныхъ глазахъ блисталъ по временамъ природный русскій умъ, который мы, по нашему враждебному смиренію, называемъ просто русскимъ толкомъ. Самая нѣжная мать не могла бы любить дитя свое болѣе того, какъ онъ любилъ своего молодого барина. Можетъ-быть, онъ не вдругъ бы рѣшился погубить за него свою душу, но умереть за Кузьму Петровича, идти за него въ огонь и въ воду, заслонить его своею грудью отъ пушечнаго ядра, объ этомъ Прохоръ Кондратьичъ не призадумался бы ни на минуту. Сколько разъ бывало, когда Екатерина Семеновна разгнѣвается безъ всякой причины на своего сына, прогнать съ глазъ долой и прикажетъ запереть одного въ его темной комнатѣ на

антресоляхъ; — Прохоръ Кондратьичъ, несмотря на строгое запрещеніе, прокрадется тихонько въ дѣтскую, подсядетъ къ *своему дитяти*, отдастъ ему какого-нибудь пряничнаго конька или пѣтушка, купленнаго на послѣднюю копѣйку, начнетъ его ласкать, приголубливать, примется строить ему карточный домикъ; ребенокъ забудетъ свое горе, поразвеселится, а добрый Кондратьичъ нѣтъ-нѣтъ да отворотится и потихоньку, чтобъ дитя не видѣло, утираетъ полою сюртука свои слезы. Вотъ иногда узнаютъ объ этомъ, Прохора Кондратьича отколотятъ по щекамъ, а ему и горюшка мало! Думаетъ про себя: «Бей меня, матушка, сколько душъ твоей угодно, только не мѣшай мнѣ любить твое дѣтище»... Куда дѣвалось это поколѣніе вѣрныхъ слугъ боярскихъ? Оно исчезло вмѣстѣ съ патріархальными нравами нашихъ предковъ. Теперь такая безкорыстная любовь къ чужому ребенку можетъ показаться невѣроятною, а въ старину это бывало сплошь. Обыкновенно, барское дитя переходило отъ кормилицы на руки къ нянюшкѣ, отъ няни мальчикъ поступалъ подъ надзоръ дядьки, и всѣ эти хожатые: кормилица, нянюшка и дядька сохраняли до самой смерти неизмѣнную привязанность къ ребенку, который впослѣдствіи становился ихъ бариномъ. Разумѣется, эта любовь была всегда самая слѣпая и безотчетная; обыкновенно, каждая нянюшка и каждый дядька не сомнѣвались, что ихъ дитя и умнѣе и лучше своихъ братьевъ и сестеръ. Это бы еще ничего; но они также были увѣрены, что не могло быть никогда и ни въ чемъ виноватымъ. Отъ этого происходили иногда споры, которые не всегда оканчивались миролюбиво: бывало, два братца подерутся между собою, а тамъ — глядишь, и нянюшки таскаютъ другъ друга за волосы.

Теперь, если вы спросите меня, какимъ образомъ Прохоръ Кондратьичъ уцѣлѣлъ одинъ изъ всѣхъ крестьянъ и дворовыхъ людей Петра Кузьмича Мирошева, то я изъясню вамъ это въ двухъ словахъ. Прохоръ Кондратьичъ принадлежалъ Екатеринѣ Семеновнѣ

и имѣлъ отъ нея домовую отпускную, въ силу которой онъ не могъ быть проданъ при жизни своей барыни, а по смерти ея дѣлался навсегда свободнымъ, то-есть имѣлъ полное право умереть на старости съ голоду, или питаться Христовымъ именемъ. Какъ ни лестно это право, но добрый старикъ не захотѣлъ бы имъ воспользоваться, еслибъ даже былъ и молодымъ человѣкомъ: онъ твердо рѣшился жить и умереть при своемъ баринѣ.

Разумѣется, присланные изъ Москвы триста рублей отданы были подъ сохраненіе Прохору Кондратычу. И баринъ и слуга, оба думали, что съ такою огромною казною имъ ни въ чемъ не будетъ недостатка; но когда дѣло дошло до обмундировки и Кондратычъ смекнулъ на счетахъ, что будетъ стоить полный драгунскій мундиръ, то руки у него опустились отъ ужаса.

— Чтожъ это такое? — сказалъ онъ. — Батюшка, Кузьма Петровичъ, да вѣдь мундиръ-то будетъ стоить рублей сорокъ! Ахъ ты, Господи!.. Да еще, глядишь, портной заломитъ рубля четыре за работу.

— Что ты, Прохоръ, какіе четыре рубля: и за восемь не сдѣлаютъ.

— За восемь? Нѣтъ, сударь, жирно будетъ!

— Да вотъ мой товарищъ, Засѣкинъ, — съ него взялъ портной нѣмецъ за всю пару десять рублей.

— Да то нѣмецъ, сударь, а мы понищемъ русскаго.

— И, Прохоръ!.. Да чтожъ, въ самомъ дѣлѣ, вѣдь у насъ триста рублей!

— Кто и говоритъ, сударь, триста рублей велико дѣло; да вѣдь и годонъ-то впереди много: на то копѣйка, на другое грошъ, и не увидите, батюшка, какъ денежки выйдутъ.

— Послушай, Прохоръ, — сказалъ Кузьма Петровичъ, не смѣя взглянуть на своего дядку, — ты разсердишься?

— А что, сударь?

— Вѣдь я ужъ мундиръ-то заказалъ.

— Заказали?.. Какъ заказали?.. Ужъ не нѣмцу ли?

— Нѣмцу.

Прохоръ Кондратьичъ поблѣднѣлъ.

— Вотъ тебѣ разъ!—прошенталь онъ сквозь зубы.—

А сколько онъ съ васъ выпросилъ?

— За полный мундиръ со всею амунициею: и шляпа, и шпага, и пуговицы—все его...

— Ну, сударь, ну!.. Сколько онъ съ васъ взял?—проговорилъ трепещущимъ голосомъ старикъ.

— Сто рублей.

— Сто рублей! — вскричалъ Прохоръ, всплеснувъ руками.—Ахъ, онъ, басурманская рожа!.. Сто рублей!.. Ахъ, онъ разбойникъ!

— Да зато какъ все будетъ сдѣлано!..

— Что сдѣлано, батюшка!.. Помилуйте — сто рублей!.. Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, воля ваша, плюньте вы на этого нѣмца...

— Да я ужъ, Прохоръ, и задатокъ ему далъ.

— Задатокъ?.. А гдѣ вы деньги-то взяли?

— Мнѣ Засѣкинъ далъ взаймы двадцать рублей.

— Ну!.. Плакали наши денежки! Ахъ, батюшка-баринъ, что это вы такъ опростоволосились? Легко вымолвить—сто рублей!.. Да этакъ онъ, разбойникъ, въ два года каменные палаты выстроить!.. Да вы бы съ нимъ хоть поторговались, сударь!

— Что ты, Прохоръ,—вѣдь нѣмцы не торгуются.

— Не торгуются?.. Полноте, батюшка, Кузьма Петровичъ! Ну, вѣстимо, съ вами какой торгъ,—что запросилъ, то и даете. Нѣтъ, онъ меня бы попробовалъ!.. Намнясь, зашелъ я въ гамазею купить для васъ банку помады; нѣмецъ просить гривну, а я ему грошъ,—онъ и говорить не хочетъ. Я посулилъ еще копѣйку, да и вышелъ вонъ. Подождалъ—не зоветъ назадъ; вотъ я опять къ нему: «Бери, мусье, пятакъ». А онъ кричитъ по-своему: «Пошелъ вонъ!» Я еще денежку надбавилъ, а онъ меня по шеямъ изъ лавки. Я повременилъ, да въ третій разъ къ нему: «Хочешь, мусье, шесть копѣекъ?» Онъ было опять гнать меня изъ га-

мазеи, да нѣтъ — шутишь! Я уперся въ притолку да и кричу: «Бери семь!» Ну, чтожъ, сударь? Вѣдь отдалъ за семь копѣекъ. То-то и есть, съ нашимъ братомъ не то, что съ вами. Вотъ, постойте, я къ этому нѣмцу-портному схожу, да хоть у него и задатокъ есть, а онъ уступитъ, видитъ Богъ, уступитъ!

На другой день Кондратьичъ явился къ своему барину съ радостнымъ лицомъ.

— Ну, батюшка,—сказалъ онъ,—не говорилъ ли я вамъ, что нѣмецъ уступитъ?

— Неужели ты въ самомъ дѣлѣ что-нибудь выторговалъ?

— Да еще сколько, сударь! Я пришелъ къ нему; нѣмецъ такой дородный, сидитъ въ колпакѣ, а въ зубахъ у него трубка. Я поклонился ему низенько да и говорю: «Что, батюшка, баринъ мой, Кузьма Петровичъ Мирошевъ, заказалъ твоей милости мундиръ?» — «Заказалъ», дескать. — «За сто рублѣвъ?» — «Да, за сто». — «Эхъ, хозяинъ, хозяинъ», — сказалъ я; «ну, боишься ли ты Бога? Вѣдь баринъ — то мой человѣкъ бѣдный: у него всего-на-всего сто рублѣй за душою».

— Зачѣмъ же ты, Прохоръ, солгалъ? Обманывать грѣшно.

— И, сударь, что тутъ за грѣхъ! Вѣдь это не что другое—это дѣло торговое! Вотъ нѣмецъ почесалъ у себя затылокъ да и говоритъ: «Мой нельзя уступай меньше!»—А я ему: «Какъ нельзя, хозяинъ? Вѣдь барину-то моему послѣзавтра походъ, а онъ круглый сирота, ни отца, ни матери; ты его обидешь, и тебя Богъ обидитъ». Нѣмецъ замоталъ головою. Ахъ ты, Господи! Грустно мнѣ стало; съ чѣмъ мы, въ самомъ дѣлѣ, въ походъ-то пойдемъ?... Заплакалъ, батюшка!.. Тутъ вдругъ и заговорила съ нимъ, по-своему, жена что ль его, не знаю,—баба также ражая, румяная, а лицо предоброе. Гляжу—нѣмецъ сталъ хмуриться, покачивать головою, надулся; она ему и то и се, а онъ молчитъ да жретъ свой табачище... Глядь-поглядь, нѣмка-то ужъ и плачетъ. Вотъ, видно, и ему стало

жалко. «Ну, добрый человекъ»,—сказалъ онъ,—«если твой баринъ сирота, такъ Богъ съ нимъ: возьму съ него мою цѣну. У меня задатку двѣнадцать рублей, приноси пятьдесятъ».—Я было поторговался еще съ нимъ малую толику, да нѣтъ—не уступаетъ. Эко диво, подумаешь: нѣмецъ, а сжалился!

— Да развѣ, по-твоему, Прохоръ, нѣмецъ-то не человекъ?

— Да какъ вамъ сказать, сударь? Кажись, образъ человѣчeskій, а вѣдь Богъ знаетъ? Старики-то наши не то говаривали... Ну, да что объ этомъ! Завтра, батюшка, принесу къ вамъ мундиръ, да и укладываться. Вѣдь отправленіе-то ваше готово?

— Генералъ сегодня мнѣ отдалъ и сказалъ, чтобъ я торопился: нашъ полкъ выступилъ въ походъ.

— Подъ нѣмца, сударь?

— Да, мы идемъ въ Пруссію.

— Эхъ, батюшка-баринъ, и пощеголять-то вамъ здѣсь не дали! Ну, дѣлать нечего; вотъ, Богъ дастъ, вернетесь, такъ нагуляетесь до-сыта.

— А если не вернусь?

— Такъ авось тогда Господь Богъ и меня приберетъ вмѣстѣ съ вами... Да что объ этомъ загадывать... Богъ милостивъ: вернетесь, батюшка, да еще, можетъ стать, капитаномъ, а тамъ и въ отставку, да домой.

— Домой?.. Куда домой?

— Эхъ, совсѣмъ было забылъ? Что дѣлать, батюшка, Кузьма Петровичъ, негдѣ вамъ, сердечному, и головы преклонить: ни кола, ни двора, ни роду, ни племени... Э, да что говорить! Служите вѣрой и правдой Богу да Царю, такъ будете съ домикомъ.

Когда Кузьма Петровичъ надѣлъ свой красивый драгунскій мундиръ, Прохоръ Кондратьичъ совсѣмъ обезумѣлъ отъ восторга и радости.

— Экій молодецъ!—кричалъ онъ.—Экій молодецъ! Ну, подлинно всѣмъ взялъ! И родятся же этакіе.. Ахъ, ты, баринъ, мой голубчикъ, соколъ ты мой ясный! Да есть ли на бѣломъ свѣтѣ такіе красавцы? Нѣтъ, ви-

дить Богъ, нѣтъ, — не бывало и не раживалось! Да и мундирчикъ-то, нечего сказать, такъ и поетъ! Ни морщинки, ни складочки!.. Ай да нѣмецъ, — спасибо!.. Пройдите-ка, батюшка, пройдите!.. Ахъ, вы, мои родные!.. Писаный красавецъ!.. А поступъ-то какая, поступъ!.. Орелъ!.. Батюшка, Кузьма Петровичъ, ступайте въ Лѣтній садъ.

— Зачѣмъ?

— Какъ, зачѣмъ? Людей посмотрѣть и себя показать. Мы завтра чѣмъ-свѣтъ въ дорогу, такъ пускай на васъ хоть сегодня-то полюбуются.

Кузьма Петровичъ и самъ хотѣлъ пощеголять своимъ мундиромъ. Спросите у любого прапорщика, что онъ дѣлалъ въ тотъ день, какъ надѣлъ въ первый разъ офицерскій мундиръ, — и онъ вѣрно вамъ скажетъ, что гулялъ; разумѣется, если только была возможность оставаться на открытомъ воздухѣ. Боже мой, какъ весело пройти мимо часового, который дѣлаетъ вамъ на караулъ! Какъ пріятно видѣть, что каждый солдатъ снимаетъ передъ вами фуражку! Вамъ кажется, что всѣ даютъ вамъ дорогу и смотрятъ на васъ, какъ на человѣка необыкновеннаго. Если вы встрѣтитесь когда-нибудь съ молодымъ офицеромъ, у котораго мундиръ съ иголочки, если этотъ офицеръ дѣлаетъ крюкъ для того только, чтобъ пройти мимо будки часового, уступаетъ дорогу однѣмъ женщинамъ, смотритъ прямо въ глаза всѣмъ мужчинамъ и не можетъ скрыть презрительной улыбки, взглянувъ на вашу круглую шляпу, — то будьте увѣрены, что онъ прапорщикъ и только-что произведенъ въ офицеры.

Вотъ число гуляющихъ въ Лѣтнемъ саду умножилось однимъ драгунскимъ офицеромъ. Онъ бодро шелъ по средней аллеѣ; но такъ какъ онъ былъ росту небольшого и наружности, хотя пріятной, но самой обыкновенной, то никто не обращалъ на него вниманія, кромѣ одного лысаго, въ коричневомъ сюртукѣ, старика, который шелъ позади его шагахъ въ десяти. Этотъ старикъ слѣдилъ его глазами и поглядывалъ съ удивленіемъ на всѣхъ проходящихъ.

— Экій народъ,—прошепталъ онъ себѣ подъ носъ:—никто и не взглянетъ! Какъ будто бѣ присмотрѣлись къ такимъ молодцамъ.

Вотъ наконецъ одна барыня оглянулась на драгуна,—старикъ улыбнулся; вотъ какая-то мѣщанка въ запачканномъ шубунѣ остановилась и устремила свои взоры на проходящаго офицера.

— Что, тетка,—спросилъ ее старикъ,—любуеться? Каковъ молодецъ-то!

— Хорошъ, мой родимый, хорошъ!

— То-то-же! Это мой баринъ, его благородіе, Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

— Такъ, батюшка, такъ!

— Экій красавецъ, подумаешь! Что, тетка, не видала ли ты этакихъ?

— Да, батюшка, баринъ личмянный; росту только Богъ не далъ.

— Что ты, старуха? Протри глаза-то хорошенько! Какого еще тебѣ молодца надобно?

— Такіе ли, родимый, молодцы бываютъ.

— Такіе ли! Чтожъ ты на него бѣльмы-то палила?

— Да какъ же, батюшка! Вѣдь онъ лицомъ и ростомъ точь-въ-точь мой Ванюша.

— Ванюша? Какой Ванюша?

— Сыночекъ мой, батюшка. Теперь онъ извозничаетъ, а прошлаго года совсѣмъ было поставили въ некруты, да въ мѣру не вышелъ.

Прохоръ Кондратьичъ плюнулъ и пошелъ прочь.

На другой день Кузьма Петровичъ, получивъ подорожную, отправился въ свой полкъ и догналъ его на самой границѣ.

IV,

въ которой доказывается справедливость пословицы:
«хорошо тому жить, кому бабушка ворожить».

Вскорѣ по прибытіи Кузьмы Петровича въ полкъ, онъ выступилъ за границу и соединился съ арміею,

которою командовалъ уже, вмѣсто генерала Фермора, знаменитый Салтыковъ. Кузьму Петровича полюбили всѣ товарищи за его кроткій нравъ, примѣрное добродушіе и веселый обычай, который однакожь не мѣшалъ ему быть самымъ разсудительнымъ и степеннымъ прапорщикомъ во всей арміи. Старые служивые, начиная съ майора, который командовалъ заурядъ полкомъ, говорили о немъ, какъ о самомъ отличномъ и исправномъ фрунтовомъ офицерѣ, а вся молодежь называла его «дядюшкою». Прохоръ Кондратьичъ попалъ также въ большую честь. Онъ заслужилъ такую довѣренность своимъ честнымъ поведеніемъ, что всѣ офицеры, которые были въ одной ротѣ съ Кузьмою Петровичемъ, сдѣлали его своимъ казначеемъ, то-есть отдали ему на сохраненіе свои артельныя деньги. Онъ никогда не сердился, когда смѣялись надъ его лысною и краснымъ носомъ; рассказывалъ молодымъ господамъ разныя побасенки и очень часто служилъ для нихъ переводчикомъ. Прохоръ Кондратьичъ вполне обладалъ этою сметкою и досужествомъ, которыя могутъ назваться отличительными чертами русскаго народа. Разумѣется, онъ, не зналъ нѣмецкаго языка, а, несмотря на это, мастерски объяснялся съ нѣмцами; онъ составилъ для этого какой-то особенный языкъ, въ которомъ слова: «биръ, бротъ, ваинъ, ницъ, гутъ» служили основаніемъ, а «швернотъ» необходимымъ дополненіемъ каждой фразы; всѣ прочіи слова были ни что иное, какъ производныя рѣченія этихъ пяти коренныхъ словъ; онъ примѣшивалъ къ нимъ множество исковерканныхъ на «нѣмецкій манеръ» русскихъ рѣчей и добавлялъ все это чрезвычайно выразительною пантомимною.

Въ доказательство его досужества въ этомъ отношеніи, я приведу одинъ примѣръ изъ тысячи. Однажды хозяинъ-нѣмецъ не могъ никакъ понять, чего требуетъ русскій офицеръ, который стоялъ у него на квартирѣ. Офицеръ просилъ молока, а ему подали варенаго картофеля, потомъ пива. Офицеръ былъ человекъ вспылъ-

чивый и вздорный: онъ разсердился, началъ шумѣть и готовъ ужъ былъ драться. Послали за переводчикомъ; Прохоръ Кондратычъ пришелъ и началъ изъясняться слѣдующимъ образомъ съ хозяиномъ:

— Послушай-ка, братъ, шверноть, вотъ что: мой не надо биръ,—понимаешь?.. Нихцъ биръ!

— Ваинъ?—проговорилъ нѣмецъ.

— И не ваинъ; намъ не надобно ни биру, ни ваину, ты давай намъ молока. Твой понимай—молока?

— Ихъ ферштее нихтъ!—сказалъ нѣмецъ, покачивая головою.

— Экій шверноть безтолковый! Ну, вотъ, смотри!

Тутъ Прохоръ сталъ начетвереньки и заревѣлъ коровою. Нѣмецъ побѣжалъ и принесъ жареной говядины.

— Нихцъ, нихцъ!—закричалъ Кондратычъ.—Эхъ, не знаю, какъ по ихнему-то молоко зовутъ!.. А вотъ постойте, — разомъ пойметъ! Эй, хозяинъ, намъ надо вотъ что,—смотри!

Прохоръ сталъ на колѣни и сдѣлалъ видъ, какъ будто бы доить корову.

— Милихъ?—вскрикнулъ хозяинъ.

— Гуть, гуть!—подхватилъ Прохоръ. — Милихъ, сирѣчь молоко! Теперь твой понимай? Давно бы этакъ! Давай намъ, камарадъ, милху!

Нѣмецъ побѣжалъ на погребъ, а Кондратычъ всталъ и, вытирая свою лысину, проговорилъ запыхавшись:

— Фу, батюшки, усталъ до смерти! Экій олухъ, подумаешь! Другіе на лету хватаютъ, а этотъ шверноть... Ну, попотѣлъ я съ нимъ!

Я уже сказалъ вамъ, любезные читатели, что начальники почитали Кузьму Петровича за самаго примѣрнаго и отличнаго фрунтового офицера, а товарищи любили какъ истинно честнаго малаго и добраго сослуживца; но никто еще не зналъ, каковъ онъ будетъ въ дѣлѣ; нѣкоторые изъ молодыхъ офицеровъ сомнѣвались даже въ его храбрости, потому что онъ не горячился и не кричалъ: «Да скоро ли мы будемъ драться?

Да когда же мы станемъ лицомъ къ лицу съ непріа-
телемъ?» А такихъ крикуновъ было много, разумѣется,
между молодежи. Одни дѣйствительно ожидали этого
съ нетерпѣніемъ, а другіе горячились ради молоде-
чества и хвастовства; изъ числа послѣднихъ больше
всѣхъ гарцовалъ поручикъ Фурсиковъ, шалунъ, по-
вѣса и страшный забіяка; рѣдко проходилъ день,
чтобъ онъ не заводилъ съ кѣмъ-нибудь ссоры и не
придирался бы къ кому-нибудь изъ товарищей, изъ
которыхъ одинъ только поручикъ Костоломовъ, лихой
офицеръ, гуляка, весельчакъ, но истинно добрый ма-
лый, — никогда ему не поддавался; многіе уступали
Фурсикову потому, что онъ былъ человѣкъ богатый и
сорилъ деньгами, а другіе, люди смиренные, не хотѣли
съ нимъ связываться, какъ съ отъявленнымъ голово-
рѣзомъ; самъ майоръ смотрѣлъ сквозь пальцы на буй-
ное поведеніе этого Фурсикова, потому что онъ былъ
роднымъ племянникомъ полковому командиру, который
прибылъ къ полку наканунѣ сраженія подъ Кросеномъ.
За нѣсколько часовъ до дѣла, сошлись поболтать
межъ собою человѣкъ пять офицеровъ, въ числѣ ихъ
былъ и поручикъ Фурсиковъ.

— Ну, что, господа?—сказалъ онъ, хлебнувъ водки
изъ своей походной фляги, съ которой онъ никогда не
разставался. — Сегодня, кажется, на нашей улицѣ
праздникъ. Ужъ то-то мы потѣшимся надъ этими
нѣмцами!

— Давай ихъ сюда! — закричали офицеры. — Мы
ихъ порядкомъ обрабатываемъ!

— Дай Богъ, — сказалъ Мирошевъ; — а, говорятъ,
эти прусаки славно дерутся.

— Да, — подхватилъ Фурсиковъ, — такъ говорятъ
всѣ трусы.

— Нѣтъ, я слышалъ это отъ нашего майора, а
кажется онъ не трусъ.

— Не трусъ, а всего боится. Вотъ и ты, Миро-
шевъ, чай, поставилъ бы рублевую свѣчу, чтобъ тебя
завтра Богъ помиловалъ.

— За это можно и двухрублевую поставить.

— То-то-же! Да не хочешь ли, я попрошу дядюшку, чтобъ онъ тебя въ обозъ отправилъ?

— Прикажутъ, такъ поѣду, а проситься не стану.

— Какъ, Мирошевъ, такъ ты въ самомъ дѣлѣ согласился бы остаться при обозѣ?

— А чтожъ такое? Вѣдь надобно же кому-нибудь и при обозѣ быть.

— Ну, Кузьма Петровичъ, — вскричалъ Фурсиковъ, ударивъ его по плечу, — долголѣтень ты будешь на земли!

— А вотъ узнаемъ сегодня, кто кого переживетъ, — сказалъ Мирошевъ весьма спокойно.

— Хотите ли, господа, — прервалъ Фурсиковъ: — я бьюсь объ закладъ, что дядюшку Мирошева сегодня пуля не зацѣпитъ.

— Почему ты это думаешь? — спросилъ одинъ изъ офицеровъ.

— Да такъ! Онъ человѣкъ осторожный, а бережного и Богъ бережетъ.

— Полно, братецъ, — сказалъ Кузьма Петровичъ: — отъ пули не спрячешься.

Ударили сборъ; войска стали строиться, и офицеры разошлись по своимъ мѣстамъ.

Сраженіе было упорное. Къ вечеру побѣда склонилась на нашу сторону, и непріятель, сбитый съ поля, началъ поспѣшно отступать по Франкфуртской дорогѣ. Чтобъ приостановить натискъ нашего передового войска, которое сильно напирало на непріятельскій аріергардъ, прусаки разбросали по высотамъ нѣсколько орудій и, подъ ихъ прикрытіемъ, пустили въ атаку на нашу передовую цѣпь полкъ черныхъ гусаръ; они промчались до второй линіи, смяли баталіонъ пѣхоты и изрубили сотни двѣ казаковъ. Драгунскій полкъ, въ которомъ служилъ Мирошевъ, не былъ еще въ дѣлѣ; тутъ онъ получилъ приказаніе ударить во флангъ чернымъ гусарамъ. Драгуны перекрестились, пошли съ мѣста на рысяхъ и, не дождавъ шаговъ сто

отъ непріятеля, кинулись въ атаку. Въ эту самую минуту показалось Мирошеву, что поручикъ Фурсикъ, который ѣхалъ съ нимъ почти рядомъ, осадилъ свою лошадь. Кузьма Петровичъ не обратилъ на это никакого вниманія: ему было не до того; въ первый разъ еще въ жизни онъ сталъ лицомъ къ лицу съ непріятелемъ; въ душѣ его вспыхнулъ богатырскій духъ истого русскаго и закипѣла въ жилахъ кровь молодецкая. Этотъ кроткій юноша, который умѣлъ сносить обиды своихъ товарищей, а самъ не обижалъ никого, превратился въ настоящаго льва. «Ай да молодецъ!» кричали вокругъ его усачи-драгуны; «малъ, да удалъ!» И подлинно, Кузьма Петровичъ дѣлалъ чудеса храбрости. Когда сабля его коснулась сабли вражеской, онъ не взвидѣлъ свѣта Божьяго, первый врѣзался въ толпу непріятелей, и очнулся только тогда, когда драгуны, сломивъ черныхъ гусаръ, помчались по ихъ трупамъ и вскакали на ближайшую непріятельскую батарею, съ которой успѣли однакожъ сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ картечью. Если вы, любезный читатель, бывали когда-нибудь въ дѣлѣ, такъ знаете, что такое направленные въ толпу картечные выстрѣлы. Все легло вокругъ Мирошева, болѣе десяти офицеровъ выбыло изъ полка, а онъ какимъ-то чудомъ остался живъ и невредимъ. Полковой командиръ, который былъ слегка только раненъ, отправилъ Кузьму Петровича съ донесеніемъ къ авангардному начальнику. Возвращаясь къ полку, Мирошевъ взялъ нѣсколько направо отъ того мѣста, гдѣ происходила кавалерійская схватка. Проѣзжая небольшимъ лѣсомъ, шагахъ въ двухстахъ отъ мѣста сраженія, онъ повстрѣчался съ Фурсиковымъ, который, увидавъ его, принялся шпорить и ругать немилосердно свою лошадь.

— Ба, ба, ба! Степанъ Ивановичъ! — вскричалъ Мирошевъ. — Ты какъ сюда попалъ?

— А вотъ по милости этого чорта! — отвѣчалъ Фурсиковъ, продолжая тиранить свою лошадь. — Проклятый одеръ!.. Вотъ я тебя, бестія!

— Да въ чемъ она провинилась?

— Какъ въ чемъ?.. Ахъ, ты скверная, мерзкая кляча!.. Да ужъ я же тебя вышколю!

— Эхъ, перестань, братецъ! Мнѣ, право, жаль на нее смотрѣть.

— Издохни она, проклятая! Представь себѣ, Мирошевъ: въ ту самую минуту, какъ мы пошли въ атаку, эта упрямая скотина закусилла удила и понесла меня...

— Впередъ?

— Вотъ то-то и бѣда, что нѣтъ, братецъ.

— Что ты говоришь? Да какъ же это она могла занести тебя не впередъ, а взадъ?

— Я и самъ не знаю, видно на всемъ скаку повернула.

— Видно что такъ.

— Ужъ я ее и туда и сюда—нѣтъ, сударь, хоть зарѣжь!.. Шельма этакая!

— Полно, Фурсиковъ! Посмотри, у ней всѣ бока въ крови. Да чтожъ ты теперь здѣсь дѣлаешь? Нашъ полкъ впереди, на непріятельской батарее.

— Такъ вы взяли батарею?

— Шесть пушекъ.

— А меня тамъ не было!.. Ахъ, ты, скверная!.. Ахъ, ты разбойница!..

Тутъ Фурсиковъ далъ такія шпоры своей несчастной лошади, что она въ самомъ дѣлѣ закусилла удила и понесла его между деревьями; Мирошевъ выскакалъ вмѣстѣ съ нимъ изъ лѣсу. Въ эту самую минуту тяжело раненый прусскій гренадеръ, вѣроятно желая передъ смертью убить одного русскаго, приподнялся изъ-за куста и выстрѣлилъ въ Фурсикова; онъ вскрикнулъ.

— Что ты, братецъ?—спросилъ Кузьма Петровичъ.

— Я раненъ,—отвѣчалъ дрожащимъ голосомъ Фурсиковъ,—и, кажется, очень тяжело!

— Постой-ка... И, нѣтъ, тебѣ только оцарапало плечо.

— Не можетъ быть: я чувствую, вся рука у меня горить.

— Ну да, обожгло немножко. Вотъ видишь, Степанъ Ивановичъ,—прибавилъ Мирошевъ,—не говорилъ ли я тебѣ, что отъ пули не спрячешься?

Увѣряю васъ, что добрый Кузьма Петровичъ сказалъ это просто, безъ всякаго злого намѣренія; но Фурсиковъ судилъ о другихъ по себѣ самомъ: онъ вспыхнулъ, не отвѣчалъ ни слова, и съ этой минуты сдѣлался заклятымъ врагомъ Мирошева.

Недѣли черезъ двѣ, Кузьма Петровичъ прочелъ въ приказѣ, что его полковой командиръ изъ полковниковъ производится въ бригадиры, оставаясь попрежнему командиромъ полка, который подъ его начальствомъ отличился въ кросенскомъ дѣлѣ; что всѣмъ офицерамъ, а въ томъ числѣ и Кузьмѣ Петровичу Мирошеву, объявляется благодарность главнокомандующаго, и что изъ числа раненыхъ на полѣ сраженія поручикъ Фурсиковъ, за оказанную неустрашимость во время кавалерійской атаки, производится въ слѣдующій чинъ. Чтожъ, вы думаете, Мирошевъ разсердился? Нѣтъ, онъ покачалъ головою, улыбнулся и пожалѣлъ только о томъ, что вмѣсто его капитана, убитаго на непріятельской батарее, назначенъ эскадроннымъ командиромъ Фурсиковъ. Кузьмѣ Петровичу грустно было подумать, что онъ не можетъ уважать своего начальника. Вскорѣ за этимъ наши войска соединились съ австрійскими, и одержана была знаменитая побѣда, близъ Кунерсдорфа, надъ прусскими войсками, которыя дрались подъ личнымъ начальствомъ своего короля, Фридриха Великаго. Сраженіе было кровопролитное: тридцать-двѣ тысячи воиновъ легло съ обѣихъ сторонъ; русскіе взяли въ плѣнъ семь тысячъ человекъ, отбили двадцать-семь знаменъ, сто шестьдесятъ орудій и захватили почти весь обозъ. За это сраженіе опять произвели Фурсикова; но и Мирошеву, который въ самомъ пылу сраженія взялъ непріятельское знамя, дали слѣдующій чинъ. Этимъ дѣломъ кон-

чилась кампанія 1759 года. Въ слѣдующемъ году, русскій генераль Тотлебенъ, вмѣстѣ съ австрійцами, овладѣлъ Берлиномъ. Положеніе прусскаго короля становилось часу-отъ-часу хуже. Австрія и Франція уступали Россіи на вѣчныя времена всю восточную Пруссію, съ однимъ только условіемъ, чтобъ Россія не прекращала войны съ Фридрихомъ. Столица курфюрстовъ бранденбургскихъ, древній Кенигсбергъ, былъ причисленъ къ городамъ Русской Имперіи, и въ немъ даже начали бить монету и печатать газеты съ изображеніемъ русскаго двуглаваго орла ¹⁾. Вдругъ все перемѣнилось: Императрица Елисавета Петровна скончалась; преемникъ ея, Петръ III, страстный почитатель Фридриха Великаго, объявилъ себя его союзникомъ и положилъ конецъ этой кровопролитной войнѣ, извѣстной въ исторіи подъ названіемъ «Семилѣтней». Къ концу кампаніи Фурсиковъ былъ уже маіоромъ, а Мирошевъ оставался все поручикомъ; но такъ какъ въ полку не было на-лицо и половины офицеровъ, то онъ командовалъ эскадрономъ. Когда наши войска, очистивъ занятія ими прусскія провинціи, возвратились въ свое отечество, драгунскій полкъ, въ которомъ служилъ Мирошевъ, отправленъ былъ во внутренность Россіи; ему предписано было занять квартиры по рѣкѣ Хопру, въ уѣздѣ города Борисоглѣбска. По случаю безсрочнаго отпуска полкового командира, командовалъ полкомъ маіоръ Фурсиковъ. Вы можете себѣ представить, каково было служить бѣдному Мирошеву. Онъ одинъ во всемъ полку могъ сказать утвердительно, что Фурсиковъ, какъ подлый трусъ, бѣжалъ съ поля сраженія; всѣ прочіе офицеры полагали, что онъ былъ раненъ во время атаки. Хотя Фурсиковъ

¹⁾ Есть очень любопытный нѣмецкій романъ тогдашняго времени, подъ названіемъ: «Путешествіе Софін». Дѣйствіе происходитъ въ Кенигсбергѣ. Читая эту книгу, можно подумать, что она переведена съ русскаго: въ ней всѣ чиновники служатъ въ нашей службѣ, говорятъ о Императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, какъ о законной своей Государынѣ, и считаютъ деньги не талерами, а рублями.

зналъ, что Кузьма Петровичъ никому объ этомъ не говорилъ, но онъ могъ рано или поздно высказать всю правду и осрамить его передъ офицерами всего полка. Эта мысль приводила его въ бѣшенство. Другой на мѣстѣ Фурсикова постарался бы привязать къ себѣ Мирошева и заставить его, хотя изъ благодарности, быть скромнымъ; но обиженная гордость и слѣпая злоба не разсуждаютъ: эти двѣ родныя сестрицы умѣютъ только мстить. Добрый Кузьма Петровичъ не могъ никакъ понять за что нападаетъ на него маіоръ, который былъ нѣкогда его товарищемъ и съ которымъ онъ никогда не ссорился. Надобно было видѣть, какъ Фурсиковъ придирался ко всему, когда осматривалъ его эскадронъ; какъ онъ радовался, когда могъ отыскать какую-нибудь не хорошо вычищенную пуговицу или плохо застегнутый крючокъ; на ученьи Мирошевъ всегда командовалъ не впору, драгуны не знали своего дѣла, однимъ словомъ, Кузьмѣ Петровичу житья не было. Два мѣсяца выносилъ онъ съ христіанскимъ смиреніемъ это непрерывное гоненіе. Наконецъ, терпѣніе его истощилось: онъ рѣшился оставить службу и ѣхать въ Москву, гдѣ надѣялся, при помощи знакомыхъ покойнаго отца своего, найти какое-нибудь мѣстечко и продолжать службу по гражданской части. Онъ подалъ просьбу, и его отставили отъ службы тѣмъ же чиномъ, то-есть поручикомъ.

Получивъ указъ объ отставкѣ, Мирошевъ продалъ своего боевого коня, купилъ телѣгу, пару добрыхъ крестьянскихъ лошадей и распрощался со своими сослуживцами. Болѣе всѣхъ жалѣлъ о немъ поручикъ Костоломовъ, который, несмотря на свой разгульный нравъ, любилъ и уважалъ Мирошева какъ старшаго брата. Прохоръ Кондратьичъ, уложивъ въ небольшой чемоданъ все добро своего барина, набилъ парусинную кису собственнымъ своимъ имуществомъ, положилъ туда же коровай хлѣба, три десятка печеныхъ яицъ и спряталъ за пазуху кожаную кошну, въ которой было рубля полтора мѣдными грошами. И вотъ

въ одинъ прекрасный майскій день, часу въ четвертомъ послѣ обѣда, Кузьма Петровичъ, съ пятью цѣлковыми въ карманѣ и съ надеждою на Господа Бога, Который никогда не покидаетъ сиротъ, выѣхалъ изъ Борисоглѣбска по дорогѣ, ведущей къ Новохоперской крѣпости.

V.

СЕЛЬЦО ХОПРОВКА. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ.

Кузьма Петровичъ, закутанный въ шинель, лежалъ, задумавшись, въ телѣгѣ; Кондратьичъ сидѣлъ на передкѣ, подергивалъ вожжами, посвистывалъ, мурлыкалъ про себя пѣсенку, а лошади плелись нога-за-ногу по гладкой дорогѣ, которая тянулась вдоль густого берега Хопра.

— Да поѣзжай, Прохоръ, скорѣе!—сказалъ Миросшевъ. — Вотъ мы ужъ часа четыре ѣдемъ, а, чай, и пятнадцати верстъ не отѣхали.

— Тише ѣдешь, дальше будешь, Кузьма Петровичъ.

— Да ты ступай хоть маленькою рыскою.

— Рыскою!.. Эхъ, сударь, вѣдь до Москвы не близко. Шагомъ-то полсвѣта объѣдешь, а ступай-ка рысью, такъ на двадцати верстахъ лошадокъ поморишь.. Да что въ Москвѣ-то, батюшка, есть что ль у васъ мѣстечко на примѣтъ?

— Я надѣюсь, что пріатели покойнаго моего батюшки за меня похлопочутъ.

— Пріатели! — повторилъ Прохоръ Кондратьичъ, покачивая головою. — Знаемъ мы этихъ пріателей!

— Да почему жъ ты думаешь, Прохоръ, что никто изъ нихъ не вспомнитъ хлѣба-соли покойнаго моего батюшки?

— Память-то стала у людей коротка, Кузьма Петровичъ. Дѣло бывалое, и у меня важивались пріатели. Однажды—это было еще въ деревнѣ—продалъ я жеребенка; скопилось таки у меня деньжонокъ довольно. Вотъ, думаю: «По милости господской, я сытъ, одѣтъ,

обуть, клѣть у меня важная, полдесятины подъ коноплянникомъ, осьминникъ подъ огородомъ; на что мнѣ деньги! Дай, сварю себѣ бражки!»! Купилъ солоду, хмелю, сварилъ; брага вышла знатная! Кажись, я кличъ не кликалъ, а пріятелей-то у меня развелось видимо-невидимо! Вся дворня, да почитай полдеревни: и садовникъ Кудимычъ, и староста Терентій, и Герасимъ овчинникъ, и кузнецъ Трифонъ—такіе друзья, что и сказать нельзя! Тотъ зайдетъ, посмакуетъ моей бражки, другой... А посудовъ-то, посудовъ, Господи Боже мой!.. Одинъ говоритъ: «Слушай, Прохоръ Кондратьичъ, коли въ чемъ ни есть нужда будетъ, прямо ко мнѣ». Другой таянетъ ковшикъ браги, да и начнетъ: «Что тебѣ, любезный, надо: соломки ли, сѣнца ли,—ни за чѣмъ не постоимъ»! И пригожь-то я и хорошъ! Да вѣстимо: за свой грошъ будешь хорошъ! Пуще всѣхъ хвалился Герасимъ овчинникъ. Бывало, подсядетъ къ ендовѣ, расправитъ усы, да и примется говорить: «Пожалуйста, куманекъ, послушайся меня, не покупай ты себѣ тулупа на базарѣ: ужъ я те, милому дружку, такой полушубокъ слажу, что на, поди»! Вотъ я себѣ и думаю: «Правду говорятъ: кинь хлѣбъ-соль назадъ, будетъ впереди». Да, какъ бы не такъ! Покамѣстъ брага у меня велась, все было ладно, а какъ съѣхалъ опять на квасокъ, такъ пріятелей какъ не бывало. Понадобилось мнѣ охапки двѣ сѣнца; я челомъ Трифону, — куда, и глядѣть не хочетъ! Самому, дескать, надо! Пришла зима, вотъ я зашелъ къ Герасиму, и говорю: «Чтожъ, братъ, полушубокъ-то?» — «Какой?» — «Вѣстимо какой: ты еще мнѣ лѣтомъ сулилъ». — «А деньги принесъ»? — «Пообожди немного, объ Рождествѣ заплачу». — «Вотъ еще съ чѣмъ подѣхалъ! Добро, добро, отваливай!» — «Такъ, пожалуйста, любезный, хотъ старый-то тулупъ почини». — «Самъ вычинишь!» — «Эхъ, братъ, Герасимъ, не хорошо!» — «Что не хорошо? Что я брагу-то твою пилъ? Эко диво! Вотъ на праздникахъ приходи, я и своей поднесу». Что будешь дѣлать, сударь? Ругнулъ его по-

рядкомъ, да и пошелъ прочь. Вотъ они, Кузьма Петровичъ, пріатели каковы! Чай, и господа-то все то-же. У вашего покойнаго батюшки—дай Богъ ему царство небесное!—много было пріателей; они у него каждый день пили, ѣли, прохлаждались; а какъ онъ изволилъ скончаться, такъ врядъ ли по немъ кто-нибудь и панихиду отслужилъ.

— Нѣтъ, Прохоръ, не можетъ статься, чтобъ изъ всѣхъ его знакомыхъ не было ни одного истиннаго пріателя.

— Конечно, сударь, можетъ-быть и есть, — не безъ добрыхъ людей; а все, батюшка, то ли дѣло, еслибъ вы сами были помѣщикомъ, еслибъ у васъ была отчина, душъ тысячу, или двѣ...

— И, Прохоръ, на что мнѣ?.. Двѣ тысячи душъ! Да я не зналъ бы, куда съ ними и дѣваться. Былъ бы только пріютъ, небольшая деревенька, при рѣчкѣ, на видномъ мѣстѣ... Ну, вотъ этакая, видишь, на-лѣво-то.

— Вижу, сударь.

— Что, еслибъ у меня было такое помѣстье! Посмотри, какъ хорошо разбросаны эти избы по берегу Хопра!.. Какой у нихъ веселый видъ! Ну, точно нарисованныя!

— Да, деревушка хоть куда; не великонька, а стоитъ на привольномъ мѣстѣ... Ахъ, батюшки, смотрите-ка, сударь, на задахъ-то словно другая деревня изъ одоньевъ!.. Ну, видно, землицы у нихъ вдоволь!..

— Прохоръ, вѣдь это, кажется, господскій домъ?

— Да, сударь!.. И домъ и службы: вонъ барское гумно... амбары... скотный дворъ,—знатная усадьба!..

— Видишь, передъ домомъ какой прекрасный лугъ до самаго Хопра.

— Вижу, сударь. И лугъ-то, кажется, поемный. То-то сѣнцо-то, я думаю, знатное!

— А позади дома... посмотри: въ гору идетъ какая славная роща!

— Да, Кузьма Петровичъ, кажется, лѣсъ строевой.

— Погляди-ка, Прохоръ, что это на самомъ верху горы,—часовня что ль?

— Часовня, сударь.

— Какой оттуда долженъ быть прекрасный видъ!

— Да, батюшка, мѣсто дальновидное.

— Послушай, Прохоръ, остановимся кормить въ этой деревнѣ.

— Не раненько ли, сударь, будетъ? Мы еще сегодня и двадцати верстъ не отѣхали.

— Что за бѣда!

— Оно, конечно, на первыхъ-то порахъ не худо лошадокъ поберечь...

— Вотъ то-то и есть! Ступай, Прохоръ, — вонъ, кажется, налѣво и поворотъ.

Наши путешественники съѣхали съ большой дороги на проселочную и черезъ нѣсколько минутъ, почти у самой околицы, обогнали крестьянскую бабу, которая шла съ поля.

— Эй, молодица,—закричалъ Кондратьичъ, — какъ зовутъ эту деревню-то?

— Хопровкой, господинъ честной,—отвѣчала крестьянка съ низкимъ поклономъ.

— Что, у васъ стоятъ пускаютъ?

— Какъ же, батюшка: и Федоръ Безпалый пускаетъ и староста Парфень, — вонъ крайняя-то изба съ краснымъ окномъ.

— Спасибо, тетка!

— Не на чемъ, кормилецъ!

Староста Парфень, мужикъ дюжій, съ окладистой русою бородою, встрѣтилъ проѣзжихъ у воротъ своей избы.

— Что, хозяинъ,—спросилъ Кондратьичъ,—есть у тебя овесъ и сѣно?

— Есть, батюшка.

— А насъ покормить есть чѣмъ?

— Милости просимъ! Щи добрыя, баранина, каша съ масломъ; а коли милости вашей въ угоду, такъ и курочку зарѣжемъ.

— Не надо, — сказалъ Мирошевъ, выпрыгнувъ изъ телѣги. — Мнѣ что-то вовсе ѣсть не хочется; а ты, Прохоръ, ужинай.

— Развѣ вы кушать не станете? — спросилъ Кондратьичъ.

— Послѣ. Теперь пойду, погуляю.

Кузьма Петровичъ не успѣлъ отойти и двадцати шаговъ отъ избы, какъ съ нимъ повстрѣчался сѣдой старикъ лѣтъ шестидесяти, въ старомъ, истасканномъ сюртукѣ съ большими мѣдными пуговицами; онъ снялъ свой кожаный картузъ и поклонился очень вѣжливо Мирошеву.

— Ты, вѣрно, дворовый человѣкъ, любезный? — спросилъ Кузьма Петровичъ.

— Дворовый, батюшка.

— Можно погулять по этой рошѣ, что позади господскаго дома?

— Не только въ рошѣ, да и по саду извольте гулять сколько вамъ угодно.

— Такъ, видно, господа ваши здѣсь не живутъ!

— Да у насъ теперь никакихъ господъ нѣтъ, сударь.

— Какъ такъ?

— Вотъ ужъ пять мѣсяцевъ, какъ мы осиротѣли: скончалась наша барышня-кормилица, — дай Богъ ей царство небесное!

— Такъ можно и домъ посмотреть?

— Можно, сударь. Спросите ключницу Федосью, она вамъ покажетъ.

Мирошевъ отправился далѣе, а старикъ пошелъ мимо избы, подлѣ которой староста Парфенъ толковалъ о чемъ-то съ Прохоромъ; межъ тѣмъ, Кузьма Петровичъ подошелъ къ барской усадьбѣ. Подлѣ отпертой калитки сидѣла на скамѣ пожилая женщина въ мухояровой кофтѣ и черныхъ котахъ, надѣтыхъ на босую ногу; на поясѣ у нея висѣла связка ключей.

— Не ты ли, любезная, ключница Федосья? — спросилъ Мирошевъ.

— Я, кормилецъ. Что тебѣ надо?

- Можно погулять по саду?
- Можно, баринъ.
- А посмотрѣть господскій домъ?
- Пожалуй.

Ключница Өедосья встала, и Кузьма Петровичъ вошелъ вслѣдъ за нею на обширный дворъ, поросшій густою крапивою и репейникомъ.

— Вотъ тутъ покойница, бывало, часто изволила чай кушать,—сказала Өедосья, указывая на вѣтвистую черемуху, которая раскинулась зеленымъ шатромъ посреди двора.—Родная ты наша!.. Бывало, по милости своей, и мнѣ чашечку пожалуетъ. Не стало ее, нашей матушки!

Кузьмѣ Петровичу очень полюбилось расположеніе и убранство дома: въ немъ было семь просторныхъ и свѣтлыхъ комнатъ. Въ нихъ стѣны были голыя—это правда, мебель обита простымъ затрапезомъ, не было въ простѣнкахъ зеркалъ, и большая часть печей была съ лежанками; но все было въ такомъ порядкѣ, все имѣло такой чистый и опрятный видъ, какъ будто бы хозяйка дома была на-лицо. Ключница Өедосья, проведя Мирошева черезъ пріемныя комнаты и дѣвичью въ широкій коридоръ, который раздѣлялъ на-двое весь домъ, остановилась у запертыхъ дверей.

— Здѣсь, баринъ,—сказала она,—образная комната покойницы. Вотъ ужъ тутъ есть что посмотрѣть! Ей достались еще отъ бабушки такія богатые иконы, что и Господи!.. Да чтожъ это я ключа-то не найду?.. Ахти, батюшки, да я никакъ оставила его у себя на столѣ!.. Пообожди, кормилецъ; я сейчасъ за нимъ сбѣгаю. Өедосья ушла, а Кузьма Петровичъ, замѣтивъ на противоположномъ концѣ коридора еще другія, до половины растворенныя двери, подошелъ къ нимъ потихоньку, заглянулъ и остановился неподвижно на одномъ мѣстѣ. Прошла минута, двѣ, три, а онъ все стоялъ какъ вкопанный. Чтожъ такое приковало его къ порогу этой комнаты? Въ ней не было ничего особеннаго: нѣсколько кресель, рабочий столъ, небольшой

шкапъ съ книгами, и больше ничего; правда, у стола, съ книгою въ рукѣ, сидѣла дѣвушка лѣтъ семнадцати... Такъ чтожь? Развѣ Кузьма Петровичъ въ жизнь свою не видывалъ молодыхъ дѣвушекъ? О, конечно, онъ много пересмотрѣлъ хорошенькихъ личикъ и въ Россіи, и въ Германіи, и въ Польшѣ; но такого мило-виднаго лица, такой неизъяснимо-плѣнительной фizioноміи онъ никогда не видывалъ. Эта дѣвушка была въ простомъ ситцевомъ платьѣ, длинная русая коса ея висѣла ниже пояса, а на плечи накинутъ былъ алый шелковый платочекъ; румянецъ здоровья и молодости игралъ на бѣлоснѣжныхъ щекахъ ея; глаза ея, устремленные въ книгу, были совершенно закрыты длинными рѣсницами; но Мирошевъ побился бы объ закладъ, что эти глаза прекраснѣе всѣхъ женскихъ глазъ, которыми онъ любовался въ Россіи, Польшѣ и Германіи. Вотъ дѣвушка перестала читать, облокотилась, опустила на руку свою голову и задумалась. На кроткомъ лицѣ ея изображалась спокойная, но глубокая горестъ; вдругъ слезы заблестали на густыхъ ея рѣсницахъ; у Мирошева сердце облилось кровью. «Боже мой!»—подумалъ онъ,—«и это небесное созданіе, этотъ ангелъ несчастливъ».

— Сейчасъ, баринъ, — раздался голосъ въ передней;—иду, иду!

Кузьма Петровичъ отскочилъ отъ дверей.

— Эка память-то у меня!—шептала ключница Федосья, идя навстрѣчу къ Мирошеву.—Ужъ я искала, искала этотъ—прости Господи—проклятый ключъ: и на столѣ и подъ лавкою,—сгибъ да пропалъ! Насилу-то вспомнила, что сама положила его въ ларецъ. Пожалуй, батюшка!—продолжала Федосья, отворяя двери образной.

Они вошли въ небольшую комнату. Одинъ уголокъ ея былъ занятъ широкимъ кивотомъ, наполненнымъ образами; передъ ними висѣла стеклянная лампада. Молча помолились они оба святымъ иконамъ; потомъ Федосья начала ихъ показывать Мирошеву.

— Вотъ, батюшка,—говорила она,—Иверская Божія Матерь: на ней всѣ ризы изъ жемчуга; а вотъ Спасъ Нерукотворенный: говорятъ, вѣнецъ-то на немъ изъ дорогихъ каменьевъ; а это икона Печерскихъ Чудотворцевъ Антонія и Θεодосія: ее привезла покойница изъ Кіева, куда она изволила ѣздить на богомолье, тому лѣтъ двѣнадцать назадъ.

Пересмотрѣвъ поодиоцкѣ почти всѣ иконы и помолясь опять передъ кивотомъ, они вышли изъ образной. Проходя коридоромъ мимо сосѣднихъ дверей, Кузьма Петровичъ заглянулъ въ комнату: въ ней никого уже не было.

— Что, любезная, — спросилъ Мирошевъ, когда они вышли на крыльцо,—теперь въ этомъ домѣ никто не живетъ?

— Никто, батюшка.

— Какъ же мнѣ показалось въ одной комнатѣ... въ коридорѣ...

— А что тебѣ, баринъ, показалось?

Кузьма Петровичъ вспыхнулъ.

— Развѣ тамъ кто былъ?—продолжала Θεодосья.

— Да... мнѣ показалось... я такъ, нечаянно заглянулъ въ эту комнату... въ ней какъ будто кто-то сидѣлъ... кажется, дѣвушка...

— А!.. Это вѣрно Марья Дмитріевна.

— А кто она такая?

— Сирота, батюшка, офицерская дочка. Вотъ изволишь видѣть: годовъ десять тому назадъ остановился проѣздомъ въ нашей деревни одинъ служивый, какой-то отставной офицеръ; съ нимъ была дочка лѣтъ шести,—вотъ эта самая, что ты, баринъ, видѣлъ. Батюшка ея пробирался въ Москву, чтобъ пристроить себя къ мѣстечку; да, видно, ему на роду было написано не выѣзжать изъ нашей деревни: схватила его какая-то немочь, отнялись руки и ноги; началъ онъ, сердечный, хилѣть да хилѣть, да недѣли черезъ три Богу душу и отдалъ. Покойная наша барышня была человѣкъ милостивый: она проѣзжаго во время болѣзни

не покидала, а какъ онъ умеръ, взяла сироту къ себѣ въ домъ, взростила ее, вскормила и хотѣла ей, какъ родной дочери, укрѣпить все свое имѣнье. Я сама это не разъ слышала отъ покойной барышни; да, видно, Господу Богу не угодно было, чтобъ наша деревня досталась этой сиротинкѣ. Покойница собиралась да собиралась,—все хотѣла сама за этимъ въ Саратовъ ѣхать, а незваная-то гостя и шастъ на дворъ!.. Вотъ этакъ какъ нынче бы занемогла, а завтра по-утру и не стало ея, нашей кормилицы!

— Такъ эта бѣдная сирота осталась безъ куса хлѣба?

— Кусокъ-то хлѣба найдемъ, батюшка. Покамѣстъ я жива и живъ Лаврентій Сидорычъ и его сожительница, такъ она съ голоду не умретъ: послѣднія крохи пополамъ съ нею раздѣлимъ.

— А кто этотъ Лаврентій Сидорычъ?

— Онъ былъ при покойницѣ управителемъ... Да ты, баринъ, какъ шелъ сюда, такъ съ нимъ повстрѣчался.

— Такъ вы очень любите эту сироту?

— Какъ же, батюшка! Вѣдь Марья Дмитріевна не человѣкъ, а ангелъ во плоти. Вотъ прошлаго года Лаврентій Сидорычъ былъ при смерти боленъ, а жена-то его на ту пору была въ Саратовѣ: ѣздила съ родными повидаться,—кто за нимъ ходилъ? Марья Дмитріевна! Кто просиживалъ подлѣ его постели цѣлыя ночи? Марья Дмитріевна! Бывало начну говорить: «Барышня, ступай почивать; вѣдь ты этакъ себя совсѣмъ уходишь; поди, матушка, поди: я посижу!» А она и слышать не хочетъ. «Ты, дескать, Оедосьюшка, человѣкъ старый, тебѣ покой надобенъ, а я и днемъ высплюсь». Да что Лаврентій! Кто въ деревнѣ ни занеможетъ, или какое горе кому пошлетъ Господь, — Марья Дмитріевна тутъ какъ тутъ!.. А ужъ умна-то какъ!.. Грамотница какая! Вотъ когда, бывало, мы всѣмъ домою говѣемъ, она изводитъ читать намъ и утреннія и вечернія молитвы; да еще какъ: лучше

всякаго дьячка, батюшка! Вотъ съ годъ тому назадъ и меня отчитывала, окаянную грѣшницу!

— Какъ отчитывала?

— Да, кормилецъ! Умерла у меня дочка лѣтъ двадцати-пяти,—одна только и была, какъ порохъ въ глазу, вся была и лицомъ и обычаемъ въ покойнаго мужа: такая же смиренная и богомольная, и такъ же, какъ онъ, умерла сухоткою. Вотъ я, батюшка, съ горя-то со всѣмъ обезумѣла; плачу съ утра до вечера, какъ рѣка льюсь, и мѣсяцъ, и два, и три; да это еще ничего: пришелъ на меня такой грѣхъ, что страшно вымолвить, батюшка! Ну, вотъ шепчетъ мнѣ кто-то на-ухо: «Что, дура, молилась, много вымолила?» Вѣришь ли, баринъ, церковь Божья опостылѣла; только и думаю, какъ бы самой на себя руки наложить. Ужъ меня увѣщевали, увѣщевали, и покойная барышня и отецъ духовный—все ничего! Сажу цѣлый день въ уголку, разливаюсь горькими слезами да на Господа Бога жалуюсь. Вотъ Марья Дмитріевна начала ко мнѣ по вечерамъ приходить да читать отъ божественнаго и Житія Святыхъ, и Апостолъ, и всякія другія разныя книги. Этакъ недѣльки черезъ двѣ, со мною стало какъ будто бы полегче: лукавый унялся шептать мнѣ на-ухо, а тоска все меня не покидала; вотъ такъ лиходѣйка сердце у меня и сосетъ; да вдругъ — что ты думаешь, батюшка?—какъ рукой сняло!

— Какъ же это?

— А вотъ какъ. Вижу я во снѣ, что я какъ будто бы въ какой-то степи: ни деревца, ни травки — все голо; и куда ни поглядишь, этой степи и конца нѣтъ; а небо-то,—ну, такъ бы и не смотрѣла: такое темное, туча на тучѣ; только вдали передо мною чуть-чуть какъ будто бы заря занимается. Я туда; иду, иду... а заря все больше да больше! Вотъ я какъ будто бы на какую-то горку взошла; глядь внизъ, — Господи Боже мой!.. Что за рай небесный такой: и лѣсочки, и ручейки, и зеленныя поляны: а цвѣты-то какіе, цвѣты!.. А небо свѣтлое, какъ солнце, и отъ него

такъ и пышетъ Божьей благодатью и прохладою. Вотъ я вижу, ко мнѣ кто-то идетъ... Ближе, ближе... Ахти, моя Дуняша!.. Она протянула ко мнѣ руки, я бросилась къ ней... Да вдругъ, гляжу, между нами рѣка; вода такая черная, мутная, и кипитъ какъ въ котлѣ. Я хочу кинуться въ рѣку, — да нѣтъ, что-то не пускаетъ. Вотъ дочка моя на томъ берегу и заговорила: «Матушка, вѣдь эта рѣка твои слезы. Полно тебѣ роптать и гнѣвить Бога; перестань обо мнѣ плакать: дай этой рѣкѣ пересохнуть, а не то она будетъ становиться все шире да шире, и мы вѣкъ съ тобой не сойдемся». Тутъ вдругъ все потемнѣло; я стала просыпаться, и въ просонкахъ точно слышала, что кто-то меня поцѣловаль и шепнулъ на-ухо: «Прощай, матушка, увидимся!» Вотъ какъ я совсѣмъ очнулась, — ну, батюшка, — откуда слезы взялись, да только ужъ не такія, какъ прежде: тѣ мнѣ сердце такъ и жгли, а отъ этихъ ему становилось все легче да легче. Видно, оттого, что я ужъ грустила не по дочери, а плакала о грѣхѣ моемъ... Ахти, — продолжала Федосья, — да ужъ солнышко-то садится!.. Ну, баринъ, какъ я съ тобой заболталась; а у меня дѣло есть... Прощенья просимъ, батюшка! Коли хочешь погулять по саду, такъ вонъ калитка; она отперта.

Когда Мирошевъ, поблагодаривъ словоохотную ключницу Федосью, вошелъ въ садъ, его обдало ароматомъ. Въ одномъ углу росла кустами пахучая *заря*, въ другомъ — подымался среди полевыхъ цвѣтовъ душистый калуферъ; цѣлыя лужайки были усыпаны благовонными ландышами; куртины вишенъ и черешни, сотни яблонь, грушевыхъ деревьевъ и огромныя черемухи въ полномъ цвѣту росли по обѣимъ сторонамъ широкой дорожки, которая вела прямо въ рощу. Въ одномъ мѣстѣ, посреди кустовъ смородины, малины и крыжовника, журчалъ по камешкамъ невидимый ручеекъ, разливая вокругъ себя свѣжесть и прохладу.

— Ахъ, какъ здѣсь хорошо! — сказалъ вполголоса Мирошевъ. — И все это должно было принадлежать

ей... Бѣдная сирота! Такъ добра, такъ прекрасна и такъ несчастлива!.. О, еслибъ зависѣло отъ меня, еслибъ я былъ душеприказчикомъ покойницы и имѣлъ право исполнить ея послѣднюю волю, съ какою-бъ радостью я сказалъ этой несчастной сиротѣ: «Вотъ твое наслѣдіе, возьми его! Будь хозяйкою, будь ангеломъ этого земного рая!..» Бѣдная, бѣдная дѣвушка!.. Ты ѣшь чужой хлѣбъ, живешь по милости людей, которые сами живутъ по чужой милости. Но ты молода и прекрасна, Господь, вѣрно, пошлетъ тебѣ добраго мужа; а я... я такой же сирота, какъ и ты; но, мнѣ кажется, еще несчастнѣе: я видѣлъ тебя и долженъ навсегда съ тобой разстаться!.. Черезъ нѣсколько часовъ я помчусь... помчусь!.. То-есть потащусь шагомъ въ Москву, гдѣ, можетъ-быть, никто не встрѣтитъ меня ласковымъ привѣтомъ; гдѣ, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ забыли даже и имя отца моего!..

Мирошевъ горько заплакалъ, да и было отъ чего: онъ не понималъ самъ, что происходило въ душѣ его, однакожъ чувствовалъ, что теперь сиротство и бѣдность не составляютъ уже главной причины его грусти: что его ждетъ еще другое горе, несравненно ужаснѣе и бѣдности, и сиротства, и всѣхъ возможныхъ бѣдствій. Кузьма Петровичъ не умѣлъ объяснить себѣ этого темнаго чувства, такъ мы скажемъ за него: онъ въ первый разъ въ жизни и страстно влюбился!.. Да, влюбился! И въ кого же? Въ бѣдную дѣвушку, которая никогда его не видала и, вѣроятно, никогда не увидитъ.

Размышляя такимъ образомъ, Кузьма Петровичъ дошелъ до конца сада: онъ отыскалъ небольшую калитку, вышелъ въ дубовую рощу и, по извилистой тропинкѣ, сталъ подыматься въ гору. Солнечные лучи не проникали сквозь сросшіяся вершины столѣтнихъ дубовъ; но внизу не было ни кустовъ, ни валежника, и вѣтерокъ пробирался свободно между деревьями. Пройдя шаговъ триста, Мирошевъ вышелъ изъ рощи. Остатокъ холма до самой вершины была по-

крыта частымъ кустарникомъ; вдали шумѣлъ горный источникъ, и подымалась кровля часовни. Кузьма Петровичъ, отдохнувъ нѣсколько времени, началъ взбираться выше, и черезъ нѣсколько минутъ стоялъ уже въ часовнѣ, передъ иконой Божіей Матери, утвержденной въ стѣнѣ, надъ самымъ истокомъ родника; онъ билъ ключомъ изъ-подъ камня и переливался съ шумомъ черезъ дубовый срубъ, который служилъ ему бассейномъ. Мирошевъ вышелъ изъ часовни, поглядѣлъ вокругъ себя, и вся грусть его исчезла, онъ забылъ все, когда передъ нимъ развернулся роскошный видъ Хопра и его окрестностей. Не знаю, какъ вы, любезный читатель, а я совершенно согласенъ съ Карамзинымъ, что все можетъ надоесть и приглядѣться, кромѣ прекрасныхъ видовъ. Не оттого ли, что все, создаваемое людьми, мертво, а все, творимое Богомъ живетъ собственною своею жизнію и говоритъ душѣ нашей, а не земному разуму, который, какъ и все земное, непостояненъ, измѣнчивъ и лживъ. Великолѣпныя зданія, гениальныя произведенія живописцевъ и ваятелей, конечно, приводятъ насъ въ восторгъ; но это восторгъ обдуманнѣй, холоднѣй; мы удивляемся дарованію художника, разбираемъ по правиламъ искусства его произведеніе, и едва ли не менѣе наслаждаемся самымъ созданіемъ художника, чѣмъ мыслію, что мы можемъ понять и оцѣнить его; а если вы также художникъ, то не примѣшивается ли къ этому чувству еще другое, которое отравляетъ всякое наслажденіе, губитъ все прекрасное, и можетъ самый рай сдѣлать адомъ,—чувство зависти и обиженного самолюбія? То ли бываетъ съ нами, когда мы любуемся твореніемъ Божіимъ? Что чувствуетъ душа ваша, когда вы смотрите съ высокаго холма на эту живую зелень обширныхъ равнинъ и тѣнистыхъ рощъ нашей родины? На эту кормилицу Россіи, широкую Волгу, вдоль которой, какъ бѣлыя чайки, несутся подъ всѣми парусами красивыя струи и расшивы? Что чувствуетъ душа ваша, когда вы въ первый разъ видите передъ собою

этотъ земной образъ вѣчности, этотъ безбрежный океанъ? Когда вы смотрите на снѣжныя вершины облачныхъ горъ, и въ ушахъ вашихъ раздается громовой гулъ, современныхъ міру, вѣчно шумящихъ водопадовъ? Разбираете ли вы тогда по правиламъ ледяной эстетики, въ чемъ состоятъ красоты этой дикой природы? О, нѣтъ, нѣтъ! Вы можете наслаждаться и молча благоговѣть передъ величіемъ Божиимъ. Не потухаютъ ли тогда всѣ страсти въ груди вашей, не радуется ли душа, проникнутая какимъ-то небеснымъ спокойствіемъ и кроткимъ умиленіемъ? Вы чувствуете всю вашу ничтожность и всю благодать Того, Который, создавъ этотъ дивный свѣтъ, сказалъ человѣку: «Ты будешь его владыкою, потому что сей конечный міръ и всѣ преходящія, подобно ему, безчисленные міры не значатъ ничего передъ одною безсмертною душою твоею, ибо она одна можетъ познавать и любить Меня».

Съ полчаса стоялъ Кузьма Петровичъ на одномъ мѣстѣ. Онъ молча любовался разнообразіемъ и прелестью видовъ, которые измѣнялись при каждомъ его движеніи. Его очарованный взоръ то обѣгалъ съ быстротою мысли обширный небосклонъ, обставленный селами, и старался проникнуть за темный боръ, который тянулся дымчатою полосою позади Новохоперской крѣпости, то скользилъ по голубымъ струямъ изгибистаго Хопра, то носился надъ его живописными берегами и, перелетая съ одного холма на другой, отдыхалъ, наконецъ, на зеленѣющихъ поляхъ, устланныхъ рощами. Когда Мирошевъ оборотился назадъ, у ногъ его, влѣво отъ господской усадьбы, мелькнули опять голубыя воды Хопра; вся деревня, въ которой онъ остановился, была передъ нимъ какъ на ладони, такъ что онъ могъ видѣть все, что происходило на улицѣ. Около двора старосты Парфена толпился народъ, по улицѣ взадъ и впередъ бѣгали ребятишки, крестьянскія бабы въ нарядныхъ сарафанахъ выходили изъ избъ,—во всемъ было замѣтно какое-то осо-

бенное движеніе, какая-то общая суета. «Это что-нибудь не даромъ», подумалъ Кузьма Петровичъ. «Когда я пошелъ гулять, на улицѣ никого не было, а теперь она запружена народомъ, и, кажется, всё въ такихъ хлопотахъ... Вѣрно, что-нибудь случилось необычайное». Желая узнать скорѣй причину этого народнаго сходбища, Мирошевъ пошелъ по тропинкѣ, которая вела не къ барской усадьбѣ, а прямо на зады деревни.

VI.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ И НЕОЖИДАННОЕ ПРИКЛЮЧЕНІЕ.

Тропинка, по которой шелъ Кузьма Петровичъ, свела его въ нѣсколько минутъ къ подошвѣ холма. Пробираясь вдоль огородовъ и коноплянниковъ деревни, онъ дошелъ, не встрѣтивъ никого, до крайней избы, перелѣзъ черезъ плетень и очутился на дворѣ у старосты Парфена. У самыхъ дверей избы съ нимъ повстрѣчалась дородная и пригожая баба въ красномъ кумачномъ сарафанѣ и въ широкой шелковой фатѣ: это была хозяйка дома, старостица Василиса. Увидѣвъ Мирошева, она, не говоря ни слова, повалилась ему въ ноги, и въ то же самое время позади раздался голосъ Прохора Кондратьича:

— А, батюшка, Кузьма Петровичъ! Насилу-то вы пришли!.. Пожалуйте въ избу, пожалуйста!

— Да что у васъ здѣсь за суматоха? — спросилъ Мирошевъ.

— Пожалуйте въ избу, пожалуйста!

— Ну, вотъ я и вошелъ, — сказалъ Кузьма Петровичъ, садясь на лавку. — Теперь скажи мнѣ, что такое случилось?

— Такъ-съ, ничего-съ! — проговорилъ Прохоръ такимъ чуднымъ голосомъ, что баринъ его вѣрно бы испугался, еслибъ не замѣтилъ съ перваго взгляда необычайную веселость, которая выражалась во всѣхъ чертахъ лица добраго Кондратьича, а особливо въ его

небольшихъ, прищуренныхъ глазахъ, которые такъ и блистали радостію.

— Ты что-то отъ меня скрываешь, Прохоръ? — сказалъ Мирошевъ.

— Помилуйте, сударь, что мнѣ отъ васъ скрывать!

— Такъ и ты не знаешь, отчего въ деревнѣ сдѣлалась такая тревога?

— Да никакой тревоги нѣтъ, Кузьма Петровичъ! Мужички собрались встрѣчать своего новаго помѣщика.

— А развѣ его ждутъ?

— Видно, что такъ, сударь. Ну, что, батюшка, погуляли?

— Какъ же!

— Каково, сударь, помѣстье?

— Прекрасное!

— Диковинное, сударь!.. Вы изволили быть въ барскихъ хоромахъ?

— Былъ.

— И все осматривали?

— Кажется, все. Премиленскій домикъ!

— Домикъ? Помилуйте, какой это домикъ! Восемь большихъ покоевъ, не считая двухъ кладовыхъ и одного чулана съ окномъ, да на антресоляхъ четыре комнаты. А службы-то какія!.. Вы ихъ изволили видѣть?

— Нѣтъ.

— А на скотномъ дворѣ были?

— Нѣтъ.

— А на барскомъ гумнѣ?

— И тамъ не былъ.

— Такъ гдѣ же вы были, Кузьма Петровичъ?

— Я былъ на горѣ.

— Эхъ, сударь, что гора, — гора сама по себѣ! Нѣтъ, вы посмотрѣли бы, какія угоды! А садикъ-то, сударь, садикъ!

— Да, очень хорошъ.

— То-то же, батюшка! Ну, что, сударь, еслибъ это помѣстье было наше?

— И, полно, Прохоръ! Охота тебѣ вздоръ говорить.

— Да почему жъ и не поговорить, Кузьма Петровичъ? Вѣдь отъ этого нашей казны не убудеть. А что, батюшка, еслибъ, въ самомъ дѣлѣ, эта деревня была ваша, вѣдь вы бѣ ужъ тогда не поѣхали въ Москву искать себѣ мѣстечка?

— Помилуй, зачѣмъ?

— Не правда ли, вѣдь отъ добра добра не ищутъ?

— Разумѣется; я навсегда бы здѣсь остался.

— И были бы счастливы?

— О, совершенно счастливы!

— Такъ извольте же быть счастливы!—закричалъ такимъ нелѣпымъ голосомъ Кондратычъ, что Мирошевъ вскочилъ съ лавки.

— Что ты, что ты, Прохоръ? — сказалъ онъ. — Перекрестись!

— И сто разъ перекрестимся, батюшка, и благодарственный молебенъ отслужимъ!.. Эй, Парфень, — продолжалъ Кондратычъ, выглянувъ въ окно, — ступай со всѣмъ миромъ!

Прежде чѣмъ Мирошевъ успѣлъ опомниться отъ удивленія, двери растворились и толпа крестьянъ ввалила въ избу. Впереди всѣхъ вошелъ староста Парфень; онъ держалъ на деревянномъ блюдѣ каравай хлѣба, на которомъ насыпана была соль и лежало пять цѣлковыхъ; рядомъ съ Парфеномъ, держа подъ мышкою индѣйскаго пѣтуха, стоялъ бывший управитель, Лаврентій Сидорычъ. Помолясь иконамъ, староста подошелъ къ столу, поставилъ на него каравай хлѣба и, вмѣстѣ со всѣми крестьянами, повалился въ ноги Мирошеву.

— Что это значитъ?—проговорилъ Кузьма Петровичъ, внѣ себя отъ удивленія. — Да встаньте, Бога ради!.. Что вы?.. Встаньте, говорятъ вамъ!

Парфень всталъ, а за нимъ и всѣ крестьяне.

— Зачѣмъ вы пришли? Чего вы хотите?

— Какъ же, батюшка, — сказалъ Парфень: — вѣдь ты нашъ родной... кормилецъ нашъ!..

— Кормилецъ нашъ! — повторили всѣ крестьяне и повалились опять въ ноги.

— Да полноте, — вскричалъ Мирошевъ: — что вы мнѣ кланяетесь?

— Они, батюшка, пришли къ вамъ съ поклономъ, — прервалъ Кондратычъ.

— Ко мнѣ?

— Ну да, сударь! Вѣдь это ваши мужички.

— Мои мужички?

— Ваше благородіе, — сказалъ униженнымъ голосомъ Лаврентій, передавая своего индѣйскаго пѣтуха Прохору Кондратычу, — вѣдь вы Кузьма Петровичъ Мирошевъ?

— Да, я отставной поручикъ, Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

— Ваша матушка, Екатерина Семеновна, была урожденная княжна Бирдюкова?..

— Да.

— А вѣдь покойная-то наша барышня, Елена Семеновна, была также княжна Бирдюкова, сестрица вашей матушки и родная ваша тетушка.

— Ну, сударь, — вскричалъ Прохоръ, — изволите ли понимать теперь?

Кузьма Петровичъ не отвѣчалъ ни слова: онъ совершенно обезумѣлъ. Все это казалось ему не сномъ, — онъ чувствовалъ, что не спитъ, — но какимъ-то обаяніемъ, колдовствомъ, волшебною сказкою, въ которой, *«по шущему вельнїю, по моему прошенїю»*, исполняются всѣ желанія какого-нибудь Ивана Царевича. Бѣдный, безпріютный сирота видитъ проѣздомъ хорошенькую деревеньку, останавливается въ ней, чтобъ полюбоваться ея прелестнымъ мѣстоположеніемъ; онъ очарованъ, онъ думаетъ: «О, еслибъ этотъ благословенный уголокъ земли принадлежалъ мнѣ, какъ бы я былъ счастливъ!» И вдругъ желанье его исполняется, это помѣстье становится его собственностію... За минуту онъ не зналъ, куда преклонить свою голову, а теперь онъ баринъ, помѣщикъ!.. Да отъ этого хоть какая голова закружится!

— Возможно ли? — проговорилъ, наконецъ, Миросшевъ. — Такъ все, что я видѣлъ, чѣмъ любовался...

— Все ваше, батюшка, — прервалъ Кондратычъ, — все ваше!.. Ахъ, Ты, Господи, Боже мой! — продолжалъ онъ. — Подлинно, правду говорятъ, что сердце въ насъ вѣщунъ! Ну, что вамъ вздумалось остановиться въ этой деревнѣ? Кабы не вы, такъ мы бы сюда и не заѣхали. Ужъ какъ же и я, сударь, удивился!.. Толкуемъ мы у воротъ съ Парфеномъ, гляжу, — ахти, батюшки, Лаврентій Сидорычъ!.. Мы съ нимъ ужъ лѣтъ двадцать-пять не видались, а я тотчасъ его узналъ. «Ба, ба, ба, куманекъ, ты какъ здѣсь?» — «А ты, Прохоръ Кондратычъ?» — «Я здѣсь съ моимъ бариномъ, его благородіемъ, Кузьмою Петровичемъ Миросшевымъ». — «Кузьмою Петровичемъ? Ужъ это не сынокъ ли Петра Кузьмича и Екатерины Семеновны Миросшевыхъ?» — «Ну, да!» — «Ахъ, батюшки, да вѣдь онъ нашъ помѣщикъ!» — «Какъ такъ?» — «А вотъ какъ!» И началъ мнѣ рассказывать. Ну, такъ и есть! Вѣдь у покойной княжны Елены Семеновны только и была одна сестрица, ваша матушка, а у васъ также нѣтъ никого, ни сестеръ, ни братьевъ, такъ, разумѣется, наслѣдникъ-то вы.

— Ваше благородіе, батюшка, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Лаврентій, — осмѣлюсь вамъ рабски доложить: не благоугодно ли будетъ вамъ дожаловать въ ваши барскія хоромы?

— Въ самомъ дѣлѣ, сударь, — подхватилъ Кондратычъ, — что намъ теперь гостить у Парфена: вѣдь ужъ мы съ вами не проѣзжіе.

— А тамъ Федосья и столъ накрыла для вашей милости, — прибавилъ Лаврентій. — Просимъ покорно, батюшка, чѣмъ Богъ послалъ!

— А я, сударь, — шепнулъ Кондратычъ, — отправилъ на село купить два ведра вина, да Парфенъ на радостяхъ кланяется вамъ бочкой браги: надобно вашихъ мужичковъ попотчевать... Э, да вонъ и бабы собрались на улицу. Пожалуйте, Кузьма Петровичъ, пожалуйте!

Хотя Мирошевъ все еще былъ въ какомъ-то чаду и съ трудомъ понималъ то, что ему говорили, однакожь, послушался Прохора и вышелъ изъ избы. На улицѣ дожидались его толпа крестьянокъ и старостиха Василиса, которая не могла вмѣстѣ съ ними совершить обычнаго поклона, потому что держала обѣими руками огромное рѣшето съ яйцами. Торжественное шествіе Мирошева, задержанное на нѣсколько минутъ этою новою депутаціею, продолжалось отъ избы старосты Парфена до барскаго двора, черезъ всю деревню. Зрителей было мало, потому что въ этомъ ходѣ участвовали почти всѣ обыватели Хопровки; кой-гдѣ стояли на завалинахъ полунатія дѣвчонки, высовывались изъ подворотенъ бѣловолосыя головки ребятишекъ и выглядывали изъ оконъ покрытыя морщинами лица дряхлыхъ стариковъ и старухъ, которые слѣзли съ полатей, чтобъ взглянуть, хотя издалека, на своего новаго барина. У растворенныхъ воротъ господскаго двора встрѣтили Кузьму Петровича ключница Ѳедосья, скотникъ Антонъ, садовникъ Трифонъ, сожительница Лаврентія—барская барыня Анисья, и пять или шесть дворовыхъ ребятишекъ. Взоры Мирошева невольно устремились на небольшой флигель, въ которомъ жилъ Лаврентій: всѣ окна были открыты, кромѣ одного, задернутаго бѣлою занавѣскою.

— Соколъ ты нашъ ясный, родной ты нашъ! — сказала Ѳедосья, кланяясь Мирошеву. — Милости просимъ!.. Да не погнивайся на меня, дуру, что я давеча тебя не признала. Ахъ, я глупая, глупая! Ну, что бы мнѣ спросить: «Кто, дескать, ты, батюшка?» Такъ нѣтъ, словно замленіе какое сдѣлалось!..

Мирошевъ не отвѣчалъ ни слова.

— Ахти, батюшки,—прошептала Ѳедосья, — ужъ баринъ-то никакъ и впрямъ на меня гнѣваться изволить?.. Посмотри-ка, Аксинья, отворотился, взглянуть не хочетъ.

Въ самомъ дѣлѣ, Кузьма Петровичъ не слышалъ ничего и не замѣчалъ Ѳедосьи; ему показалось, что

занавѣска, на которую обращено было все его вниманіе, начинаетъ шевелиться; вотъ мелькнули бѣленькіе пальчики, занавѣска отдернулась... Это она!

— Гляди-ка, Антонъ,—шепнула Өедосья,—какъ у него щечки-то разгорѣлись,—такъ и пышутъ!.. Вѣдь онъ точно гнѣвается... Ну, пропала моя головушка!..

— И, полно, сватья, что ты!—сказала вполголоса Аксиныя. За что ему гнѣваться? Эко диво, что ты его не признала!.. Развѣ ты святой духъ какой? Да онъ же, слышно, баринъ такой добрый! Поразговорись-ка о немъ съ Прохоромъ Кондратычемъ.

Занавѣска давно уже опять задернулась, а Мирошевъ все еще смотрѣлъ на окно.

— Вы, вѣрно, изволите смотрѣть на эти людскія?—сказалъ Лаврентій.—Да, батюшка, кровелька-то на нихъ плоха становится, стропила поразѣхались, мѣстами течъ. Не прикажете ли ихъ покрыть соломкою? Вѣдь это дранье только слава - то; а, право, хуже всякой соломы.

— А, это ты, Өедосья?—сказалъ Мирошевъ, замѣтивъ наконецъ ключницу.

— Я, батюшка, я!.. Такъ ты не изволишь гнѣваться?

— За что?

— А вотъ что я давеча-то...

— Напротивъ, я тебѣ очень благодаренъ. Ты человекъ добрый, Өедосья, и Лаврентій также. Вы меня еще не знаете, а я знаю васъ.

— Какъ же такъ, кормилецъ?

— Да, Өедосья. Кто помнить добро и не оставляетъ сиротъ, тотъ ужъ, вѣрно, человекъ добрый.

— Вотъ ѣдетъ и Парфенъ съ брагою!—вскричалъ Прохоръ.—Не извольте, сударь, беспокоиться: ужъ я вашихъ мужичковъ угощу, а вы пожалуйте въ домъ да поужинайте. Вѣдь вы сегодня изволили только завтракать.

— Мнѣ что-то вовсе ѣсть не хочется.

— Съ радости, батюшка, съ радости! Ну, да это

само по себѣ; и я радуюсь, сударь, а зайду шей похлевать къ Лаврентію Сидорычу. Ступайте-ка, батюшка, да поужинайте на здоровье.

Кузьму Петровича ожидалъ въ столовой накрытый столъ. Около него суетился буфетчикъ Тома, племянникъ Лаврентія, который также вошелъ въ столовую, вслѣдъ за своимъ новымъ баринномъ, и сталъ съ тарелкою позади его стула.

Ужинъ продолжался не долго.

— Если вамъ угодно почивать, батюшка,—сказалъ Лаврентій, когда Мирошевъ всталъ изъ-за стола, — такъ пожалуйста въ спальню: тамъ все приготовлено.

— Хорошо, любезный; да войди сюда, въ гостиную: мнѣ надобно поговорить съ тобою.

— Слушаю, сударь.

Кузьма Петровичъ горѣлъ какъ на огнѣ: онъ очень хотѣлъ поговорить съ Лаврентіемъ о воспитанницѣ покойной его барыни, но никакъ не могъ собраться съ духомъ: при одной мысли объ этомъ, сердце его сжималось, и слова замирали на языкѣ. Минутъ пять продолжалось молчаніе; Кузьма Петровичъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ, а Лаврентій стоялъ, вытянувшись въ струну, у дверей. Не зная, какъ начать разговоръ, Мирошевъ подошелъ къ окну, постучалъ пальцами въ стекло и сказалъ:

— Какой прекрасный садъ!

— Да, батюшка, хорошъ!—проговорилъ Лаврентій.

— И какое множество цвѣтовъ!

— Да-съ; покойница ихъ очень жаловала.

— Что она... одна этимъ занималась?

— Никакъ нѣтъ-съ.

— Такъ у ней были помощники?

— Какже-съ! Садовникъ Трифонъ.

Мирошевъ замолчалъ.

— Да, сударь,—продолжалъ Лаврентій, желая поддержать разговоръ, — бывало, весною, покойница съ утра до вечера въ саду. Она изволила надсматривать, Трифонъ сажаетъ цвѣты, а барышня поливаетъ.

— Барышня?—прервалъ Кузьма Петровичъ, оборотясь къ Лаврентію.—А, да, знаю! Воспитанница покойной тетушки?

— Точно такъ-съ.

— Кто она такая?

— Офицерская дочь, Марья Дмитриевна Терпугова.

— Гдѣ жъ она теперь.

— Здѣсь, сударь. Послѣ смерти покойной вашей тетушки, она живетъ со мною.

— Въ людской?

— Да, сударь.

— Въ людской!—повторилъ про себя Мирошевъ.

Щеки его пылали; онъ прошелъ молча раза два по комнатѣ, потомъ остановился и, не глядя на Лаврентія, спросилъ:

— Ну, чтожъ она намѣрена теперь дѣлать?

— Да что вамъ будетъ угодно, батюшка Кузьма Петровичъ.

— Мнѣ? Почему же мнѣ? Послушай, Лаврентій, пока здѣсь не было хозяина, она могла жить съ тобой и съ Федосьею въ людской, обѣдать вмѣстѣ съ вами; но теперь...

— Такъ чтожъ?—прервалъ Лаврентій. — Если вы позволите мнѣ держать ее попрежнему.

— Помилуй, да развѣ это можно?..

— Сдѣлайте милость, батюшка! Я отъ васъ и верна лишняго не потребую. Если вы только моею мѣщины не убавите, такъ будетъ и съ нея и съ меня.

— Да развѣ объ этомъ рѣчь, Лаврентій? — вскричалъ Мирошевъ. — Какъ тебѣ не стыдно! Когда здѣсь никого не было, такъ она поневолѣ должна была жить съ вами; а теперь... Ну, подумай хорошенько: прилично ли ей, благородной дѣвицѣ, жить въ людской и обѣдать съ дворовыми людьми, когда самъ баринъ на лицо.

— Конечно, сударь, — сказалъ Лаврентій, почесывая въ головѣ, — что и говорить — обидно: офицерская дочь...

— Вотъ то-то и есть!

— Да дѣлать-то нечего, батюшка! Не такъ живи, какъ хочется, а такъ, какъ Богъ велѣлъ.

— Послушай, Лаврентій: еслибъ я попросилъ ее жить въ домѣ и обѣдать вмѣстѣ со мною...

Лаврентій не отвѣчалъ ни слова.

— Ну, какъ ты думаешь?

— Власть ваша.

— Я спрашиваю тебя не объ этомъ: я хочу знать твое мнѣніе... Да чтожъ ты переминаешься? Говори прямо. Не правда ли, что это будетъ лучше?

— Полно, лучше ли, сударь! Не погнѣвайтесь, батюшка, Кузьма Петровичъ! У васъ, вѣрно, нѣтъ ничего дурного на умѣ, да человѣкъ вы молодой, Марьѣ Дмитріевнѣ также съ небольшимъ шестнадцать годковъ; такъ, воля ваша, а ей не приходится жить съ вами въ одномъ домѣ. Добро бы она была вамъ съ родни — двоюродная или хоть внучатная сестрица, а то, — помилуйте: что скажутъ сосѣди?..

— Да, это правда, — прошепталъ Мирошевъ.

Онъ прошелъ молча нѣсколько разъ по комнатѣ, потомъ остановился и сказалъ Лаврентію:

— А ты думаешь, что злые люди ничего не скажутъ, если она будетъ жить въ людской, а не въ домѣ? Вѣдь ты не станешь же держать ее за замкомъ?.. Мы будемъ съ нею встрѣчаться.

— Такъ, сударь! Да все это не то; и злой человѣкъ разсудить, что еслибъ что ни есть такое было, такъ она бы не стала жить въ людской избѣ и ѣсть съ нами гречневую кашу да горохъ. Конечно, всего бы лучше, еслибъ Господь Богъ послалъ ей женишка.

У Мирошева замерло сердце.

— Когда ваша покойная тетюшка еще здравствовала, — продолжалъ Лаврентій, — такъ жениховъ-то довольно наклевывалось; вотъ, напримѣръ, Степанъ Ивановичъ Малышевъ два раза сваху подсылалъ.

— Малышевъ? А кто онъ такой?

— Гарнизонный прапорщикъ изъ Новохоперска.

Собой не красивъ и, говорятъ, стаканчика придерживается; да ужъ теперь, гдѣ разбирать, лишь только бы кто ни есть посватался...

— А этотъ Малышевъ ужъ не сватается?—спросилъ съ живостію Мирошевъ.

— Вотъ то-то и есть, никакъ передумалъ. Бывало, въ недѣлю раза три пріѣдетъ, а какъ узналъ, что послѣ покойницы духовной не осталось, такъ и ногу переломилъ.

— Подлецъ!—вскричалъ Кузьма Петровичъ, вздохнувъ свободнѣе.

— Да Богъ милостивъ!—прибавилъ Лаврентій вполголоса.—Прошное воскресенье былъ у обѣдни въ нашемъ приходѣ, въ селѣ Вознесенскомъ, пріѣзжій подъячій изъ Саратова: онъ что-то больно поглядывалъ на Марью Дмитріевну...

— Подъячій!—повторилъ Мирошевъ.—Да неужели она согласится выйти за подъячаго?

— А почему жъ и не выйти, батюшка? Вѣдь жениховъ-то бракуютьъ однѣ богатые невѣсты. Онъ же молодецъ такой бравый, и лицомъ хоть куда; только лѣвый глазъ подбитъ, да вѣдь это не болѣзнь какая,—пройдетъ! Вотъ послѣзавтра, онъ, вѣрно, будетъ опять у обѣдни, извольте сами посмотри́ть.

— Хорошо, хорошо, Лаврентій; прощай! Я подумаю, что намъ дѣлать съ Марьей Дмитріевной.

— Да, батюшка, утро вечера мудренѣе. Прощенья просимъ! Крепкаго сна, покойной ночи!

Лаврентій ушелъ и черезъ нѣсколько минутъ явился Прохоръ раздѣвать своего барина.

— Ну, сударь,—сказалъ Кондратычъ,—угостилъ я знатно вашихъ мужичковъ! Староста Парфенъ лычкомъ не вяжетъ, да и всѣ порядкомъ натянулись; а Ѳедора Безпалаго такъ раздуло отъ браги, что кушакъ на немъ лопнулъ. Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, приказалъ, чтобъ завтра, по-утру, готова была телѣжка: вамъ надобно всѣ поля объѣхать; да не мѣшаетъ и въ лѣсъ завернуть: я слышалъ, въ немъ есть порубки.

Мирошевъ не отвѣчалъ ни слова, а Кондратьичъ, выходя изъ спальни, сказалъ про себя: «Ну, видно, его порядкомъ ошеломило: все еще не можетъ образумиться. Эко счастье, подумаешь!.. Подлинно, правду говорить: «годенькій охъ, а за годенькимъ Богъ»».

VII.

ОТЧАЯНІЕ И РАДОСТЬ ПРОХОРА КОНДРАТЬИЧА.

— Что это, Кузьма Петровичъ,—сказалъ Прохоръ, войдя на другой день, часу въ седьмомъ, къ Мирошеву, который сидѣлъ совсѣмъ одѣтый у окна и читалъ какую-то бумагу,—да вы ужъ готовы? Раненько, сударь, изволили подняться! И мнѣ всю ночь не спалось; сегодня, батюшка, я чѣмъ-свѣтъ ходилъ на ваше гумно и пересчиталъ всѣ одоньи. Эка благодать, подумаешь! Одного немолоченаго хлѣба рублей на двѣсти будетъ, да житницы биткомъ набиты. Ну, ужъ помѣстье! Нечего сказать, наградилъ насъ Господь Богъ за потерпѣнье!.. Да не угодно ли вамъ чего-нибудь позавтракать, сударь? Иль покушаете, приѣхавши съ поля? Вѣдь вы изволите ѣхать?

— Да, Прохоръ, — сказалъ Мирошевъ, — мы поѣдемъ, но только не въ поле, а въ городъ.

— Въ городъ? Зачѣмъ, сударь?

— Мнѣ надобно подать просьбу.

— Чтобъ васъ ввели во владѣніе? Да это еще не къ спѣху, батюшка; успѣете и завтра.

— Ты знаешь, Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ, помолчавъ нѣсколько времени,—что у покойной тетюшки была воспитанница?

— Офицерская дочь, Марія Дмитріевна Терпугова? Какъ же, сударь, я ее видѣлъ. Что за прекрасная барышня такая! Бѣдная сиротинка: ни отца, ни матери, ни роду, ни племени... Не оставьте ее, батюшка!

— А знаешь ли ты, Прохоръ, что покойная тетюшка хотѣла укрѣпить ей все свое имѣніе.

— Кто это вамъ сказалъ, сударь? Помилуйте, кабы хотѣла, такъ и укрѣпила бы! Что вы всему вѣрите!

— Но если я имѣю вѣрныя доказательства...

— Не можетъ быть, Кузьма Петровичъ! Тетушка ваша была барыня добрая и справедливая. Не ладила она съ покойною вашею матушкой,—знаю, сударь! Да вы то въ чемъ виноваты? Вѣдь вы родной ея племянникъ, а Марья Дмитриевна что: приемышь!

— Если ты не вѣришь мнѣ, такъ спроси у Ое-досьи или у Лаврентія.

— Что мнѣ Лаврентій, помилуйте! Эку выдумали штуку!.. Видишь, покойница хотѣла отдать все имѣнье чужому человѣку, обидѣть родного племянника!.. Ужъ не хотѣла ли она отдать все имѣнье Лаврентію да Ое-досьѣ!.. Диво, что они этого не говорятъ! Вѣдь на мертвaго лги, что хочешь.

— Да вотъ, кажется, и Лаврентій; мы сейчасъ узнаемъ всю правду. Поди сюда, любезный!—продолжалъ Мирошевъ, развертывая бумагу, которую держалъ въ рукѣ. Ты грамоту знаешь?

— Какъ же, сударь.

— Посмотри, чья это рука?

— Это рука покойной вашей тетушки.

— Хорошо. Ступай, попроси сюда Марью Дмитриевну.

Лаврентій поклонился и вышелъ.

— Я нашелъ эту бумагу нечаянно, — сказалъ Мирошевъ:—она лежала вмѣстѣ съ другими бумагами въ письменномъ столѣ. Знаешь ли, Прохоръ, что въ ней написано? Это черновая духовная покойной тетушки: она отказывается въ ней все имѣнье воспитанницѣ своей, Марьѣ Дмитриевнѣ Терпуговой.

— Скажите пожалуйста! — вскричалъ Прохоръ. — Ну, этого я не чаялъ отъ покойницы. Эхъ, матушка, княжна Елена Семеновна, согрѣшила ты на старости! А все-таки вышло не по-твоему: думала покривить душой, да Богъ не допустилъ; хотѣла, да не сдѣлала.

— А развѣ это не все-равно?—сказалъ Мирошевъ.

— Какъ, все-равно? Что вы, батюшка! Я таки по судамъ шатался довольно, знаю кой-что. Какая это духовная? Куда она явлена? Кто былъ свидѣтелемъ? Да и написана-то какъ,—вся въ помаркахъ, на полулистѣ Помилуйте, да этой духовной никакой судъ не утвердить!

— А если я захочу ее утвердить?

Кондратычъ остолбенѣлъ.

— Вы?..—проговорилъ онъ. —Какъ вы?.. Чтожъ вы хотите сдѣлать?

— Исполнить волю покойной моей тетушки.

— Да что вы, сударь, шутите, что ль?

— Нѣтъ, Прохоръ, не шучу.

— Такъ вы хотите отдать Хопровку этой сиротѣ?.. Ахъ, Господи!.. Батюшка, Кузьма Петровичъ, да что это съ вами сдѣлалось?

— Послушай, Прохоръ. Еслибъ покойная тетушка не умерла скоропостижно, а имѣла бы время сдѣлать законнымъ образомъ и предъявить эту духовную...

— Мало ли что, сударь!—прервалъ Кондратычъ.—Еслибъ то, еслибъ другое... Да вѣдь этого ничего не было. Да чтожъ вы, Кузьма Петровичъ, грѣха что ль не бонтесь? Господь Богъ послалъ вамъ свою милость, а вы не принимаете!.. «Онъ, дескать, рѣшилъ такъ, а я перерѣшу по-своему!» Полноте, батюшка, что вы: вѣдь Бога-то умнѣй не будете!

— И, Прохоръ, да развѣ не все дѣлается по волѣ Божіей? Развѣ не Онъ вложилъ въ меня совѣсть, которая запрещаетъ мнѣ обидѣть эту круглую сироту?

— Круглую сироту! А вы-то что, сударь?

— Оставить ее безъ куса хлѣба!

— А вы-то сами что будете кушать?

— Я мужчина — я могу служить; если не найду мѣста въ Москвѣ, то вступлю опять въ военную службу.

— Да, много вы въ ней выслужили!

— Почему знать, что будетъ впередъ! Богъ милостивъ!

— Да, сударь, Онъ былъ до васъ милостивъ: свалилось съ неба имѣннице, да, видно, на васъ и Богъ-то не угодить.

— Сердись на меня, какъ хочешь, Прохоръ, а межъ тѣмъ ступай-ка укладываться.

— Укладываться? — повторилъ Кондратычъ испуганнымъ голосомъ. — Такъ вы и подумать-то не хотите?

— Я и такъ ужъ довольно думалъ.

— Господи, Господи! — вскричалъ Прохоръ съ совершеннымъ отчаяніемъ. — А помѣстье-то какое! Домъ какъ полная чаша; одного хлѣба на пятьсотъ рублей!.. Да долго ли мнѣ, окаянному, мыкаться съ вами побѣлу свѣту! Да что это меня не приберетъ Господь!.. Батюшка, Кузьма Петровичъ, не торопитесь, Бога ради не торопитесь!.. И что вамъ далась эта сирота?.. Что вы съ ней дѣтей, что ль крестили?.. Ну, наградите ее, выдайте замужъ...

— Замолчи, Прохоръ! — прервалъ съ досадою Мирошевъ. — Дѣлай, что я приказываю, или я и безъ тебя уѣду отсюда.

Никогда еще Кузьма Петровичъ не говорилъ такъ круто съ своимъ дядькою. У бѣднаго старика руки опустились.

— Безъ меня! — шепталъ онъ, выходя изъ комнаты. — Безъ меня! Вотъ, до чего я дожилъ!

Въ передней повстрѣчались съ нимъ Лаврентій и Марья Дмитріевна. Лаврентію онъ не поклонился, а на Марью Дмитріевну взглянулъ почти съ ненавистью.

— Хопровская помѣщица! — бормоталъ онъ себѣ подъ носъ. — Да она и на барыню-то вовсе не походить: такъ — дѣвчонка!.. И что она показалась мнѣ хорошею?.. Вовсе не хороша! А ужъ какая ледяная, взглянуть не на что: того и гляди, пополамъ переломится.

Лаврентій вошелъ въ спальню и доложилъ о Марѣ Дмитріевнѣ.

— Попроси ее въ гостиную, — проговорилъ Мирошевъ прерывающимся голосомъ.

Сердце его такъ сильно билось, что ему нужно было нѣсколько минутъ, чтобъ собраться съ духомъ. Онъ всю ночь провелъ въ ужасной борьбѣ съ самимъ собою. Сначала онъ совсѣмъ было рѣшился предложить Марѣ Дмитріевнѣ свою руку. Казалось, чего бы лучше? Воспитанница его покойной тетки была бы пристроена, а онъ сдѣлался бы самымъ счастливымъ человѣкомъ въ мірѣ; но вдругъ онъ вспомнилъ слова Лаврентія: «Вѣдь жениховъ-то бракують однѣ богатыя невѣсты, а ужъ теперь гдѣ ей разбирать: лишь только бы кто-нибудь посватался!» Итакъ, еслибъ онъ не понравился Марѣ Дмитріевнѣ, то она и тогда бы отдала ему свою руку, для того только, чтобъ имѣть кусокъ хлѣба. Сдѣлать предложеніе этой бѣдной дѣвушкѣ въ ту самую минуту, когда участь ея была совершенно въ его рукахъ, не то же ли самое, что сказать ей: «Ты меня не знаешь, никогда меня не видала; быть-можетъ, я человѣкъ дурной, быть-можетъ, наружность моя тебѣ не нравится, быть-можетъ даже, что ты любишь другого; но это все-равно: ты должна выйти за меня замужъ, потому что ты нищая, потому что благотѣтельница твоя хотѣла, но не успѣла обезпечить твое состояніе; ты любила ее, какъ родную мать, а я не зналъ даже, что она и существуетъ; но ты ей чужая, а я родной племянникъ, законный наследникъ и, слѣдовательно, имѣю полное право лишить тебя послѣдняго убѣжища, выгнать вонъ изъ дому или изъ милости кормить вмѣстѣ съ моими людьми на за-стойной». О, нѣтъ, нѣтъ, — подумалъ Мирошевъ;— пусть будетъ она прежде владѣть тѣмъ, что ей было назначено, пусть выборъ ея будетъ совершенно свободенъ, и тогда, если она не отвергнетъ любовь мою, если согласится добровольно отдать мнѣ свою руку, — о, тогда я буду истинно счастливъ!—Въ наше время какой-нибудь романтическій любовникъ и этимъ бы не удовольствовался: его стала бы мучить мысль, что она соглашается выйти за него замужъ только изъ одной благодарности; но разборчивость Мирошева не

простиралась до этой степени, во-первыхъ, потому, что, несмотря на свою скромность, онъ зналъ, что у него наружность довольно пріятная, а во-вторыхъ, потому, что тогда бы уже онъ не могъ ни въ какомъ случаѣ быть ея мужемъ, и, слѣдовательно, ради утонченности своихъ чувствъ, обрекъ бы самъ себя на вѣчное страданіе. Не знаю, какъ думаютъ другіе, а по мнѣ такіе вольные мученики интересны только на сценѣ, гдѣ всѣ горести, бѣдствія и мученія оканчиваются вмѣстѣ съ опущеніемъ занавѣса.

Мирошевъ вышелъ въ гостиную. Марья Дмитріевна въ томъ же самомъ платьѣ и аломъ платочкѣ, въ которыхъ онъ видѣлъ ее въ первый разъ, стояла посреди комнаты; щеки ея пылали, а изъ потупленныхъ глазъ катились крупныя слезы.

— Оставь насъ однихъ,—сказалъ Мирошевъ Лаврентію, который стоялъ у дверей столовой.

Марья Дмитріевна вздрогнула и робко оглянулась назадъ, а Лаврентій посмотрѣлъ съ недоумѣніемъ на нее, потомъ на своего господина и хотѣлъ что-то сказать; но Мирошевъ повторилъ твердымъ голосомъ свое приказаніе, и Лаврентій вышелъ вонъ.

— Садитесь, Марья Дмитріевна,—сказалъ Мирошевъ, указывая рукою на канапе.—Мнѣ нужно поговорить съ вами... Да сдѣлайте милость... я прежде васъ не сяду!

Почтительный и даже робкій голосъ Мирошева ободрилъ бѣдную сироту: она подняла глаза, и когда взоры ихъ встрѣтились, когда она взглянула на это кроткое, милое лицо, исполненное добродушія и чести, то сердце ея перестало замирать отъ страха и забилось свободнѣе.

— Прошу покорно!—сказалъ Мирошевъ, взявъ ее за руку и посадивъ на канапе.—Это настоящее ваше мѣсто: вы здѣсь хозяйка.

— Хозяйка!—прошептала бѣдная дѣвушка.

Она взглянула почти съ укоромъ на Мирошева и горько заплакала.

— Да о чемъ же вы плачете? — вскричалъ Мирошевъ, садясь противъ нея на стулъ. — Успокойтесь, Бога ради! Я повторяю вамъ еще разъ: вы здѣсь хозяйка: не вы у меня, а я у васъ въ гостяхъ.

— Извините, Кузьма Петровичъ, — сказала прерывающимся голосомъ Марья Дмитріевна, — я очень помню, что я сирота и живу здѣсь по вашей милости.

— Вотъ въ этомъ-то вы и ошибаетесь. Вы, вѣрно, знаете, что покойная моя тетушка хотѣла вамъ укрѣпить все свое имѣнье?

Марья Дмитріевна не отвѣчала ни слова.

— Да будьте же со мною откровенны, — продолжалъ Мирошевъ. — Не правда ли, вы это знаете?

— Да, — проговорила вполголоса Марья Дмитріевна, — матушка... то-есть благодѣтельница моя, говорила мнѣ объ этомъ за нѣсколько дней до своей смерти; но едва ли она имѣла право это сдѣлать...

— О, что имѣла, въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія!

— Но не должна была имъ воспользоваться, хотите вы сказать? — прервала сживостію Марья Дмитріевна. — Я совершенно съ вами согласна. Я думая, было бы несправедливо, еслибъ она для чужого человѣка обидѣла своего родного племянника.

— А развѣ она для васъ была чужая?

— О, нѣтъ, нѣтъ! — вскричала бѣдная дѣвушка, залившись слезами.

— Я никогда не видалъ покойной моей матушки, — продолжалъ Мирошевъ, — а вы были утѣшеніемъ ея старости, она любила васъ, какъ дочь родную...

— Да, это правда.

— Ну, вотъ видите ли, Марья Дмитріевна, что не вы, а я былъ чужой человѣкъ для покойницы; слѣдовательно, это имѣнье должно, по всей справедливости, принадлежать вамъ... Что вы смотрите на меня съ такимъ удивленіемъ? Вѣдь тетушка точно хотѣла укрѣпить вамъ свое имѣнье; вотъ и доказательство этому, — прибавилъ Мирошевъ, подавая Марьѣ Дмитріевнѣ черновую духовную. — Эта бумага не значитъ

ничего передъ закономъ,—продолжалъ онъ,—но никто не можетъ запретить мнѣ исполнить то, что въ ней написано, и отказаться въ вашу пользу отъ этого наслѣдства.

— Въ мою пользу?—повторила Марья Дмитріевна, поблѣднѣвъ, какъ смерть. — Кузьма Петровичъ, вы смѣетесь надо мной!..

— Можете ли вы это думать? Да, Марья Дмитріевна, съ этой минуты здѣсь все принадлежитъ вамъ. Позвольте мнѣ только остаться еще нѣсколько дней вашимъ гостемъ: мнѣ надобно будетъ съѣздить въ городъ, подать просьбу и похлопотать, чтобъ васъ скорѣй ввели во владѣніе.

— Боже мой, Боже мой!—прошептала Марья Дмитріевна, сложивъ набожно руки. — Не сонъ ли это?.. Ахъ, Кузьма Петровичъ!..

— Благодарите не меня,—сказалъ Мирошевъ, вставая,—а вашу благодѣтельницу: я только исполнитель послѣдней ея волн. Вотъ все, что мнѣ нужно было вамъ сказать. Ступайте, обрадуйте скорѣе добрыхъ людей, которые не оставили васъ въ несчастіи: теперь вы можете съ ними по квитаться. Прощайте, Марья Дмитріевна!

Кто испыталъ надъ самимъ собою, какъ сильно дѣйствуетъ на душу, не постепенный, а внезапный переходъ отъ горя къ счастью, или отъ счастья къ горести, тому будетъ весьма понятно, что Марья Дмитріевна почти совершенно потеряла разсудокъ. Въ передней дожидался ее Лаврентій; она упала ему на грудь, рыдала, улыбалась, крестилась и не могла говорить ни слова. Кондратычъ, который былъ также въ передней, смотрѣлъ на все это съ примѣтнымъ ужасомъ и, казалось, готовъ былъ отъ отчаянія удариться головой объ стѣну.

— Матушка, барышня, что вы это? — говорилъ Лаврентій.—Что съ вами сдѣлалось? Да перестаньте, ради Христа! Господь съ вами, что вы это: и смѣетесь и плачете!..

— Да,—прошпенталь Кондратычъ сквозь зубы, — есть отчего и посмѣяться, и поплакать съ радости. — Не было ни полушки, да вдругъ алтынъ! Что, сударыня, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Марьѣ Дмитриевнѣ, — баринъ-то вамъ отдалъ Хопровку?

— Какъ такъ?—вскричалъ Лаврентій..

— Да, — проговорила, наконецъ, Марья Дмитриевна. — Кузьма Петровичъ хочетъ непременно исполнить волю покойной моей благодѣтельницы. О, какой это добродѣтельный и благородный человекъ!

— Да, конечно,—прервалъ Кондратычъ,—баринъ мой человекъ благородный; да вотъ посмотримъ, что-то онъ станетъ дѣлать съ своимъ благородствомъ, какъ перекусить-то нечего будетъ.

— Что вы говорите?—прервала съ живостію Марья Дмитриевна. — Да неужели Кузьма Петровичъ человекъ бѣдный?

— А вы, чай, думали — богатый? То-то и есть: тороватаго съ богатымъ не распознаешь.

— Однакожь, у него есть какое-нибудь имѣнье?

— Какъ же! Телѣга, да пара лошадей.

— Но, можетъ-быть, у него есть деньги?

— И деньги есть: у насъ у обоихъ цѣлковыхъ пять наберется.

— Возможно ли?.. Да чѣмъ же онъ самъ будетъ жить?

— А чѣмъ живутъ птицы небесныя. Баринъ пробирается въ Москву, чтобъ поискать какой ни есть службы; да надежда-то плоха: ни сродниковъ, ни знакомыхъ; найдетъ мѣстечко—хорошо...

— А если нѣтъ?

— Такъ дѣлать нечего: авось Христовымъ именемъ проживемъ какъ-нибудь.

— Боже мой, Боже мой!—вскричала Марья Дмитриевна, всплеснувъ руками. — Кузьма Петровичъ сирота, у него ничего нѣтъ, и онъ рѣшился...

— Матушка-барышня, ваше благородіе—прервалъ Кондратычъ. — Я вижу, вы человекъ добрый,—будьте

мать родная, не пустите насъ по міру! Ну, ужъ такъ и быть, грѣхъ пополамъ: будетъ и съ васъ и съ него.

Марья Дмитріевна молчала. Вдругъ лицо ея покрылось яркимъ румянцемъ, глаза заблестали, она воротилась назадъ и вошла поспѣшно въ гостиную. Миросшевъ сидѣлъ, задумавшись, у окна. Увидѣвъ ее, онъ вздрогнулъ и вскочилъ со стула.

— Кузьма Петровичъ, — сказала Марья Дмитріевна твердымъ голосомъ, — вы рѣдкій, необычайный человѣкъ, я вѣчно буду молить за васъ Бога; но ни за что не соглашусь принять ваше благодѣяніе.

— Что это значитъ? — спросилъ Миросшевъ. — Что съ вами сдѣлалось?

— Теперь я знаю все, — продолжала Марья Дмитріевна: — вы сами ничего не имѣете; вы такой же сирота, какъ я, и хотѣли уступить мнѣ, совершенно чужой для васъ и незнакомой дѣвушкѣ, законное ваше наслѣдство... О, нѣтъ, нѣтъ, я никогда на это не соглашусь!

— Но если это была воля покойной вашей благодѣтельницы?

— Почему вы это знаете? Почему вы знаете, что происходило въ душѣ ея, когда она разставалась съ жизнью? Можетъ-быть, умирая, тетушка ваша благодарила Бога, что Онъ не допустилъ ее поступить такъ несправедливо? И неужели вы думаете, что благодѣтельница моя, эта добродѣтельная, святая женщина, рѣшилась бы лишить наслѣдства родного племянника, еслибъ знала, что онъ останется безъ куска хлѣба?

— Вы напрасно это думаете. Я молодъ, могу служить... а вы...

— Обо мнѣ не беспокойтесь. У меня нѣтъ ни отца, ни матери; но тамъ — на небесахъ, есть Отецъ, Который никогда не покидаетъ дѣтей Своихъ. Съ вашей покойною тетушкою была знакома игуменья женскаго монастыря, который недалеко отсюда: она, вѣрно, не откажется принять меня въ свою обитель...

— Какъ! — вскричалъ Мирошевъ, — вы хотите покинуть міръ?

— Да для чего же я въ немъ останусь? Здѣсь я сирота, а тамъ будутъ у меня и мать, и сестры...

— Но кто же станетъ заботиться о счастіи здѣшнихъ крестьянъ? Кто наградитъ добрыхъ людей, которые не покинули васъ въ сиротствѣ?

— Вы, Кузьма Петровичъ: это имѣнье принадлежитъ вамъ.

— Слѣдовательно, я имѣю право отдать его тому, кому хочу?

— Только не мнѣ! — прервала съ жаромъ Марья Дмитріевна. — Бога ради, не мнѣ! Въмѣсто добра, вы сдѣлаете зло. Это благодѣяніе, какъ тяжелый камень, ляжетъ на груди моей. Теперь я ничего не имѣю; но я сплю спокойно, ничто не тревожитъ моей совѣсти; а тогда!.. Да неужели вы думаете, что я или забуду вашъ великодушный поступокъ, или, живя сама въ изобиліи, стану равнодушно думать о томъ, что вы, племянникъ моей второй матери, мой благодѣтель, терпите нужду, не имѣете пристанища, или, что еще грустнѣе, живете по милости чужихъ людей?.. О, эта мысль была бы для меня ужаснѣе и нищеты, и сиротства, и всего на свѣтѣ!.. Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, заклиная васъ Богомъ, не дѣлайте этого!..

Когда высокое, святое чувство одушевляетъ всѣ черты лица, когда въ нихъ выражается вся неизъяснимая доброта, все великодушіе, къ которому способно сердце женщины, то, еслибъ эта женщина была и дурна собою, она въ эту минуту становится прекрасною. Что же была Марья Дмитріевна, когда, устремивъ на Мирошева свои небесно-голубые глаза, она просила у него, какъ милости, дозволить ей остаться бѣдною сиротою?.. О, въ эту минуту она не походила на существо земное! Ей не доставало только крыльевъ, чтобъ быть ангеломъ небеснымъ. Мирошевъ готовъ былъ упасть къ ея ногамъ; несмотря на свою робость онъ чувствовалъ, что не можетъ долѣе скрывать любви своей.

— Если вы не желаете, — сказалъ онъ, заикаясь, — владѣть однѣмъ имѣніемъ покойной моей тетушки, то согласитесь, по крайней мѣрѣ, владѣть имъ вмѣстѣ со мною.

— Какъ вмѣстѣ съ вами?

— Да, Марья Дмитриевна, — продолжалъ Мирошевъ, — если вы хотите, чтобъ я не отказался отъ этого наслѣдства, то должны... вмѣстѣ съ нимъ... отдать мнѣ вашу руку!..

Больше этого Мирошевъ не могъ сказать ничего, потому что языкъ его пересталъ двигаться.

Марья Дмитриевна поблѣднѣла, потомъ снова румянецъ заигралъ на ея щекахъ. Она до того была поражена этимъ внезапнымъ предложеніемъ, что не могла вымолвить ни слово. Кузьма Петровичъ былъ также не въ лучшемъ положеніи. Онъ высказалъ то, что было у него на душѣ; но этотъ отчаянный порывъ истощилъ все его мужество: онъ стоялъ, какъ приговоренный къ смерти, и только думалъ про себя: «Боже мой, что-то она скажетъ?» Но Марья Дмитриевна молчала. Вотъ прошло нѣсколько минутъ, Мирошевъ собрался съ духомъ, мысленно перекрестился и сказалъ:

— Марья Дмитриевна, хотите ли вы быть моею женою?

— Но вы видите меня въ первый разъ, — прошептала испуганная дѣвушка: — вы меня не знаете...

— Я вижу, что вы прекрасны, — вскричалъ съ восторгомъ Мирошевъ, — и знаю, что вы добры, какъ ангелъ! Чего же мнѣ больше?

Застѣнчивый человѣкъ, когда онъ преодолѣетъ, наконецъ, это врожденное чувство, очень походить на труса, которому некуда спрятаться: онъ до того можетъ расхрабриться, что его ужъ ничѣмъ не уймешь. Да и любовь — дѣло великое; она хоть кому развяжетъ языкъ. Стыдливый и робкій Мирошевъ вдругъ сдѣлался такъ смѣлъ и настойчивъ, какъ будто бы во всю свою жизнь только и дѣлалъ, что изъяснялся въ любви. Напрасно Марья Дмитриевна просила небольшой

отсрочки, Кузьма Петровичъ былъ неумолимъ; онъ требовалъ, чтобъ она, не сходя съ мѣста, отвѣчала на его вопросъ.

— Если вы теперь же не рѣшите моей участи,—говорилъ онъ,—то я приму ваше молчаніе за отказъ: сейчасъ усакачу въ городъ, укрѣплю за вами Хопрровку, отправлюсь въ Москву, умру съ горя, сойду съ ума и уйду на край свѣта!

Читатели, вѣроятно, замѣтятъ, что, говоря эти слова, Кузьма Петровичъ вовсе не заботился о логической постепенности; ему надобно было прежде всего уйхать на край свѣта и сойти съ ума, а потомъ умереть съ горя; но въ этихъ случаяхъ истинное чувство убѣждаетъ лучше всякой логики, и одинъ взглядъ, который высказываетъ всю душу, дѣйствуетъ сильнѣе сотни самыхъ правильныхъ силлогизмовъ. Вы знаете, что Мирошевъ имѣлъ пріятную наружность, а что онъ былъ добръ и благороденъ, въ этомъ Марья Дмитріевна сомнѣваться не могла; чтожъ оставалось ей дѣлать? Разумѣется, она закрыла руками лицо, заплакала, потомъ взглянула украдкой на Мирошева, потомъ улыбнулась, потомъ протянула ему руку и сказала: «да».

Кузьма Петровичъ, какъ и всѣ добрые люди, не умѣлъ скрывать своей радости, и всегда спѣшилъ по дѣлиться ею съ другими. Натурально, первыя минуты были посвящены безмолвнымъ восторгамъ, еще нѣсколько минутъ—увѣреніямъ въ вѣчной любви и вѣрности; потомъ Мирошевъ вышелъ со своею невѣстою въ столовую, позвалъ Лаврентія и Прохора, и сказалъ имъ:

— Вотъ ваша барыня!

Лаврентій поклонился, а Кондратъичъ пробормоталъ сквозь зубы:

— Барыня!.. Ну, пожалуй себѣ, барыня, да только не моя.

— Марья Дмитріевна,—продолжалъ Кузьма Петровичъ,—этотъ старикъ былъ моимъ дядькою, или, лучше сказать, вторымъ отцомъ моимъ. Онъ давно уже имѣетъ

отпускную, но не хотѣлъ никогда меня покинуть. Любите его такъ же, какъ я буду всегда любить Лаврентія и Федосью, которые не оставили васъ въ сиротствѣ. Ну, чтожъ ты, Прохоръ, на меня смотришь?—прибавилъ Мирошевъ.—Кланяйся Марьѣ Дмитриевнѣ: она моя невѣста.

— Невѣста?—повторили въ одинъ голосъ оба старика.

— Да, мои друзья: Марья Дмитриевна согласилась выйти за меня замужъ и сдѣлать меня самымъ счастливымъ человѣкомъ въ мірѣ. Теперь она моя невѣста, и чрезъ недѣлю, надѣюсь, будетъ моею женою.

— Матушка, Марья Дмитриевна,—вскричалъ Лаврентій, — честь имѣю поздравить! Батюшка, Кузьма Петровичъ!..

— Прошу любить меня и жаловать!—сказалъ Кондратьичъ. — Пожалуйте ручку, матушка! Ну, слава Тебѣ, Господи! Вотъ ужъ будетъ парочка!.. Ухъ, батюшки, отлегло отъ сердца!.. Такъ Хопровка-то теперь наша, Кузьма Петровичъ?

— Разумѣется, — отвѣчалъ съ улыбкою Мирошевъ.—Это приданое моей невѣсты.

VIII.

КАКЪ МАРЬЯ ДМИТРИЕВНА ВЫШЛА ЗАМУЖЪ ЗА КУЗЬМУ ПЕТРОВИЧА, И КАКЪ ПОКОЙНАЯ ЕГО ТЕТУШКА БЛАГОСЛОВИЛА ЭТОТЪ СОЮЗЪ.

Радостная вѣсть о помолвкѣ помѣщика сельца Хопровки съ Марьей Дмитриевной Терпуговой облетѣла въ нѣсколько минутъ всѣ крестьянскія избы. Староста Парфенъ, у котораго отъ вчерашней попойки голова едва держалась на плечахъ, явился первый съ поздравленіемъ. Вслѣдъ за нимъ пришли старики и всѣ тягловые поклониться будущей своей барынѣ; однѣ изъ усердія, другіе изъ крестьянской политики, третьи изъ любопытства, а бѣлая часть для того, чтобъ при

сей вѣрной оказіи опохмелиться и выпить по чаркѣ барскаго вина. Прохоръ Кондратычъ, какъ человекъ, знающій порядокъ, стоялъ уже въ лакейской, держа въ одной рукѣ штофъ, заткнутый клочкомъ бумаги, а въ другой рюмку съ отбитою ножкою. Женихъ и невѣста вышли къ своимъ крестьянамъ; мужички, какъ слѣдуетъ, повалились въ ноги, пожелали имъ *совѣта и любви*, и отправились по домамъ рассказывать своимъ женамъ, какъ ихъ баринъ стоялъ рядышкомъ съ невѣстою, какъ она держала его за руку, и какъ они оба весело и любовно другъ на друга поглядывали. Одинъ Федоръ Безпалый, у котораго раздутое отъ браги лицо доснилось, какъ покрытое лакомъ, возвратясь домой, не хотѣлъ ничего отвѣчать на разспросы своей жены; а только бормоталъ про себя:

— Ну, ужъ отпотчевали! По чаркѣ вина.—эка не-видалъ!.. Да и чарка-то съ наперстокъ,—въ руки взять нечего! Хотъ бы по коншику бражки поднесли.

По просьбѣ Марьи Дмитріевны свадьба была отложена на двѣ недѣли. Объ этомъ также очень хлопотала Федосья.

— Нельзя же, батюшка, Кузьма Петровичъ,—говорила она, — въ одну недѣлю снарядить невѣсту какъ слѣдуетъ; вѣдь это не около пальца обвести. Конечно, покойница позапасла кое-что для барышни; да мало ли что еще надобно: и наволоки не готовы, и сорочки не прострочены, и то, и другое... Дай, отецъ мой, справиться. Вѣдь поспѣишишь, людей насмѣишишь!

Наконецъ, наступилъ день свадьбы. Это было въ воскресенье. Приходская церковь хопровскихъ жителей находилась въ селѣ Вознесенскомъ, до котораго было не далѣе трехъ верстъ. Часовъ въ восемь по-утру стояла уже у крыльца господскаго дома запряженная четверкою древняя колымага, въ которой обыкновенно ѣзжала покойница къ обѣднѣ. Женихъ и невѣста сидѣли въ гостиной; глаза у невѣсты были заплаканы: это въ порядкѣ вещей; но отчего Кузьма Петровичъ былъ также невеселъ? Отчего и на его глазахъ бли-

стали также слезы? О, на это была весьма важная причина! Можетъ-быть, нынче она покажется совершенно ничтожною; но отцы и дѣды наши не такъ объ этомъ думали. Кузьма Петровичъ и Марья Дмитриевна ѣхали вѣнчаться, а ихъ некому было благословить. У дверей стояли: Федосья, Кондратьичъ и Лаврентій; они смотрѣли съ грустію, но безъ всякаго удивленія, на печаль своихъ молодыхъ господъ. Добрые, простодушные люди, они понимали, что въ эту минуту и женихъ и невѣста вполне чувствуютъ свое сиротство!

— Чу,—прошепталъ Кондратьичъ,—благовѣсть!

— Сегодня служба будетъ пораньше,—сказалъ Лаврентій: — вѣдь послѣ обѣдни вѣнчанье, а тамъ молебень... Не пора ли, батюшка, Кузьма Петровичъ?

— Да, пора!—промолвилъ Мирошевъ, вставая. — Послушайте, мои друзья,—продолжалъ онъ:—мы оба сироты, — насъ некому благословить. Федосья и ты, мой добрый дядька, возьмите и благословите насъ вмѣсто отца и матери.

Лаврентій побѣждалъ въ образную, принесъ икону Спаса Нерукотвореннаго... И вѣрно съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ этотъ христіанскій обычай въ нашемъ отечествѣ, не было пролито слезъ теплѣе и благочестивѣе тѣхъ, которые лились въ эту торжественную минуту, когда молодые господа, преклонивъ колѣна, принимали благословеніе отъ собственныхъ слугъ своихъ. Федосья и оба старика плакали навзрыдь. О, конечно, родные отецъ и мать не могли бы усерднѣе молиться за дѣтей своихъ, какъ молились они Господу Богу, чтобъ Онъ ниспослалъ благодать и милость Свою на этихъ двухъ безродныхъ сиротъ!

Когда Мирошевъ пріѣхалъ со своею невѣстою въ церковь, въ ней было еще довольно просторно; но къ концу обѣдни она до того наполнилась народомъ, что почти нельзя было пошевелиться. Едва ли гдѣ-нибудь любопытство видѣть молодыхъ подъ вѣнцомъ доходитъ до такого неистовства, какъ у насъ въ Россіи: стоитъ только растворить церковныя двери и впускать всѣхъ

безъ разбору, такъ въ нѣсколько минутъ не останется свободнаго мѣста ни для священника, ни для молодыхъ. И старики, и дѣти, и мужчины, и женщины, всѣ считаютъ какою-то обязанностію войти въ церковь, не молиться,—объ этомъ во время вѣнчанья никто не думаетъ, а такъ, взглянуть, если можно, на жениха и невѣсту, или хотъ издалека послушать, какъ поютъ: «Исаія ликуй». Спросите у кого хотите изъ этихъ любопытныхъ, зачѣмъ онъ ломится въ двери, зачѣмъ даетъ себя давить и давить самъ другихъ; однимъ словомъ, зачѣмъ онъ пришелъ въ церковь, если вовсе не думаетъ молиться? И онъ вѣрно будетъ вамъ отвѣчать: «Какъ зачѣмъ? Свадьба!» Другой причины вы отъ него не добьетесь. И это бываетъ въ городахъ, гдѣ дворянскія свадьбы вовсе не рѣдки; представьте же себѣ, какая была давка въ деревянной маленькой церкви села Вознесенскаго, когда пронесся слухъ, что въ ней будетъ вѣнчаться помѣщикъ сельца Хопровки съ офицерскою дочерью, которая жила у покойной княжны Бирдюковой. Лишь только обѣдня отошла, Прохоръ Кондратычъ, при помощи дьячка, порастолкалъ кой-какъ народъ, и обрядъ вѣнчанья начался.

Кузьма Петровичъ и Марья Дмитріевна во все время такъ усердно молились, что не замѣтили даже двухъ молодыхъ людей, которые смотрѣли на нихъ болѣе, чѣмъ съ любопытствомъ. Одинъ изъ нихъ былъ въ военномъ мундирѣ, другой—въ нѣмецкомъ кафтанѣ.

— Видишь ли этихъ господъ?—шепнулъ Лаврентій на-ухо Кондратычу.—Вонъ что въ мундирѣ-то—это гарнизонный прапорщикъ Малышевъ: онъ сватался за Марью Дмитріевну.

— Право?

— Какъ же! Да не по Сенькѣ шапка!

— А что?

— Да такъ: забрили молодцу затылокъ! А вотъ другой-то, дѣтина такой видный,—приказный изъ Саратова, и онъ, говорятъ, хотѣлъ сваху заслатъ; да ужъ мы бы ее порядкомъ со двора спровадили. Ве-

лика фигура — приказный, да еще съ подбитымъ глазомъ! И туда жъ нарохтился, подъячий!..

Если читатели замѣтятъ, что Лаврентій за недѣлю до этого говорилъ совсѣмъ другое, то я попрошу ихъ не судить его слишкомъ строго за его невинное хвастовство. Онъ уважалъ Марью Дмитриевну какъ свою барыню и любилъ какъ дочь родную; а сколько есть отцовъ и матерей, которые, говоря о женихахъ своей дочери (ихъ обыкновенно бываетъ очень много), поступаютъ точно такъ же, какъ Лаврентій, и подчасъ отказываютъ даже тѣмъ женихамъ, которые вовсе и не думали свататься.

Когда молодые отслужили молебенъ и приложились къ мѣстнымъ иконамъ, Кондратьичъ и Лаврентій отправились домой, чтобъ встрѣтить новобрачныхъ съ хлѣбомъ-солью, а Марья Дмитриевна предложила своему мужу сходить на могилу покойной его тетки.

— Съ мѣсяцъ тому назадъ, — сказала она, идя съ Мирошевымъ по церковной паперти, — я посадила на ея могилѣ кустъ розановъ; сначала онъ очень хорошо принялся, да вдругъ, не знаю, что съ нимъ сдѣлалось. На прошлой недѣлѣ я служила здѣсь панихиду, — жалъ было видѣть: цвѣты, которые стали было распускаться, всѣ завяли, листья облетѣли, совсѣмъ пропалъ. Надобно посадить другой.

— Хорошо, мой другъ; я прикажу садовнику.

— Нѣтъ, ужъ позвольте мнѣ самой.

— Какъ хочешь, мой ангелъ! Да гдѣ же тетюшкина могила?

— Вонъ тамъ, на той сторонѣ погоста, за березами.

Молодые подошли къ двумъ толстымъ березамъ, позади которыхъ виднѣлся деревянный крестъ, окрашенный черною краскою. Вдругъ Марья Дмитриевна остановилась.

— Боже мой, — вскричала она, — что это значить?

— Что ты, мой другъ? — спросилъ съ безпокойствомъ Мирошевъ.

— Вы не присылали сюда садовника?

— Нѣтъ.

— Посмотрите, посмотрите!

Подлѣ чернаго креста подымался одѣтый яркою зеленью и усыпанный цвѣтами роскошный кустъ розановъ.

— О, матушка, матушка,—вскричала Марья Дмитриевна, упавъ на могилу своей благодѣтельницы,—я понимаю тебя: ты благословляешь дитя свое, ты радуешься его счастью!

Мирошевъ сталъ на колѣна подлѣ жены своей, и тихая молитва этихъ кроткихъ христіанскихъ душъ, которыя слились вѣрою въ одну душу, какъ чистый еиміамъ, вознеслась къ престолу Всевышняго.

— О, мой другъ, — сказала Марья Дмитриевна, обнявъ своего мужа,—теперь нѣтъ сомнѣнья, мы будемъ счастливы! Она благословляетъ нашъ союзъ. Вчера этотъ кустъ походилъ на мертвый трупъ, а сегодня... Посмотри, какъ пышны эти розы, какъ свѣжа эта зелень! Видишь ли, какъ блестятъ на листочкахъ эти алмазныя капли росы?... О, нѣтъ, нѣтъ, это не роса: это радостныя слезы моей второй матери!

Теперь, любезные читатели, я рассказалъ вамъ все; вы знаете, кто такой Кузьма Петровичъ Мирошевъ, и какъ онъ сдѣлался помѣщикомъ сельца Хопровки; но, можетъ-быть, вы не знаете, что я до-сихъ-поръ не приступалъ еще къ моему разсказу, и что все прочитанное вами есть только вступленіе или, говоря языкомъ драматическихъ писателей, экспозиція моей были. Если мнѣ удалось обмануть васъ, если вы прочли эти восемь первыхъ главъ безъ скуки, которая почти всегда бываетъ неразлучною подругою всякаго вступленія и всякой экспозиціи, то я могу вздохнуть свободно и съ радостію опытнаго моряка сказать: «Ну, слава Богу, теперь есть надежда, что я кончу благополучно мое плаваніе: я миновалъ самое опасное мѣсто, не

наткнулся на этотъ подводный камень, который такъ страшенъ для всякаго кормчаго, и могу теперь плыть подъ всѣми парусами». Да, любезные читатели, вступленіе, изложеніе, экспозиція, это такіе камни преткновенія, такіа подводныя скалы; что упаси, Господи! Предисловіе ничего: это простая отмель, на которой стоитъ маякъ, и которую почти всѣ объѣзжаютъ.

Однакожь, постойте! Вы еще не совсѣмъ отдѣлались отъ этого длиннаго вступленія. Ради ясности, которую я очень люблю, и для необходимой связи этой истинной повѣсти, мнѣ нужно кой-что еще вамъ пересказать, да не пугайтесь: право только два-три слова. Во-первыхъ, мнѣ должно васъ предупредить, что эту главу раздѣляютъ съ послѣдующею главою ровно осмнадцать лѣтъ, что эти осмнадцать лѣтъ протекли для Мирошевыхъ какъ одинъ тихій и свѣтлый майскій день; разумѣется, не въ Москвѣ, гдѣ май всегда бываетъ хуже апрѣля, который былъ бы очень хорошъ, еслибъ можно было безъ шубы гулять по улицамъ. У Мирошевыхъ всего-навсего дѣтей была одна только дочь, которая родилась въ первый годъ ихъ супружества. Ее называли Варенькой; она была прекрасна, станомъ походила на свою мать, лицомъ на отца, а душой на обоихъ. Пылкое сердце и какая-то наклонность къ мечтательности составляли отличительную черту ея характера: въ этомъ она вовсе была не похожа на своихъ родителей, которые не давали воли своему воображенію, не летали въ *туманную даль*, а жили по-просту, какъ Богъ велѣлъ, и вѣрно въ нашъ романтическій вѣкъ показались бы людьми весьма обыкновенными, прозаическими и даже пошлыми. Бѣдняжки, они не знали, что разгульная и буйная жизнь имѣютъ свою поэзію; что жизнь спокойная, не волнующая страстями, вовсе не жизнь, а прозябаніе; что мы, хотя живемъ на сѣверѣ, а должны смотрѣть на западъ, и такъ-же, какъ тамъ, думать объ одномъ только земномъ просвѣщеніи, то-есть, что мы можемъ забыть о небесной нашей родинѣ, но зато должны предъ

наукою благоговѣть, какъ предъ святынею, и художеству поклоняться, какъ божеству.

Въ эти осмнадцать лѣтъ много перемѣнилось въ окрестностяхъ Хопровки. Новохоперскую крѣпость переименовали въ уѣздный городъ; село Вознесенское отъ прежняго помѣщика перешло во владѣніе знаменитаго графа Р****. Въ близкомъ разстояніи отъ помѣстья Мирошева поселилось нѣсколько небогатыхъ дворянъ и одинъ отставной бригадиръ Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, у котораго было восемьсотъ душъ крестьянъ, а спеси достало бы и на тысячу. Его село съ огромнымъ барскимъ домомъ расположено было по берегу рѣки, верстахъ въ двухъ отъ Хопровки. У этого Ивана Никифоровича Кирсанова... Да нѣтъ, довольно! Пора кончить это безконечное вступленіе; а не то, пожалуй, вы скажете, что мои два три слова не упишутся на десяти листахъ бумаги.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

IX.

НѢСКОЛЬКО НОВЫХЪ ЛИЦЪ, СЪ КОТОРЫМИ НУЖНО ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ ЧИТАТЕЛЯМЪ.

Я думаю, вы не забыли, что передъ домомъ Кузьмы Петровича, на самой срединѣ двора, росла вѣтвистая черемуха. Въ тысяча семьсотъ осьмидесятомъ году, въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ, то-есть часу въ седьмомъ послѣ обѣда, подъ тѣнью этой черемухи, за круглымъ столомъ, на которомъ кипѣлъ самоваръ, помѣщики сельца Хопровки угощали чаемъ своихъ сосѣдей. Около самовара хлопотала барыня лѣтъ за тридцать, съ такимъ привѣтливымъ и миловиднымъ лицомъ, что нельзя было на нее не полюбоваться. Вы, я думаю, не вдругъ бы узнали въ этой румяной, бѣлолицей и плотной барынѣ прежнюю вашу знакомую, Марью Дмитріевну Терпугову. Изъ юной красавицы съ воздушнымъ станомъ сѣльфиды, про которую Прохоръ Кондратьичъ говорилъ, что она того и гляди переломится, Марья Дмитріевна сдѣлалась дородною женщиною съ прекраснымъ лицомъ—это правда, но вовсе не съ гибкимъ станомъ. Противъ нея сидѣлъ мужчина лѣтъ сорока двухъ или трехъ; онъ такъ мало пере-

мѣнился, что, взглянувъ на него, вы тотчасъ бы сказали: «Это Кузьма Петровичъ!» Однакожъ, волосы его начали серебриться, а на лбу и около глазъ, въ которыхъ выражалось совершенное спокойствіе, стали показываться кое-гдѣ морщины. Ему подавала чашку, наливала въ нее сливокъ и всячески старалась услуживать дѣвушка лѣтъ семнадцати, прелестъ собою, съ задумчивыми голубыми глазами, очаровательною улыбкою, высокаго роста, стройная какъ пальма... Извините, это сравненіе вовсе не русское; да вѣдь нельзя же сравнить тонкій и ровный станъ прекрасной дѣвушки съ русскою сосною: несмотря на то, что это сравненіе едва ли не будетъ вѣрнѣе, оно рѣшительно никому не понравится. Что будешь дѣлать, — и не хочешь, да идешь по битой тропинкѣ!.. Кажется, не нужно говорить читателямъ, что эта молодая красавица — дочь Мирошевыхъ, Варенька. Какъ будто нарочно для того, чтобъ показать различіе между стройнымъ и худымъ станомъ, рядомъ съ ней сидѣла барыня лѣтъ тридцати-пяти. Въ ней замѣтны были большія претензіи на красоту и ловкость: она безпрестанно ребячилась, кусала губы, щурила глаза и наклоняла на лѣвую сторону свою голову. Эта барыня точно была бы не дурная и видная собою женщина, еслибъ можно было назвать женщиною одни кости, обтянутыя кожею. Несмотря на свои *бочки* и пышное фуру съ фалбалою, она была такъ худа, что походила, безъ всякой лести, на существо безплотное, и такъ плоска, какъ будто бы ее сейчасъ пропустили сквозь плющильную машину. Агриппина Львовна Вертлюгина — такъ называлась эта щеголиха — держала себя прежде довольно порядочно и говорила, какъ всѣ добрые люди, но съ тѣхъ поръ, какъ побывала въ Москвѣ у родственницы своей, супруги сенатскаго оберъ-секретаря, Авдотьи Саввишны Припекиной, первой щеголихи всего Замоскворѣчья, — Агриппина Львовна совершенно перемѣнилась: стала коверкаться, говорить съ ужимками и употреблять самыя отборныя слова и щегольскія

выраженія второклассныхъ модниковъ и модницъ тогдашняго времени ¹⁾).

Супругъ этой барыни, Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ, сидѣлъ подлѣ хозяина. Это былъ мужчина лѣтъ пятидесяти, но довольно еще свѣжій, росту средняго, съ небольшимъ брюшкомъ, краснощекій, курносый, съ маленькими сѣрыми глазами и важною миною человѣка, душевно убѣжденнаго въ своей глубокой учености. Надобно сказать правду: онъ точно имѣлъ право гордиться своимъ образованіемъ. Илья Сергѣевичъ былъ изъ духовнаго званія, воспитывался въ семинаріи, доходилъ до риторики и не возвратился вспять, какъ знаменитый Кутейкинъ Фонъ-Визина, но перешелъ въ гражданскую службу, втерся какъ-то въ милость къ супругѣ саратовскаго воеводы и, благодаря этому покровительству, отправленъ былъ *на пожизну* въ какой-то небольшой городокъ. Конечно, значительныхъ *акциденцій* Илья Сергѣевичъ тамъ ожидать не могъ; но онъ былъ человѣкъ терпѣливый, и держался пословицы: «курочка по зернышку клюетъ, а сыта бываетъ». И точно, сначала онъ завелъ парочку лошадокъ, а тамъ, годика черезъ три, и домикъ выстроилъ; велъ себя умененько, ни съ кѣмъ не ссорился и такъ пригрѣлъ себѣ мѣстечко, что прослужилъ на немъ пятнадцать лѣтъ сряду. Межъ тѣмъ благодѣтельница его скончалась, и онъ остался бы совсѣмъ безъ покровителей, еслибъ ему не пришла въ голову счастливая мысль породниться съ какою-нибудь знатною особою. Давно ужъ онъ замѣчалъ, что Агриппина Львовна Припекина, двоюродная сестрица сенатскаго оберъ-секретаря, весьма умильно на него поглядываетъ. Она жила въ одномъ съ нимъ городѣ, въ домѣ своей тетки; Илья Сергѣевичъ посватался, — ему не отказали, онъ женился и вскорѣ, по рекомендаціи новаго своего род-

¹⁾ Надъ этимъ вычурнымъ языкомъ, который, разумѣется, никогда не былъ языкомъ хорошаго общества, безъ всякой пощады забавлялся одинъ извѣстный журналъ, который въ 1772 году выходилъ подъ названіемъ „Животисца“.

ственника, переведенъ на другое мѣсто, повыгоднѣе прежняго. Онъ прослужилъ еще пять лѣтъ, купилъ на имя жены сто душъ крестьянъ въ Повохоперскомъ уѣздѣ и вышелъ, наконецъ, въ отставку съ чиномъ коллежскаго ассесора. Несмотря на то, что Илья Сергѣевичъ былъ человѣкъ скупой, онъ одѣвался очень опрятно, всегда въ нѣмецкомъ кафтанѣ, шелковомъ камзолѣ, въ башмакахъ съ пряжками и напудренномъ парикѣ, съ двумя толстыми пуклями и длиннымъ пучкомъ, который висѣлъ у него до самаго пояса. Гражданская служба не могла, однакожъ, изгладить въ немъ совершенно слѣды прежняго воспитанія, и господинъ Вертлюгинъ, несмотря на свою одежду, походилъ болѣе на пожилого семинариста, чѣмъ на отставного подъячаго.

Еще одинъ гость въ долгополомъ синемъ сюртукѣ, который начиналъ примѣтнымъ образомъ бѣлѣть по швамъ, сидѣлъ за общимъ столомъ. Это былъ одинъ изъ ближайшихъ сосѣдей Мирошева, мелкопомѣстный дворянинъ Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ, самый униженный и низкопоклонный старичокъ лѣтъ шестидесяти. Онъ служилъ когда-то въ бомбардирской ротѣ Преображенскаго полка солдатомъ и, какъ человѣкъ грамотный, употреблялся ротнымъ командиромъ для письменныхъ дѣлъ; потомъ былъ уволенъ отъ службы съ чиномъ штыкъ-юнкера, и отправился на Хоперь управлять пятнадцатью душами крестьянъ, которыя достались ему по наслѣдству отъ родителей. Андрей Ѳомичъ никогда не былъ женатъ, но всегда велъ себя примѣрнымъ образомъ и, по словамъ собственныхъ его крестьянъ, за нимъ никакихъ *художествъ* не важилося; правда, онъ любилъ подчасъ выпить лишній стаканчикъ вина, никогда не отказывался отъ наливки, и не только по праздникамъ, но частенько и въ будни, бывалъ навеселѣ. Да вѣдь нельзя же человѣку одному не выпить иногда съ горя,—скучно!

— Помилуйте, — говаривалъ онъ всегда, — за что меня называть пьяницей? Ну, конечно, я пью вино,

потому что оно веселитъ сердце человѣческое; а видаль ли кто-нибудь, чтобъ я валялся въ грязи какъ свинья, или буйниль, или пѣлъ какія-нибудь непотребныя пѣсни?

И подлинно, вопреки извѣстному дѣйствию всѣхъ крѣпкихъ напитковъ, Андрей Ѳомичъ чѣмъ болѣе пилъ, тѣмъ становился смирнѣе; но только вино вовсе не веселило его сердца, потому что онъ обыкновенно при второмъ стаканѣ начиналъ вздыхать, а при третьемъ принимался такъ горько плакать, что приходскій пономарь Ферапонтъ, съ которымъ онъ особенно часто бесѣдовалъ, не могъ никакъ смотрѣть на него равнодушно, и всякій разъ возвращался домой съ заплаканными глазами. Лицо у Андрея Ѳомича было красное и все въ морщинахъ; на самой верхушкѣ головы сіяла кругообразная лысина, а на затылкѣ мотался обвитый черною тесемкою жиденскій пучокъ, или, лучше сказать, косичка рыжихъ волосъ съ просѣдью. Зарубкинъ могъ бы назваться человѣкомъ рослымъ, хотя это вовсе въ глаза не бросалось, потому что онъ былъ очень сутуловатъ, не отъ природы, а по привычкѣ, и сверхъ того обладалъ необычайнымъ искусствомъ, въ нужныхъ случаяхъ, какъ-то съеживаться и становиться не только средняго, но даже малаго роста. Это обыкновенно случалось, когда онъ встрѣчался съ человѣкомъ, который былъ чиновнѣе его или богаче; говорятъ также, что у него язычекъ былъ не очень хорошъ, и что иногда, съ видомъ глубочайшей кротости и какъ будто бы безъ намѣренія, онъ отпускалъ преобидныя вещи для тѣхъ, которые съ нимъ разговаривали. Хотя Зарубкинъ имѣлъ дурную привычку выносить соръ изъ избы и ссорить межъ собой сосѣдей, но самъ жилъ со всѣми въ ладу, и рѣшительно никогда и ни за что ни съ кѣмъ не ссорился.

Нѣсколько поодаль отъ другихъ сидѣла на особой скамеечкѣ дѣвушка лѣтъ семнадцати, весьма миловидная собою, съ живыми черными глазками и маленькимъ ротикомъ, который улыбался весьма пріятно.

Это была Дуняша, воспитанница и фаворитка Марьи Дмитриевны, дочь Лаврентія, который вскорѣ послѣ смерти жены своей, то-есть лѣтъ восемь тому назадъ, отошелъ вслѣдъ за нею къ своимъ праотцамъ.

— Что вы, Андрей Ѳомичъ? — сказалъ Мирошевъ, замѣтивъ, что Зарубкинъ не пьетъ чаю. — Да неужели вамъ еще не подавали? Хозяйка, чтожъ ты это смотришь?

— Подавала, Кузьма Петровичъ, да не хочетъ.

— Что такъ, сосѣдушка любезный?..

— Нѣтъ, сударь, — отвѣчалъ съ низкимъ поклономъ Зарубкинъ, — увольте! Что намъ привыкать къ этому чаю, — не по деньгамъ! Да и пить-то его не хорошо.

— Отчего жъ? Вы прежде у насъ пивали?

— То было прежде, батюшка, а теперь, какъ мнѣ порастолковали, такъ, воля ваша, какъ-то и совѣсть зазираетъ.

— Полно, братецъ, что ты вздоръ-то говоришь! — прервалъ съ важностію Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ. — Да развѣ ты не знаешь, что всякое зелье и всякій злакъ созданъ на потребу человѣка?

— Такъ, сударь, такъ-съ! Да вѣдь это не обо всѣхъ говорится: человѣкъ человѣку не указъ. Вотъ вы, напримѣръ, ваше высокоблагородіе, вы люди важные, вамъ и Господь Богъ разрѣшилъ; а мы народъ мелкій, съ насъ больше спросится. Я ужъ говорилъ объ этомъ чаѣ съ нашимъ приходскимъ пономаремъ, такъ и онъ не очень его похваливаетъ. «Во всей, дескать, кормчей книгѣ нѣтъ на это зелье никакого разрѣшенія, такъ еще Богъ знаетъ, что это за трава такая».

— Заслони меня, радость, — шепнула Варенькѣ Агриппина Львовна. — Я вовсе теряю контенансъ! Слышишь, чай называютъ травой?.. Ахъ, шерочка, какъ онъ смѣшонъ — ужасъ!

Кузьма Петровичъ проговорилъ что-то потихоньку Марьѣ Дмитриевнѣ; она улыбнулась и сказала Зарубкину:

— Да не угодно ли вамъ чаю-то съ французскою водкою?

— Какъ-съ? Съ французскою водкою-съ?

— Да. Вѣдь такъ, я думаю, можно?

— То-есть, изволите видѣть, это ужъ будетъ не чай, а французская водка, разбавленная чаемъ?

— Разумѣется.

— Ну, конечно-съ, это не вредить. Но простой зай,—продолжалъ Зарубкинъ, принимая съ поклономъ чашку изъ рукъ хозяйки, — воля ваша -- не христіанское питье, матушка!

— Перестань, любезный! — закричалъ Вертлюгинъ. — Не знаешь ни аза въ глаза, а туда жъ хочешь о законѣ толковать! Скажи-ка лучше намъ, какъ это, братецъ, богатый-то нашъ сосѣдъ, Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, стравилъ тебя вчера съ своимъ дуракомъ Аеонькою?

— Да, сударь, привязался ко мнѣ, проклятый! Научили что ль его, не знаю. Началъ такія непригожія рѣчи говорить, всячески меня порочить; я сначала все въ шутку поворачивалъ, да онъ ужъ больно сталъ нахальничать: натянулъ палецъ, да и щелкъ меня по носу; я его отпихнулъ, а онъ и драться. А Иванъ Никифоровичъ, чѣмъ бы дурака-то унять, кричитъ: «Не поддавайся, Аеонька!» А тотъ и пуще! Гляжу: ахти, дуракъ-то ужъ до рожи добирается!.. Я и руками и ногами, кричу: «Батюшки, бьетъ; батюшки бьетъ!» А его высокородіе такъ и умираетъ со смѣху. Да ужъ сынокъ-то его, Владиміръ Ивановичъ, — дай Богъ ему здоровье, такой добрый, — схватилъ Аеоньку за воротъ и оттащилъ прочь; а все-таки этотъ шальной раза два съѣздилъ меня по-уху. Что будешь дѣлать!

— Эхъ, Андрей Ѳомичъ, — сказала Марья Дмитриевна, — что это вы такъ даете себя дурачить?

— Да чтожъ, матушка, прикажете дѣлать? Мы люди маленькіе, а его высокородіе человѣкъ большой; а вѣдь большому кораблю большое и плаванье.

— Полно, братецъ! — прервалъ Вертлюгинъ. — Что это за плаваніе такое? Бьютъ тебя по рожѣ, а ты это

называется плаваніемъ! Не хорошо, Андрей Ѳомичъ, право, не хорошо! Ну, зачѣмъ ты къ нему таскаешься?

— Какъ же, батюшка,—я человѣкъ бѣдный...

— То-то и есть,—изъ-за полтинки? А туда-жъ хочеть быть нашимъ братомъ, дворяниномъ!.. Ну, какой ты дворянинъ?

Багровое лицо Зарубкина какъ будто-бъ сдѣлалось еще краснѣе, а на лбу прибавилось нѣсколько морщинъ; но это продолжалось одно только мгновеніе: лицо его приняло снова прежній смиренный видъ, онъ проглотилъ свою досаду, и только не могъ скрыть насмѣшливой и коварной улыбки, которой, однакожъ, почти никто не замѣтилъ.

— И что такое этотъ Кирсановъ? — продолжалъ Вертлюгинъ. — Надменная тварь, про которую можно сказать: «На челѣ твоемъ, нечестивый, возлежить гордыня, и уста твои глаголятъ тщетная».

— Нѣтъ, батюшка, Илья Сергѣевичъ, — сказалъ Мирошевъ,—вы напрасно это говорите. Иванъ Никифоровичъ спесивъ — это правда, а человѣкъ добрый. Спросите-ка его мужичковъ: никто не пожалуется; бѣдныхъ сосѣдей не обижаетъ, съ богатыми не ссорится; ну, а кто самъ пойдетъ къ нему охотою въ шуты, такъ не прогнѣвайтесь!

Зарубкинъ взглянулъ исподлобья на Мирошева.

— Вотъ я хоть, напримѣръ, — прибавилъ Кузьма Петровичъ,—кромѣ ласки, отъ него ничего не видалъ.

— Да, конечно,—промолвилъ Андрей Ѳомичъ, какъ будто бы нехотя,—Иванъ Никифоровичъ со всѣми ласковъ; а кабы вы изволили знать, какъ онъ за глазо трактуеть все здѣшнее дворянство!.. Эхъ, сударь, говорить-то мнѣ только не хочется!..

— И не говорите, Андрей Ѳомичъ!—прервалъ Мирошевъ.—Мало ли что болтають заочно.

— Да-съ, — продолжалъ Зарубкинъ, прихлебывая изъ своей чашки,—не мнѣ одному достается. Вотъ намедни изволить мнѣ говорить: «Послушай, Зарубкинъ, за что тебя зовутъ Андреемъ Ѳомичемъ? По мнѣ, вотъ

какъ: у дворянина душъ пятьсотъ, такъ онъ Андрей Ѳомичъ; не меньше сотни — такъ Андрей Ѳоминъ; а коли и сотни-то не наберется, такъ будетъ съ него, если назовутъ и Андрюшкою.

— Вотъ что! — сказалъ насмѣшливымъ голосомъ Вертлюгинъ. — Такъ поэтому я — Илья Сергѣевъ, сирѣчь — дворянинъ второй статьи?

— Нѣтъ, сударь: васъ-то онъ и дворяниномъ называть не хочетъ.

— Не хочетъ!.. Ахъ, онъ гордецъ! Да чтожъ онъ штабъ-офицерскій-то мой чинъ и въ грошъ не ставитъ?

— И я ему докладывалъ. Вѣдь вы, ваше высокоблагородіе, по табели о рангахъ состоите въ майорскомъ чинѣ.

— Чтожъ онъ?

— Свое говоритъ: «Какой, дескать, дворянинъ!».. Да Богъ съ нимъ, батюшка!.. Вѣдь у него языкъ-то, прости, Господи, какъ бритва.

— Ну, ну! Что онъ говоритъ?

— Ахъ, да, — вскричала Агриппина Львовна, — душенька Зарубкинъ, скажи: я ужасъ хочу знать! Это должно быть безпримѣрно славно! Ну, чтожъ говоритъ о моемъ папенькѣ этотъ мусье Кирсановъ?

— Да мало ли что. Не погнѣвайтесь, Илья Сергѣевичъ, — я не свои рѣчи говорю: «Хорошъ, дескать, дворянинъ, есть чѣмъ похвастаться: съ молодую ѣлъ кутю, а подъ старость запивалъ чернилами».

— Заврался, мой свѣтъ! — прервала Агриппина Львовна. — Не можетъ быть, чтобъ онъ осмѣлился такъ шпетить моего Илью Сергѣича.

— Видитъ Богъ, такъ, матушка! Да вотъ хоть вчера, при мнѣ изволили сказать: «Ну, что за дворянинъ, у котораго отецъ пономарь, а мать просвирня?» Такой грѣховодникъ, подумаешь!.. Одолжите, Марья Дмитріевна, еще чашечку.

Илья Сергѣевичъ хотѣлъ съ презрѣніемъ засмѣяться, но у него что-то заšlo въ горлѣ: онъ поперхнулся, сталъ поправлять свой парикъ, сдержнулъ его на сто-

рону, опрокинулъ молочникъ, однимъ словомъ, совершенно растерялся.

— Эхъ, Андрей Оомичъ! — сказалъ Мирошевъ. — Ну, что вамъ за охота пересказывать всякій вздоръ? Мало ли что заочно болтають? Всѣ эти глупости надобно мимо ушей пускать.

— Правду изволите говорить, — подхватилъ Зарубкинъ. — Я и самъ, батюшка, всякихъ сплетенъ и переносовъ терпѣть не могу, да это какъ-то къ слову пришлось. А вѣдь если правду сказать, такъ Иванъ Никифоровичъ любитъ только пошутить. Человѣкъ оупь добрый и какой набожный, батюшка!..

— Набожный! — прервалъ Вертлюгинъ. — Кто?.. Этотъ безграмотный баричъ, этотъ гордый Сарданапаль, этотъ тучный Вителій?.. Нѣтъ, любезный: наѣхся, упихся, разжирѣхъ, забылъ Бога живого?

— Да, конечно, — продолжалъ Зарубкинъ, — сыночекъ лучше батюшки.

— Прекрасный молодой человѣкъ! — сказалъ Мирошевъ.

— Такой скромный и вѣжливый! — прибавила Марья Дмитриевна.

— Ахъ, да, — подхватила Агрипина Львовна, — безпримѣрно милъ, ужась какъ славенъ!

— И какой хорошенькій! — прошептала Дуняша.

Изъ всего общества только двое не похвалили молодого Кирсанова: Илья Сергѣевичъ и Варенька. Первый ворчалъ что-то про себя о томъ, что яблочко не далеко отъ яблонн падаетъ, а другая въ эту минуту чрезвычайно была занята разсматриваніемъ чайнаго блюдечка и, вѣроятно, для этого наклонилась такъ низко, что вся кровь бросилась ей въ лицо.

— А какъ онъ хорошо танцуетъ минаветъ а-ларенъ — продолжала Агрипина Львовна; — какъ неподобенъ въ гавотѣ!.. О, такихъ тансеровъ не скоро и въ большомъ свѣтѣ набѣжишь! Я съ нимъ встрѣчалась въ Москвѣ въ разныхъ обществахъ. Однажды меня пригласили на балъ къ ея сіятельству княгинѣ Финяко-

вой,—это помнится было... да, точно такъ... на святкахъ... кажется, въ умойся...

— Какъ, сударыня?—спросилъ Мирошевъ.

— Въ умойся. У насъ въ Москвѣ—понимается въ большомъ свѣтѣ—такъ зовутъ субботу. Это ужъ всѣмъ принято.

— Вотъ что! А другіе-то дни, матушка?

— У всякаго свое имя: понедѣльникъ—сѣренкій, вторникъ—пестренкій, среда — колется, четвергъ — мѣдный тазъ, пятница—сайка, суббота—умойся, воскресенье—красное.

— Ну, выдумка!—воскликнулъ Зарубкинъ. — Подлинно: вѣкъ живи, вѣкъ учись! Пятница—сайка, четвергъ—мѣдный тазъ!.. Ахъ, батюшки, куда человѣкъ-то мудрень, подумаешь!

— Вотъ на этомъ-то балѣ,—продолжала Агриппина Львовна,—видѣла я въ первый разъ Владиміра Ивановича. Какъ теперь гляжу: онъ былъ въ зеленомъ бархатномъ кафтанѣ со стразовыми пуговицами, въ кружевныхъ манжетахъ, распысканъ духами,—ну, такой шармантонъ, что способу нѣтъ! Правда, и все общество было самое бонтонное. Я еще помню, тутъ со мной все танцевалъ какой-то военный мужчина; до смерти надоѣлъ своими деклараціями,—ну, вотъ такъ, и напрашивался ко мнѣ въ болванчики!

— Охъ, эти мнѣ болванчики!—сказалъ Вертлюгинъ.

— Фу! папенька, какъ тебѣ не стыдно? Ужъ въ свѣтѣ такъ принято: всѣ куртизанятъ.

— А что, сударыня,—спросилъ Зарубкинъ, надъ которымъ французская водка, разбавленная чаемъ, начинало производить обычное свое дѣйствіе,—осмѣлюсь васъ спросить: чай, на этомъ княжескомъ пирѣ, не такъ какъ у насъ, многогрѣшныхъ, угощенье было отличное?

— Какъ же! Всякіе фрукты, конфекты, цукаты, питье...

— И питье также?

— Разумѣется! Комнаты были освѣщены до невозможности; всѣ подсвѣчники литые серебряные...

— Литые серебряные!.. А у насъ и мѣдныхъ нѣтъ! Прогнѣвали мы Господа!

— Андрей Оомичъ,—сказала Марья Дмитріевна,— да вы никакъ ужъ плачете?

— Грустно, матушка!.. Пожалуйте - ка еще чашечку.

— Но что всего было лучше,—прибавила Агриппина Львовна, — такъ это вотъ что: за ужиномъ, на столѣ было неподобное зеркальное плато, посреди его чрезвычайный храмъ, а въ храмѣ фонтанъ изъ настоящей воды...

— Фонтанъ! — воскликнулъ Зарубкинъ. — О, Господи!

— Сирѣчь водометъ!—сказалъ Вертлюгинъ.

— Знаемъ, батюшка, знаемъ! Мы въ Петергофѣ бывали и Самсона видѣли; да тамъ вода-то стекаетъ въ каналы, а на столѣ — помилуйте: куда жъ ей дѣваться?

— Экій ты, братецъ, какой! Машина такая сдѣлана.

— Чудны дѣла Твои, Господи!—пробормоталъ Зарубкинъ съ умиленіемъ, принимаясь за третью чашку чая съ французскою водкою.

— Ужинъ былъ безпримѣрно славенъ,—продолжала Агриппина Львовна:—играла музыка, пѣвчіе пѣли. «На бережку у ставка»...

— Батюшка, Кузьма Петровичъ!—раздался вдругъ голосъ человѣка, который, повидимому, торопился доложить о чемъ-то хозяину.

Х.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСОЛЬСТВО ОТЪ ПАНКРАТІЯ ЛУКИЧА КУРОЧКИНА КЪ ЛУЗЬМѢ ПЕТРОВИЧУ МИРОШЕВУ.

Человѣкъ, который помѣшалъ Агриппинѣ Львовнѣ описать со всею подробностію великолѣпный балъ княгини Финиковой, былъ, судя по лицу, лѣтъ семидесяти, но весьма еще бодрый и вовсе не похожій на дряхлаго

старика. Его сюртукъ, изъ толстаго сѣраго сукна, былъ подпоясанъ кушакомъ; въ одной рукѣ держалъ онъ кожаный картузъ, а въ другой — покрытую различными мѣтками палку. Она служила ему въ одно и то же время тростью и памятною книжкою, на которой *зарубалось* число телѣтъ обмолоченнаго хлѣба, пудовокъ выданной мѣщины, и вообще всѣ предметы прихода и расхода по хозяйственной части. Ровно восемнадцать лѣтъ вы не видѣлись, любезные читатели, съ этимъ старикомъ; но такъ какъ годы не произвели въ немъ никакой перемѣны, кромѣ только того, что клочки сѣдыхъ волосъ на его затылкѣ пожелтѣли, а носъ изъ краснаго сдѣлался сине-багровымъ, — то я не стану вамъ описывать его наружность, а скажу просто, что этотъ старикъ былъ Прохоръ Кондратьичъ, прежде бывший дядька Мирошева, а теперь, по смерти Лаврентія, дворецкій Кузьмы Петровича и приказчикъ его отчины, сельца Зеленыхъ горки, Хопровка то-жъ.

— Что ты, Прохоръ? — спросилъ Мирошевъ.

— Да что, сударь, бѣда сдѣлалась.

— Что такое?

— Воля ваша, намъ отъ вознесенскихъ житъя нѣтъ. Что это за сосѣди, помилуйте!

— Да говори скорѣй, что случилось?

— Я сейчасъ былъ на полѣ, сударь, недалеко отъ выгона; гляжу — бѣжитъ ко мнѣ пастухъ Федотка, — лица на немъ нѣтъ! Ну, думаю, вѣрно, бѣда! Вчера видѣли волка, ужъ не зарѣзалъ ли онъ барана или телушку?.. Какой волкъ, — хуже, батюшка! Вознесенскій приказчикъ, Панкратій Лукичъ Курочкинъ, объѣзжалъ графскія дачи, да и увидѣлъ, что наша бурая корова, бѣлый бычокъ, да двѣ свинки перешли за межу... и добро бы за ней хоть луга были, а то болото...

— Чтожъ, онъ велѣлъ загнать?

— Да, сударь. Я бросился къ нему... Куда, и къ дому — то близко не подпустили: изволить, дескать, отдыхать.

— Съѣзди опять, да проси отъ меня.

— Дѣлать-то нечего, батюшка, поклонисься.

— Ну, этотъ Панкратій Лукичъ бѣдовый чело-
вѣкъ!—сказалъ Мирошевъ.—Съ тѣхъ поръ, какъ онъ
здѣсь приказчикомъ, только и слышишь: у того ско-
тину загнали, этого въ лѣсу съ грибами поймали, того
потянули въ судъ, у другого землю отрѣзали.

— А что будешь съ нимъ дѣлать, Кузьма Петро-
вичъ?—прервалъ Вертлюгинъ.—Волостной приказчикъ
его высокографскаго сіятельства! Здѣсь, въ уѣздѣ, до
четырехъ тысячъ душъ у него подъ началомъ,—поди-
ка, потягайся!

— Сохрани, Господи, — промолвилъ Зарубкинъ:—
последнюю рубашку стащить.

— Рука-то сильна больно! — продолжалъ Илья
Сергѣевичъ.—Вотъ мой сосѣдъ, князь Лялинъ, чело-
вѣкъ съ состояніемъ, съ родствомъ, только очень глу-
пый.

— Что это вы, батюшка,—прервалъ Зарубкинъ,—
да развѣ князья-то бываютъ глупые?

— Случается. Вотъ, сударь, этотъ князь Лялинъ
не захотѣлъ знаться съ Панкратіемъ Лукичемъ: «Мнѣ,
дескать, низко водить компанію съ какимъ-нибудь при-
казчикомъ». Анъ приказчикъ-то его и жигнулъ! Подаль
просьбу, да и отхватилъ у него пятьсотъ десятинъ
земли. Тотъ было судиться, — гдѣ: плетью обуха не
перешибешь; и мы въ старину дѣла-то ломали,—знаемъ!
Пятьсотъ десятинъ земли присудили отдать его граф-
скому сіятельству, да въ силу какого-то документа,
который будто-бы по дѣлу открылся, прирѣзали ему
же изъ дачъ Лялина что ни лучшіе поемные луга по
Хопру. Вотъ тебѣ и низко знаться!.. То-то и есть; го-
ворять: «съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не тя-
гайся». А по мнѣ, пуще всего: передъ слугою боль-
шого барина кверху носъ не вздергивай. Ну, конечно,
приказчикъ!.. Не велика птица приказчикъ, — да чей?
Въ этомъ-то вся и сила! Вотъ Андрей Ѳомичъ — при-
родный дворянинъ, а, чай, этому приказчику въ поясъ
кланяется.

— Что я, сударь, — сказалъ Зарубкинъ: — мнѣ и Богъ велѣлъ всѣмъ кланяться: ужъ такая моя горькая чаша!

— Ну, полно, не плачь! — прервалъ Вертлюгинъ. — Я не въ обиду тебѣ сказалъ. Если ты, въ самомъ дѣлѣ, въ поясъ ему кланяешься...

— Да какъ же мнѣ ему не кланяться, батюшка, — подхватилъ Зарубкинъ, — когда и вы, ваше высокоблагородіе, за подверсты шляпу передъ нимъ снимаете; да и почище васъ, Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, и тотъ называетъ его пріятелемъ, говоритъ ему «любезнѣйшій» и изволить самъ изъ одной чарки водку съ нимъ кушать.

— Я его почти не знаю, — сказалъ Кузьма Петровичъ. — Въ церкви онъ всегда стоитъ на правомъ клиросѣ, а я на лѣвомъ. Поклонимся издали другъ другу, да и только. Богъ съ нимъ! Человѣкъ-то онъ, въ самомъ дѣлѣ, такой неблагонамѣренный: только и думаетъ притѣснить да обидѣть сосѣда. Я все дивлюсь, какъ графъ это терпитъ? Вѣдь о немъ идетъ молва, что онъ настоящій русскій бояринъ: справедливъ, милосердъ, любитъ и праздники давать, любитъ и Богу помолиться; а ужъ сколько бѣдныхъ людей живутъ его милостью, такъ, говорятъ, и счету нѣтъ!

— И, Кузьма Петровичъ, — сказала Вертлюгинъ, — гдѣ такому большому барину все знать? Приказчикъ изъ усердія къ господскому интересу заведетъ несправедливую тяжбу, судья изъ подобострастія къ знаменитому вельможѣ покривитъ душою, а до него-то дойдетъ ужъ яичко облупленное. «У такого-де сосѣда была въ насильственномъ завладѣніи земля вашего сіятельства, но по рѣшенію суда обращена снова въ вашу собственность» — вотъ и все! Чтожъ графу-то, иль сказать: «Не хочу брать то, что мнѣ принадлежитъ по законамъ?» Будетъ и того, если онъ, по милосердію своему, не прикажетъ взыскивать за пожилое да за протори, убытки и волокиты.

— Да, конечно! Это ужъ наше несчастіе, что къ его

сіятельству такой ябедникъ попался въ приказчики. Да что онъ, отпущенникъ что ль графскій?

— Никакъ нѣтъ, сударь,—сказалъ Кондратьичъ.— Я доподлинно знаю, онъ крѣпостной человѣкъ его сіятельства; а что онъ этакъ фардыбачится, такъ, извѣстное дѣло: «Посади свинью за столъ»...

— Эхъ, Кондратьичъ, что ты это говоришь!—вскричалъ Вертлюгинъ.—Кто бы ни былъ Панкратій Лукичъ, а онъ все-таки довѣренная особа его сіятельства, волостной приказчикъ, ведетъ хлѣбъ и соль съ уѣзднымъ судьей и живетъ за панибрата съ нашимъ капитаномъ-исправникомъ. Крѣпостной! Да если графъ захочетъ, такъ онъ завтра же будетъ дворяниномъ.

— Ужъ не столбовымъ ли, какъ баринъ мой?—сказалъ съ усмѣшкою Кондратьичъ.— Нѣтъ, сударь, далеко кулику до Петрова дня!

— Полно, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ.—Что гутъ столбовой, не столбовой! Да баринъ-то Курочкинъ, самъ графъ, вѣдь ужъ знаменитый бояринъ, нечего сказать,—а кто онъ былъ прежде?

— Да ужъ правда-ли, Кузьма Петровичъ?—промолвилъ вполголоса Вертлюгинъ.—Не можетъ статься, чтобъ его сіятельство былъ смолоду... ну, вы знаете, что?

— Помилуйте, да это всѣмъ извѣстно!

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, вотъ изволите видѣть!—вскричалъ торжественнымъ голосомъ Илья Сергѣевичъ.—И послѣ этого какой-нибудь дворянчикъ Кирсановъ смѣетъ говорить... Да только, — воля ваша!.. Неужели, дѣйствительно, его высокографское сіятельство происходитъ изъ людей низкаго званія?..

— Ну, да, и повсе этого не стыдится, оттого что онъ человѣкъ отличнаго ума, и если не по роду, такъ по дѣламъ и душѣ своей истинный вельможа.

— О, конечно!.. Если онъ самъ этого не стыдится, такъ, разумѣется... Но все-таки, Кузьма Петровичъ, говорить-то объ этомъ не слѣдуетъ.

— Не беспокойтесь: онъ самъ объ этомъ говорить.

Мнѣ рассказывали, будто бы однажды, когда у него полонъ домъ былъ гостей, ему показалось, что сынъ его возгордился: вотъ онъ и сказалъ во услышаніе всѣмъ, что покажетъ рѣдкость, то-есть платье, которое онъ носилъ въ молодости, да и велѣлъ принести въ гостиную—знаете ли что?.. Сѣрый крестьянскій зипунъ.

Вертлюгинъ не усидѣлъ на мѣстѣ.

— Что вы это, Кузьма Петровичъ, — вскричалъ онъ, вскочивъ со стула, — побойтесь Бога! Ну, можетъ ли быть, чтобъ его сіятельство захотѣлъ себя такъ унизить?.. Это сочинилъ какой-нибудь сорванецъ, вольнодумецъ, пасквилянтъ!.. Какая дерзость!.. Эхъ, со-сѣдушка любезный, — продолжалъ онъ вполголоса, — какъ вы неосторожны!.. Ну, если это разойдется какъ-нибудь?.. Иль вы никогда не читали: «не сварися съ человѣкомъ сильнымъ, да нѣкогда впадеши въ рудѣ его» Если, помилуй, Господи, дойдетъ какъ-нибудь до его сіятельства... Да вотъ хоть этотъ Зарубкинъ, вы думаете, онъ дремлетъ? Нѣтъ, все слышитъ! Онъ передаетъ Курочкину, Курочкинъ донесетъ графу, графъ доложитъ Государынѣ... О-охъ, Кузьма Петровичъ, молоды вы еще, батюшка, молоды!

— Богъ милостивъ, — прервалъ Мирошевъ съ улыбкою, — авось пройдетъ даромъ. Да дѣло не о томъ: я хотѣлъ только сказать, что иногда и не-родовой дворянинъ достойнѣе уваженія всякого родового, и еслибъ Панкратій Лукичъ былъ человѣкъ честный, добрый, прямодушный и вышелъ бы какъ-нибудь въ дворяне...

— Въ дворяне! — повторилъ сквозь зубы Кондра-тьичъ. — Нѣтъ еще, погоди: «улита ѣдетъ, когда-то будетъ». А теперь онъ все-таки нашъ братъ, холопъ.

— Однакожъ сынъ-то у него давно уже офицеромъ, — сказалъ Илья Сергѣевичъ. — Графъ записалъ его въ военную службу и вывелъ въ прапорщики. Онъ теперь пріѣхалъ въ побывку къ своему батюшкѣ, и вчера вмѣстѣ съ нимъ былъ у насъ въ гостяхъ. Науки, кажется, въ немъ большой нѣтъ, а молодецъ такой видный, вершковъ двѣнадцати росту, держитъ

себя прямо, рѣчиствъ, и хотъ говорить отрывисто, но очень внятно.

— Ахъ, шерочка, — шепнула Агриппина Львовна Варенькѣ, — какой это безпримѣрный уродъ! Такой длинный, деревянный, — ну, настоящий чурбанъ! Я не знала, что съ нимъ дѣлать. Онъ до того темень въ свѣтѣ, что не умѣлъ даже ко мнѣ къ рукѣ подойти. Представь, радость: чуть было не поцѣловаль меня въ губы! Мужикъ, совершенный мужикъ!

— Что это? — вскричалъ Прохоръ. — Батюшка, Кузьма Петровичъ, у васъ глазки-то получше моихъ, извольте-ка взглянуть на улицу: никакъ это гонять бурую корову?

— Въ самомъ дѣлѣ! — сказалъ Кузьма Петровичъ, подойдя къ забору.

— А вонъ и бѣлый бычокъ, вонъ и свинки!.. Ахти, батюшки, да ихъ гонить вознесенскій пастухъ! Что за диковинка, — какъ это Панкратій Лукичъ умилился?.. Эге, да при нихъ и посолье есть, сударь!

— Посолье? Какой посолье?

— А какъ-же? — продолжалъ Кондратьичъ. — Вонъ, изволите видѣть, позади пастуха ѣдетъ на телѣжкѣ дѣтина въ зеленой бекешѣ? Вѣдь это писарь изъ волостной конторы, Антонъ Ѳедотовъ, — такой краснойбай, что и сказать нельзя! Посмотрите, какіе онъ начнетъ отпускать вамъ турусы на колесахъ.

— Да, — сказалъ Вертлюгинъ, — онъ говоритъ свысока, и его не скоро поймешь; да и самъ-то онъ себя не всегда понимаетъ; а что за рожа!.. Андрей Ѳомичъ, ты знаешь Антона Ѳедотова?

— Какъ-же, сударь! Вѣдь онъ правая рука Панкратія Лукича. Полированный человѣкъ, батюшка: все говоритъ по-книжному.

На господскій дворъ вошелъ человѣкъ лѣтъ сорока, весьма опрятно и даже щеголевато одѣтый для деревенскаго писаря; но съ такою уродливою фигурою и такъ глупо ухмыляющимся лицомъ, что при первомъ взглядѣ Кузьма Петровичъ едва могъ удержаться отъ

смѣха. Этотъ повѣренный въ дѣлахъ господина волостного приказчика подошелъ къ Мирошеву, поклонился, скосилъ самымъ дурацкимъ образомъ глаза и началъ говорить въ носъ съ какимъ-то присвистомъ:

— Ваше благородіе-съ, я присланъ отъ Панкратія Лукича-съ, ради того, чтобъ учинить изъясненіе его нижайшаго высокопочитанія и совокупно принести экскузію въ несоразмѣрномъ заглавіи скота вашего.

— Признаюсь, это нѣсколько меня удивило,—сказалъ Мирошевъ.

— Таковая случайность, батюшка, Кузьма Петровичъ,—продолжалъ писарь,—возымѣла свое происхождение единственно по незнанію, что оная скотина принадлежитъ особѣ вашего благородія.

— Да еслибъ и не мнѣ, такъ, право, грѣшно загонять съ болота.

— Но рѣченное болото, ваше благородіе, яко неприкосновенная собственность его высокографскаго сіятельства, не долженствуетъ, къ ущербу его интересовъ, подвергаться, безъ всякаго возмездія, попиранію различными четвероногими, топтанію и потравѣ; а посему Панкратій Лукичъ, собственно только изъ атенціи къ особѣ вашей, не обращаетъ сего казуса въ тяжebный искъ, подлежащій законному слѣдствію.

— Конечно, и за это благодаренъ. Если сказать правду, такъ я не ожидалъ отъ Панкратія Лукича никакого снисхожденія.

— Помилуйте, ваше благородіе! Да я осмѣлюсь вамъ партикулярно донести, что Панкратій Лукичъ ни единого оказующаго случая не упуститъ, дабы не поусердствовать о благополучіи и благоповеденіи вашемъ, и ради вящаго доказанія своего эстима персонально явится завтрашняго числа къ вашему благородію.

— Милости просимъ! Я очень буду радъ; а межъ тѣмъ не хочешь ли, пріятель, выпить рюмку водки, закусить чего-нибудь?

— Приношу мое всепокорнѣйшее благодареніе, если милость ваша будетъ!..

— Кондратычъ, попроси къ себѣ господина писаря, да угости его.

— Пожалуйте, батюшка, Антонъ Оедотычъ,—сказалъ Прохоръ.—Просимъ покорно!

— Сей моментъ, любезнѣйшій Павкратій Лукичъ,—продолжалъ писарь, откланиваясь Мирошеву, — находится въ такой надеждѣ, что его почтительный аташементъ къ особѣ вашего благородія доставитъ ему такой авантажъ, что онъ современемъ удостоится вашей дружеской апробаціи.

— Фу ты, батюшки! — вскричалъ Кузьма Петровичъ, когда писарь вошелъ вмѣстѣ съ Прохоромъ въ людскую.—Ну ужъ точно, краснобай! Да, я помню, при покойной Императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ, вотъ точно такія посольскія рѣчи печатались въ газетахъ. Гдѣ это онъ набрался такой премудрости?

— Да въ нихъ-то и набрался, — сказалъ Вертлюгинъ.—Онъ сначала былъ писаремъ при самомъ графѣ и читалъ ему по вечерамъ «Санктпетербургскія Вѣдомости», да, видно, поспился немного, такъ его сюда на смиреніе и отправили. Однако, чтожъ это значитъ: Курочкинъ не только возвратилъ безъ всякихъ придиорокъ загнанный скотъ, да еще прислалъ къ вамъ писаря съ извиненіемъ? Это что-нибудь да не даромъ. Ужъ не пронюхалъ ли онъ, что васъ хотятъ въ будущій дворянскій съѣздъ выбрать въ капитанъ-исправники или въ уѣздные судьи?

— Что вы, Илья Сергѣевичъ, помилуйте, какой я судья! Вотъ вы, дѣло другое: васъ секретарь за носъ водить не станетъ.

— Надѣюсь! — промолвилъ съ улыбкою Вертлюгинъ.

— А я,—продолжалъ Мирошевъ,—человѣкъ военный, законовъ вовсе не знаю. И кто на выборахъ станетъ обо мнѣ хлопотать? Охотниковъ и безъ меня много.

— Да вѣрно же есть какая-нибудь причина, что Курочкинъ такъ въ глаза вамъ забѣгаетъ?

— Какая причина! Я думаю, просто добрый стихъ нашель.

— Нѣтъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Зарубкинъ, — и я такой же вѣры: что-нибудь да есть!

— Пойдите-ка! — шепнулъ Вертлюгинъ. — Вотъ эта дѣвица, что живетъ у васъ въ домѣ, фаворитка Марья Дмитриевны...

— Дуняша, дочь покойнаго моего приказчика Лаврентія?

— Вѣдь она вольная?

— Какъ же.

— И вы, помнится, мнѣ сказывали, даете за нею въ приданое восемьсотъ рублей?

— И больше дамъ. Мы съ женою восемнадцать лѣтъ для этого по пятидесяти рубликовъ каждый годъ откладывали.

— Такъ знаете ли что? Ужъ не хочетъ ли Панкратій Лукичъ посватать ее за своего сына?

— А что вы думаете? Да нѣтъ, ему эта невѣста бѣдна покажется!

— А богатая-то за него не пойдетъ. Послушайте, Кузьма Петровичъ: вѣдь, между нами будь сказано: кто жъ захочетъ породниться съ Курочкинымъ? Конечно, сынъ его оберъ-офицеръ, да посмотрѣли бы вы, какой! Къ ставцу лицомъ сѣсть не умѣетъ. А самъ-то онъ что? Крѣпостной человѣкъ, холопъ, чуть не угодилъ барину, такъ, глядишь, и заставятъ свиней пасти. Ну, конечно, теперь нечего дѣлать, прїѣдетъ въ гости, посадишь, оставишь и пообѣдать; но включить въ семейство, — нѣтъ, ужъ это, батюшка, извините! Всему есть мѣра!..

— Что у васъ за секреты такіе? — спросила Марья Дмитриевна!

— Такъ, ничего, мой другъ! — отвѣчалъ Мирошевъ.

— Однакожъ, — продолжалъ Вертлюгинъ, вставая, — солнцето совсѣмъ ужъ сѣло, пора по домамъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, папенька, ужъ поздно, — ска-

зала Агриппина Львовна, надѣвая свою мантилью съ капишономъ.

— Что вы такъ торопитесь? — проговорила почти нехотя Марья Дмитриевна.

— Еще рано, Илья Сергѣевичъ, — прибавилъ Мирошевъ. — Поужинайте у насъ.

— Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, надобно ѣхать за свѣтло. Вы знаете, подлѣ моей деревни оврагъ, спускъ такой скверный — по косогору, а жена у меня такая трусиха...

— Неправда, монъ - шеръ, ты трусишь больше моего! Прощайте, Марья Дмитриевна!

Вертлюгины распрощались съ Мирошевыми и пошли за ворота, гдѣ стоялъ ихъ огромный фазтонъ на пасахъ.

— Ну, что, радость, — сказала Агриппина Львовна Варенькѣ, которая провожала ее до экипажа, — ты прочла мои книжки?

— Нѣтъ еще, не всѣ, — отвѣчала Варенька.

— Которую же ты теперь читаешь?

— «Любовный вертоградъ, или непреоборимое постоянство Камбера и Арисены».

— Ахъ, шерочка, не правда ли, какая это прекрасная книжка?.. Какъ безподобенъ этотъ Камберъ! Я воображаю, что онъ точно такой же былъ какъ Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ!.. Ну, что, радость, онъ у васъ, попрежнему, часто бываетъ?

— Да-съ, раза три въ недѣлю.

— Не будетъ ли онъ послѣзавтра?

— Не знаю.

— Ахъ, Варенька, какъ онъ милъ! Безпримѣрно милъ!.. Я отъ него безъ ума, по чести, безъ ума!.. Фуй, какъ это глупо!.. Чтожъ я тебѣ рассказываю!.. Прощай, шерочка!

— Садись же, матушка! — закричалъ Вертлюгинъ, который ужъ давно расположился въ фазтонѣ.

Агриппина Львовна, какъ воздушная сифида, вспорхнула на подножку, споткнулась и со всего размаха упала въ объятія своего мужа.

— Шалунья!—сказалъ Илья Сергѣевичъ, тронутый ласкою своей супруги.—Такъ ты меня любишь?

— Какъ же, мой жизненочекъ!

— Ахъ, ты, моя голубушка!.. Однакожь, постойка, мой другъ... да ты, кажется, разбила мнѣ головою до крови носъ... Ну, такъ и есть!

— Ничего, папенька, примочимъ уксусомъ.

— Пошелъ скорѣй домой!—закричалъ Вертлюгинъ, приложивъ къ разбитому носу свой платокъ.

— Варенька, Дуняша, ступайте въ комнату,—сказала Марья Дмитріевна:—на дворѣ становится что-то сыро. А вы куда, Андрей Ѳомичъ?

— Да вотъ зайду въ людскую, матушка, — отвѣчалъ Зарубкинъ:—попрошу Антона Ѳедотыча довести меня домой въ своей телѣжкѣ: ему вѣдь по дорогѣ. Прощенья прошу, Кузьма Петровичъ! Покорнѣйше благодарю за угощенье!.. Марья Дмитріевна, Варвара Кузьминична, Авдотья Лаврентьевна, счастливо оставаться!

Варенька и Дуняша пустились бѣгомъ къ дому, а Мирошевъ, идя позади нихъ, шепнулъ женѣ:

— Что ты, мой ангелъ, такъ сухо обходишься съ Агриппиной Львовной? Ты съ нею десяти словъ не сказала.

— Признаюсь, мой другъ, мнѣ очень не нравятся ухватки этой модницы. Вѣдь ей подѣ сорокъ лѣтъ, пора бы перестать коверкаться.

— Да она и въ восемьдесятъ будетъ такъ же ломаться—привычка такая; а вѣдь дурного про нея ничего не говорятъ. Ну, право, Агриппина Львовна добрая и обходительная женщина. Посмотри, какъ она привѣтлива съ нашей Варенькой: и всячески ее ласкаетъ, и книжки ей даетъ читать...

— Охъ, не люблю я этой дружбы! Ну что Варенька перейметъ у нея хорошаго? Замѣтилъ ли ты, мой другъ, какъ эта франтиха жеманится передъ Владиміромъ Ивановичемъ? Глазки ему дѣлаетъ, улыбки отпускаетъ,—ну такъ и вѣшается ему на шею. Право, со стороны гадко смотрѣть!

— И, матушка, ужъ это тебѣ такъ кажется. Глазки дѣлаешь!.. Да она всѣмъ глазки дѣлаешь: и мнѣ, и Зарубкину, и мужу,—ужъ у нея такая натура; и если немножко вольна въ обращеніи, такъ это, просто, свѣтскій обычай. Она жила въ большомъ свѣтѣ, а тамъ ужъ, видно, всѣ такъ обходятся другъ съ другомъ.

— Такъ Господь съ нимъ, съ этимъ большимъ свѣтомъ!—сказала Марья Дмитріевна, входя въ домъ. — Слава Богу, мой другъ, что мы живемъ съ тобой въ деревнѣ!

XI,

КОТОРАЯ НАЧИНАЕТСЯ ВЪ ЛЮДСКОЙ, А ОКАНЧИВАЕТСЯ ВЪ
БАРСКОМЪ ДОМѢ.

Въ просторной комнатѣ, которая, по своему расположенію и убранству, походила болѣе на чистую крестьянскую избу съ красными окнами, чѣмъ на то, что мы называемъ комнатою, за большимъ деревяннымъ столомъ, сидѣли, другъ противъ друга, старикъ Прохоръ и волостной писарь Антонъ Ѳедотычъ. Передъ нимъ стоялъ полуштофикъ ерофеича, деревянное блюдо съ початымъ окорокомъ ветчины и лежалъ огромный пирогъ, начиненный гречневою кашею.

— Любезнѣйшій,—сказалъ Антонъ Ѳедотычъ, принимаясь за вторую чарку ерофеича, — да чтожъ ты самъ-то не изволишь?.. Хоть ради компанства выкушай чарочку вмѣстѣ со мною.

— Не пью, Антонъ Ѳедотычъ.

— Напрасно, Прохоръ Кондратьичъ, напрасно! Мы бы съ тобой чокнулись; я выпилъ бы за благоденствіе господъ твоихъ и многолюбезной вашей барышни, а ты бы за здравіе... вотъ хоть нашего пріѣзжаго, его благородія, Алексѣя Панкратыча Курочкина, который великое и несоразмѣрное желаніе имѣетъ лично изъяснить вашимъ господамъ свой респектъ и достодожную венерацию.

— Да что ты, Антонъ Ѳедотычъ, ничего толкомъ не скажешь? — прервалъ Прохоръ. — Что у тебя за слова такія? Ну, что за венерація такая?

Писарь улыбулся и сказалъ съ довольнымъ видомъ:

— Это, Прохоръ Кондратьичъ, слово уважительное. Кабы ты читалъ «Санктпетербургскія Вѣдомости», любезнѣйшій, такъ не сталъ бы меня спрашивать.

— А развѣ въ нихъ такія рѣчи есть?

— Какъ же!.. Вотъ, напримѣръ, какой-нибудь иноземный посолъ начнетъ говорить и то и се, да и скажетъ: «Пребываемъ, дескать, къ вамъ на вѣки нерушимо, съ нашимъ глубочайшимъ эстимомъ и венераціею, сирѣчь нижайшимъ почтеніемъ». А ему, на прикладъ, такой дадутъ отвѣтъ: «За ваше, дескать, тонкое деликатство и меритъ обѣщается вамъ всякая милость и пропензія».

— Пропензія!.. Да чтожъ это такое?

— Должно быть, или доброхотство, или другое какое-нибудь ласкательное слово.

— Ну, Антонъ Ѳедотычъ, понабрался ты довольно! Нечего сказать, тертый калачъ!

— Да, пріятель, мы таки, живя при лицѣ его высокографскаго сіятельства, пооболванились, понаторѣли и, какъ изволишь видѣть, изрядную шлифовку получили.

— Дѣйствительно такъ, Антонъ Ѳедотычъ! Тебѣ и книги въ руки.

— Эхъ, любезнѣйшій, дайте-ка только форсу Антону Ѳедотычу Каврюгину, такъ посмотрите, куда онъ залетитъ.

— Да какъ же ты это залетѣлъ сюда въ писаря?

— Обнесли, почтеннѣйшій! Доложили его сіятельству, что будто бы я съ приказчикомъ аксиденціи беру и чарочки придерживаюсь. Что будешь дѣлать!.. Трудился я съ неутомленнымъ раченіемъ, всякую невразумительную ревность оказывалъ, а попалъ изъ ближнихъ графскихъ писчиковъ въ окаянные земскіе пи-

саря!.. Посмотришь, другой человекъ темный, неполитичный, а вышелъ какъ вышелъ въ люди! Кому какая планида, любезный! Да вотъ, напримѣръ, не въ проносъ будетъ сказано, хоть нынѣшнее-то его благо-родіе, Алексѣй Панкратычъ, конечно, человекъ добрый, смирный, а вѣдь самый ординарный. Я былъ писаремъ при его сіятельствѣ, а онъ что?.. Дрова носилъ да печки топилъ; а теперь, по милости графской, титуляріи добился, въ оберъ-офицерскомъ рангѣ обрѣтается.

— А надолго ли онъ къ вамъ въ побывку-то приѣхалъ?

— Въ какую побывку! Онъ вовсе абшитъ получилъ, сирѣчь ради хворости и слабости тѣлесной уволенъ въ чистую.

— Ради хворости!.. Что ты, Антонъ Ѳедотычъ? Да онъ, говорятъ, такой дѣтина здоровенный, что любо-дорого взглянуть.

— И правду говорятъ, почтеннѣйшій: Алексѣй Панкратычъ поплотнѣе насъ съ тобой, человекъ корпусный, плечистый и кушаетъ съ такимъ несообразительнымъ аппетитомъ, что ужасно видѣть.

— Такъ какъ же онъ это?..

— А вотъ, изволишь видѣть: стали поговаривать, что будто бы вскорѣ имѣетъ быть нарушеніе прежнихъ трактаций съ его цесарскимъ величествомъ, и что безъ всякаго сумнительства воспослѣдуетъ военная кампанія противъ всей нѣмецкой земли. Вотъ Панкратій Лукичъ и подумалъ: «Что, дескать, за авантажъ такой, если жизнь моего единороднаго сына довершится на какой-нибудь баталіи? Иль какая мнѣ satisfакція будетъ, коли оторветъ ему ядромъ руки и ноги, и останется у него одно туловище?» Подумалъ, да и написалъ сынку: «Бери, дескать, скорѣй свой абшитъ!» А тотъ и взялъ.

— Вотъ что!.. Такъ онъ совсѣмъ на житье къ батюшкѣ?

— Думаю, что такъ, любезный.

— Вѣдь онъ человѣкъ холостой.

— Да, не женатый.

— А сколько ему лѣтъ?

— Безъ малаго тридцать.

— Такъ не пора ли ужъ о невѣстѣ подумать?

— Думаемъ, почтеннѣйшій, думаемъ!

— И есть ужъ кто-нибудь на примѣтѣ?

— Вѣроятно.

— Такъ за чѣмъ же дѣло стало?

— За чѣмъ?.. Что ты, Прохоръ Кондратьичъ? Сочетаніе законнымъ бракомъ не что другое, да и сватовство дѣло немаловажное: тутъ потребны и политическое обхожденіе, и засылка свахъ, и разныя другія тракціи. Вѣдь Панкратій Лукичъ не захочетъ своей амбиціи уронить и, всеконечно, поступокъ свой станетъ такимъ образомъ учреждать, чтобъ ему никакого сумнительства не оставалось.

— Понимаю! — сказалъ съ улыбкою Прохоръ, — Панкратій Лукичъ боится, чтобъ его сынку затылокъ не забрили?

— Ну, разумѣется, почтеннѣйшій! Какъ на первыхъ-то порахъ оконфузять, такъ послѣ и покуражиться нельзя будетъ.

— Да вѣдь Алексѣй Панкратычъ, говорятъ, молодецъ бравый, офицерскаго чина, и если онъ приищеть себѣ невѣсту по плечу, такъ чего ему бояться? А вѣдь за такими дѣвицами дѣло не станетъ!.. Да вотъ хоть и у насъ въ дому невѣста есть: и собою взяла, и приданое-то въ осьмнадцать лѣтъ накопилось порядочное: Кузьма Петровичъ каждый годъ откладывалъ...

— Прохоръ Кондратьичъ, — прервалъ писарь, взглянувъ на него пристально, — чтожъ это, обозрительная рѣчь что ль какая, или такъ?..

— Знаешь пословицу, Антонъ Федотычъ: «попытка не шутка, а спросъ не бѣда».

— Въ самомъ дѣлѣ? — вскричалъ писарь. — Такъ хватимъ же по одной!

— Не пью, любезный!

— Да что ты, пріятель, татаринъ что ль?.. Не пью!.. При такой оказіи всякій православный пьетъ.

— Право, не могу.

— Экій упрямый, подумаешь!.. Пришлось пить одному.

Писарь выпилъ чарку ерофеича, утерся рукавомъ и сказалъ:

— Ну, Прохоръ Кондратычъ, коли на то пошло, такъ мы съ тобой это дѣльце поразсортируемъ. Вотъ изволишь видѣть...

— Хлѣбъ да соль, ребятушки,—вскричалъ Зарубкинъ, входя въ людскую.

— Вотъ. нелегкая принесла! — шепнулъ писарь, вставая.

— Милости просимъ! — проговорилъ Кондратычъ сквозь зубы.

— Я къ тебѣ съ просьбой, Антонъ Ѳедотычъ, — продолжалъ Зарубкинъ. — Да садитесь, любезные, садитесь!.. Я не спесивъ: я, пожалуй, и къ вамъ подсяду, — промолвилъ онъ, поглядывая на полуштофикъ ерофеича.

— Помилуйте, батюшка, — намъ совѣстно! — сказалъ Прохоръ.

— Ну, полно, старина! Сиди, добро!.. Вотъ такъ, подлѣ меня... Да что это, братцы, вы здѣсь поживаете?

— Знатная, сударь, настойка!—сказалъ писарь.

— Право!

— Не прикажете ли, Андрей Ѳомичъ?—прибавилъ Прохоръ, наливая чарку.

— А что, и въ самомъ дѣлѣ, дай выпью! Ночь-то сыренькая, такъ это не вредить. За твое здоровье, Антонъ Ѳедотычъ! Пожалуйста, любезный, подвези меня: вѣдь ты мимо воротъ моихъ поѣдешь.

— Съ моимъ удовольствіемъ.

— Такъ закусимъ, братецъ, чего-нибудь, да и въ дорогу.

Зарубкинъ подѣлъ къ пирогу, отвѣдалъ ветчины,

запилъ второю чаркою настойки, снова закусилъ, а тамъ хотѣлъ опять запить, да ужъ въ полуштофѣ-то ничего не осталось. Писарь, уходя, шепнулъ Кондратьичу на-ухо:

— Послѣзавтра, почтеннѣйшій, какъ пойдешь отъ обѣдни, заверни ко мнѣ въ контору: мы съ тобой кой о чемъ потракуемъ.

Теперь я попрошу моихъ читателей вообразить, что послѣ этого разговора прошло около часу, и перенестись вмѣстѣ со мною изъ людской въ столовую комнату барскаго дома. Марья Дмитриевна, поужинавъ, отправилась ходить съ дочерью и со своею воспитанницею, Дуняшею, по саду; а Кузьма Петровичъ остался въ столовой и толковалъ о полевыхъ работахъ со своимъ приказчикомъ, Прохоромъ Кондратьичемъ, который, проводя гостей, пришелъ къ барину за приказаніями.

— Слушаю, сударь! — говорилъ онъ, собираясь идти. — Я сейчасъ пошлю десятскаго повѣстить по всѣмъ дворамъ, что вы завтрашній день отдаете мужичкамъ, и чтобъ на барщину не выходили.

— Постой-ка, Прохоръ, — сказалъ Мирошевъ: — я хочу съ тобою поговорить. Что это значить: отчего Курочкинъ сдѣлался до насъ такъ милостивъ?.. Какъ ты думаешь, вѣдь это что-нибудь не даромъ.

— Кажись, что такъ, сударь! — отвѣчалъ Кондратьичъ съ значительною улыбкою.

— Ужъ не хочетъ ли онъ, — продолжалъ Мирошевъ, — посватать Дуняшу за своего сына?

— Да, видно, что такъ, батюшка.

— Право?.. Такъ она для него не бѣдна?

— Бѣдна?.. Что вы, сударь! Да какую еще ему невѣсту? Вѣдь вы за ней даете, почитай, тысячу рублей въ приданое. Да пусть онъ поищетъ этакую невѣсту у насъ въ городѣ... Не найдетъ, видитъ Богъ, не найдетъ! Тамъ онъ всѣ на счету: двѣ-три купеческія дочки, да межъ приказными есть невѣсты пьютъ; и всѣ такая голь, что упаси, Господи!.. Чай,

у самой-то богатой на пятьсотъ рублей приданого нѣтъ.

— Вотъ то-то и есть! Ужъ не думаетъ ли Панкратій Лукичъ, что я за Дуняшей полъ-имѣнья даю?.. Чего добраго: пожалуй, наговорятъ и Богъ знаетъ что.

— И, сударь, не извольте беспокоиться! Не такой человѣкъ Панкратій Лукичъ: онъ, вѣрно, ужъ все до копѣечки знаетъ; а если нѣтъ, такъ погодите, сударь, зашлетъ такую сваху, которая всю подноготную выѣдаетъ.

— А что, Прохоръ, вѣдь это бы не дурно было?

— Да, сударь, если онъ точно, какъ говорятъ, человѣкъ добрый и смирный; а на чины-то зариться нечего. Коли мужъ пострѣлъ, такъ что за радость женѣ, что онъ ходитъ при офиціи? Вѣдь офицерскій-то кулакъ не легче нашего холопскаго.

— Разумѣется! Если онъ человѣкъ недобрый, такъ Богъ съ нимъ и съ его офицерствомъ!.. Надобно хорошенько поразвѣдать. Да что ты, Прохоръ, слышалъ что ль объ этомъ отъ кого-нибудь, иль только догадываешься?

— Не фигура догадаться, сударь: писарь Федотычъ почти все мнѣ выболталъ. Сначала говорилъ обвиняками, а тамъ ужъ хотѣлъ напрямки сказать, да Андрей Оомичъ зашелъ къ намъ въ людскую, усѣлся съ нами за столъ: о томъ, о семъ, тара-бара, что будешь дѣлать,—помѣшалъ какъ помѣшалъ! Однакожь, Федотычъ шепнулъ мнѣ мимоходомъ, чтобъ я послѣ-завтра завернулъ къ нему въ контору поговорить порядкомъ объ этомъ дѣльцѣ.

— Смотри же, Прохоръ, узнай все толкомъ.

— Да ужъ будьте спокойны, сударь: меня Федотычъ на бобахъ не проведетъ. Что онъ свысока то говоритъ—эка важность! Насъ этимъ не удивишь: мы и съ нѣмцами говаривали!

— Вотъ и жена идетъ изъ саду; я съ ней объ этомъ посовѣтуюсь. Ступай, Прохоръ, да не забудь повѣстить крестьянамъ, что завтра барщины не будетъ.

— Слушаю, сударь.

— Пора спать, — сказалъ Мирошевъ, идя навстрѣчу къ женѣ. — Прощай, Варенька, Богъ съ тобой! — продолжалъ онъ, перекрестивъ сначала дочь, а потомъ и Дуняшу. — А ты, Дуня, — прибавилъ Кузьма Петровичъ съ улыбкою, — прошу мнѣ завтра рассказать, что тебѣ приснится, слышишь?

— А что такое? — спросила Марья Дмитриевна.

— Ничего, мой другъ, ничего!.. Пойдемъ спать.

Варенька и Дуняша, простясь съ Марьей Дмитриевной, отправились къ себѣ на антресоли. Онѣ спали въ небольшой комнатѣ, свѣтлой и опрятной, но вовсе не роскошной. Окна этой комнаты были обращены во дворъ; изъ нихъ можно было видѣть часть деревни и зеленый лугъ, который, опускаясь незамѣтнымъ скатомъ до самаго Хопра, казалось, сливался съ его голубыми водами. Въ старину и богатые люди не очень заботились объ убранствѣ внутреннихъ комнатъ своихъ домовъ; слѣдовательно, вы можете себѣ представить, что Варенькина спальня вовсе не походила на комфортабельныя опочивальни нашего времени. Въ ней стояли двѣ простыя деревянныя кровати, одна съ ситцевымъ, другая съ холстиннымъ пологомъ; въ углу, кивотъ съ образами; вмѣсто вычурнаго уборнаго столика рококо, покрытый клеенкою дубовый столъ, на которомъ лежали не англійскіе кипсеки съ прелестными гравюрами, а святцы кievской печати съ лубочными картинками; не Бальзакъ, не Дюма, не Жоржъ-Зандъ, то-есть, съ позволенія сказать, *Madame du Devant*, но «*Любовный вертоградъ*» знаменитаго Эмина, «*Горестная любовь*» маркиза де-Тоledo и «*Несчастные супруги, итальянская повесть, имѣющая печальное окончаніе*». Вмѣсто кушетки и спокойныхъ креселъ *à la renaissance*, стояли три обитыхъ черною кожею стула, а взамѣнъ огромнаго *псише* висѣло на стѣнѣ небольшое зеркальце въ позолоченной сусальнымъ золотѣ рамѣ, и все это освѣщалось не затѣйливою кенкетною подъ хрустальнымъ

матовымъ колпакомъ, но небольшою стеклянною лампадою, которая висѣла передъ иконами.

Вареньку и Дуняшу дожидалась въ спальнѣ мамушка Игнатъевна, то-есть бывшая ключница Федосья, которую давно уже величали по одному отчеству; во-первыхъ, потому, что ей было безъ малаго семьдесятъ лѣтъ, а во-вторыхъ, потому, что она носила почетное званіе мамушки. Игнатъевна всегда сама съ крестомъ и молитвою укладывала почивать свою барышню, а иногда, когда ей не спалось, садилась подлѣ ея изголовья, болтала всякую всячину о старинѣ, о томъ, о семъ, и *убаюкивала* ее своими сказками. Случалось также,—что грѣха таить,—когда сонъ ея милаго дитяти казался ей безпокойнымъ, она шептала надъ нимъ разные наговоры, обдувала и даже иногда опрыскивала съ уголька водицею. Игнатъевна была очень набожна: она всегда каялась въ этомъ грѣхѣ на исповѣди, обѣщалась своему духовнику оставить всѣ эти суевѣрные обычаи и примѣты; но лишь только Варенькѣ непоздоровится, или даже чуть-чуть заболитъ у нея голова, Игнатъевна опять за то же. Правда, она всякій разъ послѣ этого, чтобы успокоить свою совѣсть, положить, бывало, сотни три земныхъ поклоновъ, въ первую обѣдню пойдетъ подъ переносъ и начнетъ мѣсяца два сряду понедѣльничать. Все это съ первого раза должно вамъ показаться не только смѣшнымъ, но даже очень глупымъ, быть-можетъ; а подумайте хорошенько, и вы убѣдитесь, что, несмотря на это грубое невѣжество, на эту странную смѣсь вѣры съ суевѣріемъ, въ старину едва ли не тверже вѣрили и ужъ, конечно, лучше нашего умѣли любить.

— Что это, матушка, Варвара Кузьминична, ты такъ рано собралась почивать?—сказала Игнатъевна.— А я думала, что вы еще долго прогуляете. Ночь - то больно хороша: ни одной тучки на небѣ. А полный-то мѣсяцъ, любо-дорого посмотрѣть: словно новенькій рублевикъ, такъ и свѣтится!

— Въ самомъ дѣлѣ,—прервала Варенька, — какая

прекрасная ночь: свѣтло какъ днемъ! Дуняша, посмотри, какъ хорошо тамъ, на рѣкѣ!.. Видишь, какъ мѣсяцъ играетъ по волнамъ?..

— Вижу,—отвѣчала Дуняша. — Такъ бисеромъ и разсыпается по водѣ.

— Какъ ты думаешь, — не погулять ли намъ?.. Вѣдь еще рано.

— Извольте. Я вовсе не устала.

— И я также.

— Такъ погуляй, мое дитятко! — сказала Игнатъевна, цѣлуя Вареньку. — Погуляй, моя родимая!.. А я межъ тѣмъ пойду Богу помолюсь. Да только не ходите по травѣ: чай, теперь роса пала, а вѣдь роса-то не равна: иная упаси, Господи!

— Куда же мы пойдемъ?—спросила Дуняша. — На Хоперь?

— Нѣтъ, нѣтъ! — вскричала съ живостію Варенька. — Пойдемъ лучше въ садъ.

— Да послушайся меня, родная, — подхватила Игнатъевна: — пожалуйста, не ходите въ рощу.

— А что, мамушка?

— Да такъ!.. Что туда по ночамъ ходить?.. Темнеть такая!.. Въ иномъ мѣстѣ и днемъ-то хоть глазъ выколи; еще неравно чего-нибудь испугаетесь.

— И, матушка, чего намъ испугаться? Да я же ничего и не боюсь.

— Охъ, дитятко, не хвались! Не хорошо, право, не хорошо! Ну, какъ Богъ попутаетъ, да что-нибудь почудится!.. Знаешь ли, что добрые люди говорятъ объ этой часовнѣ, что на горѣ?

— А что такое?

— Да вотъ что: будто бы подъ большіе праздники, а иногда и въ будни, прохожіе видятъ, что тамъ огонекъ теплится.

— Ну, что за огонекъ, бабушка? — прервала Дуняша. — Чай, какая-нибудь гнилушка или свѣтлякъ.

— Гнилушка! — вскричала Игнатъевна. — Охъ, ужъ ты, разумница! Видишь, тотчасъ и гнилушка! Не

успѣла подняться на ноги, а умнѣй другихъ стала!.. А прошлую-то субботу на воскресенье, въ самую полночь, что Парфень-то видѣлъ,—гнилушку что ль?

— А что такое онъ видѣлъ? — спросила Варенька.

— Охъ, матушка, страшно вымолвить!.. Парфень ѣхалъ изъ города; ночь также была лунная. Вотъ онъ поровнялся съ горою,—глядь на часовню, такъ у него сердце-то и замерло. У самой часовни — съ нами крестная сила! — стоитъ кто-то, сверху весь черный, а снизу бѣлый, да росту-то аршинъ четырехъ или пяти...

Варенька засмѣялась и взглянула украдкою на Дуняшу.

— Эхъ, барышня, барышня! — продолжала Игнатъевна. — Ну чему жъ ты изволишь смѣяться?..

— Такъ, мамушка, ничего.

— На васъ, кажется, была черная мантилья и бѣлое платье? — шепнула Дуняша.

— Да, — отвѣчала Варенька также шопотомъ.

— Ну, что вы тамъ перешептываетесь? — спросила Игнатъевна. — Смѣтаетесь надъ старухой?.. Эхъ, молодость, молодость!.. Вамъ все теперь тринь-трава!.. Поживите-ка съ мое!..

— Прощай, мамушка! — сказала Варенька, шутя. — Не дожидайся насъ: мы всю ночь проходимъ.

— Что ты, матушка, Христось съ тобою! — вскричала Игнатъевна. — Да если барыня узнаетъ, такъ и мнѣ достанется. Погуляйте этакъ съ полчаса, да будетъ.

ХІІ.

НОЧНАЯ ПРОГУЛКА.

Варенька и Дуняша черезъ дѣвичье крыльцо отправились въ садъ и пошли по прямой дорожкѣ, которая вела въ рощу.

— Куда же мы пойдѣмъ? — спросила Дуняша. — Опять на гору, къ часовнѣ?

— Да! — отвѣчала Варенька вполголоса,

— Что это, какъ вы любите это мѣсто?

— Оттуда прекрасный видъ, — прошептала Варенька.

— Да, это правда. Кругомъ верстъ за десять видно, а домъ и вся усадьба Ивана Никифоровича Кирсанова какъ на ладони. Если ѣхать дорогой, такъ отъ насъ до него, говорятъ, версты двѣ будетъ; а какъ стоишь на горѣ, подлѣ часовни, такъ кажется, всё стекла въ окнахъ пересчитать можно. Однажды мы съ вами видѣли, какъ Владиміръ Ивановичъ смотрѣлъ на насъ изъ окна въ подзорную трубку—помните?

Варенька молчала.

— Какой прелюбезный этотъ Владиміръ Ивановичъ,—продолжала Дуняша.—Такой ласковый, умный и, говорятъ, предобрый; а собой-то какой молодецъ,—не правда ли?..

Варенька опять не отвѣчала ни слова.

— Да чтожъ вы ничего не говорите?—сказала Дуняша.—Неужели Владиміръ Ивановичъ на ваши глаза не хорошъ?

— О, нѣтъ,—промолвила Варенька,—у него очень пріятная наружность.

— А какая улыбка, — подхватила Дуняша, — а взглядъ-то какой! А особливо когда онъ смотритъ на васъ... Ахъ, Ты, Господи, Боже мой!.. Ну, вотъ, кажется, глаза-то у него такъ и говорятъ!

— А что они говорятъ, Дуняша?—спросила, какъ будто бы шутя, Варенька.

Дуня улыбнулась.

— Мало ли что, — сказала она, взглянувъ на Вареньку, которая вся вспыхнула;—да неужели вы сами этого не замѣчаете? Вѣдь онъ въ васъ влюбленъ... Да, да! Что вы качаете головой? Это правда! Бѣдненькій, онъ васъ любитъ, а вы его терпѣть не можете.

— Почему жъ ты это думаешь?

— Какъ почему?.. Сначала-то вы были съ нимъ такъ ласковы, какъ и со всѣми, вовсе его не дичились; бывало, и шутите съ нимъ, и смѣетесь, да вдругъ,

Богъ знаетъ, что съ вами сдѣлалось... И отчего онъ вамъ такъ опостылѣлъ? Онъ сядетъ подлѣ васъ, а вы тотчасъ и прочь; начнетъ съ вами говорить, а у васъ и рѣчей нѣтъ. Бывало, маменька станетъ хвалить его, и вы хвалите, а теперь никогда ни словечка, только что краснѣете, какъ будто бы вамъ досадно, что его хвалятъ. Вотъ третьяго дня, онъ одинъ остался съ нами въ гостиной; я хотѣла выйти, такъ вы схватили меня за руку, да такъ всѣ и помертвѣли. Вѣдь онъ все это видитъ: каково же ему, бѣдняжкѣ!.. Нѣтъ, Агриппина Львовна, такъ совсѣмъ не то: онъ отъ нея, а она къ нему; а если Владиміръ Ивановичъ начнетъ съ ней говорить, она такъ и растаетъ! Голову на лѣвое плечо, съезжитъ свой ротикъ сердечкомъ и пойдетъ работать глазами. Ужъ они у нея вертятся, вертятся, и такъ и этакъ. Ахъ, батюшки, что она ими дѣлаетъ!.. Я пробовала, да никакъ не могу. Въ прошедшую субботу, помните, онъ пробылъ у насъ цѣлый день. Съ вами что-то сдѣлалось: вы ушли къ себѣ въ комнату, да еще расплакались; Владиміръ Ивановичъ собрался ѣхать, а Вертлюгина за нимъ, настигла его въ столовой, прижала къ стѣнкѣ и пошла разсыпаться! Заговорила съ нимъ о какой-то симпатіи; начала вздыхать да подымать глаза къ небу; а лицо-то совсѣмъ у нея искривилось,—ну, точно припадокъ какой-нибудь. Я подошла поближе, гляжу,—Господи, гдѣ у нея глаза-то? Одни бѣлки остались! Ну, ужъ нечего сказать, мастерица!

— Полно, мой другъ! Что ты надъ нею смѣешься? Она, право, добрая женщина. Поди-ка лучше посмотри: мнѣ кажется, калитка заперта.

Дуняша побѣжала впередъ.

— Нѣтъ, не заперта, — сказала она, отворяя калитку.—Ступайте, ступайте!

Онѣ вошли въ рощу. Игнатъевна говорила правду: въ ней мѣстами было такъ темно, что должно было идти почти ощупью; кой-гдѣ только лунный свѣтъ прорывался сквозь густыя вѣтви и слабо освѣщаль тропинку,

которая вела на вершину холма. Привычка много дѣлаетъ: онѣ такъ часто бывали въ этомъ лѣсу, и рано утрому, и поздно вечеромъ, что онѣ казались имъ не отдѣльною рощею, но продолженіемъ сада, въ которомъ всѣ уголки были для нихъ знакомы, но, несмотря на это, когда онѣ вошли въ глубину лѣса и послѣдній отблескъ луннаго свѣта потухъ среди густой тьмы, онѣ крѣпко схватили другъ друга за руки. Этотъ мракъ и торжественное молчаніе ночи невольно подѣйствовали на нихъ воображеніе. Дуняша начала даже трусить. Пробираясь по знакомой тропинкѣ въ гору, она со страхомъ озиралась по сторонамъ и прислушивалась къ шелесту собственныхъ шаговъ своихъ. Птица ли зашумитъ, перелетая съ одного дерева на другое, зашевелится ли ежъ подъ кустомъ, Дуняша отъ всего вздрагивала и робко прижималась къ своей подружѣ. Варенька молчала. Болтливая Дуняша также не смѣла говорить: она чувствовала, что испугается собственного своего голоса; ей казалось, что на этотъ голосъ кто-нибудь откликнется, что подлѣ нихъ изъ-за куста аукнетъ мохнатый лѣшій или захохочетъ лѣсная русалка. Вдругъ на вершинѣ высокаго дуба застоналъ филинъ; Дуняша вскрикнула, схватила за руку Вареньку и пустилась съ нею бѣгомъ по тропинкѣ. Въ полминуты достигли онѣ до опушки лѣса, выбѣжали на открытое мѣсто; ихъ облило луннымъ свѣтомъ, и онѣ вздохнули свободно.

— Ухъ, слава Богу! — сказала Дуняша, перекрестясь. — Фу, какъ страшно!..

— Трусиха! — прервала Варенька, у которой также голосъ немного дрожалъ. — Ну, чего ты испугалась? Совы!

— Да, сова!.. А кто ее знаетъ? Можетъ-быть, оборотень какой-нибудь.

— И тебѣ не стыдно? Ну, можно ли вѣрить такимъ глупостямъ!

— Вѣрить-то я не вѣрю... однакожъ, какъ подумаю, что надобно идти назадъ... Ухъ, страшно!.. Такъ лихорадка и бьетъ.

— Бѣдненькая, тебѣ надобно отдохнуть и успокоиться. Пойдемъ къ часовнѣ.

— Къ часовнѣ?.. А развѣ вы не слышали, что говорила Игнатьевна?

— Да не ты ли сейчасъ надъ нею смѣялась?

— Ну, конечно... да это дѣло другое: дома-то я ничего не боюсь.

— А здѣсь чего бояться? Посмотри, свѣтло какъ днемъ. Если хочешь, мы воротимся не лѣсомъ. Ты знаешь дорожку между кустовъ, прямо внизъ, къ деревнѣ?

— Какъ не знать; я сколько разъ по ней ходила.

— Ну, пойдемъ же.

Онѣ подошли къ часовнѣ, помолились передъ иконою и сѣли на скамейку, съ которой можно было окинуть однимъ взглядомъ прелестный видъ обширныхъ полей и холмистыхъ береговъ Хопра, описанный нами въ пятой главѣ сей истинной повѣсти. Это очаровательное мѣстоположеніе становилось еще величественнѣе и прекраснѣе при лунномъ свѣтѣ; всѣ предметы представлялись въ какомъ-то огромномъ размѣрѣ: рощи превращались въ обширные дремучіе лѣса; холмы, кидая отъ себя густую тѣнь, поднимались какъ исполинскія горы, и освѣщенный луною Хоперъ извивался широкою серебряною лентою посреди луговъ, которые казались безпредѣльными равнинами. Но вся эта роскошь природы не обращала на себя вниманія Вареньки: она смотрѣла только въ одну сторону, туда, гдѣ, на крутомъ берегу Хопра, стоялъ обитый тесомъ большой господскій домъ, окруженный садами и рощами. По прямому направленію отъ часовни, подлѣ которой сидѣла Варенька, до этой барской усадьбы, казалось, не было и полуверсты. Мѣстахъ въ двухъ или трехъ окна были освѣщены; изрѣдка долетали до внимательнаго слуха Вареньки то голоса громко разговаривающихъ, то веселые звуки разгульной пѣсни. Мало-помалу все стало утихать; окна дома темнѣли одно послѣ другого; вотъ раздался лай цѣпной собаки, и зазвенѣла чугунная доска ночного сторожа.

— Кажется, у Кирсановыхъ всё спятъ? — сказала Дуняша. — Да неужели и Владиміръ Ивановичъ почи-
ваетъ? Онъ мнѣ сказывалъ, что никогда не ложится
спать прежде двухъ часовъ ночи.

— Да почему ты думаешь, что онъ спитъ? — спро-
сила Варенька.

— А какъ же? Развѣ вы не видите направо два
крайнихъ окна? Вѣдь вы знаете, что это его комната.
Еслибъ онъ не спалъ, такъ въ ней былъ бы огонь.

— Да эти окна и прежде не были освѣщены.

— Такъ, видно, онъ гуляетъ. Говорятъ, что онъ
съ тѣхъ поръ, какъ началъ къ намъ ѣздить, совсѣмъ
перемѣнился, и сталъ такимъ полуночникомъ, что
иногда до самого разсвѣта шатается по лѣсу.

— Почему ты это знаешь?

— Мнѣ разсказывала Матрена; а она это слышала
отъ своей крестной матери, Аѣимьи, кормилицы Влади-
міра Ивановича.

— Такъ эта добрая старушка, Аѣимья, которую
я раза два видѣла въ дѣвичьей?..

— Ну, да, она его кормилица. Она говоритъ, что
Владиміръ Ивановичъ, какъ пріѣхалъ изъ Москвы въ
побывку къ батюшкѣ, такъ сначала былъ такой весе-
лый, разговорчивый, а теперь какъ въ воду опущенный:
тоскуетъ, исхудалъ, не спитъ по ночамъ. А все вы!..

— Почему жъ я?

— Потому, что онъ въ васъ влюбленъ.

— И, полно, Дуняша!

— Да что вы отъ меня таитесь? Ну, можетъ ли
быть, чтобъ онъ вамъ объ этомъ не намекалъ?

— Никогда!

— Скажите пожалуйста!.. Ну, да это оттого, что
онъ не смѣетъ къ вамъ и приступить. Попробуйте,
будьте съ ними поласковѣе, такъ онъ сейчасъ за васъ
посватается.

— Ахъ, Дуня, ты старѣе меня годами, а судишь
какъ дитя! Да развѣ онъ можетъ располагать собою?
У него есть отецъ.

— Ну, конечно, у него есть отецъ; да почему же отцу-то на это не согласиться?

— Потому, что онъ очень богатъ.

— А вы бѣдны что ль? Вѣдь Хопровка-то будетъ ваша. Да гдѣ жъ Владиміръ Ивановичъ найдетъ здѣсь невѣсту богаче васъ?

— Ребенокъ!—сказала Варенька съ грустною улыбкою.—Да развѣ онъ долженъ непременно жениться на какой-нибудь здѣшней барышнѣ? Мало ли богатыхъ невѣстъ и въ Саратовѣ, и въ Москвѣ, и въ Петербургѣ?..

— Ахъ, въ самомъ дѣлѣ! — прервала Дуняша.— Какая же я дура: вѣдь ему никто не заказалъ жениться въ Москвѣ или въ Петербургѣ; а тамъ, конечно, много и богатыхъ невѣстъ, и графинь, и княженъ... Ахъ, знаете ли что? Афимья сказывала Матрешѣ, что у Владиміра Ивановича въ Москвѣ есть невѣста.

— Право?—проговорила Варенька протяжнымъ голосомъ, стараясь казаться равнодушною.—Кто жъ она такая?

— Говорятъ, какая-то княжна.

— Княжна?.. Богатая?

— Пятьсотъ душъ.

— И, вѣрно, молода?

— Девятнадцати лѣтъ.

— А собой хороша?

— Андрей, слуга Владиміра Ивановича, говоритъ, что она прекрасная, распрекрасная собой!

— Чтожъ... они помолвлены?

Голосъ Вареньки дрожалъ болѣе и болѣе съ каждымъ новымъ вопросомъ; послѣдній едва можно было разобрать.

— О, нѣтъ!—отвѣчала Дуняша.—Вѣдь объ этомъ только еще разговаривали, а настоящего ничего не было. Сначала, когда Владиміръ Ивановичъ сюда пріѣхалъ, онъ писалъ къ этой княжнѣ письма каждую недѣлю...

— А теперь?—прервала Варенька.

— Два мѣсяца сряду ни строчки... Что вы, что вы?..—продолжала Дуняша.—Что съ вами?

Варенька рыдала; она опустила голову на плечо Дуняши, и слезы полились рѣкою изъ ея глазъ.

— Ахъ, барышня, барышня!—сказала Дуняша голосомъ, въ которомъ отзывался нѣжный упрекъ.— Зачѣмъ вы отъ меня тайлись?.. Вы его любите?

— Да!—прошептала Варенька.

— И онъ этого не знаетъ?

— Нѣтъ.

— Такъ постойте же, если вы сами не хотите...

— Бога ради! — вскричала Варенька, вскочивъ со скамьи.—Что ты хочешь дѣлать?

— Да если Владиміръ Ивановичъ никогда не будетъ знать, что вы его любите...

— Да, я люблю его!—сказала Варенька съ какимъ-то отчаяніемъ, и глаза ея вспыхнули необычайнымъ огнемъ.—О, я такъ долго скрывала эту тайну въ душѣ моей, я не смѣла повѣрять ее даже этимъ деревьямъ, не смѣла даже здѣсь, одна, ночью, сказать вслухъ: «Владиміръ, я люблю тебя!».. Пора облегчить мое сердце: оно все изныло. Слушай, Дуняша. Да, я люблю его; но эта любовь... О, какъ она ужасна!.. Она не радость, не блаженство... нѣтъ: это адъ со всѣми его муками! Когда меня ласкаетъ отецъ или мать, сердце мое разрывается, я ненавижу, презираю себя! Въ ту самую минуту, когда я читаю въ ихъ глазахъ всю безпредѣльную любовь къ ихъ дочери, я чувствую... не гляди на меня, Дуняша!... Да, я чувствую, что люблю его больше отца и матери!.. А за что? Не думаешь ли, что я счастлива, когда онъ вмѣстѣ со мною?.. О, нѣтъ! Я хотѣла бы высказать ему всю душу и должна молчать. Понимаешь ли, мой другъ, какъ это тяжело,—любить и не смѣть сказать, что я люблю? Когда я не успѣю отъ него убѣжать, и онъ начнетъ говорить со мною... о, Дуня, Дуня, еслибъ ты знала, что я тогда чувствую!.. Сердце мое едва бьется, въ груди горитъ, мнѣ душно!.. Когда я съ

нимъ розно, я не живу; когда мы вмѣстѣ, я страдаю! Мнѣ кажется иногда, что я похожу на человѣка, измученнаго жестокою болѣзнію: онъ знаетъ, что болѣзнь его неизлѣчима, что жизнь для него одно страданіе и, несмотря на это, онъ любитъ жизнь, любитъ ее болѣе всего на свѣтѣ! Въ молитвахъ моихъ я не прошу Бога о спокойствіи: спокойствіе и равнодушіе—это почти одно и то же; а я не хочу перестать любить его. Безъ этой любви спокойствіе будетъ для меня все то же, что смерть для человѣка, измученнаго болѣзнію: и у него такъ же сердце перестанетъ страдать, когда оно перестанетъ биться, и онъ такъ же успокоится, когда его опустятъ въ могилу.

— Боже мой, Боже мой, — вскричала Дуняша, всплеснувъ руками, — зачѣмъ вы его такъ любите?

— Ты говоришь правду, мой другъ. Я чувствую, это тяжкій грѣхъ, — не должно такъ любить человѣка... Да, Владиміръ жизнь моя; но онъ никогда не будетъ моимъ мужемъ и никогда не узнаетъ, какъ я люблю его.

— Да почему же вы думаете, что онъ не будетъ никогда вашимъ мужемъ? Ну, быть-можетъ, сначала батюшка его и поупрямится, а тамъ — глядишь, посердится, посердится, да и дастъ свое благословеніе. Вѣдь онъ, говорятъ, безъ памяти любитъ сына.

— А свой чинъ и свое богатство еще болѣе. И ты думаешь, что этотъ надменный человѣкъ дозволить единственному своему сыну и наслѣднику жениться на дочери бѣднаго отставнаго поручика? Да можетъ ли это быть?.. Нѣтъ, мой другъ, зачѣмъ себя обманывать: Владиміръ Ивановичъ уѣдетъ въ Москву, забудетъ меня; увидится опять со своею княжною, женится на ней или на какой-нибудь другой богатой дѣвушкѣ, а я.. Богъ милостивъ, я скоро зачахну съ горя, умру... Ахъ, нѣтъ, я не могу желать и этого: вѣдь я у нихъ одна!

Варенька закрыла руками лицо и горько заплакала. Дуняша молчала и плакала съ нею вмѣстѣ.

— Пойдемъ!—сказала, наконецъ, Варенька, вставая.—Я думаю, Игнатьевна успѣла ужъ помолиться Богу и вѣрно теперь насъ дожидается.

Варенька и Дуняша, взявшись за руки, побѣжали внизъ по тропинкѣ, которая извивалась посреди мелкаго кустарника; она вывела ихъ въ нѣсколько минутъ на берегъ рѣки, вдоль которой тянулся довольно большой *порядокъ* крестьянскихъ избъ. Пройдя деревню, онѣ остановились у самаго поворота къ дому, чтобъ взглянуть на Хоперь, котораго струи, освѣщенные полною луною, искрились и блестѣли какъ граненый хрусталь.

— Ахъ, какъ теперь хорошо на рѣкѣ!—вскричала невольно Дуняша.—Вѣдь, право, лучше, чѣмъ днемъ?

— Да,—отвѣчала отрывисто Варенька, смотря пристально внизъ по теченію Хопра.

— Что это,—продолжала Дуняша,—никому не вздумается покататься на лодкѣ? Теперь-то и настоящее гулянье: днемъ жарко, солнцемъ печетъ; а теперь и тепло и прохладно...

— А вотъ посмотри сюда,—прервала Варенька.—Видно, есть охотники.

Шагахъ въ пятидесяти отъ того мѣста, гдѣ стояли Варенька и Дуняша, плыла противъ теченія небольшая лодка. Въ ней сидѣлъ одинъ только человѣкъ; но онъ такъ дружно и искусно работалъ двумя веслами, что челнокъ подвигался впередъ почти такъ же быстро, какъ будто бы онъ шелъ внизъ по теченію рѣки.

— Дуня!—шепнула Варенька, схвативъ ее за руку.—Это онъ!

— И, что вы... помилуйте! Я съ трудомъ вижу, что кто-то сидитъ въ лодкѣ, а вы ужъ и лицо разсмотрѣли.

Варенька приложила руку Дуняши къ груди своей.

— Слышишь ли,—сказала она,—какъ бьется мое сердце? О, оно никогда меня не обманывало!... Это онъ!

— А вотъ посмотримъ! Станемте здѣсь,—сказала Дуняша, указывая на ракитовый кустъ, который росъ

надъ самою водою, прямо противъ господскаго дома.— Насъ не будетъ видно, а мы все увидимъ.

Онѣ спрятались за кустъ.

Когда челнокъ поровнялся съ домомъ, тотъ, кто управлялъ имъ, пересталъ грести, и только изрѣдка опускалъ весла въ воду, чтобъ держаться противъ теченія и стоять на одномъ мѣстѣ. Это былъ молодой человѣкъ лѣтъ двадцати-пяти. Ночь была такъ свѣтла, и онъ причалилъ такъ близко къ ракитовому кусту, что изъ-за него можно было безъ труда рассмотреть всѣ черты лица и полюбоваться его прекрасною и благородною наружностію. Длинные черныя кудри, которыя въ деревнѣ не нужно было, изъ барскаго подражанія французамъ, завивать въ глупыя булки и обезображивать пудрою, падали свободно на его плечи. Голубой плащъ, до половины спущенный, лежалъ у него на колѣняхъ, а на голову была надѣта одна изъ тѣхъ польскихъ красныхъ шапочекъ, которыя тогда были въ большой модѣ и назывались *конфедератками*. Предчувствіе не обмануло Вареньку — да, это былъ онъ. Прошло минутъ десять, а челнокъ все стоялъ неподвижно на одномъ мѣстѣ. Владиміръ смотрѣлъ задумчиво на господскій домъ, или, лучше сказать, на два окна въ антресоляхъ этого дома; казалось, онъ хотѣлъ проникнуть взоромъ во внутренность небольшой комнаты, слабо освѣщенной лампадою. Вотъ кто-то появился въ ней со свѣчею въ рукѣ, подошелъ къ окнамъ, опустилъ подъемныя рамы, задернулъ гардинки. «Она ложится спать»,—сказалъ про себя Владиміръ. — «Почивай спокойно, мой ангелъ! О, если-бъ ты, хотя во снѣ, увидѣвъ меня, улыбнулась съ любовью!» Онъ послалъ по воздуху поцѣлуй, который отправился прямо въ окно къ мамушкѣ Игнатьевнѣ; потомъ подобралъ весла,—челнокъ повернулся и полетѣлъ какъ стрѣла внизъ по теченію рѣки.

Я вѣрю, что истинная любовь вовсе неземное чувство; что человѣкъ, способный любить со всею непорочною и чистотою дѣтской души, обладаетъ до

нѣкоторой степени вторымъ зрѣніемъ шотландцевъ или ясновидѣніемъ погруженнаго въ магнитическій сонъ, то-есть предчувствуетъ и скорую разлуку, и скорое свиданіе съ тѣмъ, кого любитъ; узнаетъ по тоскѣ души своей, что тотъ, кого онъ любитъ, боленъ, или, по радостному біенію сердца, что онъ близко подлѣ него. Я вѣрю все этому, можетъ-быть, потому, что я отъ природы чрезвычайно легковѣренъ, и вслѣдствіе этой увѣренности поневолѣ долженъ сказать, что мужчины вообще или не могутъ любить такъ *духовно*, какъ любятъ женщины, или любовь Вареньки была несравненно сильнѣе той, которую чувствовалъ къ ней Владиміръ. Ей сердце сказало, что это онъ, когда глазами она не могла его еще видѣть; почему же Владиміръ, до котораго почти долетало ея дыханіе, не почувствовалъ, что она въ двухъ шагахъ отъ него, притаясь за кустомъ, не сводить съ него глазъ, и взоромъ, исполненнымъ неизъяснимой любви, слѣдитъ за каждымъ его движеніемъ?

— Ну, Дуняша, — сказала она шопотомъ, когда челнокъ, обогнувъ песчаную отмель, исчезъ за крутымъ берегомъ Хопра, — не отгадала ли я?

— Нечего сказать, барышня: зорки глаза у влюбленныхъ.

— Вотъ нѣсколько счастливыхъ минутъ въ моей жизни! — продолжала Варенька. — Онъ не говорилъ со мною, не видѣлъ меня, не зналъ даже, что я подлѣ; а мнѣ можно было смотрѣть на него, любоваться имъ!.. О, если-бъ это наслажденіе могло продолжаться годъ... десять лѣтъ... всю жизнь мою!.. Вотъ, Дуняша, вотъ блаженство, котораго жаждетъ душа моя!.. Не знаю, понимаешь ли ты меня?..

— Да кто васъ пойметъ, Варвара Кузьминична! — сказала почти съ досадою Дуняша. — Вы ходите на гору смотрѣть издалека на его окна, онъ пріѣзжаетъ по ночамъ въ лодочкѣ глазѣть на наши антресоли, а сойдется вмѣстѣ — такъ ни слова! Ну, что это за любовь такая?.. Оба вы, ничего не видя, худѣете, чах-

нете, не спите по ночамъ... Ужъ, по-моему, лучше одинъ конецъ: пусть онъ попытается, можетъ-быть, ему и удастся уговорить своего батюшку... Только вы-то сами отъ него не бѣгайте. Вѣдь нельзя же ему за васъ посвататься, если онъ будетъ думать, что вы его терпѣть не можете. Однакожъ, пойдемте скорѣй домой, а не то бабушка Игнатьевна такую пыль подыметъ, что, Боже, упаси; и вѣдь все оборвется на мнѣ!

Дѣйствительно, мамушка встрѣтила ихъ не очень ласково.

— Что это, барышня, не стыдно ли вамъ?—ворчала она.—Пошли на полчаса, да часа два проходили! А, чай, все эта озорница?.. «Еще погуляемъ, еще погуляемъ!» Посадила бы тебя плетъ кружево, да по урокамъ, — такъ перестала бы полуночничать!.. Ну, что смѣтаетесь?.. Молитесь-ка Богу: скоро пѣтухи запоютъ.

Игнатьевна, уложивъ свою барышню, отправились спать. Когда все утихло, и въ сосѣдней комнатѣ захрапѣли дуэтомъ старуха-мамушка и толстая дѣвка Матрена, Дуняша, которая давно уже замѣчала, что Варенька потихоньку плачетъ, спустилась осторожно съ постели и подошла на цыпочкахъ къ ея изголовью.

— Послушайте, — сказала она шопотомъ, — не упрямитесь! Почему знать, что можетъ случиться? Богъ милостивъ! Вѣдь ужъ хуже этого ничего не можетъ быть: того и гляди, что вы оба зачахнете; а если вы подадите Владиміру Ивановичу хотя маленькую надежду...

— Никогда!—сказала прерывающимся голосомъ Варенька и прижалась лицомъ къ подушкѣ, чтобъ заглушить свои рыданія.

Не знаю, въ какой-то комедіи, кажется—«*Подложномъ кладѣ*», дядя говоритъ племянницѣ: «Никогда, мой другъ, не надобно говорить никогда». Мы увидимъ впоследствии, могъ ли бы этотъ дядя сказать то же самое Варенькѣ.

XIII.

КАКЪ АЛЕКСѢЙ ПАНКРАТЫЧЪ КУРОЧКИНЪ РАСШИБЪ СВѢ-
ЛОБЪ И ПЕРЕЛОМИЛЪ ВИШНЕВОЕ ДЕРЕВО.

На другой день послѣ описанной нами ночной прогулки, часу въ десятомъ по-утру, семейство Мирошевыхъ, напившись чаю, сидѣло въ той самой комнатѣ, въ которой, осьмнадцать лѣтъ тому назадъ, Кузьма Петровичъ въ первый разъ увидѣлъ Марью Дмитриевну. Варенька и Дуняша вышивали въ пальцахъ; Кузьма Петровичъ читалъ «Санктпетербургскія Вѣдомости», которыми снабжалъ его, по сосѣдству, Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ; а Марья Дмитриевна вязала филе и посматривала съ примѣтнымъ безпокойствомъ на свою дочь.

— Что это, мой другъ, Варенька, — сказала она, наконецъ, — ты такъ блѣдна сегодня? Здорова ли ты?

— Здорова, маменька.

— Да отчего жъ ты такъ худѣешь!

— Я худѣю?.. Что вы!.. Это вамъ такъ кажется.

Марья Дмитриевна покачала головой.

— Не худѣетъ, — сказала она вполголоса, — а платья надобно перешивать! Послушай, мой другъ, если ты что-нибудь чувствуешь, такъ, Бога ради, не скрывай: мы пошлемъ въ городъ за лѣкаремъ.

— Увѣрю васъ, маменька, что я совершенно здорова.

— Такъ отчего жъ ты въ два мѣсяца такъ похудѣла?

— Я тебѣ скажу отчего, — прервалъ Кузьма Петровичъ, положивъ на столъ газеты. — Онѣ съ Дуняшей каждый день верстъ двадцать обѣгають. Ужъ я ли не люблю ходить пѣшкомъ, а никакъ за ними не угоняюсь.

— Зачѣмъ же такъ много ходить?

— И, матушка, не мѣшай имъ. Когда же и погулять, какъ не теперь? Вотъ придетъ дурное время, такъ поневолѣ станутъ сидѣть дома.

— Кузьма Петровичъ,—сказалъ Прохоръ, просу-
нувъ свою голову въ растворенныя двери,—купецъ изъ
города.

— Какой?

— Да вотъ тотъ самый, что на прошлой недѣлѣ
торговалъ у насъ пшеницу; онъ хочетъ съ вами по-
говорить.

— Позови его въ гостиную, — сказалъ Мирошевъ,
вставая.

— Слушаю, сударь... Да не уступайте, батюшка,—
прибавилъ Прохоръ вполголоса,—дастъ!

Кузьма Петровичъ подошелъ къ дочери, поцѣловалъ
ее въ лобъ и сказалъ, выходя изъ комнаты:

— Жена, съ чего ты взяла, что Варенька сегодня
блѣдна? Посмотри: да она какъ маковъ цвѣтъ!

— Въ самомъ дѣлѣ! — проговорила Марья Дми-
тріевна.—Что это, Варенька, какъ ты часто мѣняешься
въ лицѣ?

— Это оттого, маменька, что я долго сидѣла на-
гнувшись.

Не знаю, показалась ли Марья Дмитріевнѣ эта при-
чина удовлетворительною, но вы, любезные читатели,
вѣроятно догадаетесь, что Варенька покраснѣла совсѣмъ
отъ другого, если я скажу вамъ, что въ то самое
время, какъ Мирошевъ выходилъ изъ комнаты, подъ-
ѣзжалъ къ воротамъ, на лихомъ горскомъ жеребцѣ,
стройный молодой человекъ въ щегольскомъ полевомъ
кафтанѣ; онъ вскакалъ молодцомъ на дворъ, спрыгнулъ
съ коня, отдалъ его стремянному, который за нимъ
ѣхалъ, и вбѣжалъ на крыльцо.

— Ахъ, Владиміръ Ивановичъ!—вскричала съ ласко-
вою улыбкою Марья Дмитріевна, когда гость вошелъ
въ комнату.—Откуда вы такъ рано?

— Я ѣздилъ на охоту съ батюшкой, — отвѣчалъ
Владиміръ, поцѣловавъ у нея руку и поклонясь Ва-
ренькѣ и Дуняшѣ.—Онъ отправился домой, а я хотѣлъ
хоть на минуту завернуть къ вамъ и узнать о вашемъ
здоровьѣ.

— Не прикажете ли чаю?

— Покорнѣйше васъ благодарю! Я ужъ завтракалъ.
А что, Кузьма Петровичъ здоровъ?

— Слава Богу! Онъ сейчасъ придетъ.

Варенька встала.

— Куда ты, мой другъ? — спросила Марья Дмитриевна.

— Въ садъ, маменька: надобно полить мои цвѣты.

— Я ужъ приказала садовнику.

— Да мнѣ и пройтись хочется; я такъ долго сидѣла.

— Позвольте и мнѣ погулять вмѣстѣ съ вами, — сказалъ Владиміръ. — Я очень люблю вашъ садъ.

— Полноте смѣяться, Владиміръ Ивановичъ! — прервала Мирошева. — Послѣ вашего великолѣпнаго сада, нашъ незатѣйливый садикъ долженъ вамъ показаться простымъ огородомъ.

— Вы можете мнѣ не вѣрить, Марья Дмитриевна; но я клянусь вамъ честію, что люблю его гораздо болѣе нашего преогромнаго и прескучнаго регулярнаго сада. Когда я смотрю на его зеленые стѣны изъ липъ и подстриженныя елки, то мнѣ всякій разъ кажется, что его не сажали, а строили.

— Пойдемъ, Дуняша, — шепнула Варенька.

— Вы позволяете мнѣ быть вашимъ кавалеромъ? — спросилъ ее Владиміръ.

— Какъ вамъ угодно, — отвѣчала она едва слышнымъ голосомъ.

— Ступайте, Владиміръ Ивановичъ, — сказала Марья Дмитриевна. — Я и сама сейчасъ къ вамъ приду; теперь лучшее время для прогулки: черезъ часъ будетъ жарко.

Владиміръ вышелъ вмѣстѣ съ Дуняшей и Варенькой.

— Какъ онъ милъ! — прошептала Мирошева, глядя вслѣдъ за ними. — Ну, право, я не знаю, кто изъ нихъ лучше... Ахъ, если бы!... О, тогда бы я умерла спокойно...

Черезъ нѣсколько минутъ вошелъ опять въ комнату Кузьма Петровичъ.

— Гдѣ нашъ гость? — спросилъ онъ.

— Пошелъ вмѣстѣ съ Варенькой и Дуняшей гулять по саду.

Мирошевъ покачалъ головою.

— Охъ ужъ мнѣ эти гулянья! — сказалъ онъ. — Марья Дмитріевна, смотри, чтобъ послѣ не тужить!

— О чемъ, мой другъ?

— О чемъ?.. Да воля твоя, душенька, не худо бы ему порѣже къ намъ ѣздить.

— Кому?.. Владиміру Ивановичу?

— Ну, да!

— Помилуй, Кузьма Петровичъ, давно ли ты самъ его хвалилъ?

— И теперь пожалуй похваляю. Да вѣдь у насъ, мой другъ, дочь невѣста.

— Такъ чтожъ?

— Какъ что? Владиміръ Ивановичъ прекрасный мужчина, любезенъ, уменъ...

— Да, это правда.

— Мнѣ кажется, что Варенька ему нравится.

— Слава Богу, замѣтилъ! — прервала Марья Дмитріевна съ улыбкою.

— А если и онъ также понравится нашей дочери?.. Если они полюбятъ другъ друга?..

— Тогда онъ посватается, а она выйдетъ за него замужъ.

Мирошевъ опять покачалъ головою.

— Да что это, мой другъ, ты качаешь головой? — продолжала Марья Дмитріевна. — Мнѣ кажется, Владиміръ Ивановичъ прекрасная партія для нашей дочери..

— О, конечно!.. Еслибъ у него не было отца.

— Ахъ, Кузьма Петровичъ, да не все ли это равно? Вѣдь Владиміръ Ивановичъ единственный его наследникъ.

— Не объ этомъ рѣчь, матушка...

— А, понимаю!.. Говорятъ, что Иванъ Никифоровичъ вспыльчивъ: ты боишься его крутого нрава? Да вѣдь онъ, несмотря на это, предобрый человекъ.

— Нѣтъ, Марья Дмитріевна, совсѣмъ не то...

— А, вотъ что! Ты думаешь, что Иванъ Никифоровичъ вдовецъ и можетъ самъ еще жениться?.. Помилуй, ему за шестьдесятъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, матушка!—прервалъ съ нетерпѣніемъ Кузьма Петровичъ.—Я думаю, что Иванъ Никифоровичъ не позволитъ сыну жениться на нашей дочери.

— Не позволитъ?.. — повторила съ величайшимъ изумленіемъ Миросева.—Какъ не позволитъ?..

Бѣдная Марья Дмитріевна! Она была такого высокаго мнѣнія о своей дочери, что изъ всѣхъ различныхъ препятствій, это одно не приходило ей никогда въ голову, потому что оно казалось ей совершенно невозможнымъ.

— Ахъ, Кузьма Петровичъ,—сказала она,—что это у тебя иногда за странныя мысли!.. Да найдется ли гдѣ-нибудь такой человѣкъ, который не захотѣлъ бы назвать Вареньку своею дочерью? И чѣмъ ты хуже Кирсанова? Ты старинный русскій дворянинъ, тебя всѣ уважаютъ...

— Все такъ, матушка; однакожъ, послушай: если бъ за нашу дочь посватался какой-нибудь отставной прапорщикъ, хотя и честный человѣкъ, но вовсе безъ состоянія...

— Какая разница, мой другъ!

— Я тутъ не вижу никакой разницы.

— Такъ у тебя глазъ нѣтъ. Да развѣ ты не видишь, что такое Варенька? Самъ Иванъ Никифоровичъ, когда заѣзжаетъ къ намъ, не можетъ ею налюбоваться. Да есть ли въ цѣломъ мірѣ кто-нибудь милѣе, умнѣе и прекраснѣе нашей дочери?.. Кому она не пара? Какой женихъ можетъ быть для нея слишкомъ богатъ или знатенъ?..

— А почему ты знаешь, мой другъ, что Иванъ Никифоровичъ не говоритъ то же самое о своемъ сынѣ? Вѣдь и ему также никто не заказалъ думать, что въ цѣломъ мірѣ нѣтъ невѣсты, которая была бы слишкомъ знатна или богата для его сына. Эй, Марья Дмитріевна,

смотри, чтобъ намъ не нажить себѣ горя! Эти частыя посѣщенія...

— Чтожь?—прервала Мирошева, — не прикажете ли отказать ему отъ дома?..

— Я не говорю этого; но если бы онъ порѣже съ нею видѣлся...

— Признаюсь, я не ожидала, чтобъ вы такъ мало любили вашу дочь!

— Жена... побойся Бога!

— Ну, пускай бы кто-нибудь другой, а то родной отецъ хочетъ помѣщать счастью своей дочери!

— Машенька,—сказалъ Мирошевъ, всплеснувъ руками—ты ли это говоришь?

Марья Дмитріевна замолчала, потомъ кинулась на шею къ мужу, заплакала и сказала:

— Прости меня, мой другъ, я виновата!.. Но ты не знаешь, какъ я люблю ее!

— Право не больше моего, — продолжалъ Мирошевъ, обнимая жену.—Охъ, вы, матушки, матушки! Что съ вами дѣлать? Вы, видно, всё на одинъ покрой. Глядишь, женщина умная, разсудительная, съ толкомъ, а дошло дѣло до того, чтобъ просватать дочку за выгоднаго жениха, такъ съ ней и не говори! Все вздоръ, кромѣ того, что она себѣ въ голову забрала.

— Душенька, другъ мой!—прошептала Марья Дмитріевна, лаская мужа,—какъ же ты хочешь, чтобъ я не желала этого? Впрочемъ, успокойся: за Вареньку намъ бояться нечего; я не думаю, чтобъ она ему отказала, если онъ, съ позволенія отца, будетъ за нее свататься; но что она къ нему совершенно равнодушна, въ этомъ я могу тебя увѣрить. Она даже замѣтнымъ образомъ избѣгаетъ случая быть съ нимъ вмѣстѣ. Да это такъ и быть должно; я сужу по себѣ: я могла влюбиться только въ жениха своего,—а Варенька вся въ меня.

— Полно, такъ ли, мой другъ?.. Душа - то у нея твоя, а сердце, или, вѣрнѣй сказать, голова не вовсе на твою походить. Ты, кажется, не хаживала по но-

чашъ смотрѣть на луну да мечтать; а за нею это водится.

— Ребачество, мой ангелъ! И я бы, можетъ-быть, вздыхала по лунѣ, если бъ у меня не было причины вздыхать о другомъ. Послушай, мой другъ, оставь ихъ! Если, въ самомъ дѣлѣ, Владиміръ Ивановичъ въ нее влюбленъ, такъ неужели ты думаешь, отецъ будетъ противиться его счастію? Вѣдь онъ у него, такъ же какъ наша Варенька, одинъ-одинехонекъ... И на что ему искать богатой невѣсты для сына, когда онъ и безъ этого будетъ богатъ?

— Ну, хорошо, хорошо! Только куда бы я желалъ, чтобъ это все, такъ или этакъ, только скорѣе кончилось. А межъ тѣмъ ступай-ка, душенька, къ нимъ въ садъ.

— Да не безпокойся: вонъ, посмотри, Владиміръ Ивановичъ садится ужъ на лошадь. Видно, торопится: не зашелъ и проститься со мною... Какой молодецъ!.. Не правда ли, мой другъ?.. А это что за гости къ намъ ѣдутъ... Кто это?.. Тройкой... въ бричкѣ...

— Постой-ка! — сказалъ Мирошевъ. — Ну, такъ и есть, — Курочкинъ!.. И, кажется, со своимъ сынкомъ... Фу, ты, батюшки: одинъ женихъ со двора, другой на дворъ!.. Только этотъ будетъ понадежнѣе; и если онъ хоть крошечку понравится Дуняшѣ, такъ и съ Богомъ!

— Да неужели ты думаешь, что онъ съ перваго раза такъ и начнетъ свататься?

— О, нѣтъ, Курочкинъ человѣкъ аккуратный: теперь смотръ, а тамъ сваху жди на дворъ; потомъ пойдутъ переговоры. Панкратій Лукичъ станетъ торговаться; мы посулимъ немножко побольше, онъ сдѣлаетъ уступочку, а тамъ и по рукамъ.

Межъ тѣмъ бричка подъѣхала шагомъ къ крыльцу. Сначала выпрыгнулъ изъ нея сынъ, — нельзя сказать, чтобъ очень ловко, потому что шпага его перевернулась эфесомъ изъ, и онъ зацѣпилъ концомъ ея по носу кучера; потомъ полѣзъ и батюшка съ большою осторожностію, опираясь на руку сына. Часто бываетъ,

что дѣти вовсе не походятъ на своихъ родителей; но едва ли вамъ случалось видѣть такую разительную противоположность и въ моральномъ и физическомъ отношеніи между отцомъ и сыномъ, какую представляли собою Панкратій Лукичъ и Алексѣй Панкратыичъ Курочкинъ. Первый, то-есть отецъ, былъ низкаго роста, съ кругленькимъ брюшкомъ, на двухъ тоненькихъ и короткихъ ножкахъ. Большая, съ обширною лысиною голова, казалось, была приклеена къ его плечамъ. Панкратій Лукичъ могъ бы смѣло грабить на большихъ дорогахъ въ Англіи. Всѣмъ извѣстно, что тамъ законъ исполняется буквально: онъ повелѣваетъ уличеннаго въ разбой преступника вѣшать *за шею*; слѣдовательно, Курочкина рѣшительно нельзя было бы повѣсить: у него вовсе не было шеи. Если бъ можно было олицетворить подлую и крючковатую хитрость стариннаго русскаго приказнаго, смѣшанную съ безстыднымъ нахальствомъ лакея большого барина, то, конечно, для этого понадобилось бы лицо Панкратія Лукича. Зеленовато-сѣрые глаза его были въ непрерывномъ движеніи; казалось, онъ боялся остановить ихъ на одномъ предметѣ и дать время прочесть въ нихъ всѣ плутовскія затѣи своей чернильной душонки, преисполненной подъяческими кознями. Его огромный носъ опускался широкимъ навѣсомъ надъ вѣчно-улыбающимися устами и круглымъ подбородкомъ, который, за отсутствіемъ шеи, былъ обвернутъ миткалевою бѣлою косынкою. На Панкратіи Лукичѣ былъ суконный, бутылочнаго цвѣта, нѣмецкій кафтанъ, гродетуровый плюсовый камзолъ, такое же исподнее платье и полосатые шелковые чулки. Въ одной рукѣ держалъ онъ *натуральную* трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, въ другой трех-угольную шляпу, весьма искусно зашитую черными нитками. Изъ-подъ камзола висѣли двѣ семилеровыя цѣпочки съ разными побрякушками: одна отъ серебряныхъ часовъ шарообразной формы, а другая—такъ, вѣроятно, для симметріи.

Теперь поставьте рядомъ съ нимъ виднаго тамбуръ-

мажора, котораго, шутки ради, нарядили въ офицерскій мундиръ. Этотъ сынокъ ровно на двѣ четверти былъ выше своего папеньки; то-есть въ немъ было два аршина и двѣнадцать вершковъ росту. Прибавьте къ этому широкія плечи, высокую грудь, прямой, вытянутый станъ и жилистыя ноги, которыя какъ будто бы вовсе разучились сгибаться; однимъ словомъ, если у васъ нѣтъ подъ руками надежнаго столба, а вашъ домъ готовъ повалиться, подпирайте его смѣло Алексѣемъ Панкратычемъ и почивайте спокойно. Румяное лицо его, по своему добродушному выраженію, было бы довольно пріятно, когда бы у него, вмѣсто бездушныхъ оловянныхъ глазъ, были глаза, хотя нѣсколько человѣческіе. Онъ такъ же часто и такъ же некстати хохоталъ, какъ часто и безъ всякой причины улыбался его батюшка. Вы скажете ему привѣтливое слово, онъ захохочетъ; спросите о здоровьѣ — онъ умретъ со смѣху. Однажды было отецъ вздумалъ порядкомъ пожурить за это сына, да послѣ и закался.

— Эхъ, Алеша!—сказалъ онъ,—что у тебя за обычай такой? Выпучишь глаза, да, ни къ селу, ни къ городу, захохочешь словно сычъ какой? Вѣдь иной подумаетъ, что ты глупъ, какъ пень!

Эти два вѣжливыя сравненія показались сынку такъ забавными, что онъ повалился со смѣху на полъ и чуть не задохся: насилу его отлили водою.

Входя на крыльцо, Панкратій Лукичъ безпрестанно шепталъ сыну:

— Смотри, Алеша, не забудь: подойди къ ручкѣ, да не хохочи, пожалуйста! Ухмыляйся только ради пріятельства,—ну, вотъ такъ же, какъ я.

— Знаю, батюшка, знаю!—отвѣчалъ сынокъ, направляя свою шпагу и прижимая къ вискамъ форменныя буikli, которыя начинали топыриться и принимать понемногу видъ распростертыхъ крыльевъ.

Мирошевы были уже нѣсколько минутъ въ гостиной; Варенька и Дуняша гуляли еще по саду.

— Чтожъ наши гости такъ долго нейдутъ?—спросила Марья Дмитріевна мужа.

— И, матушка: женихъ, — такъ охорашивается, чтобъ приглануться невѣстѣ.

Вдругъ что-то такъ сильно стукнуло, что стѣны затряслись въ домѣ, и въ то же время Прохоръ Кондратычъ закричалъ въ передней:

— Батюшки, убился!

— Ничего!—заревѣлъ кто-то басомъ.

— Скорѣй, скорѣй, мѣдный пятакъ!—раздался незнакомый голосъ.

— Боже мой, что это такое? — вскричала Марья Дмитріевна.

— Это какъ будто бы кто-нибудь ударилъ дубиною въ стѣну, — сказалъ Мирошевъ, выходя изъ гостиной.

Кузьма Петровичъ почти отгадалъ. Входя изъ сѣней въ переднюю, трех-аршинный женихъ не обратилъ вниманія на то, что двери очень низки, и со всего размаха хватился лбомъ о притолку. Когда Мирошевъ вошелъ въ лакейскую, то ему представилась чрезвычайно интересная и трогательная картина: изувѣченный сынъ сидѣлъ на коникѣ; съ одной стороны заботливый отецъ, приложивъ къ его лбу мѣдный пятакъ, старался изъ всѣхъ силъ оттиснуть россійскій гербъ на огромной шишкѣ, которая, несмотря на всѣ его усилія, становилась все больше и больше; съ другой стороны Прохоръ Кондратычъ держалъ обѣими руками голову страдальца; въ двухъ шагахъ стояли буфетчикъ Ѳомка и мамушка Игнатьевна, которой въ эту минуту толстая Матрена подавала бутылку *живой воды*, и двѣ босоногія дѣвчонки робко выглядывали изъ коридора. Вѣроятно, Панкратію Лукичу удалось бы, наконецъ, заклеить своего сына, если бъ онъ, увидѣвъ Мирошева, не вскочилъ съ коника.

— Ахъ, батюшка, Кузьма Петровичъ! — сказалъ Курочкинъ-отецъ, положивъ преспокойно въ свой карманъ чужія пять копѣекъ.—Извините!.. Какой вышелъ

случай!.. Изводите видѣть, вотъ онъ... Это, батюшка, мой сынъ... Прошу любить и жаловать!..

— Вы, кажется, больно ушиблись?—спросилъ Мирошевъ.

— Не извольте беспокоиться!—отвѣчалъ женихъ,—обдергивая мундиръ. Пустяки-съ, — шишка и больше ничего!

— Однакожъ, вы шибко ударились.

Женихъ умеръ со смѣху.

— Не правда ли? — сказалъ онъ, продолжая хохотать.— Да это нашему брату ни почемъ! У насъ и не такіе жедваки бывали. Была бы только голова на плечахъ.

— Вы, кажется, въ отставку? — спросилъ Мирошевъ Курочкина-сына.

— Да-съ, вольный козакъ!.. Ха, ха, ха!

— И долго у насъ поживете?

— Какъ же!.. Хи, хи, хи!

Панкратій Лукичъ толкнулъ локтемъ сына.

— Да милости прошу къ женѣ!—сказалъ Кузьма Петровичъ.

Оба Курочкина пошли за хозяиномъ, и между ними начался шопотомъ слѣдующій разговоръ:

— Перестанешь ли ты хохотать, дубина!

— Забылъ!

— Забылъ!.. Эко чучело!

— Да полно, батюшка, ругаться!.. Услышать!

Когда они вошли въ гостиную, Панкратій Лукичъ отвѣсилъ пренизкій поклонъ Марьѣ Дмитріевнѣ и мигнулъ сыну; сынъ приготовилъ правую ладонь, какъ нищій, который сбирается просить милостыню, двинулся форсированнымъ маршемъ къ хозяйкѣ, уронилъ мимоходомъ работный столикъ съ пальцами и подошелъ къ рукѣ. Въ ту самую минуту, какъ Марья Дмитріевна, по русскому обычаю, наклонилась, чтобъ поцѣловать его въ щеку, Алексѣй Панкратычъ поднялъ голову и, къ счастью, не разбилъ ей носъ, а только замаралъ лицо пудрою.

— Прошу покорно садиться! — сказалъ хозяинъ, едва удерживаясь отъ смѣха.

Курочкины сѣли.

— Вы, кажется, служили въ одномъ полку съ племянникомъ сосѣда нашего, Ильи Сергѣевича Вертлюгина? — спросилъ Мирошевъ, чтобъ начать разговоръ.

— Да-съ! Точно такъ-съ! — отвѣчалъ женихъ. — Мы съ нимъ однокорытники. Расторопный офицеръ!

— Онъ, кажется, произведенъ въ подпоручики?

— Не могу знать. Хорошій товарищъ, весельчакъ; только, смѣю вамъ доложить, такой сорви-голова, что и сказать нельзя! Какъ онъ былъ еще капраломъ, такъ его частехонько подъ ружья ставили. И со мной выкидывалъ порядочныя штучки.

— Право?

— Да вотъ я вамъ доложу. Прошлаго лѣта находились мы съ нимъ въ откомандировкѣ; я былъ старшимъ, а онъ младшимъ. Вѣдь вы изволите знать, въ службѣ палку поставятъ командиромъ, такъ и палки слушайся. Вотъ я, по долгу службы, потребовалъ, чтобы онъ мнѣ рапортовалъ. Чтожъ вы думаете?.. Онъ подошелъ ко мнѣ и началъ какъ слѣдуетъ: «Честь имѣю рапортовать»... да и пошелъ меня позорить не на животъ, а на смерть, — совсѣмъ обругалъ! А самъ стоитъ безъ шляпы, на вытяжку: никакъ нельзя придратъся.

Мирошевъ засмѣялся, Марья Дмитріевна также, а самъ рассказчикъ при сей вѣрной оказіи покатился со смѣху; это бы еще ничего, но онъ такъ навалился на спинку креселъ, что опрокинулся вмѣстѣ съ ними на полъ и переломилъ у нихъ ручку.

— Что ты это, Алексѣй? — закричалъ Панкратій Лукичъ. — Что это нынче съ тобой дѣлается?.. Извините, батюшка, Кузьма Петровичъ!

— Ничего, ничего! — сказалъ Мирошевъ, помогая гостю подняться на ноги.

— Увести его скорѣе отсюда, — шепнула Марья Дмитріевна мужу, — а не то онъ все у насъ переломаетъ. Не угодно ли вамъ, Алексѣй Панкратычъ, —

продолжала она, обращаясь къ жениху, который оправлялся,—взглянуть на нашъ садикъ?

— Съ моимъ удовольствіемъ! Я чрезвычайно люблю сады-съ, особливо плодовые, — очень занимательно: и гуляй себѣ до-сыта, и ѣшь до-отвалу!

Мирошевъ остался одинъ съ Панкратіемъ Лукичемъ. Въ этомъ только мирѣ, на этой только землѣ, гдѣ развратъ, нечестіе и злоба идутъ рука объ руку со всѣми христіанскими добродѣтелями, могутъ встрѣтиться и бесѣдовать между собою два существа, изъ которыхъ одно—воплощенная честь, а другое—олицетворенное плутовство. Никогда еще у Панкратія Лукича не вертѣлись и не бѣгали такъ глаза, какъ въ эту минуту; онъ чувствовалъ, что они никакъ не выдержать встрѣчи съ чистымъ и покойнымъ взоромъ честнаго человѣка. Какъ всѣ мы не можемъ безъ боли смотрѣть прямо на солнце, такъ точно всякій бездѣльникъ не можетъ встрѣтить взглядъ честнаго человѣка безъ какого-то непріятнаго чувства, которое несноснѣе всякой физической боли. Я понимаю ненависть совершеннаго негодяя къ истинному христіанину, то-есть къ человѣку доброму и честному въ высочайшей степени: онъ не можетъ смотрѣть ему прямо въ глаза. Почему жъ не можетъ? — спросите вы. Потому, что въ свѣтломъ и кроткомъ взорѣ христіанина начертанъ его приговоръ; въ этомъ взорѣ сіяетъ миръ и благодать Божія, а въ его груди кипятъ страсти и *нѣтъ души его покоя*.

Съ полминуты продолжалось молчаніе; наконецъ, Курочкинъ собрался съ духомъ, глаза его перестали бѣгать изъ стороны въ сторону; онъ приподнялся съ креселъ, началъ ухмыляться и сказалъ:

— Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, долженъ вторично просить у васъ прощенья, что по какой-то ошибкѣ, вчерашняго числа загнали съ нашихъ полей вашу скотинку. Повѣрите ли, когда я узналъ объ этомъ, такъ меня словно варомъ окатили,—насилу опомнился! Ужъ задалъ же я гонку старостѣ!.. Господи, Бож

мой, загнать скотину Кузьмы Петровича Мирошева, этого почтеннѣйшаго сосѣда нашего!.. Разбойникъ!..

— Я вамъ очень благодаренъ, — отвѣчалъ Мирошевъ;— да напрасно вы и у другихъ такъ часто загоняете, а особливо съ болота: дѣло сосѣдское, не убежишь.

— Нельзя, благодѣтель: и радъ бы радостію, да какъ дашь повадку, такъ вовсе одолѣютъ. Находясь здѣсь на приказѣ, я состою въ отвѣтственности передъ его графскимъ сіятельствомъ. Охъ, батюшка!.. Конечно, мѣсто мое видное: его высокографское сіятельство первый вельможа во всемъ Русскомъ Царствѣ, а я у него первый человекъ, — мнѣ иногда и губернаторъ поклонится, — такъ; да зато и отвѣтъ великъ!

— Кажется, Панкратій Лукичъ, вы о графскихъ пользахъ радѣете довольно. Вотъ недавно у князя Лядина вы оттягали пятьсотъ десятинъ земли...

— Не считая луговъ по Хопру, — прервалъ Курочкинъ, и глаза его засверкали. — Да ништо ему, — спесивъ; а гордымъ Богъ противится... Э, да кстати! Я, батюшка, Кузьма Петровичъ, перебирая, на этихъ дняхъ, разные крѣпостные акты, отказныя записи и межевыя книги по селу Вознесенскому, попалъ какъ-то нечаянно на одинъ документецъ, который отчасти касается и до вашей отчины.

— До Хопровки?

— Точно такъ, милостивецъ! Вотъ, изволите видѣть: это подлинная дарственная грамота Царя Михаила Ѳеодоровича стольнику князю Григорію Хворостинину, въ которой онъ жалуетъ рѣченному князю въ вѣчное и потомственное владѣніе отчину, село Вознесенское съ деревнями, со всѣми угодьями, живыми урочищами и отъемными дачами, въ числѣ коихъ поименована пустошь Зеленыхъ Горки, Хопровка то-жъ; изъ чего явствуетъ, что вначалѣ помѣстье ваше было пустошью, а заселено, вѣроятно, уже по переходѣ ея къ другимъ владѣльцамъ.

— Можетъ-быть.

— Въ оной же дарственной грамотѣ показано въ сей пустоши земли невстуно пятьдесятъ четвертей, что, по общему размежеванію помѣстныхъ земель, составитъ и съ примѣромъ едва ли сто сороковыхъ десятинъ; а у васъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, кажется, десятинокъ до осьмисотъ наберется.

— Такъ чтожъ?

— А то, благодѣтель, что души нарождаются, а земля-то вѣдь не растеть.

— Но развѣ прежніе владѣльцы не могли прикупить земли отъ сосѣдей?

— Справедливо, батюшка, Кузьма Петровичъ, справедливо! Да, сколько мнѣ извѣстно, у васъ на сіи покупныя земли ни купчихъ, ни плана не имѣется.

— Это правда: я слышалъ отъ покойнаго Лаврентія, что они лѣтъ сорокъ тому назадъ сторѣли вмѣстѣ съ прежнимъ домоу. Впрочемъ, я думаю, и у васъ также никакихъ документовъ нѣтъ, которыми можно было бы доказать, что это земля не моя.

— Документовъ нѣтъ, но если бы я хотѣлъ завести съ вами тяжёбку, — отъ чего избави меня, Господи! — такъ я бы въ моей челобитной могъ приписать ниже слѣдующее: «Въ селѣ, дескать, Вознесенскомъ, въ отчинѣ его высокографскаго сіятельства, господина... и прочее, и прочее имѣется наличныхъ душъ, по послѣдней ревизіи, четыреста тридцать семь душъ мужеска пола, и хотя отъ поступленія онаго села изъ короннаго вѣдомства въ вотчинное владѣніе различныхъ помѣщиковъ, по собраннымъ свѣдѣніямъ, никогда изъ принадлежащихъ оному селу дачъ никакихъ земель продаваемо не было; но, несмотря на сіе обстоятельство, при селѣ Вознесенскомъ имѣется земли: удобной и неудобной, пахотной, поемной, подъ лѣсомъ, усадьбою, огородами, коноплянниками, гумнами и выгономъ, всего вообще не болѣе двухъ тысячъ осьмисотъ десятинъ, то-есть гораздо менѣе полагаемой закономъ пропорціи, по десяти десятинъ на каждую ревизскую душу мужского пола. По какому же резонту при

смежномъ съ вышесказаннымъ селомъ Вознесенскимъ, сельцѣ Хопровкѣ, прежде бывшей пустоши Зеленыхъ Горки, гдѣ и теперь, по послѣдней ревизіи, не болѣе пятидесяти душъ, а вѣроятно было несравненно меньше, имѣется восемьсотъ десятинъ земли, сирѣчь, по шестнадцати десятинъ на каждую душу? Не явствуетъ ли изъ сего, что вся сія излишняя земля прирѣзана изъ Вознесенскихъ дачъ къ сельцу Хопровкѣ неправильно и противозаконно, или находится въ насильственномъ завладѣніи у настоящаго помѣщика рѣченнаго сельца Хопровки, прежде бывшей пустоши Зеленыхъ Горки?»

— Помилуйте, Панкратій Лукичъ!—сказалъ Мирошевъ, у котораго отъ этихъ приказныхъ выраженій сердце замерло отъ ужаса.—Да этимъ имѣньемъ слишкомъ тридцать лѣтъ владѣла спокойно моя родная тетка, прежній вознесенскій помѣщикъ ничего не отыскивалъ, жалобъ никакихъ не было...

— И теперь не будетъ, батюшка, Кузьма Петровичъ! Я это сказалъ такъ, — ради собственной вашей осторожности... Чтобъ я завелъ съ вами тяжбу,—Боже меня сохрани! Нѣтъ, благодѣтель, я постараюсь оградить васъ и отъ будущихъ притязаній. Вѣдь неравенъ сосѣдъ навяжется, батюшка! Иной такой ябедникъ, что вы и отъ своей земли отступитесь, лишь только бы онъ васъ по судамъ не волочилъ.

— Избави, Господи!—сказалъ Мирошевъ, сложивъ набожно руки.—Да я пуще всего на свѣтѣ боюсь тяжбныхъ дѣлъ.

— Да какъ ихъ и не бояться, Кузьма Петровичъ,—бѣда! Попадись только въ руки къ подъячимъ, къ этимъ проклятымъ пиявицамъ, всю кровь изъ васъ выпьютъ по капелькѣ. Подлинно, крапивное сѣмя: ни стыда, ни совѣсти! И колесо подмажешь, такъ оно не скрипитъ, а подъячему сунешь цѣлковый въ правую руку, а онъ лѣвую норовитъ запустить тебѣ въ карманъ. Вѣрите ль Богу, Кузьма Петровичъ, не могу понять, какъ есть на свѣтѣ ябедники?.. Да ужъ изъ одного того, чтобъ

не знаться съ этою чернильною тварью, я не завелъ бы ни съ кѣмъ процесса... А дѣлать нечего! Какъ довѣренное лицо его высокографскаго сіятельства, я долженъ защищать его интересъ; и плачу, а челобитную подаю!.. Совѣсть, батюшка, Кузьма Петровичъ, совѣсть этого требуетъ!

Мирошевъ былъ человѣкъ не глупый; но его умъ вовсе не походилъ на то, что условились въ свѣтѣ называть умомъ. Во всю жизнь свою онъ не сказалъ ни одного остраго слова, не забавлялся легковѣріемъ дурака, ни надъ кѣмъ не смѣялся, и всегда послѣдній замѣчалъ плутни какого-нибудь обманщика, не потому, чтобъ у него недоставало для этого довольно ума и проницательности, — о, нѣтъ! Но чистая, благородная душа его не могла никогда постигнуть, что есть на свѣтѣ люди, для которыхъ обмануть, провести, обидѣть точно такъ же пріятно, какъ пріятно для него сдѣлать доброе дѣло или оказать безкорыстную услугу. Слушая Панкратія Лукича, онъ готовъ былъ вѣрить его словамъ. «Почему знать, можетъ-быть, и въ самомъ дѣлѣ Курочкинъ притѣсняетъ сосѣдей безъ всякаго злого намѣренія, а единственно изъ слѣпого усердія къ своему господину? Это, конечно, не хорошо, но вѣдь все зависитъ отъ нашего понятія; а если онъ убѣжденъ въ душѣ своей, что долженъ такъ поступать?.. Да и станетъ ли какой-нибудь закоренѣлый крючкотворецъ говорить такъ дурно о подьячихъ и ябедникахъ? Кто жъ захочетъ позорить самого себя?.. Такъ думалъ Мирошевъ, этотъ простодушный ребенокъ съ сѣдыми волосами. Однакожъ, онъ чувствовалъ, что ему какъ-то неловко съ Курочкинымъ; вѣроятно, потому, что, несмотря на громкое званіе востановаго приказчика знаменитаго вельможи, Панкратій Лукичъ все-таки былъ крѣпостнымъ человѣкомъ, и Мирошевъ не зналъ самъ, какъ долженъ съ нимъ обходиться. Онъ не хотѣлъ оскорбить его или слишкомъ нецеремоннымъ обращеніемъ, или излишнею вѣжливостію, которая могла бы показаться насмѣшкою; однимъ

словомъ, бесѣдуя глазъ-на-глазъ съ Курочкинымъ, Кузьма Петровичъ находился въ какомъ-то ложномъ и чрезвычайно непріятномъ положеніи. Мирошевъ не зналъ еще, до какой степени можетъ простираться наглая самонадѣянность и дерзость слуги большого барина, когда онъ имѣетъ дѣло съ малочиночнымъ и бѣднымъ дворяниномъ. Если бъ хозяинъ встрѣтилъ его у воротъ своего дома, то и тогда бы Панкратій Лукичъ не принялъ эту чрезвычайную вѣжливость за насмѣшку, а только, можетъ-быть, подумалъ бы про себя: «вѣрно, у него есть до меня какое-нибудь дѣло».

— Не хотите ли, Панкратій Лукичъ,—сказалъ Мирошевъ,—пройтись также по саду?

— Съ большимъ удовольствіемъ!—отвѣчалъ Курочкинъ, вставая. — Очень радъ, батюшка: время такое благопріятное.

Они вышли прямо изъ гостиной на небольшое крылечко, которыми спустились въ цвѣтникъ.

— Жена, вѣрно, въ этой вишневой куртнѣ,—сказалъ Мирошевъ.—Тамъ слышны голоса; пойдемте къ нимъ.

Мирошевъ не ошибся: они нашли въ этой куртнѣ всѣхъ гуляющихъ. Марья Дмитріевна отдыхала на дерновой скамьѣ, а Варенька и Дуняша отъ всей души смѣялись, глядя на любезности Голяева Курочкина. Ради общей потѣхи, онъ доставалъ зубами вишни, до которыхъ онѣ не могли достать руками, и потомъ, для вящаго удовольствія всей честной компаніи, глоталъ ихъ виѣстѣ съ косточками.

— Ну, Марья Дмитріевна,—сказалъ Панкратій Лукичъ, видно, Господь благословилъ васъ въ нынѣшнемъ году: вишень-то у васъ, вишень: такъ и усыпано! Что, вы изволите ихъ на зиму солить или мочить?

— Нѣтъ, Панкратій Лукичъ, мало остается: и сами ѣдимъ, и гости кушаютъ. Да не хотите ли!

— Покорнѣйше благодарю! Я люблю иногда этимъ позабавиться, да только послѣ обѣда.

— Вы, надѣюсь, у насъ кушаете?

— Никакъ не могу сегодня: у меня обѣдаетъ нашъ капитанъ-исправникъ, Антонъ Ѡаддееичъ Покрапушкинъ. Алеша — продолжалъ Курочкинъ, увидѣвъ, что Варенька не могла никакъ достать вѣтку съ вишнями на одномъ красивомъ деревцѣ, — чтожъ ты смотришь? Видишь, Варвара Кузьминична не можетъ достать?..

Алеша кинулся со всѣхъ ногъ, ухватилъ несчастное деревцо почти за самую вершину, понатужился, крикнулъ, дерево также крикнуло и повалилось на землю.

— Ахъ, какая жалость! — вскричала невольно Варенька. — Я это деревцо сама посадила!

— Ну, что за бѣда, — прервала Марья Дмитриевна. — Посадишь другое.

— Эхъ, Алеша, — сказалъ Курочкинъ, подойдя къ сыну, — какъ ты неостороженъ!.. Да что ты сегодня какъ медвѣдь все ломаешь! — прибавилъ онъ шопотомъ.

— Вѣдь ты самъ мнѣ велѣлъ! — пробормоталъ сыночекъ.

— Велѣлъ!.. Заставь дурака Богу молиться...

— Не журите его! — сказалъ Мирошевъ. — Вѣдь онъ хотѣлъ услужить Варенькѣ.

— Разумѣется, батюшка, Кузьма Петровичъ, разумѣется!.. Онъ у меня малый такой услужливый!.. Да торопливъ немного, — молодъ!.. Однакожъ, не пора ли гостямъ со двора? И вамъ время кушать, а мнѣ надобно поспѣшать домой. Счастливо оставаться!

Разумѣется, Мирошевы не стали удерживать гостей. Алексѣй Панкратычъ подошелъ опять къ рукѣ, но на этотъ разъ не къ одной Марьѣ Дмитриевнѣ, а также къ Варенькѣ и Дуняшѣ. Эта экспедиція кончилась довольно счастливо; но, уходя изъ саду черезъ гостиную, онъ раздавилъ горшокъ съ гвоздикой, выбилъ шпагою стекло въ дверяхъ и, наконецъ, не произведя никакихъ дальнѣйшихъ опустошеній, отправился въ обратный путь вмѣстѣ со своимъ папенькою, который во всю дорогу читалъ ему мораль, то-есть называлъ его быкомъ, лѣшимъ и неотесаннымъ болваномъ.

— Ну, что, мой другъ? — спросилъ Мирошевъ вполголоса у жены.

— Больно глупъ! — отвѣчала Марья Дмитріевна, качая головой.

— Да, не уменъ. А лицо вѣдь доброе. Онъ говорилъ что-нибудь съ Дуняшей?

— Говорилъ.

— О чемъ?

— Не знаю. Дуняша, о чемъ говорилъ съ тобою Алексѣй Панкратычъ?

— Я сказала ему, что ѣсть много вишенъ вредно, а онъ отвѣчалъ мнѣ, что ему ничего не вредно, и что онъ за одинъ пріемъ можетъ съѣсть полбарана и цѣлаго гуся.

— Какъ онъ тебѣ кажется?

— Кому? Мнѣ-съ?.. А Богъ его знаетъ.

— Вѣдь онъ молодецъ, — сказалъ Мирошевъ.

— Да-съ! Такой высокій.

— Ты отъ нея ничего не добьешься, — шепнула Марья Дмитріевна. — Она, видно, начинаетъ догадываться. Да и что объ этомъ говорить: вѣдь онъ еще не сватался... Подождемъ, увидимъ, что будетъ послѣ.

XIV.

РАЗГОВОРЪ ПРОХОРА КОНДРАТЫЧА СЪ ВОЛОСТНЫМЪ ПИСАРЕМЪ АНТОНОМЪ ѲЕДОТЫЧЕМЪ И НЕОЖИДАННЫЯ ПОСЛѣДСТВІЯ ЭТОЙ ДРУЖЕСКОЙ БЕСѢДЫ.

Въ деревянной церкви села Вознесенскаго давно уже отошла обѣдня; кой-гдѣ еще сидѣли на паперти дряхлые старушки и старики: они, отстоявъ службу, отдыхали, чтобъ собраться съ силами и добрести до домовъ. Въ церкви оставалось одно семейство Мирошевыхъ: Кузьма Петровичъ служилъ панихиду по своей теткѣ. На погостѣ дожидался господъ своихъ Прохоръ Кондратычъ, разговаривая съ Андреемъ Ѳомичемъ Зарубкинымъ. Онъ также поджидалъ задумше-наго своего друга, пономаря Ферапонта, который каж-

дое воскресенье и каждый двенадесятый праздникъ равдѣлялъ его убогую трапезу и распивалъ съ нимъ полуштофикъ ерофеича.

— Ну, что, любезнѣйшій, — спросилъ Зарубкинъ Кондратьича, — Панкратій Лукичъ былъ у васъ вчера со своимъ прїѣзжимъ?

— Былъ, сударь. Сынокъ-то у него молодецъ.

— Да, верзила порядочный!.. Нечего сказать: ни ростомъ, ни умомъ не пошелъ по батюшкѣ. Вчера изволилъ быть у меня... Ну, я, какъ водится, сталъ потчевать тѣмъ, другимъ, — хоть бы отъ чего-нибудь отказался: такъ и жреть!.. Ахъ, ты, Господи!.. Поставилъ я ему блюдечко черносливу да тарелку каленыхъ орѣховъ, такъ, мало того что онъ черносливъ-то сталъ убирать за обѣ щеки, какъ гречневую кашу, да и орѣхи-то всѣ перещелкалъ!.. А ужъ что за околесную городилъ!.. Ну, видитъ Богъ, Кондратьичъ, совѣстно было слушать!

— Однакожъ, говорятъ, человекъ онъ добрый.

— А кто его знаетъ! Вѣдь теперь еще онъ у отца подъ началомъ; а вотъ какъ женится да заживетъ своимъ домикомъ, такъ, можетъ статься, такую прить покажетъ, что его и не узнаешь. А батюшка-то очень хочетъ его женить... Да еще что они затѣваютъ!..

— А что?

— Да такъ!.. Можетъ-быть, къ вамъ сегодня или завтра сваха во дворъ...

— Ну, чтожъ? Милости просимъ!

— Право? — сказалъ Зарубкинъ, взглянувъ съ удивленіемъ на Прохора. — Ну, конечно, — продолжалъ онъ, помолчавъ нѣсколько времени, — тамъ что ни говори, а вѣдь онъ оберъ-офицеръ, видный собою... человекъ добрый... поддержка есть... да и кубышка-то у батюшки еще не початая... А умъ что?.. Безъ денегъ гроша не стоитъ; а съ деньгами и безъ него проживешь... Да вотъ и господа твои идутъ... Батюшка Кузьма Петровичъ, мое нижайшее почтеніе!.. Марья Дмитріевна!.. Варвара Кузьминична!.. Авдотья Лаврентьевна!..

Когда Мирошевы усѣлись въ свою линею, Прохоръ сказалъ потихоньку Кузьмѣ Петровичу:

— Извольте ужъ ѣхать съ однимъ Ѳомкою, а я здѣсь останусь.

— Да, да,—шепнулъ Мирошевъ,—ступай къ писарю да узнай толкомъ.

— Все будетъ сдѣлано, не беспокойтесь.

Мирошевы отправились домой; Зарубкинъ увелъ къ себѣ пономаря Ферапонта, а Кондратьичъ пошелъ въ волостную контору.

Волостная контора села Вознесенскаго помѣщалась въ одномъ изъ флигелей большого деревяннаго дома, въ которомъ жилъ самъ главноуправляющій, Панкратій Лукичъ Курочкинъ. До прибытія нынѣшняго старшаго писаря, Антона Ѳедотыча, контора была въ самомъ жалкомъ видѣ: ничто не возбуждало въ ней ни страха, ни уваженія въ приходящихъ крестьянахъ; это была просто грязная сборная изба, а не верховное судилище цѣлой волости. Антонъ Ѳедотычъ привелъ все въ порядокъ. Представьте себѣ просторную комнату, средину которой занимаетъ большой столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; вдоль внутренней стѣны четыре шкапа; на двухъ изъ нихъ написано крупными буквами: «архивъ»; въ простѣнкѣ между оконъ небольшой столикъ для двухъ младшихъ писцовъ; передъ большимъ столомъ обитыя черною кожею кресла для Курочкина; напротивъ скамья для старшаго писаря; въ углу, при самомъ входѣ, ради грозы, *стулъ*, то-есть огромный деревянный чурбанъ съ желѣзною цѣпью и ошейникомъ; надъ нимъ на стѣнѣ, — замѣьте это геніальное сближеніе, — знаменитая лубочная картина, представляющая страшный судъ; у дверей дежурный десятникъ, въ сѣняхъ очередной караульщикъ и два мальчика для посылокъ.

Антонъ Ѳедотычъ на этотъ разъ сидѣлъ, развалившись въ креслахъ, потому что старшаго не было на лицо. Передъ нимъ стояла крестьянская баба съ блюдомъ яицъ. Антонъ Ѳедотычъ, со всею важностію гра-

мотнаго человѣка, читаль «Санктпетербургскія Вѣдомости» и повременамъ пожималь съ презрѣніемъ плечами.

— Нѣтъ,—прошепталъ онъ, наконецъ, — въ старину не такъ писывали! Ну, что это за рѣчь? Самая ординарная: ни одной тонкой персональности, никакого деликатственнаго изъясненія!.. Любой мужикъ пойметъ!

— Батюшка, Антонъ Ѳедотычъ, — сказала крестянка съ низкимъ поклономъ,—вотъ ужъ я два часа дожидаюсь...

— Не торопись, голубка: дойдетъ и до тебя очередь.

— Сдѣлай такую милость!

— Да чтожъ ты за персона такая, что и подождать не хочешь?

— Рада бъ радостью, батюшка, да дѣвчонка-то у меня одна дома не управится. Пожалуй, батюшка, грамотку, да отпусти.

— Ну, ну, добро! Поставь-ка яйца-то вонъ хоть на окно... Вѣдь ты просила меня написать просьбу къ его графскому сіятельству?..

— Такъ-ста, батюшка, такъ!

— Ты вдова; у тебя было десять человѣкъ дѣтей, да всѣ перемерли, а осталась только одна больная дочь?..

— Нѣтъ, батюшка, здоровая.

— Молчи, глупая: знаютъ лучше тебя! Тебѣ нечѣмъ кормиться... такъ ли?..

— Не то, что нечѣмъ, родимый...

— Врешь, дура, нечѣмъ!

— Такъ, батюшка, такъ,—нечѣмъ.

— Ну, слушай же! — сказалъ Антонъ Ѳедотычъ. Онъ взялъ со стола исписанный листъ бумаги и началъ читать:— «Ваше высокографское сіятельство! Изъ десяти лозъ, происшедшихъ изъ утробы моей, осталась токмо единая лоза, сосущая мою внутренность»...

— Здравствуй, Антонъ Ѳедотычъ! — сказалъ Прохоръ, входя въ комнату.

— А, почтениѣйшіѣ! — вскричалъ писарь, вставая. — Милости просимъ!.. Ступай, тетка! Теперь не до тебя... приходи послѣ.

— Да какъ же, батюшка, Антонъ Ѳедотычъ... — сказала крестьянка, переминаясь съ ноги на ногу.

— Ну, ну, съ Богомъ! Миѣ съ тобой точить баясы-то некогда!.. Пошла, пошла!.. Милости прошу на сіе сѣдалище! — продолжалъ писарь, указывая Прохору на кожаныя кресла и садясь самъ подлѣ него на скамѣ. — Очень одолжилъ, благопріятель, своимъ визитованіемъ!.. Прошу покорно!.. Эй, Ваня, — прибавилъ онъ, обращаясь къ одному изъ писцовъ, которые сидѣли за маленькимъ столикомъ, — вынь-ка изъ архивнаго шкапа номеръ первый бутылочку рябиновки!

— Не трудись, Антонъ Ѳедотычъ: вѣдь ты знаешь, что я не пью.

— Помилуй, Прохоръ Кондратычъ, да чтожъ ты за гость такой, коли тебя угощать никакого способія не имѣется?.. А рябиновка-то какая!.. Посмотри, благопріятель, вѣдь масло, бальзамъ небесный!.. Да выпей хоть чарочку!

— Ни за что на свѣтѣ.

— Хоть капельку... за здоровье твоихъ господъ.

— Они и такъ, по милости Божіей, здоровы.

— Ну, такъ ради оказанія достодожднаго уваженія къ ихъ мериту.

— Не могу!

— Тѣфу ты пропасть! Да чтожъ ты за курьезный челоѣкъ такой!.. Такъ чѣмъ же прикажешь тебя потчевать?

— А вотъ чѣмъ, Антонъ Ѳедотычъ: говори со мной по-людски; я твоихъ заморскихъ словъ терпѣть не могу.

Писарь поглядѣлъ съ состраданіемъ на Прохора, выпилъ за него двѣ чарки рябиновки и сказалъ:

— Это-то слезамъ и подобно, любезный, что вы здѣсь, въ глуши, яко безсловесныя твари, безъ всякой полировки остаетесь. Ну, да что объ этомъ и говорить!

Скажи-ка мнѣ лучше, любезнѣйшій: у васъ вчера Панкратій Лукичъ съ своимъ сыномъ былъ?

— Былъ.

— Ну, что? Какъ его благородіе - то приглянулся твоимъ господамъ?

— Не знаю.

— А тебѣ?

— По мнѣ, хорошъ. Да обычаемъ-то онъ каковъ.

— Настоящій баранъ: самой смирной характерности.

— Право?

— Ужъ я тебѣ скажу! Коли сожителяница будетъ только всѣ пожелаемые способы доставлять къ его насыщенію, такъ онъ станетъ жить во всякомъ у нея повиновеніи, и не токмо должный респектъ къ ея особѣ, но и всемѣрную сатисфакцію, при какой бы то ни было случайности, будетъ ей оказывать.

— То-есть, по-твоему, онъ человѣкъ добрый, смиренный и будетъ слушаться во всемъ жены, коли она станетъ его на убой кормить?

— Думаю, что такъ, любезный.

— А батюшка-то что?.. Пораспояшется ли?.. Вѣдь надобно сына-то чѣмъ-нибудь наградить?

— Разумѣется, любезный!

— Какъ ты думаешь, этакъ ради перваго обзаведенія прикинетъ рубликовъ пятьсотъ.

— Пятьсотъ!.. Нѣтъ, любезный, поколику мнѣ самому извѣстно, потолику могу и тебя завѣрить: до тысячи пойдетъ.

— Вотъ, что дѣло, такъ дѣло! У невѣсты также деньжонки будутъ.

— А натурой ничего?

— Какъ натурой?

— Сирѣчь — семьи три-четыре мужичковъ. Это было бы показистѣе, любезный; а можно бы, кажется: вѣдь у Кузьмы Петровича другихъ дѣтокъ нѣтъ?

Прохоръ Кондратьичъ остолбенѣлъ.

— Варвара Кузьминична, — продолжалъ писарь, —

единородная дѣщеръ и наслѣдница, такъ почему же не дать за нею въ приданое и полъ-Хопровки?

— Варвара Кузьминична, — повторилъ Прохоръ глухимъ голосомъ, приподымаясь съ кресель.

— Ну да!.. Вѣдь мы хотимъ посватать дочку твоего барина; а ее, кажется, именуютъ Варварою?.. Да что это съ тобой, любезный? Что ты вдругъ этакъ побагровѣлъ?.. Ужъ не апоплексія ли какая?.. Ахти, да у тебя и пальцы сводить!.. Выпей скорѣй водицы!..

Въ самомъ дѣлѣ, пальцы правой руки Кондратьича свернулись судорожно въ кулакъ, и онъ готовъ былъ начать развязку этого продолжительнаго недоразумѣнія самымъ неожиданнымъ образомъ для писаря; но хотя кровь и кипѣла у него въ жилахъ, хотя эта обида казалась ему невыносимою, однакожъ, онъ поудержался: взглянулъ на широкоплечаго десятника, который стоялъ у дверей, потомъ на двухъ молодыхъ парней, которые писали за особымъ столикомъ — стиснулъ губы, разогнулъ кулакъ, обтеръ потъ, который градомъ катился съ его лысины, и сказалъ едва внятнымъ голосомъ:

— Прощай, Антонъ Федотыч!.. Мнѣ что-то нездоровится...

— Ахъ, батюшки, какая оказія! — вскричалъ писарь. — Что это съ тобой, любезный?

— Ничего... пройдетъ... А что... вы сваху что ль къ намъ пришлете.

— Какъ же!

— Когда?

— Да можетъ статья сегодня.

— Вотъ что!.. И, вѣрно, просвирию Власьевну?

— Ну, разумѣется!.. Она баба умная и политичная.

— Милости просимъ! — прошепталъ Прохоръ съ такою сатанинскою улыбкою, что онъ не узналъ бы самого себя, если бъ ему поднесли зеркало. — Милости просимъ; а мы примемъ, угостимъ, да пожалуй и въ банѣ выпаримъ!.. Прощай, любезный!

Кондратьичъ почти выбѣжалъ изъ комнаты, не огля-

нулся на писаря, который его провожалъ, и остановился перевести духъ не прежде, какъ выбрался за околицу села.

— Милости просимъ, матушка Власьевна!—повторилъ онъ, задыхаясь отъ бѣшенства. — Мы тебя, голубка, отучимъ сватать за холопскихъ дѣтей нашу барышню!.. Ахъ, онъ хамово отродье!.. Да какъ онъ смѣлъ и подумать?.. Нѣтъ, ужъ какъ хочетъ баринъ, а я попрошу воли!

Въ то время, какъ Прохоръ Кондратычъ свирѣпствовалъ въ чистомъ полѣ, спѣша, какъ можно скорѣе, добраться до Хопровки, баринъ его сидѣлъ преспокойно съ Марьей Дмитріевной на крыльцѣ своего дома и кормилъ, вмѣстѣ съ нею, голубей, которые приучены были слетаться на звонъ колокольчика. Варенька и Дуняша были въ своей комнатѣ на антресоляхъ.

— Что это Прохора до сихъ поръ нѣтъ?—проговорилъ Мирошевъ.—Долго же онъ бесѣдуетъ со своимъ писаремъ!

— Знаешь ли что, мой другъ?—сказала Марья Дмитріевна.—Мнѣ этотъ женихъ вовсе не нравится. У него доброе лицо—это правда; да вѣдь добрый человекъ не всегда бываетъ хорошимъ мужемъ. Ну, легче ли для жены, если мужъ ея будетъ дурнымъ семьяниномъ и плохимъ отцомъ семейства, не по влости, а по глупости? А этотъ Курочкинъ, воля твоя, не то что глупъ, а, полно, не совсѣмъ ли дуракъ.

— Ужъ тотчасъ и дуракъ! Охъ, вы, барыни! Ты не можешь ему простить, что онъ изломалъ у насъ кресло, раздавилъ горшокъ съ цвѣтами и разбилъ окно. Ну, конечно, онъ неловокъ, мужиковать; а, право, дуракомъ его назвать не можно. Такіе ли, мой другъ, бываютъ дураки?.. Онъ просто не на своемъ мѣстѣ, и больше ничего. Не будь на немъ офицерскаго мундира, такъ ты бы и не замѣтила, что онъ глупъ. Ну, вотъ хоть нашъ буфетчикъ Ёмка, малый смысленный, а наряди его бариномъ, да заставь съ нами бесѣдовать, такъ онъ покажется тебѣ глупѣе Курочкина.

— Не думаю.

— Право, такъ! Они оба, и батюшка и сынъ, не туда попали. Отцу бы слѣдовало быть приказнымъ, а сыну фельдфебелемъ.

— Можетъ-быть; только какъ хочешь, мой другъ, а, по-моему, лучше намъ выдать Дуняшу за какого-нибудь купца или даже мастерового, чѣмъ за этого офицера, на котораго безъ смѣха смотрѣть не можно.

— Полно, матушка, Марья Дмитріевна! Лучше-то лучше другое!.. Не знаешь, гдѣ наше благополучіе, не угадаешь, гдѣ наше и несчастье! Господь лучше насъ всѣхъ это устроить. Если мы ничего дурного о женихѣ не узнаемъ, да онъ понравится Дуняшѣ, такъ и съ Богомъ! А если нѣтъ, такъ и говорить нечего... А вотъ и нашъ сватъ идетъ! Да никакъ съ дурными вѣстями: лицо что-то у него вовсе не праздничное.

Прохоръ Кондратьичъ въ ужасныхъ попыхахъ, растрепанный и красный какъ клюква, подошелъ къ господамъ и, не говоря ни слова, повалился въ ноги.

— Что ты, что ты, Прохоръ?—вскричалъ Мирошевъ.

— Батюшка, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Кондратьичъ, стоя на колѣняхъ, — сдѣлайте милость, не откажите!..

— Да встань, говорятъ тебѣ! Ты знаешь, я этого терпѣть не могу!

— Знаю, батюшка, знаю! И я сродясь у васъ въ ногахъ не валялся; а теперь не встану, покамѣстъ вы не позволите мнѣ то, о чемъ я буду васъ просить.

— Да что такое?.. Ужъ не задумалъ ли ты жениться?

— Помилуйте, какая дура за меня пойдетъ! Нѣтъ, сударь, извольте только сказать: позволяю тебѣ, Прохоръ!

— Что за вздоръ такой! — прервалъ съ нетерпѣніемъ Мирошевъ.—Если ты не встанешь, да не скажешь толкомъ, о чемъ ты просишь, такъ я и говорить съ тобой не стану.

— Только не откажите, батюшка, — сказалъ Прохоръ, вставая; — дайте мнѣ за всю мою службу хоть однажды вдоволь понатѣшиться.

— Ну, говори, говори!

— Сюда идетъ просвирня Власьева, — я обогналъ ее за полверсты до околицы: батюшка, Кузьма Петровичъ, матушка барыня, позвольте мнѣ притаскать ее!

— Притаскать? За что? — спросилъ съ удивленіемъ Мирошевъ.

— А за то, сударь, чтобъ она не ходила свахою въ дворянскій домъ отъ какого-нибудь Алешки Курочкина.

— Ты съ ума сошелъ, Прохоръ! Онъ офицеръ, а ты называсшь его Алешкою.

— Офицеръ!.. А давно ли онъ печки топилъ у своего барина... лѣшій этакій?.. А эта пьяница... эта старая колотовка, взялась за него высватать... Ахъ, ты, Господи Боже мой!..

— Такъ дѣло идетъ не о Дуняшѣ? — спросила съ живостію Марья Дмитріевна.

— О какой Дуняшѣ!.. Власьева будетъ сватать за этого холопскаго сынка, за этого статуя, прости, Господи!..

— Неужели Вареньку? — прервала Мирошева.

— Ее, матушка, ее!

Кузьма Петровичъ засмѣялся, а Марья Дмитріевна вспыхнула.

— Признаюсь, этого я не ожидалъ! — сказалъ Мирошевъ, продолжая смѣяться.

— Какая дерзость! — прошептала Марья Дмитріевна.

— Ну, сударь, — вскричалъ Прохоръ, — и послѣ этого вы мнѣ не позволите надавать этой свахѣ подзатыльниковъ и проводить ее шелепами со двора?..

— Нѣтъ, не позволю.

— Однакожъ, — сказала Марья Дмитріевна, — ты не прикажешь ее пускать къ себѣ?

— Почему жъ не пустить? Она будетъ сватать, а мы очень вѣжливо откажемъ. Алексѣй Панкратычъ

оберъ-офицеръ, мой другъ, слѣдовательно, такой же дворянинъ, какъ я.

— Но подумай, Кузьма Петровичъ, вѣдь отецъ его крѣпостной человѣкъ...

— Да развѣ отецъ сватается за Вареньку?

— Признаюсь, это очень обидно!

— И, душенька, чѣмъ тутъ обижаться?.. Оно, конечно, смѣшно...

— Воля твоя, мой другъ,—прервала Марья Дмитриевна, вставая,—говори, если хочешь, съ этою свахою, а я видѣть ее не могу... Когда я подумаю только, что этотъ дуракъ... Нѣтъ, лучше уйду!.. Прощай!

Марья Дмитриевна вошла въ домъ, а Прохоръ, который все смотрѣлъ за ворота, вдругъ встрепенулся, выхватилъ изъ-подъ крыльца метлу и закричалъ:

— Вотъ она, сударка то, вотъ она!.. Видишь, какая!.. Батюшка, позвольте!

— Перестань, Прохоръ,—сказалъ строгимъ голосомъ Мирошевъ,—а не то я рассержусь.

— Эхъ, баринъ, баринъ,—пробормоталъ Кондратичъ, бросивъ метлу,—Богъ тебѣ судья!.. Вотъ, служи себѣ вѣкъ, много выслужишь! Тебя обижаютъ, а ты не смѣй и рукъ отвести!

XV.

С В А Т О В С Т В О .

Во дворъ вошла пожилая женщина лѣтъ пятидесяти-пяти. Поставьте стоймя сороковую бочку, одѣньте ее въ ситцевую тѣлогрѣю и коломенковую полосатую юбку; придѣлайте къ бокамъ этой бочки двѣ руки, къ нижнему дну пару огромныхъ котовъ съ красною оторочкою, къ верхнему — человѣческую голову, въ золотомъ глазетовомъ кокошникѣ; накиньте на все это широкую шелковую фату, и вы будете имѣть довольно приблизительное понятіе объ этой подвижной копнѣ, которую называли «просвирней Власьевной».

Не извольте также на меня гнѣваться за то, что я употребилъ странное выраженіе: «нижнее и верхнее дно»: въ этомъ случаѣ я совершенно правъ, а виновата бочка, потому что у нея два дна, изъ которыхъ, въ настоящемъ ея положеніи, одно непременно должно быть верхнимъ, а другое нижнимъ! Раздутое отъ жиру и глянцевитое лицо Власьевны покоилось на отвисломъ подбородкѣ, около котораго намотано было нѣсколько нитокъ стекляруса и цвѣтныхъ пронизокъ. Едва замѣтный носъ, жеманный ротикъ, пара глазъ, опухшихъ съ перепоя, а болѣе всего черные, какъ смоль, зубы, придавали ей величественный и почти аристократическій видъ богатой купчихи тогдашняго времени. Она не подошла, а подплыла, какъ пава, къ крыльцу; отвѣсила низкій поклонъ Мирошеву, всползла кой-какъ на лѣстницу, задохнулась, пропыхтѣла съ полминуты, потомъ опять поклонилась и проговорила умильнымъ голосомъ:

— Здравствуйте, батюшка, Кузьма Петровичъ, со всѣмъ благочестивымъ семействомъ вашимъ!

— Здравствуй, Власьевна!—сказалъ Мирошевъ.— Какъ поживаешь?

— Да такъ, отецъ мой, — живу кой-какъ, многогрѣшная, святыми вашими молитвами.

— Что это тебѣ вздумалось къ намъ пожаловать?

— Дѣльце есть, батюшка.

— Говори, Власьевна, говори!

— Во-первыхъ, государь, Кузьма Петровичъ, —я, ваша всегдашняя богомолица, прошу у Господа Бога всякаго вамъ счастья и всякихъ благъ земныхъ!

— Спасибо, Власьевна, спасибо!

— Награди тебя Владыко и въ здѣшнемъ и въ будущемъ мірѣ за всякую твою добродѣтель! Поддай тебѣ Господи во всемъ поспѣшеніе; чтобъ тебѣ, батюшка, все спорилось и все впрокъ шло!

— Пошла разсыпаться мелкимъ бѣсомъ, старая колотровка!—проворчалъ Кондратычъ.

— Благодарю, любезная!—отвѣчалъ Мирошевъ.—

Хотя, по правдѣ сказать я и не знаю, за что ты меня такъ жалуешь.

— Какъ же, батюшка!—воскликнула сваха.—Вѣдь ты у насъ въ приходѣ первый человѣкъ: ты всѣхъ насъ, какъ солнышко, пригрѣваешь. Зато и Господь Богъ тебя милуетъ!.. Сожительница твоя какъ ясный мѣсяцъ въ терему; дочка ненаглядная словно утренняя звѣздочка — красавица, лебедь бѣлая, утѣха родительская.

— Видишь, какъ подбирается, лиса проклятая!—прошептала Прохоръ.

— А вотъ, отецъ мой,—продолжала Власьева,—какъ придетъ часъ воли Божіей, да прикроешь ты ей головушку, да Господь дастъ ей дѣточекъ, то-то радостно тебѣ будетъ нянчить твоихъ внучатъ!

— Объ этомъ еще, Власьева, и говорить нечего.

— Какъ не говорить, отецъ мой? Дочка твоя ужъ на возрастѣ. А ты послушай меня, бабу глупую: не хорошо, батюшка, если товаръ долго въ лавкѣ залежится, — видитъ Богъ, не хорошо! Вѣдь нынче съ женишками-то... ой, ой, ой,—бѣда, отецъ мой: совсѣмъ повывелись! Бывало, всѣ живутъ по домамъ, а теперь кто въ Москвѣ, кто въ Питерѣ, кто на службѣ царской,—избаловались, любятъ волюшку; а вѣдь вѣнецъ-то, батюшка, не шапка: надѣлъ, такъ не снимай до гробовой доски.

— Все это очень хорошо, любезная; да ты мнѣ хотѣла говорить о какомъ-то дѣлѣ...

Власьева скривила на сторону голову, подперла ладонью правой руки локоть лѣвой, приложила два пальца къ щекѣ и начала говорить вполголоса:

— Батюшка Кузьма Петровичъ, есть у меня молодецъ на примѣтѣ,—и ростомъ, и дородствомъ, и станомъ, и лицомъ — всѣмъ взялъ! Денежекъ у него и теперь вдоволь; а коли батюшка его поживетъ подольше, такъ онъ по смерти его будетъ рублевики не считать, а мѣрять пудовками. Человѣкъ не простой, въ чинахъ и въ большой милости у нашего графа. А

ужь обычая какого... Господи Боже мой!.. Малый смирный, не пьющий, не мотыга... Да что тутъ говорить; ты самъ его, батюшка, изволилъ вчера видѣть.

— Такъ ты сватаешь мою дочь за сына Панкратія Лукича Курочкина?

— Такъ, кормилецъ, такъ!.. То-то будетъ парочка!

Въ продолженіе этого разговора дверь изъ лакейской безпрестанно растворялась; замѣтно было, что кто-то хотѣлъ, но не рѣшался выйти на крыльцо. Кондратычъ стоялъ попрежнему подлѣ лѣстницы, нѣсколько разъ онъ мѣнялся въ лицѣ, губы его дрожали, и неудивительно: его трясла лихорадка.

— Теперь, благодѣтель, — продолжала Власьева смѣлѣе, видя, что Мирошевъ слушаетъ ее спокойно, и съ большою кротостію, — дозвожь и мнѣ спросить тебя: чѣмъ ты наградишь свою дочку? О приданомъ говорить нечего: чай, матушка давно всего припасла и наготовила; а все-таки, государь Кузьма Петровичъ, кабы ты мнѣ пожаловалъ записочку, сколько того-другого, Божьяго благословенія, въ какихъ окладахъ; сколько бѣлья; нарядовъ, монистовъ...

— Не для чего, Власьева, не для чего!.. Если тебя прислалъ Алексѣй Панкратычъ, такъ поклонись ему отъ насъ, поблагодари за честь, которую онъ дѣлаетъ Варенькѣ, и скажи ему, что мы нашу дочь не выдаемъ замужъ.

— Какъ, батюшка?.. Да неужто ты хочешь засадить ее въ дѣвкахъ?

— И, любезная, придетъ время, выйдетъ замужъ. Вѣдь на свѣтѣ не одинъ женихъ Алексѣй Панкратычъ Курочкинъ.

— Да онъ-то чѣмъ не женихъ?.. Эхъ, батюшка Кузьма Петровичъ, — не прогнѣвайся за мою правду, — коли ты начнешь такихъ жениховъ браковать, такъ не диво твоей барышнѣ и вѣкъ въ дѣвкахъ остаться! Станешь, кормилецъ, локотки кусать, да будетъ поздно!.. Ну, чѣмъ Алексѣй Панкратычъ неровня твоей дочкѣ?..

Тутъ двери изъ передней растворились настежь и

Марья Дмитріевна выбѣжала на крыльцо; щеки ея пылали.

— Нѣтъ, — сказала она, — это превосходитъ всякое вѣроятіе!.. Помилуй, мой другъ, — нашу дочь смѣютъ равнять съ лакейскимъ сыномъ, а ты слушаешь и молчишь!

— Полно, милая, — сказалъ Мирошевъ; — ну, за что тутъ сердиться?

— Вонъ отсюда, наглая женщина! — продолжала Марья Дмитріевна, не слушая мужа. — Какъ ты смѣла придти сватать дочь нашу за сына крѣпостного человека?

Надобно было видѣть, какъ при этихъ словахъ измѣнились двѣ фізіономіи: толстое лицо Власьевны вдругъ вытянулось и похудѣло; блѣдное лицо Прохора Кондратьича расцвѣло и засіяло радостію. У Власьевны отъ страха подогнулись ноги; она попятилась задомъ съ лѣстницы и уцѣпилась за перила, чтобъ не упасть; Кондратьичъ выпрямился, подхватилъ свою метлу и сталъ въ боевую позицію.

— Матушка... сударыня... Марья Дмитріевна! — проговорила, заикаясь, сваха, продолжая пятиться задомъ съ лѣстницы. — Помилуйте... я въ этомъ вовсе не причинна!.. Алексѣй Панкратьичъ извоилъ приказать...

— И ты смѣешь называть его ровнею нашей дочери?..

— Виновата, сударыня, виновата!.. Дурость какая-то напала!.. Не помню и сама, что говорила...

— Да знаешь ли, что можно съ тобою сдѣлать?..

— Матушка, барыня, — закричалъ Прохоръ, подымая метлу, — прикажите!..

Власьевна вскрикнула, бросилась въ сторону, упала и скатилась кубаремъ съ лѣстницы.

— Перестань, Прохоръ! — сказалъ Мирошевъ. — А ты, Власьевна, ступай съ Богомъ: у меня въ домѣ тебя никто не обидитъ... Какъ тебѣ не стыдно, мой другъ? — продолжалъ онъ, обращаясь къ женѣ. — Ну, можно ли огорчаться словами этой женщины?

Марья Дмитріевна не отвѣчала ничего: она плакала съ досады. Не осуждайте ее, любезные читатели! Если есть извинительное самолюбіе, такъ это самолюбіе матери, которая гордится своею дочерью. Бѣдная Марья Дмитріевна!.. Давно ли она мечтала и надѣялась, что ея Варенька будетъ невѣстою самаго знатнаго и богатаго барина въ ихъ уѣздѣ, — и вдругъ крѣпостной человѣкъ сватаетъ ее за своего сына, набитаго дурака, мужика въ офицерскомъ мундирѣ!.. Воля ваша: мать, которая перенесетъ равнодушно такую обиду, должна быть ангеломъ небеснымъ. Мирошева и была настоящимъ ангеломъ, да только земнымъ. Какъ истинная христіанка, она бы перенесла съ кротостію всякую личную обиду; но тутъ дѣло шло о ея дочери!..

Межъ тѣмъ Власьева, задыхаясь на каждомъ шагѣ, спѣшила выбраться за ворота; она поневолѣ перемѣнила свою плавную походку на скорый шагъ: подлѣ нея шелъ Прохоръ Кондратьичъ, держа на перевѣсѣ ужасную метлу, которая всякую минуту могла на нее обрушиться.

— Ну, счастлива ты, старая вѣдьма, — шепталъ ей Кондратьичъ: — не на такого барина напала, а то бы перещупали тебѣ косточки!.. Видишь, какъ вырядилась — въ шелковой фатѣ!.. Хуже бы покойной сдѣлали!

Когда сваха подошла къ воротамъ, то передъ нею открылась такая ужасная картина, что сердце у нея замерло; она бросилась назадъ и закричала жалобнымъ голосомъ:

— Батюшка, Кузьма Петровичъ, помилуй!.. Не прикажи меня срамить на старости!..

— Что тамъ еще? — спросилъ Мирошевъ.

— Да вотъ изволь посмотреть: за воротами меня дожидаются мальчишки съ голиками!..

— Опять твои штуки, Прохоръ!

— Виновать, сударь!.. Хотѣлъ было эту барыню съ честью выпроводить за околицу, да дѣлать нечего, — вамъ не угодно. Эй вы, пострѣлята, по домамъ!

— Оомка, — закричалъ Мирошевъ, — ступай, проводи Власьевну до села; да смотри, чтобъ никто не обидѣлъ ее дорогою: ты мнѣ за это отвѣчаешь.

— Слушаю, сударь! — сказали Оомка. — Пойдемъ, бабушка!.. То-то, Власьева, — прибавилъ онъ, когда они вышли на улицу, — впередъ не суйся, не спросяся. Кабы не баринъ, такъ мы бы тебѣ такую баню задали, что ты и вѣкъ бы париться не стала!

Убитая духомъ, сваха молчала и, робко поглядывая кругомъ, летѣла, какъ птица. Но когда она добралась до околицы села Вознесенскаго, то краснорѣчивыя уста ея раскрылись, и изъ нихъ хлынулъ такой потокъ ругательствъ и бранныхъ словъ, что Оома, заткнувъ уши, побѣжалъ, не оглядываясь, домой.

— Ахъ, Марья Дмитриевна! — говорилъ Мирошевъ своей женѣ, которая продолжала плакать. — Вотъ ужъ я никакъ не ожидалъ, чтобъ ты была такъ малодушна!

— Ровня! — шептала Мирошева. — Нашей Варенькѣ ровня этотъ лакейскій сынъ!

— И, душенька, да вѣдь это говорить сваха, прозвиря Власьева! Право, мнѣ за тебя стыдно: чѣмъ бы тебѣ смѣяться...

— Да, мой другъ, и я стала бы смѣяться, еслибъ ты былъ такъ же богатъ и чиновенъ, какъ Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ; но мы бѣдны. Почему ты знаешь, можетъ-быть, найдутся люди, для которыхъ покажется страннымъ, что мы отказали такому выгодному жениху? Вѣдь мы почти нищіе!.. Что такое дворянинъ, если у него только пятьдесятъ душъ крестьянъ?.. Да, сынъ волостного приказчика, который накралъ столько денегъ, что можетъ купить три Хопровки, дѣлаетъ намъ много чести, что сватается за нашу дочь!.. Боже мой! И какой порядочный человекъ рѣшится теперь посвататься за Вареньку? Кто захочетъ стать рядомъ съ какимъ-нибудь Курочкинымъ?

— Полно, матушка! Всякій порядочный человекъ, посмѣется этому такъ же, какъ я...

— Ты очень счастливъ, мой другъ, что можешь смѣяться, а я не вижу тутъ ничего забавнаго. Неужели мы до такой степени ничтожны, что лакейскій сынъ, который самъ недавно былъ лакеемъ, смѣетъ свататься за нашу Вареньку?

— Да оттого-то, мой другъ, и смѣетъ, что недавно былъ лакеемъ. Дворянина офицерскій мундиръ съ ума не сведетъ; а произведи лакея въ офицеры, такъ онъ, сгоряча, подумаетъ, что для него во всемъ Русскомъ Царствѣ невѣсты нѣтъ.

— Воля твоя, мой другъ, а я не могу равнодушно подумать...

— Машенька, вѣдь это гордость!

— Да, Кузьма Петровичъ, виновата: я горжусь моею дочерью!.. Быть-можетъ, это грѣхъ; но я не могу... я не въ силахъ преодолѣть его!..

— Охъ, душенька, душенька!.. Смотри, чтобъ Господь не наказалъ насъ за это. И что тебѣ за охота была вмѣшиваться? Можетъ - быть, мой вѣжливый отказъ не оскорбилъ бы этого Курочкина, а тепері онъ будетъ нашимъ непримиримымъ врагомъ.

— Да что онъ можетъ намъ сдѣлать?

— Мало ли что, мой другъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, сударь, — сказалъ Прохоръ, — что онъ можетъ намъ сдѣлать?.. Если вы боитесь, что Курочкинъ станетъ нашу скотину загонять, — такъ вздоръ, не удастся ему!.. Да я, пожалуй, хоть самъ въ пастухи пойду: а онъ ужъ у меня дынленка не загонитъ!.. Да и выгонъ-то можно перевести на другое мѣсто.

— Что выгонъ! Я не этого боюсь; а сохрани Господи, какъ онъ заведетъ съ нами тяжбу!

— Тяжбу?.. Да о чемъ? — спросила Марья Дмитриевна.

— Ужъ онъ найдетъ о чемъ; отъ такого кляузника все станется. Не даромъ онъ говорилъ мнѣ о какомъ то документѣ, на основаніи котораго можно доказать, что почти вся Хопровская земля принадлежитъ селу

Вознесенскому и находится у меня въ насильственномъ завладѣніи.

— Ахъ, онъ разбойникъ!—вскричалъ Прохоръ. — Вѣдь это онъ, сударь, хотѣлъ васъ застрашать; чай, думалъ: «Какъ припугну его порядкомъ, такъ, небось, не заламается со своею дочкою!» Экій пройдоха, подумаешь,—хитеръ!

— Повѣришь ли, Марья Дмитріевна,—продолжалъ Мирошевъ, — какъ онъ сталъ мнѣ говорить, какую можно на меня просьбу подать, такъ у меня волосы дыбомъ стали!.. Ну, ужъ подлинно приказная строка!.. Да полно, Машенька, хмуриться! Ну, его совсѣмъ!.. Стоитъ ли онъ того, чтобъ ты на него сердилась? Ступай-ка лучше, похлопочи объ обѣдѣ, а я межъ тѣмъ пойду да посмотрю, нельзя ли въ самомъ дѣлѣ перевести выгонъ на другое мѣсто.

Кузьма Петровичъ, окончивъ свои хозяйственные занятія, воротился домой вмѣстѣ съ Прохоромъ. Ихъ встрѣтилъ въ столовой Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ.

— А, сосѣдушка любезный!—сказалъ Мирошевъ.— Милости прошу похлебать нашихъ щей.

— Покорнѣйше благодарю, батюшка! — отвѣчалъ Зарубкинъ.—А я сейчасъ отъ Панкратія Лукича. Ну, сударь, видно, вы его сваху-то не больно ласково приняли?.. Да и пришло же ему въ голову!.. То-то, подумаешь, какъ этотъ народъ зазнается.

— А что, онъ сердится?

— Фи батюшки, — и рветъ и мечетъ!.. А ужъ Власевна какую на васъ татѣбу несетъ, такъ и сказать нельзя! Сынокъ-то ничего: онъ еще радехонекъ, что это дѣло не сошлось. Вотъ изволите видѣть, батюшка: «Варвара Кузьминична мелка больно, да, знаете, чопорная такая. Мнѣ, дескать, давай жену рослую, дородную, веселую. А это что: худа, блѣдна, ножки маленьки, душа коротенька; что, мнѣ ее за стекломъ держать, что ль?» Ну, батюшка не то: осерчалъ такъ, что и приступу къ нему нѣтъ!.. Позорить васъ на

чемъ свѣтъ стоитъ... «Эка, дескать, фигура — отставной поручишка!..

— Полноте, Андрей Ѡмичъ! Какое мнѣ дѣло знать, что онъ говоритъ обо мнѣ заочно?..

— Олдворецъ этакій! — продолжалъ Зарубкинъ, не обращая вниманія на слова Мирошева. — Нахватали чужой земли къ своей деревнишкѣ и думаетъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ баринъ!.. Да этакіе дворянчики, какъ онъ, у камердинера его высокографскаго сіятельства въ сѣняхъ дождаются!..

— Эхъ, Андрей Ѡмичъ, что вамъ за охота?..

— Помилуйте, обидно, батюшка! Да какъ онъ, холопъ этакій, смѣетъ говорить такія рѣчи о родовомъ дворянинѣ?.. Да еще грозится разорить васъ! «Онъ, дескать, называетъ Алешу лакейскимъ сыномъ; да знаетъ ли онъ, что послѣдній конюхъ на графской конюшнѣ и покумиться-то съ нимъ не захочетъ? Да вотъ погоди: я, дескать, спесь-то съ него собью; онъ, дескать, у меня со своими пятьюдесятью душенками по міру находится. Князь Лялинъ почище его, да что взял? Небось, пересталъ хорохориться, какъ отмахнули у него десятинокъ семьсотъ земли! Да у того все еще кой-что осталось; а этого гордяшку Мирошева я до-тла разорю!»

— Слышишь, Прохоръ?

— Слышу, сударь, да дѣлать-то нечего! Вотъ кабы онъ при мнѣ началъ васъ позорить, такъ ужъ я поднесъ бы ему съ правой руки чарочку! Вѣдь это не уголовщина какая: наше дѣло съ нимъ холопское. Онъ графскій слуга, а я дворянскій, а все-таки скулы-то у насъ равныя.

— Не о томъ рѣчь, Прохоръ. Ты слышишь, Курочкинъ хочетъ завести со мною тяжбу? Ну, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ отрѣжетъ у насъ десятинъ триста?..

— Помилуйте, да кто у насъ можетъ отнять нашу землю?

— Разумѣется, еслибъ у меня были на нее какія-

нибудь купчія или крѣпости; а вѣдь ты знаешь, что всѣ эти бумаги сгорѣли.

— Такъ чтожь? Покойный Лаврентій мнѣ сказывалъ, что можно въ саратовской провинціальной канцеляріи выправить копіи съ этихъ бумагъ!

— Полно, можно ли?

— Да такъ-то можно, сударь, что съ Лаврентія просили за это тридцать рублей; да покойная ваша тетушка не захотѣла. «Что, дескать, я стану этихъ подъячихъ кормить, коли со мной и безъ этого никто тяжбы не заводитъ?» Да не извольте беспокоиться, Кузьма Петровичъ: если Курочкинъ подастъ на насъ просьбу въ уѣздный судъ, такъ пошлите меня въ Саратовъ, я это дѣльце обработаю.

— Хорошо, хорошо, мы послѣ съ тобою потолкуемъ. Да пожалуйста,—прибавилъ Мирошевъ, обращаясь къ Зарубкину,—не говорите объ этомъ ничего при моей женѣ: она сегодня что-то разстроена...

— Да, да, батюшка,—прервалъ Зарубкинъ, —я и позабылъ вамъ сказать, что вретъ эта скверная Властьевна о вашей почтеннѣйшей сунругѣ...

— Да полноте, Бога ради! Я не хочу ничего слышать.

— Ну, какъ вамъ угодно. А вѣдь эта старая сплетница, знаете ли что говоритъ о Марьѣ Дмитріевнѣ? «Что, дескать, она такъ чуфарится?.. Эка барыня!.. Мы помнимъ: еслибъ не покойная княжна, такъ ей бы пришлось питаться мірскимъ подавніемъ!»..

— Андрей Ѳомичъ, сдѣлайте милость!..

— Да еще что говоритъ, батюшка, шельма этакая!.. «Знаемъ, дескать, мы, къ кому ѣздитъ сынокъ-то Ивана Никифоровича Кирсанова»..

— Послушайте,—вскричалъ съ нетерпѣніемъ Мирошевъ,—если вы хотите остаться нашимъ пріятелемъ, то прошу васъ не пересказывать мнѣ такихъ вздоровъ!

— Слушаю, сударь, слушаю! Вѣдь это я изъ моей любви къ вамъ, батюшка!.. Еслибъ вы изволили знать, какъ я преданъ всему вашему семейству!..

— Такъ докажете же это на самомъ дѣлѣ: не го-

ворите при моей женѣ ни слова объ этомъ глупомъ сватовствѣ.

— Извольте, сударь, извольте,—ни слова не скажу!

— Пойдемте-ка лучше въ гостиную, да закусимъ передъ обѣдомъ.

— Съ моимъ удовольствіемъ!.. Да вотъ и всѣ ваши идутъ... Марья Дмитріевна!.. Варвара Кузьминична!.. Авдотья Лаврентьевна!..

Зарубкинъ велъ себя довольно порядочно во время обѣда: онъ не говорилъ ничего о Панкратіи Лукичѣ и свахѣ Власьевнѣ, не потому, впрочемъ, что обѣщаль это хозяйну, но за столомъ ему некогда было пускаться въ разговоры: въ числѣ кушаньевъ были два любимыя его блюда—буженина съ лукомъ и жареный гусь съ капустою; послѣ же обѣда, Марья Дмитріевна, у которой разболѣлась голова, ушла тотчасъ въ свою комнату, а Варенька и Дуняша отправились къ себѣ на антресоли дочитывать «Несчастливыхъ супруговъ, итальянскую повѣсть, имѣющую печальное окончаніе».

XVI.

КАКЪ ВЛАДИМИРЪ ИВАНОВИЧЪ И ВАРЕНЬКА ПОМѢНЯЛИСЬ КОЛЬЦАМИ, И КАКЪ АГРИППИНА ЛЬВОВНА ПОДСЛУШАЛА ИХЪ РАЗГОВОРЪ.

Послѣ всего описаннаго нами въ предыдущихъ главахъ, прошло болѣе мѣсяца безъ всякихъ особенныхъ приключеній. Курочкинъ, повидимому, раздумалъ заводить тяжбу съ Мирошевымъ, или, по крайней мѣрѣ, отложилъ это до перваго удобнаго случая. Вскорѣ, послѣ неудачнаго сватовства, онъ уѣхалъ въ Саратовъ, по словамъ Зарубкина, искать межъ богатыхъ купеческихъ дочекъ невѣсты для своего сына. Марья Дмитріевна перестала сердиться на Власьевну; она рассказала даже обо всемъ Варенькѣ, и отъ всей души смѣялась, вмѣстѣ съ нею, надъ этимъ трехъ-аршиннымъ женихомъ, который, какъ древніе русскіе бога-

тыри, ломалъ деревья и сѣдалъ за одинъ пріемъ по цѣлому быку. Хотя Мирошева была вовсе незлопамятна, однакожъ ея обиженное самолюбіе матери не успокоилось бы такъ скоро, если бы она не имѣла много причинъ радоваться; во-первыхъ, здоровье Вареньки стало примѣтнымъ образомъ поправляться: на блѣдныхъ щекахъ ея заигралъ снова румянецъ, снова улыбка счастья появилась на ея прелестныхъ устахъ и потухшіе глаза вспыхнули жизнью; во-вторыхъ, Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ заѣхалъ однажды къ Мирошевымъ съ поля, былъ со всѣми очень ласковъ, поцѣловалъ въ лобъ Вареньку и сказалъ:

— Ну, братецъ, Кузьма Петровичъ, человекъ ты небогатый, нечиновный, а все-таки за доброту твою благословилъ тебя Господь! Какая у тебя барышня-то славная! Кабы у меня была такая дочка, такъ я бы перекрестился!

Кузьма Петровичъ не видѣлъ въ этихъ словахъ ничего, кромѣ обыкновенной ласки; но Марья Дмитріевна вывела изъ нихъ совсѣмъ другое заключеніе.

— Ну, мой другъ, — сказала она мужу, — справедливы ли мои догадки? Ты слышалъ, что онъ намекаетъ?

— А что такое?—спросилъ Мирошевъ.

— Помилуй, душенька, да это ясно!. Вѣдь у него сынъ женихъ, такъ сталъ ли бы онъ говорить, что желаетъ имѣть такую дочь, какъ наша Варенька, еслибъ не хотѣлъ, чтобъ его сынъ на ней женился?

— Такъ отчего жъ онъ не дѣлаетъ намъ предложенія?

— Да развѣ онъ какой-нибудь Курочкинъ, мой другъ? Сегодня познакомился, а завтра и свататься! Онъ хочетъ, чтобъ они хорошенько узнали другъ друга, посвыклись...

— Охъ, Машенька, полно, такъ ли?

— Да ужъ сдѣлай милость!.. Я знаю сама, ты во сто разъ меня умнѣе, а, не прогнѣвайся, въ подобныхъ случаяхъ женщины всегда проникательнѣе мужчинъ.

Вы гораздо глубокомысленнѣе, вашъ умъ несравненно обширнѣе нашего, и потому-то именно эти мелочи отъ васъ ускользаютъ; а вѣдь мы, женщины, на томъ стоимъ. Вамъ нужны слова, а для насъ довольно иногда одного взгляда, одной улыбки... Ну, хочешь ли биться объ закладъ, мой другъ: Варенька будетъ невѣсткою Кирсанова!

— Дай Господи.

Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ бывалъ у Мирошевыхъ почти каждый день. Варенька стала съ нимъ обращаться попрежнему; они очень часто прогуливались втроемъ, то-есть съ Дуняшею, по саду и по рощѣ, ходили удить рыбу на Хоперь. Владиміръ Ивановичъ началъ ихъ учить рисовать, и успѣхи Вареньки превзошли всѣ его ожиданія. Дуняша все еще сидѣла на *глазахъ*, а Варенька могла уже нарисовать цѣлое лицо; одно только ей не давалось: она никакъ не могла подражать подлиннику, и всѣ ея головки имѣли межъ собою какое-то фамильное сходство. Пока она еще срисовывала головы Ахиллеса, Александра Македонскаго, Юлія Цезаря, такъ этотъ недостатокъ не очень былъ замѣтенъ; но однажды Владиміръ Ивановичъ далъ ей скопировать голову Сократа; и чтожъ вы думаете? Она нарисовала этого, весьма некрасиваго собою, греческаго мудреца съ *орлинымъ* носомъ, большими глазами, маленькимъ ротикомъ и вовсе не крутымъ лбомъ. Всего страннѣе, что учитель не только за это не осердился, но даже не замѣтилъ своей ученицѣ, что ея копія совсѣмъ не походитъ на подлинникъ. Марья Дмитриевна также не обратила на это никакого вниманія, а только улыбнулась, вѣроятно, отъ удовольствія, что дочь ея дѣлаетъ такіе быстрые успѣхи въ живописи. Одинъ Кузьма Петровичъ, глядя на этотъ рисунокъ, сказалъ со своимъ обыкновеннымъ дѣтскимъ простодушіемъ:

— Хорошо, Варенька, очень хорошо! Только, воля твоя, это больше походитъ на Владимира Ивановича, чѣмъ на Сократа, даромъ, что ты написала его съ бородою.

Агриппина Львовна Вертлюгина, встрѣчая Влади-

міра Ивановича у Мирошевыхъ, продолжала попрежнему съ нимъ любезничать; но съ тѣхъ поръ, какъ Варенька перестала отъ него прятаться, ей не удавалось никогда остаться съ нимъ наединѣ. Агриппинѣ Львовнѣ это было очень не по сердцу. Подъ конецъ она стала даже ревновать къ нему Вареньку; да, ревновать! Что грѣхъ танти: эта египетская мумія имѣла виды на Владиміра Ивановича, то-есть ей очень хотѣлось сдѣлать изъ него своего *болванчика* и быть самой его *амантой* (техническія слова замоскворѣцкихъ щеголихъ тогдашняго времени). У ревнивой женщины глаза зорки; но, несмотря на это, она не могла подмѣтить ничего двусмысленнаго въ ихъ обращеніи; ей удавалось только иногда подглядѣть во взорахъ Кирсанова что-то очень нѣжное, разумѣется, когда онъ смотрѣлъ на Вареньку; зато въ глазахъ своей соперницы она видѣла всегда одно и тоже: совершенное спокойствіе и это тихое, безмятежное счастье, вѣрный признакъ невинной души и чистой совѣсти. Но Агриппина Львовна была женщина влюбленная, злая, и, по своему, довольно хитрая, такъ отъ нея трудно было отдѣлаться. Злому мужчинѣ помогаетъ въ дурномъ дѣлѣ лукавый, а злая женщина и безъ него обойдется.

Въ одно воскресенье, когда Мирошевъ, возвратясь отъ обѣдни, толковалъ о чемъ-то съ Прохоромъ у себя въ кабинетѣ, а Марья Дмитріевна принимала холстъ и считала выпряденныя тальки, подѣхалъ къ крыльцу курятникъ на четырехъ колесахъ, который Вертлюгины величали своимъ фаэтономъ; изъ него выпрыгнула Агриппина Львовна, какъ рѣзвое дитя вспорхнула на лѣстницу и, не останавливаясь въ лакейской, пробѣжала прямо въ диванную, въ которой Марья Дмитріевна домѣривала послѣдній холстъ.

— Здравствуйте, радость! — вскричала она. — Ну, что, здоровы ли вы? Что ваши ваперы?

— То-есть головныя боли?.. Слава Богу, прошли! — отвѣчала Мирошева. — Милости прошу садиться! Вы однѣ пріѣхали?

— Одна.

— А чтожъ Илья Сергѣевичъ?

— Ахъ, не говорите! Онъ мнѣ ужасть надоѣлъ!.. Представьте, какой онъ посадилъ себѣ вздоръ въ голову: не хочетъ никуда выѣзжать по воскресеньямъ! Говорить, что это день субботній, и мы должны всѣ отдыхать... Субботній!.. Да развѣ мы жида?

— Можетъ-быть, онъ усталъ послѣ обѣдни?

— Нѣтъ, совсѣмъ не то? У него ужъ такое опрокинутое понятіе, такія дурацкія фантазіи и такая тѣснота въ головѣ, что онъ подчасъ бываетъ непримѣрно несносенъ.

— И вы это говорите не шутя! — сказала Мирошева съ удивленіемъ.

— О, нѣтъ, — отвѣчала Агриппина Львовна, — я вамъ говорю въ настоящую. Когда я вышла за него замужъ, я была совсѣмъ ребенкомъ и не могла еще резонировать; но потомъ, какъ подвинулась въ свѣтъ и разняла глаза... о, тогда я увидѣла, какая разница между нимъ и человѣкомъ хорошаго тона! Мой папенька, конечно, старикъ добрый, но мнѣ съ нимъ бываетъ до смерти скучно.

— Агриппина Львовна, — прервала Мирошева съ ужасомъ, — что вы это говорите? Вѣдь онъ вашъ мужъ!

— Мужъ!.. Такъ чтожъ? Ахъ, радость, какъ вы забавны... Вы уморительны!.. Да развѣ оттого, что онъ мой мужъ, мнѣ должно быть съ нимъ весело?.. Вотъ славно!.. Ну, разумѣется, я, какъ жена, обязана любить его и соблюдать вѣрность; но не зѣвать, когда мы съ нимъ въ тетъ-а-тетъ! Да кто можетъ отъ меня этого требовать?.. Ужъ не прикажете ли намъ ворковать какъ голубкамъ?.. Фу, какъ это смѣшно!.. Да это было-бы, просто, дурачиться по-дѣдовски.

— А я такъ не понимаю, какъ можетъ быть скучно съ мужемъ, котораго любишь?

— Это оттого, радость, что вы всегда жили въ деревнѣ; а если бы вы хотя разъ отретировались въ свѣтъ, то заговорили бы совсѣмъ другое.

— Не думаю.

— Да что объ этомъ!.. Гдѣ ваша Варенька?

— Пошла гулять по саду.

— Гулять? И, вѣрно, съ Владиміромъ Ивановичемъ?

— Да его у насъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?—прервала съ живостію Агриппина Львовна. — А я была увѣрена... я точно видѣла его верховую лошадь.

— Гдѣ?

— Тамъ, на задахъ, у вашей деревни.

— Такъ, можетъ-быть, онъ идетъ пѣшкомъ.

— Какъ же я его не обогнала?.. Однакожь, я вамъ надѣлала большую конфузію, Марья Дмитріевна. Занимайтесь, радость, вашимъ дѣломъ, занимайтесь!.. А я пойду погуляю.

Агриппина Львовна, не дожидаясь отвѣта, повернулась на одной ножкѣ, шмыгнула вонъ изъ комнаты и въ нѣсколько прыжковъ очутилась въ саду. Она въ пять минутъ обѣжала всѣ дорожки, обшарила всѣ куртины, осмотрѣла каждый кустикъ — Вареньки нигдѣ нѣтъ!

— Они, вѣрно, въ рощѣ,—шепнула Вертлюгина. — Отъ деревни есть прямая дорожка на гору.

Агриппина Львовна побѣжала въ рощу, — никого нѣтъ, все тихо... Но вотъ какъ будто бы стало наносить вѣтеркомъ что-то похожее на человѣческіе голоса... Это они!.. Невнятные звуки становятся понемногу яснѣе... вотъ ужъ они близко... Агриппина Львовна притаила дыханье, подобрала платье и, какъ балетная танцовщица, зашагала на пальчикахъ. Случалось ли вамъ видѣть, какъ лягавая собака, почувавъ дичь, вдругъ останавливается неподвижно, поднимаетъ уши, потомъ... Да нѣтъ, это сравненіе никуда не годится: собака—животное доброе и благородное. Представьте себѣ голодную замореную кошку, которая крадется къ своей добычѣ; видите ли, какъ осторожно передвигаетъ одну лапку за другою, какъ вытягивается

въ нитку, ползеть, какъ сверкаютъ ея лукавые глаза, какъ она облизывается и расправляетъ свои когти?.. Вотъ точно такъ же подкрадывалась и ползла Агриппина Львовна. Она была увѣрена, что ея соперница гуляетъ вмѣстѣ съ Владиміромъ Ивановичемъ, слѣдовательно, могла подслушивать ихъ разговоръ и потомъ растерзать Вареньку, не когтями, — благодаря Бога, когтей у насъ нѣтъ, — но зато есть языкъ, который замѣняетъ ихъ отличнымъ образомъ.

Я много разъ говорилъ вамъ объ этомъ хопровскомъ холмѣ и его рощѣ, но ни разу не упомянулъ объ одномъ прелестномъ мѣстечкѣ, гдѣ Варенька любила отдыхать и читать книгу, разумѣется, тогда еще, когда она не находила никакого особеннаго удовольствія смотрѣть по два часа сряду на усадьбу Ивана Никифоровича Кирсанова. Это была небольшая площадка на полугорѣ, или, лучше сказать, оступѣ, окруженный со всѣхъ сторонъ густымъ лѣсомъ и сплошными кустами. Отъ этого уступа гора подымалась почти отвѣсно, аршинъ на десять вверху; по крутому обрыву росли молоденькіе дубки; изъ нихъ два или три наклонились широкимъ навѣсомъ надъ деревянною скамьею, приставленною къ самому утесу; по правую ея сторону змѣилась узенькая тропинка, по лѣвую — журчалъ горный ключъ, прокладывая изгибистое и крутое русло свое между деревьями; у самой скамьи онъ обрывался внизъ аршина на два и образовалъ своимъ паденіемъ небольшой водопадъ, котораго ровный и постоянный шумъ располагалъ невольно къ тихой задумчивости. Въ этомъ-то живописномъ и уединенномъ мѣстечкѣ сидѣли на скамѣ Варенька и Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ. Подлѣ нихъ стояла Дуняша и, наклонясь надъ ручьемъ, смотрѣла съ дѣтскимъ любопытствомъ, какъ листочки и цвѣты, которые она бросала въ воду, захлестывались волнами, вертѣлись, крутились и, вмѣстѣ съ пѣною, быстро исчезали изъ глазъ. Владиміръ держалъ Вареньку за руку и говорилъ ей *ты...* Не бойтесь за нихъ: въ ихъ душахъ не было

еще я могу просить у Бога? Ты станешь вѣчно любить меня... да, вѣчно!.. Здѣсь ты будешь женихомъ моимъ, а тамъ Господь назоветъ насъ супругами! Онъ услышитъ мою молитву: твоя невѣста умретъ прежде тебя... О, какъ она будетъ тебя дожидаться!.. Владиміръ! — продолжала Варенька, снимая съ пальца золотое колечко, — можетъ-быть, въ церкви Божіей намъ не удастся никогда обмѣняться кольцами, надѣнь его и дай мнѣ свое. Если ты самъ не снимешь его съ моего пальца, то, будь увѣренъ, мой другъ, я лягу съ нимъ въ могилу!

Они помѣнялись кольцами.

— Что это? — сказала вполголоса Дуняша. — Тамъ что-то хрупнули сухіе листья!.. Ужъ не змѣя ли ползетъ?

Дуняша не ошиблась: въ трехъ шагахъ отъ нихъ за кустомъ притаилась змѣя; только эта змѣя умѣла говорить почти такъ же хорошо, какъ та, которая соблазнила нашу прародительницу.

— Теперь мы съ тобою обручены! — сказалъ Владиміръ, глядя съ неизъяснимою любовью на Вареньку. — О, мой ангелъ невинности и доброты, — продолжалъ онъ, цѣлуя ея руку, — какая женщина въ мірѣ можетъ сравниться съ тобою?.. О, повѣрь, мой другъ, еслибъ любовь моя не была такъ же чиста, какъ эти ясныя небеса... еще чище — какъ душа твоя, я не смѣлъ бы тогда прикоснуться къ тебѣ, не смѣлъ бы взять тебя за руку!.. Какъ я люблю тебя здѣсь, такъ можно будетъ мнѣ любить тебя тамъ, гдѣ нѣтъ ничего земного. Ты правду сказала, Варенька: если не въ здѣшнемъ, такъ въ будущемъ мірѣ Господь благословитъ союзъ нашъ.

Тутъ вдругъ раздался шумъ между деревьями; кто-то закричалъ пискливымъ и дребезжащимъ голосомъ:

— Варенька... Варенька! Гдѣ ты?

И вслѣдъ за этимъ Вертлюгина выскочила изъ-за куста.

— Ахъ, здравствуйте, Агриппина Львовна! — сказала Варенька, вставая.

— Ты здѣсь, шерочка?.. А я ужъ искала, искала тебя!.. Мусье Кирсановъ!..

Владиміръ очень холодно поклонился.

— Да что это вы, Агриппина Львовна?—спросила Варенька, глядя съ удивленіемъ на зеленоватое лицо Вертлюгиной, по которому выступили красныя пятна.— Здоровы ли вы?

— Ахъ, нѣтъ, радость, — у меня ужасные вертижи; да я же такъ устала, входя на эту гору... Откуда вы взялись, Владиміръ Ивановичъ?.. Тамъ дома и не знаютъ, что вы здѣсь.

— Я оставилъ мою лошадь у деревни, хотѣлъ пройти садомъ.

— И повстрѣчались съ Варенькой? Какъ это счастливо!.. Ахъ, какъ здѣсь хорошо!.. Безпримѣрно хорошо!.. Гора, ручеекъ, каскадъ, пастушка и пастушокъ... одни, вдвоемъ...

— А я то что, Агриппина Львовна, — прервала Дуняша,—овечка что ль?

— А, миленькая, ты здѣсь?.. Ты не можешь себя представить, шерочка, какъ я люблю твою Дуняшу! Она такая ловкая плутовочка... такая услужливая!.. Однакожъ, пойдите же въ домъ. Марья Дмитріевна васъ дожидается, то-есть тебя, Варенька; а вы, мусье Кирсановъ, будете для нея сюрпризомъ... Пойдемте, пойдете!

Вертлюгина схватила подъ руку Вареньку и потащила ее внизъ по тропинкѣ.

— Ахъ, радость, какъ ты неосторожна!—шепнула она ей на-ухо.—Ну если бъ это не я?..

Варенька посмотрѣла съ удивленіемъ на Вертлюгину.

— Ребенокъ! — продолжала Агриппина Львовна.— Назначить свиданіе днемъ! Это обыкновенно дѣлается вечеромъ... Да не безпокойся, объ этомъ никто не узнаетъ.

— Я васъ не понимаю,—сказала Варенька.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. А скажи-ка мнѣ, которое

это рандеву?.. Да не краснѣй, шерочка! Фу! какъ это глупо!.. Кто нынче отъ этого краснѣетъ?

Тутъ подошелъ Владиміръ, и Вертлюгина замолчала. Когда они вошли въ домъ, Агриппина Львовна закричала издали Мирошевой:

— А мы ведемъ къ вамъ еще гостя!

— А, Владиміръ Ивановичъ!—сказала Марья Дмитріевна.—Гдѣ онѣ васъ поймали?

— Я была, маменька, въ рощѣ, а Владиміръ Ивановичъ...

— Ходилъ по саду,—подхватила Вертлюгина, толкнувъ локтемъ Вареньку.—Вѣрно, ему сказали, Марья Дмитріевна, что вы гуляете... мы съ нимъ повстрѣчались...

— Что вы, Агриппина Львовна? — возразила Варенька.—Да вы пришли...

— И, полно, радость, что объ этомъ говорить?.. Марья Дмитріевна, знаете ли вы новость? Курочкинъ пріѣхалъ назадъ изъ Саратова, и не даромъ туда ѣздилъ: онъ купилъ на имя сына, въ десяти верстахъ отъ насъ, сто душъ крестьянъ. Каковъ?

— Чтожъ тутъ удивительнаго?.. У него денегъ много.

— Теперь Алексѣй Панкратычъ Курочкинъ авантажнѣйшій женихъ, помѣщикъ!.. Это правда, онъ какъ-то неловко обдѣланъ и въ умѣ не очень развязанъ; да вѣдь дѣвушка беретъ мужа не для того, чтобъ онъ съ нею куртизанилъ, а для того, чтобъ быть барыней, жить своимъ домомъ...

— И имѣть друга на всю жизнь, — прервала Мирошева.

— И, радость, что вы! Да развѣ всѣ мужья биваютъ друзьями своихъ женъ?.. Я объ этомъ вовсе не думала, когда выходила замужъ.

— Что это вы, Агриппина Львовна!—прервала съ неудовольствіемъ Мирошева. — Что вы это говорите? Да развѣ вы не любите своего мужа?

— Теперь — да... конечно, люблю... время... прп-

вычка... а тогда, — божусь, я была къ нему совершенно равнодушна.

— Такъ зачѣмъ же вы съ нимъ обвѣнчались?

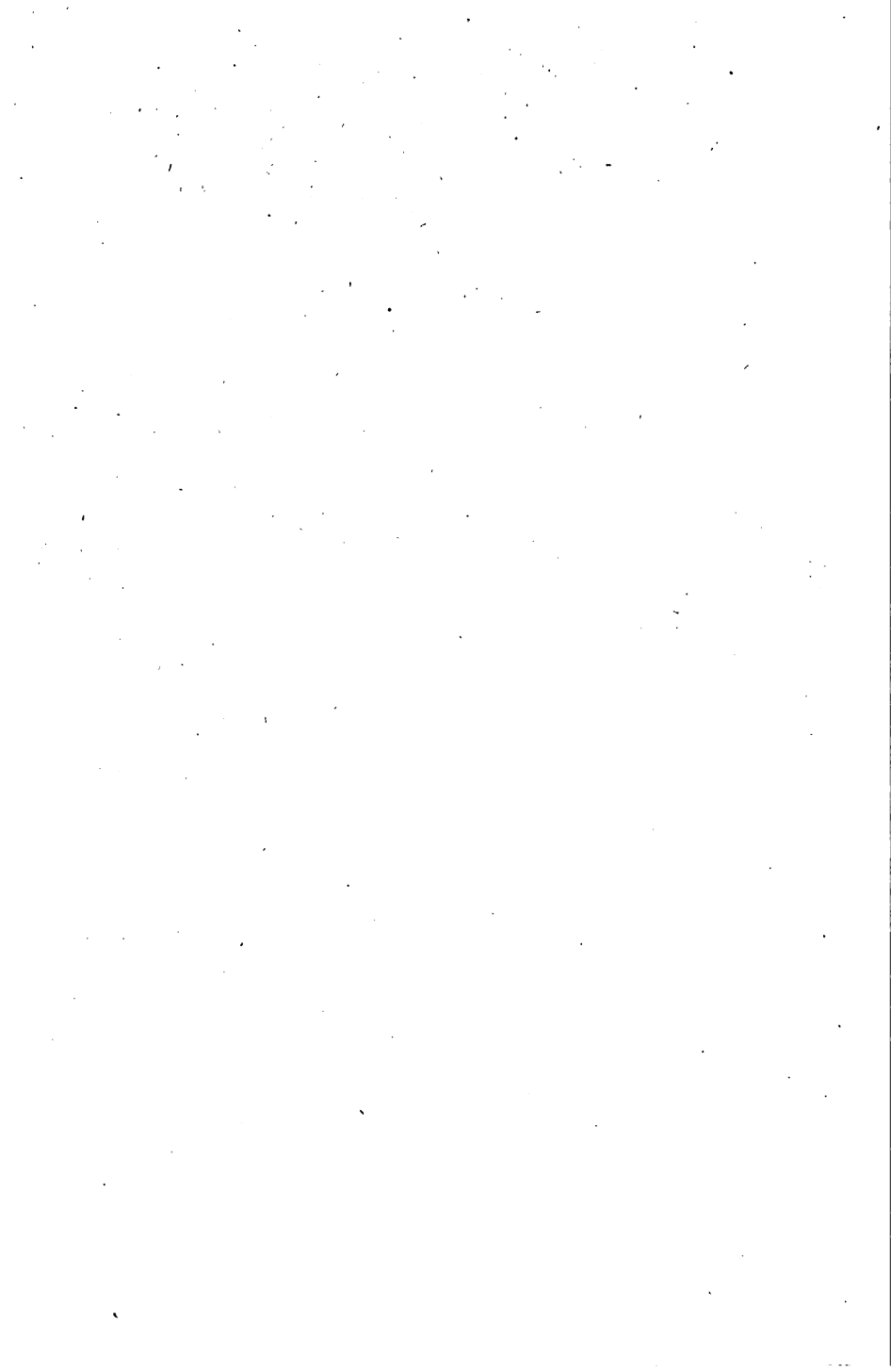
— Да онъ такъ долго за мной ухаживалъ, такъ надоѣлъ мнѣ своими деклараціями, что я вышла за него замужъ, — ну, право, для того только, чтобъ какъ-нибудь отъ него отвязаться!.. Однакожъ, прощайте: Илья Сергѣевичъ дожидается меня обѣдать.

— Да постоитъ, подадутъ вашъ экипажъ, — сказала Марья Дмитріевна, провожая свою гостью.

— Не беспокойтесь, онъ стоитъ у крыльца. Прощай, шерочка!.. Ты, радость, сегодня безпримѣрно хороша!.. Не правда ли, мусье Кирсановъ?.. Прощайте!..

Вертлюгина нырнула въ лакейскую, прыгнула съ крыльца, вскочила въ свой курятникъ и помчалась домой. Черезъ полчаса послѣ нея отправился и Кирсановъ. Разставаясь съ Варенькой, онъ почувствовалъ необычайную тоску. Владиміръ, уходя, всегда говорилъ ей: «до свиданья», а тутъ невольнымъ образомъ сказалъ: «прощайте». Варенька поблѣднѣла; у нея также замерло сердце... Бѣдное, оно предчувствовало долгую разлуку!

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ.





ЧАСТЬ ТРЕТья.

XVII.

АГРИППИНА ЛЬВОВНА НАЧИНАЕТЪ ДѢЙСТВОВАТЬ. ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕПОРУЧЕНІЕ АНДРЕЮ БОМИЧУ ЗАРУБКИНУ.

Есть русская поговорка, которую, вѣроятно, сочинили разоренные крестьяне какого-нибудь мотоватаго помѣщика: «красны боярскія палаты, да у мужиковъ-то избы на боку». Вторую половину этой пословицы можно было приложить къ *Выльдовкѣ*—деревнѣ, принадлежащей Ильѣ Сергѣевичу Вертлюгину, потому что въ ней почти всѣ избы точно были на боку; но зато и боярскія палаты нельзя было назвать *красными*. Это были старинныя хоромы, похожія на фабрику, длинныя, низкія, покрытыя драньемъ, съ рѣдкими окнами, въ которыхъ нѣсколько лѣтъ ужъ сряду каждое разбитое стекло замѣнялось доскутомъ синей оберточной бумага. Хотя этотъ господскій домъ не вовсе еще лежалъ на боку, однакожъ, время покривило его немного на сторону; но это вовсе не пугало хозяина, онъ даже увѣрялъ всѣхъ, что домъ нарочно такъ построенъ въ подражаніе *какой-то* башнѣ, которая въ *какомъ-то* итальянскомъ городѣ была воздвигнута *какимъ-то* знаменитымъ архитекторомъ лѣтъ двѣсти тому назадъ и стоитъ доселѣ безъ всякой поправки. Ильа

Сергѣевичъ былъ человѣкъ ученый и, какъ изволите видѣть, всегда опирался на какой-нибудь историческій фактъ; но въ этомъ случаѣ онъ сдѣлалъ бы гораздо лучше, еслибъ подперъ свой домъ не фактомъ, а бревномъ, потому что, несмотря на убѣдительное краснорѣчіе хозяина, едва ли бы кто-нибудь рѣшился, не перекрестясь и не сотворя молитвы, переступить черезъ порогъ его дома. Однажды пріятель нашъ, Зарубкинъ, которому Вертлюгинъ подарилъ двѣ бутылки рябиновки, увлеченный первымъ порывомъ своей благодарности, сказалъ сквозь слезы:

— Батюшка, я вѣчно буду молить Господа Бога, да охраняетъ Онъ нашъ входъ и исходъ и да устроить паденіе дома вашего въ тотъ часъ, когда ни вы, ни супруга ваша не будете находиться подъ его кровлею.

Внутренность этого дома совершенно отвѣчала его наружности. Въ одной изъ его комнатъ, которая нѣкогда была оклеена обоями, на широкомъ, обитомъ полинялою кожею, канapé лежала, облокотясь граціозно на руку, Агриппина Львовна Вертлюгина; противъ нея сидѣлъ на стулѣ Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ; у окна стоялъ Ванюша, племянникъ Вертлюгиныхъ, мальчикъ лѣтъ шестнадцати, котораго они, за неимѣніемъ дѣтей, хотѣли усыновить; онъ строгалъ столовымъ ножомъ драгички и прилаживалъ ихъ къ листу сѣрой бумаги. Вырѣзанный изъ переплета старой азбуки клапанъ и длинный мочальный хвостъ, который лежалъ на полу, ясно изобличали дерзкое намѣреніе юноши пустить подъ небеса бумажнаго змѣя съ трещоткою. Этотъ предприимчивый молодой человѣкъ такъ былъ занятъ своимъ дѣломъ, что вовсе не обращалъ вниманія на частые возгласы своей тетюшки, которая, вѣроятно, по одной ужъ привычкѣ, повторяла безпрестанно: «Ванюшка, шалишь!»

— Да ужъ не извольте беспокоиться! — говорилъ Зарубкинъ. — Я человѣкъ не такой: меня хотъ въ тиски, такъ не выболтаю.

— То-то, мой свѣтъ, смотри! — повторила вполго-

доса Агриппина Львовна.— Это дѣло секретное... Ванюшка, шалишь!.. Вотъ что, душенька, я хочу тебѣ сказать... Да что это у тебя, Андрей Ѳомичъ, шляпа такая измятая?

— Давно ношу, сударыня.

— Я прошлаго мѣсяца купила папенькѣ пуховую шляпу, — чрезвычайно хорошая шляпа, только на голову ему нейдетъ, а тебѣ будетъ впору.

— Какъ не быть, матушка!

— Такъ я завтра ее къ тебѣ пришлю. Носи на здоровье.

— Покорнѣйше васъ благодарю! Пожалуйте ручку, матушка!

— Теперь слушай же, что я тебѣ скажу... Ванюшка, шалишь!.. Ты вѣдь часто бываешь у Ивана Никифоровича Кирсанова?

— Бываю таки, сударыня; его высокородіе изволить меня жаловать.

— И, вѣрно, помогаетъ?

— Случается.

— Вотъ, изволишь видѣть... Такъ поэтому, мой свѣтъ, ты долженъ изъ одной благодарности открыть ему глаза.

— А что такое, Агриппина Львовна?

— А то, что онъ подъ носомъ ничего не видитъ. Его сынъ посадилъ себѣ въ голову безпримѣрную глупость; а онъ такъ темень умомъ, что даже этого и не замѣчаетъ.

— Ахъ, батюшки! Да чтожъ такое?

— Конечно, такихъ мужчинъ, какъ Владиміръ Ивановичъ, въ Москвѣ очень много, и онъ ужъ слишкомъ о себѣ думаетъ.

— Есть тотъ грѣшокъ:

— Я знаю двухъ-трехъ кавалеровъ поавантажнѣе его, которые напрашивались ко мнѣ въ болванчики, умирали по мнѣ отъ любви...

— Не диво, сударыня, не диво!

— И еслибъ мнѣ не жалъ было его отца, такъ я бы ни слова не сказала... Какъ ты думаешь: этотъ

московскій франтикъ вѣзался по уши!.. Ну, отгадай, въ кого онъ влюбился?.. Ваничка, шалишь!..

— Да онъ, мнѣ кажется, что-то около васъ ухаживалъ.

— Фу, какое дурачество! Стану я связываться съ такимъ мальчикомъ!.. Онъ влюбленъ въ Вареньку Мирошеву! Да еще какъ! Пассія, совершенная пассія!

— Что вы говорите?

— Ну, да! Эта дѣвочка совсѣмъ его заverteла, съ ума свела...

— Ахъ, батюшки! А вѣдь на взглядъ-то какая скромница!

— Кто?.. Она?.. Что ты, Андрей Ѳомичъ!.. Кокетка... самая тонкая кокетка!.. Исподтишка...

— Скажите, пожалуйста!.. Вотъ ужъ подлинно въ тихомъ омутѣ.

— Да хороши и папенька съ маменькой: выставили свою дочку, завели молодого человѣка... Фу, какъ это низко!..

— Да-съ, не хорошо-съ! Да и онъ-то что? Помилуйте!.. Ну, конечно, кто бабушкѣ не внукъ: въ его года и мы волочились, да только съ разборомъ. Дѣло другое, женщина замужняя... вашихъ лѣтъ, напрымѣръ... а то дѣвица!.. Вѣдь онъ знаетъ, что батюшка его человѣкъ надменный и никакъ не позволитъ ему жениться на какой-нибудь бѣдной дворяночкѣ.

— А если они обвиняются безъ его согласія?.. Вѣдь эти Мирошевы на все пойдутъ.

— Чего добраго! Женишекъ богатый.

— Вотъ то-то и есть!.. Надобно предупредить Ивана Никифоровича... Мнѣ, право, жаль этого старика... Ваничка, шалишь!

— Да вашъ племянникъ ужъ давно ушелъ, матушка,—сказалъ Зарубкинъ, оборотясь къ окну.—Вонъ, посмотрите, онъ на дворѣ извольтъ змѣя спускать... Какой онъ у васъ прелюбезный!.. Такъ чтожъ, сударыня: вы думаете, что должно намекнуть объ этомъ Ивану Никифоровичу?

— Непремѣнно.

— Охъ, матушка, боюсь! Онъ человѣкъ горячій: разгнѣвается, подыметъ такую пыль, что и Господи!

— Да тебѣ-то какое до этого дѣло?

— Какъ, сударыня, какое? Ну, какъ на первыхъ-то порахъ онъ вздумаетъ на мнѣ сердце сорвать?.. Вѣдь Иванъ Никифоровичъ какъ разсердится, матушка, такъ никто не подвертывайся! У него же предурной обычай: схватитъ за воротъ, начнетъ подергивать, трясти... а вы изволите видѣть, кафтанишка-то у меня какой!.. Одинъ одиухонекъ, да и тотъ еле живъ.

— Ну, хорошо, хорошо: я выпрошу тебѣ у Ильи Сергѣевича его старый плисовый кафтанъ...

— Покорнѣйше благодарю! Пожалуйте ручку, матушка!

— А когда ты отправишься къ Кирсанову?

— Когда прикажете.

— Ступай сегодня.

— Слушаю-сь. Только, осмѣлюсь вамъ доложить, да чтожъ я ему скажу?

— Ну, разумѣется, что сынъ его влюбленъ, что онъ хочетъ жениться на Варенькѣ...

— А какъ онъ спроситъ: съ чего ты это взялъ?

— Съ чего!.. Вотъ славно—съ чего! Да объ этомъ всѣ говорятъ; да они точно женихъ съ невѣстою... Ты можешь даже сказать, что они помѣнялись кольцами...

— Вотъ ужъ до чего дошло?.. Ай, ай!

— Да, да, я сама это видѣла

— Прошу покорно, ужъ и до колечекъ дѣло дошло! Ну!!!

— Только смотри, Андрей Ѳомичъ, чтобъ обо мнѣ и въ поминѣ не было. Я не люблю мѣшаться ни въ какія авантюры... Если ты меня какъ-нибудь приплетешь, такъ не видать тебѣ ни кафтана, ни шляпы... да и самъ ко мнѣ на глаза не кажись, слышишь?

— Слышу, Агриппина Львовна, слышу. Трудненько же будетъ это дѣльце сладить... Развѣ какъ-нибудь стороною.

— Ужъ тамъ какъ хочешь; да ты на это мастеръ, я вѣдь тебя знаю: прикинешься дурачкомъ, да такъ какъ будто бы проста...

— Да-съ!.. Надобно ужъ какъ-нибудь этакъ... обинячкомъ, что ль...

Тутъ въ сосѣдней комнатѣ раздался гнѣвный голосъ Ильи Сергѣевича:

— Разбойница!.. негодная!.. воровка!.. — кричалъ онъ, отдѣляя каждое слово, вмѣсто запятой, презвучною и полновѣсною пощечиною.

— Что тамъ такое? — сказала Агриппина Львовна, вставая съ канапе.

Двери отворились, и Вертлюгинъ вошелъ въ комнату, таща за собою пожилую бабу въ затрапезной кофтѣ.

— Вотъ, матушка, — сказалъ онъ, — полюбуйся: крадетъ нашъ сахаръ!

— Возможно ли!.. Аенмья! — вскричала Агриппина Львовна. — Ахъ, ты мерзкая! Да какъ ты смѣла?..

— Виновата, сударыня! — завопила Аенмья, повалясь въ ноги. — Грѣхъ попуталъ, матушка!.. Унесла одну щепоточку, — видитъ Богъ, одну!..

— Да на что тебѣ, негодная?

— Сестра хворааетъ, матушка! Вотъ ужъ третій день, какъ за языкъ повѣшенная, наладило одно да одно: хочу чаю съ сахаромъ, да и только!

— Смотри пожалуй, — прервалъ Вертлюгинъ, — ужъ и это холопское отродье смѣетъ думать о чаѣ да о сахарѣ! Добро, добро, голубушка, вотъ я съ тобой поговорю!.. Пошла вонъ!

Аенмья съ горькимъ плачемъ вышла изъ комнаты.

— Ты, папенька, засталъ ее, какъ она воровала? — спросила Агриппина Львовна.

— Нѣтъ, душенька.

— Такъ почему же ты узналъ?

— Почему? Въ томъ-то и дѣло! — сказалъ съ довольною улыбкою Илья Сергѣевичъ. — Вотъ, изволишь видѣть: давно уже приходило мнѣ въ голову... ты

иногда второпяхъ забудешь сахаръ запереть, я также объ этомъ не подумаю,—долго ли до грѣха! Крупный сахаръ у насъ весь на счету,—украсть не посмѣютъ; а мелкій,—кто его знаетъ: стянуть ложечку-другую, и не замѣтишь. «Постой» — подумалъ я, — «ужъ поймаю же вора въ горохѣ!» Вотъ какъ мы отпили чай, я сахарницу не заперъ, а взялъ, да посадилъ въ нее живую муху, захлопнулъ крышкою и отдалъ Аѳимѣ. Этакъ черезъ часъ, говорю: «Подай-ка мнѣ сюда мелкаго сахару». Аѳимья подала, я открылъ — эге, и слѣдъ простылъ!.. «Открывала ты сахарницу!» — спросилъ я. — «Нѣтъ, батюшка, не открывала; зачѣмъ открывать?» — «Не открывала? А муха-то гдѣ?» — «Муха?.. Какая муха, батюшка?» — «А вотъ какая!»... Да въ щеку, да въ другую, да въ третью! Она и бухъ въ ноги: — «Виновата!»

— Ну, хитро придумано! — вскричалъ Зарубкинъ. — Ахъ, ты, Господи, какого караульщика приставили!.. Знаете ли что?.. Сахару у меня и въ заводѣ нѣтъ, а случаются, про гостей, кой-какія потѣшки...

— Каленые орѣшки! — подхватилъ съ громкимъ смѣхомъ Вертлюгинъ.

— Нѣтъ, сударь, не погнѣвайтесь, — возразилъ Зарубкинъ: — у насъ-таки водятся и винныя ягоды и черносливъ; изюмецъ есть... Дайте-ка и я въ мой лапоть муху посажу...

— Посади, любезный, — улика вѣрная.

— Я что-то часто замѣчаю, что моя Марѳа облизывается... Не даромъ!.. Да ужъ я же ее теперь подстерегу!.. Ну, исполать вамъ, батюшка Илья Сергѣевичъ!.. Эку штуку выдумали!.. Однакожъ, прощенья просимъ!.. Счастливо оставаться, ваше высокоблагородіе!..

— Куда ты?

— Къ его высокородію, Ивану Никифоровичу.

— Смотри, онъ опять тебя съ Афонькой стравить.

— Нѣтъ, сударь, мы теперь живемъ съ нимъ въ ладахъ: я прошлый разъ далъ ему грошъ. Куда, по-

стрѣлъ, падокъ на деньги!.. Прощайте, сударыня, Агриппина Львовна!.. Дай Богъ вамъ добраго здоровья!

XVIII.

ИВАНЪ НИКИФОРОВИЧЪ КИРСАНОВЪ.

Я такъ часто заставляю васъ, любезные читатели, переноситься вмѣстѣ со мною изъ одного дома въ другой, что мнѣ, право, передъ вами совѣстно. Давно ли вы были въ волостной конторѣ села Вознесенскаго, потомъ у Мирошевыхъ, потомъ у Вертлюгиныхъ, а теперь я хочу васъ вести въ домъ къ Ивану Никифоровичу Кирсанову. Хотя всѣ эти походы совершаются въ одномъ вашемъ воображеніи, но вѣдь и оно можетъ, наконецъ, устать. Въ театрѣ, при перемѣнѣ декорацій, вамъ не для чего напрягать вашихъ умственныхъ способностей, а стоитъ только открыть глаза, и вы видите передъ собой море, лѣсъ, царскіе чертоги, хижину пастуха; однимъ словомъ, все то, что авторъ желаетъ вамъ показать. Но слова не живопись; какъ бы подробно и съ какою бы точностію ни сталъ я вамъ описывать домъ Кирсанова, а все вашему воображенію надобно будетъ работать, то-есть облекать въ вещественный образъ мой сухой рассказъ, составленный изъ однихъ словъ, которыя сами по себѣ, безъ этого необходимаго олицетворенія, ничего не значатъ. Вотъ почему я не хочу вамъ описывать огромный деревянный домъ Ивана Никифоровича, его обширный садъ, оранжереи и всякія другія полубарскія затѣи, которымъ не было конца; а скажу только слова два о той комнатѣ, дальше которой мы съ вами не пойдемъ. Это была обширная зала въ два свѣта; нѣсколько дюжинъ стульевъ, обитыхъ кожею, разставлено было вдоль стѣнъ; съ потолка опускались двѣ люстры изъ граненаго хрусталя, которыя, вмѣстѣ съ пятью подстольниками изъ фальшиваго мрамора, были предметомъ удивленія для всего новохопер-

скаго уѣзда. На подстольникахъ стояли жирандолл, также обвѣшанные хрустальными фестонами и бахромою; въ нихъ вставлены были свѣчи; не прогнѣвайтесь, — сальныя. Въ старину на этотъ счетъ вовсе были неприхотливы. На внутренней стѣнѣ, которая отдѣляла залу отъ столовой, висѣло нѣсколько фамилныхъ портретовъ, которые, по своей художественной отдѣлкѣ, могли стать рядомъ съ нынѣшними вывѣсками столичныхъ парикмахеровъ и цырюльниковъ. Посреди нихъ висѣла превеликая картина, изображающая родословное древо знаменитаго рода дворянъ Кирсановыхъ. Вѣтвей на немъ и сучковъ было безъ числа, а у самаго корня, на красномъ овальномъ щитѣ, было написано крупными буквами имя князя Фохана, князь Андреева сына, Башлыка, отъ котораго произошли князья Башлыковы — обиняки, и дворяне Кирсановы.

Въ одномъ углу залы сидѣлъ, на низенькой скамеечкѣ, человѣкъ лѣтъ сорока, или, лучше сказать, какое-то среднее существо между человѣкомъ и обезьяною. На немъ былъ нѣмецкій кафтанъ, сшитый изъ разноцвѣтныхъ лоскутовъ, чрезъ плечо лента изъ желтой крашенины, а на груди огромная звѣзда, вырѣзанная изъ синей бумаги. Глупое лицо его нельзя было назвать рѣшительно безобразнымъ; но въ немъ было все какъ-то не на своемъ мѣстѣ: когда онъ смѣялся, можно было подумать, что онъ плачетъ; а если плакалъ, то вы побились бы объ закладъ, что онъ смѣется. Глаза его, изъ которыхъ одинъ былъ выше другого, казались нѣсколько помѣшанными, но иногда въ нихъ мелькало что-то похожее на лукавство и хитрость. По залѣ ходилъ взадъ и впередъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти-пяти, толстый и высокій, въ зеленомъ сюртукѣ съ отложнымъ краснымъ воротникомъ и въ красномъ камзолѣ съ золотымъ шитьемъ. Онъ казался весьма еще бодрымъ и свѣжимъ старикомъ, держалъ себя прямо и, судя по всему, былъ нѣкогда прекраснымъ мужчиною. Нѣсколько багровый, но здоровый румянецъ покрывалъ его полныя щеки; волосы на головѣ его были

сѣдые, но голубые на выкатѣ глаза блистали изъ-подъ черныхъ густыхъ бровей; это придавало его лицу какое-то суровое выраженіе, которое изрѣдка смягчалось весьма ласковою и привѣтливою улыбкою. Вообще, можно было сказать, что физіономія этого старика была пріятная, и еслибъ надменный взглядъ его не изобличалъ повремениамъ души гордой и исполненной властолюбія, то его можно бы было полюбить съ перваго взгляда. Кажется, не нужно говорить моимъ читателямъ, что этотъ старикъ, въ красномъ бригадирскомъ камзолѣ—Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, а уродливое созданіе въ пестромъ нѣмецкомъ кафтанѣ, — дуракъ или шутъ его, Афонька.

Иванъ Никифоровичъ съ четверть часа уже ходилъ по залѣ, посматривалъ съ нетерпѣніемъ на окна и шепталъ про себя:

— До сихъ поръ не ѣдетъ!.. Вѣрно, шагомъ тащится, разбойникъ!.. Да его вѣкъ не дожدهшься!..

Онъ остановился и свистнулъ. Человѣкъ шесть лакеевъ, изъ которыхъ одни были въ сюртукахъ, а другіе въ охотничьихъ кафтанахъ, вбѣжали изъ разныхъ дверей въ залу.

— Что, Еремка еще не пріѣхалъ?—спросилъ баринъ.

— Никакъ нѣтъ-съ! — отвѣчали разомъ нѣсколько голосовъ.

— Экій дурачина!.. Уваленъ проклятый!.. Лишь только пріѣдетъ, сейчасъ ко мнѣ!.. Ступайте вонъ!

Слуги исчезли, а Кирсановъ началъ попрежнему ходить по комнатѣ. Прошло еще нѣсколько минутъ, онъ опять остановился и сказалъ:

— Эй ты, дуракъ!

— Что, баринъ?—отвѣчалъ Афонька.

— Пой что-нибудь.

Афонька уперся въ колѣна локтями обѣихъ рукъ, уложилъ на ладони свое уродливое лицо и, покачивая головою, затянулъ громкимъ голосомъ:

Шерня да берня, лисъ трафа,
Фаръ, фаръ, фаръ, фаръ, люди ерь арцы,

Шинда шиндара,
Транду трундара,
Подъ вили, вили,
Донъ, донъ, донъ...

— Молчи, дуракъ! — закричалъ Кирсановъ. — На доѣлъ!.. Наладилъ все одно да одно.

— Да я вѣдь, баринъ, это выучилъ въ Москвѣ, — сказалъ Аеонька. — Помнишь, какъ по улицамъ-то ходили всякіе черти?

— А что, Аеонька, хороши были эти уличныя игрища, а?

— Какъ же, баринъ! И домъ возили на колесахъ, и нечистая вся сила на козлиныхъ ножкахъ!.. А народу-то, народу!.. А черти-то коверкаются, ломаются да поютъ: хамъ, хамъ, хамъ!.. А я такъ дрожкой и дрожу!..

— Чего жъ ты боялся?

— Да какъ же чего?.. А какъ черти-то схватятъ да утащутъ!..

— Дурачина! Вѣдь это матушка-царица давала потѣхи народу; это были люди наряжены...

— Да, какъ бы не такъ! Я у нихъ и когти видѣлъ.

— Ну, ну, хорошо!.. Спой-ка лучше эту пѣсенку — вотъ что въ Москвѣ выучилъ тебя пріятель мой, Александръ Петровичъ Сумароковъ.

— Саввушка Савва?

— Ну, да.

Аеонька закинулъ назадъ голову какъ собака, которая собирается выть, и завопилъ протяжнымъ голосомъ:

Саввушка грѣшентъ,
Савва повѣшентъ.
Саввушка Савва,
Гдѣ твоя слава?

* *

Больше не падеи
Мысли на взятки.
Саввушка Савва,
Гдѣ твоя слава

* *

Гдѣ дѣлился цуки,
Депьги и крьюки?
Саввушка Савва,
Гдѣ твоя слава?

— Полно, перестань!—прервалъ Кирсановъ. — Ты этакъ тоску наведешь: голосишь какъ о покойникѣ.

— А какъ же тебѣ еще пѣть-то?—сказалъ Аеонька, начиная сердиться.

— Какъ пѣть, дурацкая образина! Вѣдь тебя учили.

— Да чтожъ ты, въ самомъ дѣлѣ, лаешься!.. Видишь, баринъ какой!.. Ивашка бѣлая рубашка!..

— Молчи, дуракъ!

— Да ты что за разумникъ такой?.. Дубина этакая... чертова перечница!

— Ну, ну, полно, не сердись!

— Да, не сердись!.. Что я тебѣ дуракъ что ль достался?

— Нѣтъ, нѣтъ, Аеонюшка, ты умница!.. Да что этотъ Еремка не ѣдетъ? А, насилу!.. — продолжалъ Кирсановъ, увидя входящаго слугу.—Гдѣ ты шатался до сихъ поръ, негодяй?

— Нигдѣ, батюшка, — отвѣчалъ слуга: — я прямехонько изъ города. Сейчасъ только почту разобрали. Къ вамъ, сударь, письмо изъ Воронежа, — прибавилъ онъ, вынимая запечатанный пакетъ изъ кармана.

— Изъ Воронежа?.. Подай!.. Такъ и есть — отъ Залуцкаго!.. Пошелъ вонъ!

Кирсановъ сорвалъ печать, прочелъ нѣсколько строкъ, и лицо его просіяло; онъ продолжалъ читать письмо съ большимъ удовольствіемъ, и когда кончилъ, то сказалъ вполголоса:

— Ну, слава Богу, дѣло идетъ на ладъ!.. Авось я породнюсь съ моимъ стариннымъ другомъ... Дочь его хороша собою... она, вѣрно, понравится Володѣ... Аеонька, сегодня тебѣ лишнюю чарку вина!..

— А пить, баринъ, какъ?—спросилъ дуракъ, вскочивъ со своей скамеечки.—Чай, опять соломинкою?

— Нѣтъ, пей, какъ хочешь.

— Ай да баринъ!.. Ай да Ваничка голубчикъ! — закричалъ дуракъ, прыгая по комнатѣ и пощелкивая пальцами.

— Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ! — доложилъ слуга, войдя въ залу.

— Зови сюда.

Я думаю, вы не забыли, любезные читатели, что нашъ пріятель, Зарубкинъ, несмотря на свой видный ростъ, умѣлъ при случаѣ какъ-то съезживаться и становиться карлою: въ лакейской онъ сдѣлался ниже цѣлымъ вершкомъ, въ столовой убавился на цѣлую четверть, свернулся кольцомъ и, не разгибаясь, дошелъ до залы.

— Здравствуй, братецъ! — сказалъ Кирсановъ. — Какъ поживаешь?

— Слава Богу, батюшка, ваше высокородіе, слава Богу!..

— Ну, что, голубчикъ, какъ идутъ твои дѣлишки?

— Благодарю моего Создателя, — изряднехонько, сударь, изряднехонько! Жнитво покончилъ, хлѣбишко убралъ...

— И, вѣрно, взялъ казенную поставку? Вѣдь у тебя, чай, десятинъ пять или шесть господской запашки?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокородіе: тринадцать десятинъ съ осьминникомъ.

— Эге, братъ!.. Да ты этакъ въ разоръ разоришь свою отчину!.. Вѣдь въ твоей деревнишкѣ всего-на-всего душенокъ пятнадцать?

— Тяголъ много, сударь; больше чѣмъ наполовину.

— Вотъ что!.. Не хочешь ли водки?

— Если милость ваша будетъ...

— Эй, малый!.. Настойки!.. Вѣдь ты, братецъ, вейновую не пьешь?

— Куда намъ, сударь!.. Да и что въ ней толку?.. Сласти много, а проку мало.

Въ продолженіе этого разговора, Аеонька подкрался потихоньку сзади къ Андрею Ѳомичу, схватилъ его за косичку, дернулъ и закричалъ:

- Здравствуй, баринъ!
- — Шалишь, дуракъ!—сказалъ Кирсановъ.
- Ничего, батюшка, ничего! — прервалъ Зарубкинъ. — Мы съ нимъ пріятели... Здравствуй, Аеонюшка!.. Ну, что, учишься ли ты грамотѣ?
- Учусь!.. Да что-то не дается.
- Эхъ ты, голова, голова!.. Да развѣ ты не знаешь, что ребятишекъ сѣкутъ, когда учатъ азбукѣ? Вели-ка себя выстѣчь, такъ и тебѣ грамота дается.
- Ой ли?.. Да я и такъ ужъ умѣю по складамъ.
- Право?.. Ну-ка сложи: баринъ.
- Пожалуй!.. Буки... буки... азъ—ба... ба... арць иже—ри... ри... нашъ еръ—нѣ... баринъ.
- Такъ, Аеоня, такъ!.. Да ты это затвердилъ Сложи-ка: Зарубкинъ.
- Изволь!.. Добро икъ—ду... ду... арцы азъ—ра... ра... како еръ—къ... Зарубкинъ.
- Ай да Аеоня! — сказалъ съ громкимъ смѣхомъ Иванъ Никифоровичъ. Славно, славно! Грошъ за мной!
- Да ужъ за тобой, баринъ, грошей-то много. Ты только сулишь.
- На, вотъ, возьми гривенникъ.
- Гривенникъ? — вскричалъ Аеонюшка. — Ахъ, батюшки, и впрямь гривенникъ!.. Да я куплю себѣ корову... двѣ коровы!.. Молока-то будетъ у меня... сметаны... творогу!.. Баринъ, пусти меня на село. Антипка кривой продаетъ телушку, — неравно перекупать!..
- Ну, ступай, дуракъ, ступай,—купи себѣ корову!
- Аеонюшка бросился опростею вонъ изъ комнаты. Межъ тѣмъ подали настойки; Зарубкинъ выпилъ, закусилъ и остался вдвоемъ съ Кирсановымъ, который сѣлъ на стулъ и пригласилъ Андрея Ѳомича также сѣсть.
- А что, ваше высокородіе, — сказалъ Зарубкинъ,—здоровъ ли Владиміръ Ивановичъ?
- Славу Богу.
- Вѣрно, его нѣтъ дома?.. Чай, у Мирошевыхъ.

— Нѣтъ, кажется, онъ у себя въ комнатѣ.

— Такъ, видно, сегодня онъ будетъ у Мирошевыхъ послѣ обѣда.

— Не знаю.

— Я думаю, что такъ.

— А почему жъ ты это думаешь? Развѣ у нихъ что-нибудь именинникъ?

— Нѣтъ, сударь! Да ужъ если Владиміръ Ивановичъ не изволилъ поѣхать къ Мирошевымъ по-утру, такъ, должно-быть, поѣдетъ послѣ обѣда.

— Да что ты наладилъ, братецъ: Мирошевы да Мирошевы!.. Ну, конечно, Володя къ нимъ ѣздитъ, да не каждый же день.

— Кто-съ? Владиміръ Ивановичъ?.. Помилуйте: одна заря вгонитъ, другая выгонитъ.

— Съ чего ты это взялъ, братецъ?

— И самъ видалъ, сударь, и отъ другихъ слышалъ. Да мало ли что говорятъ, — всего не переслушаешь.

— А что такое говорятъ? — спросилъ Кирсановъ, нахмутивъ брови.

— Да такъ!.. Вотъ, изволите видѣть: толкуютъ и то и се... одинъ говоритъ одно, другой — другое... Ну, конечно, вы, батюшка, Иванъ Никифоровичъ, должны это знать лучше всѣхъ...

— Да что такое я долженъ знать? — сказалъ съ нетерпѣніемъ Кирсановъ.

— Мое дѣло сторона, ваше высокородіе, — продолжалъ Зарубкинъ. — Я въ это не мѣшаюсь... Начнутъ мнѣ говорить и такъ и этакъ, а я себѣ на умѣ: не мое, дескать, дѣло! Человѣкъ я маленькій, что мнѣ въ это путаться!..

— Слушай, Зарубкинъ, — прервалъ Кирсановъ, — или говори толкомъ, или пошелъ вонъ!

— Да вы не извольте гнѣваться, ваше высокородіе! Я вѣдь не то, чтобъ этакъ, — знаете, что-нибудь такое... а такъ... что слышу, то и говорю.

— Да чтожъ ты такое слышишь?

— Оно, сударь, какъ будто бы и на дѣло походить: каждый день да каждый день... барышня такая прекрасная...

— Тыфу ты пропасть!.. Да о комъ ты говоришь?

— Не я, батюшка, видитъ Богъ, не я!.. Люди говорятъ. Что, дескать, за рѣдкость такая, коли молодой человѣкъ влюбится въ молодую барышню?.. Это сплошь бываетъ.

— Что, что?

— Никакой, дескать, фигуры нѣтъ, что Владиміру Ивановичу приглянулась Варвара Кузьминична Мирошева; не диво, если онъ на ней и женится...

— Кто?.. Мой сынъ?.. На Мирошевой?.. Зарубкинъ, да ты ужъ не хлебнулъ ли черезъ край?.. Что ты за дичь порешь?

— Право такъ, ваше высокородіе!.. Что будешь дѣлать... говорятъ: когда, дескать, отецъ не воспрещаетъ ему житья жить у Мирошевыхъ, такъ, видно, и онъ не прочь отъ этого.

— Кто?.. Я?..—вскричалъ Кирсановъ, вскочивъ со стула... — Чтобъ я позволилъ своему сыну жениться на этой дворяночкѣ?.. Да кто это осмѣлился сказать?

— Не я, батюшка!.. Помилуйте, не я!.. Я пересказываю только чужія рѣчи... Мало ли что говорятъ: и слово-то они другъ другу дали, и колечками обмѣнялись...

— Послушай, Зарубкинъ, если ты врешь... если это вздоръ...

— Охъ, батюшка!.. Не извольте только гнѣваться... все это точно правда.

— Возможно ли?.. Какая дерзость!.. И эти однодворцы... эти нищіе смѣютъ думать!..

— Кто жъ себѣ добра не желаетъ, сударь? Женить такой выгодный...

— Полно врать, братецъ! Не о женитьбѣ рѣчь!.. Владиміръ долженъ знать, что это невозможно... Да неужели его до такой степени ослѣпили, завели...

— Да, батюшка, да!.. Какъ заяцъ въ тенеты попался!.. Молодость!..

— Въ самомъ дѣлѣ, безпрестанно у Мирошевыхъ... дѣвочка прехорошенькая... И что за глупость на меня напала!.. Какъ будто бы я самъ не бывалъ никогда молодъ!.. Впрочемъ, можетъ-быть, это такъ... минутная прихоть... дурачество... здѣсь же никого нѣтъ... Но зайти такъ далеко!.. Вѣрно, и она въ него влюблена... Жаль бѣдную дѣвочку!.. Э, да что объ этомъ думать!.. Сами виноваты: не въ свои сани не садись!.. Эй, малый, позови сюда Владиміра Ивановича.

— Батюшка, ваше высокородіе,—сказалъ съ испуганнымъ видомъ Зарубкинъ,—вы ужъ очной-то ставки не извольте дѣлать... не выводите меня!.. Вѣдь это я такъ—съ дуру проболтался!

— Не безпокойся, братецъ.

— Какъ, сударь, не безпокоиться!.. Да вѣдь Мирошевы меня поѣдомъ съѣдятъ!.. И что за нелегкая меня дернула!.. Экій я глупый человѣкъ!..

— Да ужъ я тебѣ говорю, братецъ, никто объ этомъ не узнаетъ.

— Однакожъ, все-таки, Иванъ Никифоровичъ, позвольте мнѣ, батюшка, уйти. Вѣдь если Владиміръ Ивановичъ застанетъ меня здѣсь, такъ ему не трудно будетъ догадаться...

— Въ самомъ дѣлѣ, ступай-ка, братецъ, домой. Я хочу поговорить наединѣ съ моимъ сыномъ.

Зарубкинъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ дверямъ, потомъ воротился и сказалъ Кирсанову:

— Осмѣлюсь вамъ доложить, батюшка, ваше высокородіе: ужъ чтобы вы не изволили дѣлать, а, чуетъ мое сердце, Мирошевы догадаются...

— Такъ чтожъ? Пускай себѣ догадываются!.. Стану я церемониться съ этою мелкопомѣстною дрянью!.. Да я имъ въ глаза скажу...

— Вы дѣло другое, сударь; да мнѣ-то плохо придется, коли они догадаются, что отъ меня сыръ-боръ загорѣлся... Мирошевы, по своей милости, никогда

меня не оставляли. Вотъ, на примѣръ, объ Рождествѣ присылали ко мнѣ всегда свиную тушу... того, сего... а теперъ, если какъ-нибудь провѣдаютъ...

— Ну, ну, хорошо, братецъ, я велю приказчику давать тебѣ по двѣ свиныя туши.

— Покорнѣйше благодарю, ваше высокородіе!.. Также, сударь, въ именины, бывало — то кадочку масла приплють, то холстинки на бѣлье...

— Эхъ, братецъ, надоѣлъ!..

— Я уже не говорю, батюшка, что каждое Свѣтлое воскресенье...

— Тѣфу пропасть!... Ну, считай все это за мною, только убирайся проворнѣй!

— Иду, сударь, иду!.. Дай Богъ вамъ много лѣтъ здравствовать!.. Прощенья прошу, батюшка!

Зарубкинъ отправился, а Кирсановъ, оставшись одинъ, началъ снова ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

XIX,

СЛУЖАЩАЯ ПРОДОЛЖЕНІЕМЪ ПРЕДЫДУЩЕЙ.

Во все продолженіе этого разсказа, каждый разъ, когда я или мои дѣйствующія лица упоминали объ Иванѣ Никифоровичѣ Кирсановѣ, то всегда говорили о немъ какъ о человѣкѣ крутомъ и очень вспыльчивомъ; слѣдовательно, моимъ читателямъ должно показаться весьма страннымъ, что онъ, узнавъ о любви своего сына къ бѣдной дворяночкѣ, не взбѣсился, не вышелъ изъ себя и не надѣлалъ никакой тревоги. На это была весьма важная причина: Иванъ Никифоровичъ умѣлъ при случаѣ весьма искусно прикинуться строгимъ отцомъ; но онъ любилъ безъ памяти Владимира, и заочно не могъ никакъ на него сердиться, а разыгрывалъ иногда при немъ роль гнѣвнаго отца единственно только для того, чтобъ поддержать свое собственное достоинство. Вовсе неожиданный доносъ Андрея Ѳомича Зарубкина совершенно его разстроилъ:

въ душѣ его боролись двѣ противоположныя страсти: любовь и гордость. Разумѣется, безъ помощи Божіей, дурная страсть почти всегда задушить въ насъ всякое доброе чувство: что ни говорила любовь въ пользу несчастнаго Владиміра, какъ ни напоминала она Кирсанову, что и его жена была также бѣдная дѣвушка, — ничто не помогло; неистовый голосъ сатанинскаго грѣха заглушалъ ея тихій шопотъ, — гордость одолѣла; и когда Владиміръ вошелъ въ комнату, его встрѣтила не ласковая улыбка добраго отца, не утѣшительный взоръ состраданія, но холодный, неумолимый взглядъ, въ которомъ бѣдный молодой человѣкъ могъ заранѣе прочесть свою горькую участь.

— Вы меня изводили спрашивать, батюшка?—сказалъ робкимъ голосомъ Владиміръ, замѣтивъ съ перваго взгляда, что дѣло идетъ о чемъ-то важномъ.

— Да, — отвѣчалъ отрывисто Кирсановъ, продолжая ходить по комнатѣ.

Нѣсколько минутъ прошло въ молчаніи; наконецъ, Иванъ Никифоровичъ остановился и сказалъ:

— Владиміръ, мнѣ очень непріятно, что ты такъ легко забываешь разстояніе, которое существуетъ между тобой и какимъ-нибудь мелкопомѣстнымъ дворянчикомъ. Конечно, деревня не городъ, почему не потѣшить иногда бѣднаго сосѣда, не завернуть къ нему мимоѣздомъ; но прилично ли тебѣ, моему сыну, сдѣлаться задушевнымъ другомъ какого-нибудь Кузьмы Миросева, быть у него ежедневно, на ряду съ отставнымъ подьячимъ Вертлюгинымъ, пьяницею Зарубкинымъ, и все это для того, чтобъ волочиться за смазливою дѣвочкой, которая, я думаю, и имени — то своего порядкомъ подписать не умѣетъ.

Владиміръ поблѣднѣлъ.

— Не стыдно ли тебѣ, Володя! — продолжалъ Кирсановъ нѣсколько поласковѣе. — Что это для тебя за компанія?.. Ты видишь, я все знаю. Ну, конечно, ты молодъ, здѣсь нѣтъ никакихъ развлеченій... Но если для каждой дѣвчонки, которой лицо тебѣ понравится,

ты станешь забывать всё приличія, будешь обращаться на короткой ногѣ Богъ знаетъ съ кѣмъ...

— Я не смѣю вамъ противорѣчить, батюшка; только позвольте сказать: Мирошевы...

— Что Мирошевы? Дрянъ, ничтожные люди! — прервалъ вспыльчиво Кирсановъ. — Отецъ негодяй, мать интригантка, а дочь...

— Батюшка!..

— Правда, она больше жалка, чѣмъ виновата; но отецъ и мать — эти наглые, безстыдные люди!.. Ловить богатаго жениха для своей дочери, навязывать ее молодому человѣку, который ей вовсе не пара... Да нѣтъ, я напрасно ихъ называю безстыдными: они просто сумасшедшіе! И придетъ же въ голову какимъ-нибудь Мирошевымъ, что мой сынъ, единственный мой наслѣдникъ, можетъ войти въ ихъ семейство!.. Безумные!.. Я очень понимаю, что молодой человѣкъ не побѣжитъ прочь отъ хорошенькой дѣвочки, которая или сама вѣшается къ нему на шею, или дѣлаетъ это по приказанію своихъ почтенныхъ родителей; но они-то какъ смѣютъ думать?..

Блѣдное лицо Владимира вдругъ вспыхнуло, и онъ сказалъ почтительнымъ, но твердымъ голосомъ:

— Батюшка, вы напрасно обижаете Мирошевыхъ. Если я заслужилъ вашъ гнѣвъ, такъ гнѣвайтесь на меня одного, а они тутъ ни въ чемъ не виноваты.

— Ни въ чемъ! — повторилъ съ презрительною улыбкою Кирсановъ. — То-есть они не приставали къ тебѣ съ ножомъ къ горлу, чтобъ ты женился на ихъ дочери!

— Батюшка, вы знаете, что я всегда говорю вамъ правду... Да, я люблю Вареньку Мирошеву; но ея отецъ и мать этого не знаютъ.

— Можетъ ли это быть?

— Клянусь вамъ честью!

— Да чтожь они, слѣпые что-ль?.. Ты у нихъ каждый день...

— Какъ ихъ искренній другъ и пріятель.

— И они ничего не подозрѣваютъ?.. Не стараются приманивать тебя къ себѣ въ домъ?..

— Напротивъ, батюшка: я даже не одинъ разъ замѣчалъ, что Кузьмѣ Петровичу не нравятся мои частыя посѣщенія...

— Въ самомъ дѣлѣ?..

— И если-бъ онъ только могъ подозрѣвать, что дочь его ко мнѣ равнодушна, то, безъ всякаго сомнѣнія, отказалъ бы мнѣ отъ дому.

— Отказалъ бы отъ дому!.. Кто?.. Отставной поручикъ... мелкая сошка!.. Мирошевъ!.. Кому?.. Владиміру Ивановичу Кирсанову!.. Вотъ въ какое положеніе ты себя поставилъ!.. Впрочемъ, съ его стороны это очень похвально; слѣдовательно, онъ чувствуетъ, что мой сынъ не пара его дочери, и что изъ этого волокитства ничего путнаго выйти не можетъ. Вотъ, что умно, такъ умно!.. И если ты говоришь правду...

— Какъ предъ Богомъ!

— Ну, это для меня пріятно! Признаюсь, мнѣ грустно было подумать, что человѣкъ, котораго я считалъ и честнымъ и неглупымъ, можетъ забыться до такой степени. Если это такъ, то, конечно, мнѣ не въ чемъ обвинять отца и мать, но дочь... и она также ничего не замѣчаетъ?..

— Нѣтъ, батюшка: она знаетъ, что я люблю ее.

— И, вѣрно, тебѣ вовсе не трудно было найти удобный случай признаться въ этомъ?

— Ахъ, какъ вы ошибаетесь?.. Я открою вамъ все, батюшка: вотъ ужъ три мѣсяца, какъ я люблю Вареньку...

— То-есть съ тѣхъ поръ, какъ ты въ деревнѣ?.. Понимаю!.. Здѣсь скучно, дѣлать нечего...

— Ахъ, батюшка!.. Любовь моя...

— Добро, добро... мы объ этомъ поговоримъ послѣ!

— Вы можете мнѣ не вѣрить, однакожъ это правда: лишь только она замѣтила, что я люблю ее, то совершенно перемѣнила со мной обращеніе, стала отъ меня бѣгать...

— Право?.. Ну, это похвально!.. И если она дѣлала это не изъ кокетства...

— Батюшка, вы знаете ее!..

— Правда, правда, она дѣвка скромная, простодушная; да и гдѣ какой-нибудь деревенской барышнѣ ухитриться до такой степени...

— Вы не можете повѣрить, батюшка, чего мнѣ стоило узнать, что и я также ей не противенъ.

— А ты добился этого?.. Бѣдная Варенька!.. И какъ требовать, чтобъ она устояла противъ такого искушенія!.. Ловкій молодой человѣкъ... прекрасный мужчина... Кирсановъ!.. Однакожь, она старалась убѣгать отъ тебя, боролась съ собою... слѣдовательно, понимаетъ, какое разстояніе между ней и тобою?.. Добрая дѣвушка, добрая!.. Жаль мнѣ ее!..

Въ эту минуту всѣ черты лица Ивана Никифоровича выражали такое искреннее состраданіе, что надежда ожила въ сердцѣ Владиміра.

— Я очень радъ, батюшка,—сказалъ онъ,—что вы мнѣ, наконецъ, повѣрили...

— Да, если все то правда, что ты говоришь, то, конечно, Мирошевы люди честные и весьма умно поступаютъ, что держатъ себя на своемъ мѣстѣ.

— Вы, можетъ-быть, не знаете, батюшка: хотя Кузьма Петровичъ бѣдный человѣкъ, однакожь, онъ старинный русскій дворянинъ.

— Старинный дворянинъ!.. А знаешь ли ты, Владиміръ, что почти всѣ однопорцы происходятъ отъ старинныхъ дворянъ?

— Но Кузьма Петровичъ служилъ, онъ не однопорецъ...

— И Зарубкинъ служилъ, и онъ также не однопорецъ.

— Помилуйте, какъ же можно его равнять съ Мирошевыми? Если-бъ вы знали, что это за почтенное семейство!

— А ты очень ихъ любишь?

— О, чрезвычайно!

— Неправда, лжешь, Владиміръ! Быть-можетъ, они, по своей простотѣ, тебя любятъ, а ты ихъ не любишь!

— Почему жъ вы это думаете?

— Потому, что ты не имѣешь никакого сожалѣнія къ этимъ бѣднымъ людямъ; потому, что самый жестокий врагъ Мирошевыхъ не могъ бы имъ сдѣлать столько зла, сколько сдѣлалъ или хотѣлъ имъ сдѣлать, ихъ искренній другъ и пріятель, Владиміръ Ивановичъ Кирсановъ.

— Я васъ не понимаю, батюшка.

— То-есть, не хочешь понять. Владиміръ, посмотри на это родословное дерево нашей фамиліи: тутъ много именъ, а ни на одномъ изъ нихъ нѣтъ чернаго пятна, ни одно изъ нихъ не принадлежало безчестному человеку. До сихъ поръ я говорилъ это смѣло, говорилъ, глядя прямо въ глаза каждому, а теперь, по милости сына...

— Да какимъ же безчестнымъ дѣломъ вы можете упрекнуть меня, батюшка? — прервалъ съ живостію Владиміръ.

— А развѣ, сударь, по-вашему, не безчестный человекъ тотъ, кто, подъ видомъ пріязни, вкрадывается въ семейство бѣдныхъ и простодушныхъ людей, увѣряетъ ихъ въ дружбѣ, унижаетъ собственное свое достоинство, и все это для того, чтобъ вскружить голову неопытной дѣвочкѣ и погубить, если не ее, такъ ея честное имя? Эхъ, Владиміръ, этого я никогда отъ тебя не ожидалъ!

— И никогда не дождетесь, батюшка! — прервалъ съ жаромъ молодой человекъ. — Если я когда-нибудь сдѣлаюсь такъ подлѣ и низокъ, то не называйте меня вашимъ сыномъ, откажитесь отъ меня...

— А позвольте васъ спросить, — сказалъ насмѣшливо Кирсановъ, — съ какимъ же намѣреніемъ вы волочили за этою бѣдною дѣвушкой...

— О, могу васъ увѣрить, батюшка!..

— Хорошо, хорошо; положимъ, что ты приво-

докнулъся за нею безъ всякихъ дурныхъ намѣреній, а такъ — для забавы, чтобъ какъ-нибудь убить время... Ну, конечно, это нѣсколько извинительнѣе; но подумалъ ли ты, чего будетъ стоить эта потѣха Варенькѣ, если она, не шутя, въ тебя влюбилась? Ты добился этого, самолюбіе твое утѣшено—прекрасно!.. А чтожъ дальше?.. Ты уѣдешь; любовь твоя, если ужъ тебѣ угодно назвать это любовью, продолжится день, два, — положимъ, цѣлую недѣлю...

— Всю жизнь, батюшка!

— Вздоръ, сударь, вздоръ! Я лучше твоего это знаю. Ты, можетъ-быть, довезешь эту любовь до Москвы, но ужъ, конечно, дальше заставы она съ тобой не поѣдетъ.

— Почему вы это думаете?

— Какой смѣшной вопросъ!.. Да чтожъ ты будешь дѣлать съ этою любовью? Если ты, точно, честный человѣкъ, то захочешь ли для минутной прихоти погубить навсегда бѣдную дѣвушку, покрыть вѣчнымъ стыдомъ это беззащитное семейство?..

— Но развѣ, батюшка, нельзя?.. — прервалъ робкимъ голосомъ молодой человѣкъ.

— Что?.. Владиміръ, вѣдь я не Варенька! Ее не трудно тебѣ увѣрить во всемъ; ты можешь ей сказать, что на небѣ два солнца, что лѣтомъ холодно, а зимою тепло; что Кирсановъ можетъ жениться на Мирошевой, — все это въ порядкѣ: молодые люди, какъ ты, обыкновенно лгутъ, а влюбленные дѣвушки, какъ Варенька, всему вѣрятъ. Но неужели ты хочешь увѣрить и меня, — прибавилъ Иванъ Никифоровичъ, взглянувъ пристально на сына, — что это вещь возможная?.. Конечно, если я умру...

— Ахъ, батюшка, что вы говорите?

— Да, впрочемъ, и это не поможетъ. Надобно, чтобъ я умеръ сегодня или завтра: тогда, можетъ-быть, сгоряча, ты сдѣлаешь эту глупость; но такъ какъ я надѣюсь прожить еще, по крайней мѣрѣ, недѣли двѣ или три, такъ, — не прогнивайся, — можно смѣло по-

биться объ закладъ, что Варенька Мирошева никогда не будетъ Варенькой Кирсановой.

— Позвольте мнѣ открыть вамъ всю мою душу,—сказалъ Владиміръ.—Вы очень ошибаетесь, если думаете, что любовь моя ни что иное, какъ минутное ослѣпленіе... Нѣтъ, батюшка, это не шалость, не дурачество!..

— А чтожъ такое?..

— Чистое, глубокое чувство, основанное на уваженіи; вѣчная, пламенная любовь, которую я унесу съ собой въ могилу.

— А смѣю васъ спросить, Владиміръ Ивановичъ: въ который разъ вы любите вѣчно и собираетесь унести эту любовь съ собой въ могилу?

— Я никого еще не любилъ такъ, какъ люблю Вареньку. Эта любовь жизнь моя!

— Проживешь и безъ нея.

— Батюшка, если вы не хотите привести меня въ отчаяніе...

— Такъ дайте мнѣ ножъ, чтобъ я имъ зарѣзался!.. Ребенокъ! Да неужели ты думаешь въ самомъ дѣлѣ, что я позволю тебѣ когда-нибудь назвать отцомъ этого помѣщика пятидесяти душонокъ, а матерью какую-то офицерскую дочь, которая, вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, питалась мірскимъ подавніемъ? Почему ты знаешь мои намѣренія?.. Почему ты знаешь, — можетъ-быть, я хочу, чтобъ ты вступилъ въ семейство, котораго родство сдѣлаетъ честь всему роду Кирсановыхъ? Почему ты знаешь,—можетъ-быть, я далъ уже за тебя и слово?..

— Вы напрасно это сдѣлали, батюшка,—прервалъ съ твердостью Владиміръ.—Я никогда не пойду противъ вашей воли; если даже, умирая, вы запретите мнѣ жениться на Варенькѣ, то я и тогда свято исполню это приказаніе; но, клянусь вамъ также самимъ Богомъ, что никакая женщина въ мірѣ, кромѣ Вареньки, не будетъ моею женою!

— Ну, это еще мы увидимъ.

— Вспомните, батюшка: вы сами были женаты на бѣдной дѣвушкѣ.

— Безумный, — вскричалъ Иванъ Никифоровичъ, — и ты можешь равнять мать свою съ этою Мирошевой! Да знаешь ли, что это была за женщина?

Тутъ слезы заблестали въ глазахъ старика.

— Твоя мать была не человѣкъ, — продолжалъ онъ, — она какъ-то ошибкою попала на эту землю: это былъ ангелъ небесный!.. Благодари Бога, что ты остался послѣ нея ребенкомъ: еслибъ ты зналъ свою мать и смѣлъ бы ее сравнять съ кѣмъ-нибудь на свѣтѣ, и никогда бы тебѣ не простилъ этого.

Иванъ Никифоровичъ замолчалъ; слезы брызнули у него изъ глазъ, и онъ проговорилъ прерывающимся голосомъ:

— Вотъ ужъ двадцать-три года, какъ ея нѣтъ, а мнѣ все кажется, что она умерла вчера!

— Да, — прошепталъ вполголоса Владиміръ, — еслибъ матушка была жива, такъ, можетъ-быть...

— Молчи! — закричалъ Кирсановъ. — Дерзкій, непокорный сынъ не долженъ смѣть произносить имени этой святой женщины!.. Будь готовъ: ты черезъ часъ ѣдешь отсюда.

Владиміръ онѣмѣлъ отъ ужаса.

— Да, — продолжалъ Иванъ Никифоровичъ, — черезъ часъ ты отправишься въ Воронежъ. Я пошлю съ тобой письмо къ другу моему, Залуцкому. Онъ знаетъ тебя еще ребенкомъ; пора тебѣ покороче съ нимъ познакомиться. Черезъ недѣлю я приѣду вслѣдъ за тобою, а ты межъ тѣмъ приищи мнѣ домъ: мы проживемъ всю зиму въ Воронежѣ. Да прошу не заѣзжать никуда прощаться: дальніе проводы — лишнія слезы. На всякій случай не мѣшаетъ тебѣ знать, что если ты, вопреки моему приказанію, завернешь въ Хопровку, такъ я самъ туда за тобой приѣду... Или нѣтъ: я провожу тебя до города, — это будетъ вѣрнѣе!.. Ни слова! — прибавилъ Кирсановъ, замѣтивъ, что Владиміръ хотѣлъ что-то сказать. — Ты ѣдешь черезъ часъ. Ступай, укладывайся!

XX.

КАКЪ ПРОХОРЪ КОНДРАТЫЧЪ УЗНАЛЪ ОТЪ КОПИСТА ВИХЛЕВА, ЧТО НА КУЗЬМУ ПЕТРОВИЧА ПОДАНА ПРОСЬБА ВЪ УЪЗДНЫЙ СУДЪ.

Часа черезъ полтора послѣ этого разговора, въ уѣздномъ городѣ Новохоперскѣ, по грязной улицѣ, которая вела отъ крѣпостного вала къ базарной площади, шли рядомъ два человѣка пожилыхъ лѣтъ. Миновавъ каменный соборъ, они пріостановились въ двухъ шагахъ отъ почтоваго двора, противъ царскаго кружала, то-есть кабака, который былъ въ одно и то же время единственнымъ питейнымъ домомъ и харчевнею города Хоперска. Одинъ изъ этихъ двухъ прохожихъ былъ нашъ старинный знакомый, приказчикъ сельца Хопровки, а другой... да вотъ я опишу вамъ его наружность, и вы, вѣрно, отгадаете, къ какому классу людей принадлежалъ этотъ спутникъ и, повидимому, короткій пріятель Прохора Кондратыча. Судя по лицу, ему было лѣтъ около шестидесяти; узенькій лобъ его, съ зачесанными назадъ волосами, былъ весь покрытъ морщинами; круглый, какъ луковица, носъ, съ краснымъ отливомъ, рѣзко отдѣлялся отъ нижней части лица и подбородка, который недѣли двѣ былъ не бритъ и обросъ кругомъ сѣдою щетиною. Лѣвый глазъ его былъ косъ, правый прищуренъ, и оба безъ рѣсницъ; его правая щека и ухо были запачканы чернилами, а на длинную шею намотана какая-то черная тряпичка. На немъ былъ кофейнаго цвѣта нѣмецкій кафтанъ изъ байки и канифасный, съ разорванными петлями, камзолъ; красное исподнее платье, нитяные заштопанные чулки, подбитые гвоздями башмаки, и шляпа, бывшая нѣкогда съ тремя углами, а теперь похожая на какой-то войлочный доскутъ, не имѣющій никакой формы, оканчивали этотъ классическій нарядъ, который, вѣроятно, вамъ не случалось нигдѣ видѣть, кромѣ сцены, да и то въ однѣхъ старыхъ русскихъ комедіяхъ, напри-

мѣръ: въ «Ябедѣ» или въ «Рекрутскомъ наборѣ», гдѣ этотъ костюмъ сохранилъ еще до сихъ поръ всю историческую свою вѣрность. Я позабылъ сказать, что изъ кафтаннаго кармана выглядывала заткнутая пробкою мѣдная чернильница и привѣшенная къ ней на цѣпочкѣ трубка, также мѣдная, изъ которой виднѣлся конецъ гусинаго пера. Если вы, несмотря на всѣ описанные мною признаки, не можете отгадать званія этого господина, то я шепну вамъ на-ушко, что потомки его и теперь еще разсѣяны по землѣ Русской, только они одѣваются совсѣмъ иначе, гораздо чаще брѣютъ бороду, не ходятъ по кабакамъ, а посѣщаютъ герберги, кухмистерскіе столы, *ресторанци*, и рѣшительно не пьютъ, по крайней мѣрѣ, публично, простое хлѣбное вино, а требуютъ всегда *сотернова* и полущампанскаго... Что, узнали, наконецъ?.. Ну, да, этотъ пріятель Прохора Кондратыча былъ нѣкогда съ *приписью подьячій*, а теперь служилъ штатнымъ копистомъ въ Хопровскомъ уѣздномъ судѣ.

— Ну, чтожъ ты хотѣлъ мнѣ сказать, Пафнutyичъ?— спросилъ Прохоръ своего товарища, который, по какому-то неопредѣленному инстинкту, остановился противъ питейнаго дома.

— Да, любезнѣйшій, да,— отвѣчалъ подьячій, по сматривая съ умильною улыбкою на двухглаваго орла:— дѣльце немаловажное!.. Какъ баринъ твой объ этомъ узнаетъ, такъ—ой, ой, ой, затылокъ - то у него зачесется!

— Да что такое?

— А вотъ что: словно обухомъ по лбу!

— Кого?

— Вѣстимо, не меня: съ меня, братъ, взятки - то гладки!

— Да что же ты не скажешь толкомъ?..

— Экій ты, братецъ, какой! Я человекъ присяжный: стану я тебѣ о судейскихъ дѣлахъ на улицѣ рассказывать. Да у меня же что-то и въ горлѣ пересохло.

— Вижу, братъ Пафнutyичъ, къ чему ты приговариваешься, вижу!

— А коли видишь, такъ за чѣмъ же дѣло стало?

— Ну, ну, зайдемъ.

— Зайдемъ, почтеннѣйшій!.. Да ужъ кстати спроси солонинки съ хрѣномъ, такъ мы съ тобой и закусимъ.

— Изволь, любезный, такъ и быть! Да только не дурманишь ли ты меня?

— А вотъ увидишь... Эй, Анкудимъ Оаддеичъ,—закричалъ подъячій цѣловальнику, войдя съ Прохоромъ въ питейный домъ,—вели-ка намъ подать, вонъ туда—въ особую каморку, полъ-осьмухи пѣннику. Кондратычъ, что солонина: съ нея обопьешься; да ужъ разступись, любезный, уважь, прикажи селянку...

— Вотъ еще—селянку!. Полно, Пафнutyичъ; ничего не видя, да ужъ сталъ прихотничать!

— Ну, Прохоръ Кондратычъ, крѣпонецъ ты!.. Да вотъ погоди, любезный,—прибавилъ подъячій шопотомъ.

Прохоръ и подъячій пріютились въ небольшомъ чуланчикѣ, сѣли за столъ; имъ подали вина, кусокъ солонины и ломоть хлѣба. Пафнutyичъ выпилъ, закусилъ и сказалъ, наливая себѣ вторую чарку:

— Ну, благопріятель, теперь я скажу тебѣ, въ чемъ дѣло. Третьяго дня Панкратій Лукичъ Курочкинъ подалъ челобитную на твоего барина.

— Неужели?.. Ахъ, онъ ябедникъ проклятый!..

— Да, братецъ, нечего сказать, голова!

— Третьяго дня!—повторилъ Прохоръ.—Чтожъ ты мнѣ до сихъ поръ не далъ объ этомъ вѣсточки?.. А еще пріятель!

— Что пріятель, такъ досконально пріятель, любезнѣйшій! Да чтожъ прикажешь дѣлать?.. Послать мнѣ некого, а самому придти было нельзя: сегодня только изъ-подъ караула выпустили; а все злодѣй секретарь, чтобъ ему въ цѣлый годъ ста рублей въ карманъ не перепало, разбойникъ такай!.. Меня лукавый дернулъ сказать, что и онъ не напишетъ такой челобитной, какую настрочилъ Курочкинъ; ему перенесли,

а онъ придрался ни къ тому, ни къ другому, да : сапоги съ меня долой!

— А ты читалъ эту просьбу?

— Какъ же!.. Фу, бойко написана!

— Да, я думаю, всякихъ кляузовъ довольно...

— Ужъ я тебѣ скажу!.. За стекло, любезный, да въ рамочку,—диковинка!..

— Да чего жъ онъ отъ насъ хочетъ?

— Такъ — ничего: десятинокъ пятьсотъ земли, да поемные луга по Хопру, да за пожилое; а какъ станете тягаться, такъ попросить за протори, убытки и волокиты.

— Пятьсотъ десятинъ!—вскричалъ Прохоръ.—Такъ онъ хочетъ у насъ и коноплинники схватить!

— Да, пріятель, подъ самую усадьбу подъѣзжаетъ.

— Пятьсотъ десятинъ! Ахъ, онъ старый беззаконникъ!

— Что ты, Кондратьичъ, какой беззаконникъ. Да онъ законы-то всё по пальцамъ знаетъ. Ну, ужъ дока!.. Какъ я сталъ въ канцеляріи читать вслухъ его просьбу, такъ всё рты разинули. Нашъ понытчикъ, Артемій Егорычъ Жилкинъ, ужъ, кажется, дѣлецъ, его ничѣмъ не озадачишь, и тотъ промолвилъ: «Ну, честь и слава Панкратію Курочкину!.. Вотъ человѣкъ!» И подлинно: читаешь его челобитную,—любо: и складно, и ладно, словно рѣка льется. А гдѣ надобно, такъ пойдетъ такая путаница, что ты себѣ хоть тресни, а ничего не поймешь! Да будь судья хоть о семи пядей во лбу, такъ и тотъ до правды не доберется; а указы-то какъ перепуталъ, указы!.. Ну, мастеръ! И Судебникъ Іоанна Васильевича поднялъ на ноги, и Уложеніе Царя Алексѣя Михайловича гласитъ то-то, и въ такомъ-то году состоялся такой-то сепаратный указъ; однимъ словомъ, братецъ, такая бездна всякой законности, что самъ чортъ ногу переломить!.. Дѣлецъ, сударь, дѣлецъ!

— Дѣлецъ!.. Сутяга этакій, кляузникъ!

— Да ты себѣ, пріятель, что ни говори, а я какъ прочелъ его челобитную, такъ въ поясъ ему поклонился.

— Есть за что.

— Умень, разбойникъ!..

— Подлинно, разбойникъ!.. Да не удастся ему насъ ограбить.

— Ну, смотри.

— Чего тутъ смотрѣть? У насъ документы есть.

— Право? Сирѣчь купчія, межевыя книги?..

— Все было, да лѣтъ сорокъ тому назадъ сгорѣло, любезный.

— Такъ чтожъ ты говоришь?..

— Да развѣ нельзя въ Саратовѣ изъ архива копіи выправить?

— Какъ нельзя, не пожалѣйте только казны, а то, конечно... Да постой-ка, братецъ!.. Никакъ Курочкинъ-то недавно былъ въ Саратовѣ?

— Всего пятый день, какъ воротился.

— Э-э-э!.. Такъ дѣло-то, Кондратьичъ, плоховато!

— А что?

— Да неужели ты думаешь, онъ даромъ туда ѣздилъ? Нѣтъ, почтеннѣйшій, ужъ онъ, вѣрно, дѣльцо-то спроворилъ!

— Какое дѣльце?

— Какое!.. Эхъ вы, зѣваки, зѣваки!.. Ступай, братъ, теперь въ Саратовъ, выправляй изъ архива копіи!..

— А почему жъ я ихъ выправлю?.. Подарю, такъ найдутъ.

— Да, какъ же! Ищи пустого мѣста! Нѣтъ, Кондратьичъ, чай, ужъ этихъ документовъ и духу не осталось. Барашка въ бумажкѣ, такъ разомъ состряпаютъ.

— Полно, Пафнутычъ, что ты! Да развѣ можно выкрасть дѣло изъ архива?

— Зачѣмъ красть, и безъ этого не найдется.

— Что ты братецъ, какъ не найти?.. Вѣдь оно по книгамъ значится.

— Ахъ, ты голова, голова!.. А мыши-то на что?

— Да развѣ мыши бумагу ѣдятъ?

— Голодъ не тетка, любезный: какъ нечего ку-

шать, такъ и бумагу съѣшь; а не то, такъ блюдо-то можно поздобрить; кой-гдѣ саломъ капнулъ, маслицемъ полилъ, такъ мыши-то въ однѣ сутки изъ твоихъ документовъ такую окрошку сдѣлаютъ, что хотъ рѣшетою сѣй!

— Ахъ, батюшки! — вскричалъ Прохоръ съ ужасомъ. — Да неужели есть такіе мошенники?

— Вотъ ужъ тотчасъ и мошенники!.. Что ты, Прохоръ Кондратычъ! Мошенникъ челоѣкъ ошельмованный, уличенный въ воровствѣ, въ злоумышленномъ подлогѣ или въ какомъ ни есть фальшивомъ поступкѣ, а коли нѣтъ ѣлики, такъ не смѣй никого называть мошенникомъ!.. Это, братъ, дѣло казусное, — не развяжешься.

— И какъ Господь Богъ терпитъ такое беззаконіе?

— То-то, любезный! — сказалъ съ довольнымъ видомъ Пашнутычъ. — Ты еще всю нашу подьяческую суть не знаешь. Вѣдь нашъ братъ, приказный, челоѣкъ хитеръ! Да пусть захлебнусь этой чаркой вина, если самый послѣдній писаришка не проведетъ любого вашего умника.

— Есть чѣмъ похвастаться! Подлинно, не даромъ прозвали васъ крапивнымъ сѣменемъ, воры этакіе!.. Мало васъ на каторгу-то посылаютъ!..

— Ты не ругайся, Кондратычъ! — прервалъ подьячій. — Хотъ мы съ тобой пріятели, а будь-ка здѣсь третій, такъ я бы попросилъ прислушать. Не хорошо, любезный, не хорошо!

— Да я на площади это скажу.

— На площади!.. Ахъ, ты, глупый сынъ! Да знаешь ли, что за такую публичность ты и безчестьемъ не отдѣлаешься?.. Нѣтъ, Кондратычъ, никогда не могли. И отъявленнаго вора нельзя воровъ назвать, коли ты его съ поличнымъ не поймалъ; да и тутъ еще свидѣтели потребуются... Что ты, братецъ!

— Ну, дѣлать нечего, — сказалъ Прохоръ, вставая: — надобно доложить барину, да скорѣй въ Саратовъ.

— Ступай, любезный! Можетъ статься, Панкратій

Лукичъ не подумалъ объ этомъ: на всякаго мудреца есть довольно простоты. Только наврядъ!.. Человѣкъ онъ умный, дѣловой: не дастъ такого маха!.. Да кудажь ты, почтеннѣйшій?

— Домой. А ты себѣ допивай на здоровье свой полуштофчикъ, я за весь заплачу. Смотри же, Пфнутычъ, если случится надобность...

— Да ужъ не опасайся, любезнѣйшій! Не оставяйте только вы меня съ баринномъ, а я ужъ васъ не оставлю: просъбицу что-ль написать, выправку сдѣлать, или, этакъ, копію съ судейскаго рѣшенія — все, что хочешь, пріятель. Да вѣдь безъ секретаря у васъ дѣло не обойдется, такъ если не желаете прямо, такъ можно черезъ меня. Повытчиковъ также надобно будетъ подмазать; а касательно господъ присутствующихъ, такъ баринъ твой можетъ съ ними персонально объ этомъ переговорить.

— Помилуй, братецъ!.. Да неужто всѣмъ? Этакъ и казны нашей не станетъ.

— Не все деньгами, Кондратычъ: кой-что можно и натурою; да вотъ хоть я, — чѣмъ хочешь возьму: хлѣбомъ, баранами, птицею... и повытчики также этимъ не побрезгаютъ, — вѣдь все люди семейные, любезный. Засѣдателямъ — кому головку сахару, кому сукна на мундиръ... Ну, конечно, судья и секретарь статья особая; да вѣдь въ нихъ-то, другъ сердечный, вся сила.

— А если въ нихъ, такъ зачѣмъ же другимъ...

— Э, братъ, видишь ты какой!.. Да какъ же это можно?.. Всякая душа пить и ѣсть хочетъ.

— Добро, добро! Прощай, пріятель!.. Прогнѣвали мы Бога! — прибавилъ про себя Кондратычъ, выходя изъ каморки. — Если мы отъ этого сутяги Курочкина и отгрыземся, такъ все-таки насъ порядкомъ пощиплютъ.

Когда Прохоръ вышелъ на улицу, то увидѣлъ передъ почтовымъ дворомъ запряженную тройкой кибитку съ откиднымъ верхомъ; на крыльцѣ почтоваго двора стоялъ Иванъ Никифоровичъ Кирсановъ, а въ

кибиткѣ сидѣлъ Владиміръ; слуга поправлялъ привязанный на запяткахъ чемоданъ. Прохоръ подошелъ и спросилъ: куда ѣдетъ его баринъ?

— Въ Воронежъ,—отвѣчалъ слуга.

— Надолго ли?

— Кажись, надолго, — и старый баринъ на будущей недѣлѣ туда поѣдетъ.

— Вотъ что!

— Говорятъ, всю зиму тамъ проживутъ.

— Право?.. Ну, дай Богъ вамъ счастливо!

— Спасибо, Кондратычъ!—сказалъ слуга, вспрыгнувъ на облучекъ.

Владиміръ оглянулся назадъ, увидѣлъ Прохора, хотѣлъ что-то ему сказать: но ящикъ свистнулъ, ретивые кони приняли дружно съ мѣста, и въ поминуты кибитка исчезла за облаками пыли.

Кондратычъ торопился придти домой. У него были двѣ новости, изъ которыхъ одна только казалась ему весьма непріятною. Добрый старикъ не зналъ, что нечаянный отъѣздъ Владиміра поразить бѣдную Вареньку несравненно болѣе, чѣмъ Кузьму Петровича извѣстіе о началѣ тяжбы, которая могла разорить его до конца. Прохоръ нашелъ своихъ господъ за обѣдомъ. Марья Дмитріевна, которая сидѣла рядомъ съ дочерью, посматривала съ примѣтнымъ безпокойствомъ на ея болѣзненное лицо. Варенька, точно, была нездорова: она всю ночь не могла заснуть и нѣсколько разъ принималась плакать безъ всякой причины! Ее пугало какое-то темное предчувствіе большого горя: сердце безпрестанно замирало, и каждый разъ, какъ она начинала засыпать, ее будилъ какой-то злобѣщій голосъ; казалось, онъ шепталъ ей на-ухо: «Приготовься къ бѣдѣ,—она близка, она стучится подъ окномъ!»

— Гдѣ ты былъ, Прохоръ?—спросилъ Мирошевъ, когда Кондратычъ вошелъ въ столовую.—Тебя нигдѣ не могли найти.

— Я былъ, сударь, въ городѣ; надобно было кой-что купить.

— Что ты такъ долго тамъ былъ?

— Да повстрѣчался, батюшка, съ знакомымъ приказнымъ, копиистомъ уѣзднаго суда, вы его изволите знать, — Семенъ Пафнutyичъ Выхляевъ.

— А, знаю, — пьяница.

— Да, сударь, выпить любить, а дѣло свое разумѣть. Онъ намекнулъ мнѣ что-то неладное, а толкомъ сказать не хотѣлъ, такъ, дѣлать нечего, пришлось потчевать.

— Чтожъ онъ тебѣ сказалъ?

— Да что, сударь: сосѣдушка-то нашъ, Панкратіѣ Лукичъ Курочкинъ, подалъ на васъ челобитную.

— Что ты говоришь?

— Да, сударь, вотъ ужъ третій день. Говорятъ, настрочилъ такую просьбу, что и подьячіе-то всѣ ахнули.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. Да чего же онъ хочетъ?

— Мало ли чего, сударь!.. Хочетъ отрѣзать у насъ пахотную землю по самыя огороды, отнять поемные луга по Хопру, да взыскать за пожилое.

— Возможно ли?.. Ну, боится ли онъ Бога?

— Видно, что нѣтъ, сударь. Да дѣло не о томъ: надобно скорѣе съѣздить въ Саратовъ. Если я выpravлю тамъ копии съ документовъ, которые у насъ сгорѣли, такъ Курочкинъ немного возьметъ.

— Въ самомъ дѣлѣ; отправляйся сегодня, Прохоръ, — мѣшкать не надобно.

— Чего мѣшкать, батюшка! Мы и такъ мѣшкали довольно.

— А что?

— Да такъ-съ! Не поздно ли хватились!

— Почему же поздно? Да если и черезъ мѣсяцъ мы представимъ документы, такъ это не бѣда.

— Да, сударь, если представимъ; а коли они въ архивѣ-то не найдутся?

— Какъ это можно!

— И я то же думалъ; да какъ Пафнutyичъ мнѣ

порастолковаль, какія у нихъ дѣла дѣлаются, такъ меня морозъ по кожѣ подралъ. Эти подьячіе не приведи Господи, что за народъ такой. Да любой изъ нихъ за деньги на все пойдетъ: отца родного заложить и продать.

— И, что ты, Прохоръ! Какъ будто бы между ними нѣтъ ни одного честнаго человѣка!

— Да ужъ у нихъ вѣра такая, сударь: по-ихнему это вовсе не грѣшно. Ну, да что говорить объ этомъ,— Богъ милостивъ!.. А, можетъ статья, и Пафнутьичъ хотѣлъ меня застращать, чтобъ я съ испугу-то поставилъ ему другой полуштофикъ,—отъ него станется!.. Ну, сударь, да еще же я видѣлъ въ городѣ Владиміра Ивановича и батюшку его.

— У кого они тамъ?

— Да, я думаю, ни у кого. Я видѣлъ ихъ на почтовомъ дворѣ.

— Что такъ? Развѣ они куда-нибудь ѣдутъ?

— Иванъ Никифоровичъ поѣдетъ еще на будущей недѣлѣ, а Владиміръ Ивановичъ при мнѣ покатишь по столбовой, такъ что и Господи!

Варенька поблѣднѣла какъ смерть.

— Куда жъ онъ поѣхалъ?—спросилъ Кузьма Петровичъ.

— Въ Воронежъ, сударь.

— Надолго ли? — подхватила съ живостію Марья Дмитріевна.

— Говорятъ, на всю зиму.

Глухой стонъ вырвался изъ груди Вареньки, глаза ея сомкнулись, и она упала безъ чувствъ на грудь своей матери.

XXI,

КОТОРУЮ МЫ НЕ СОВѢТУЕМЪ ПРОПУСКАТЬ НАШИМЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ, НЕСМОТРА НА ТО, ЧТО ОНА, ВѢРОЯТНО, ПОКАЖЕТСЯ ИМЪ СКУЧНѢЕ ДРУГИХЪ.

Съ тѣхъ поръ, какъ я принялся рассказывать всякую всячину моимъ любезнымъ соотечественникамъ,

то-есть писать русскія были, романы и повѣсти, — я старался всегда избѣгать длинныхъ разсказовъ, которые всѣ, начиная съ Тераменова разсказа, чрезвычайно скучны и утомительны. Мѣстоименіе «я» почти всегда надоедаетъ читателямъ, а во всякомъ разсказѣ, если я говорю и не о себѣ, то все-таки говорю отъ своего имени, слѣдовательно, очень похожу на драматическаго писателя, который, вмѣсто того, чтобъ прятаться за кулисы, выходитъ на сцену и начинаетъ самъ разговаривать съ публикою. Представьте же себѣ, какъ долженъ онъ говорить и складно и умно, чтобъ не надоесть зрителямъ, которые съѣхались слушать вовсе не его!.. Увѣряю васъ, что это весьма затруднительное положеніе, — и въ этомъ-то непріятномъ положеніи я теперь нахожусь. Я пріучилъ васъ къ разговорамъ, а теперь долженъ снова *разсказывать*. Разумѣется, мое вступленіе, въ которомъ такъ много разсказовъ, вы прочли по необходимости, какъ читаете программу балета или афишу, для того, чтобъ ознакомиться съ главными лицами представляемой пьесы; потомъ началось дѣйствіе, интересъ сталъ понемногу возрастать, и я вдругъ явлюсь къ вамъ опять съ афишею!.. А дѣлать нечего: постараюсь, по крайней мѣрѣ, чтобъ она не походила на бенефисную, то-есть была бы какъ можно короче.

Прошло около двухъ мѣсяцевъ послѣ отъѣзда Владиміра. Отецъ его также уѣхалъ въ Воронежъ и увезъ съ собою Андрея Ѳомича Зарубкина, чтобъ замѣнить имъ, хотя на время, своего шута Леоньку, съ которымъ случилось несчастіе, постигшее нѣкогда сына Дедалова, знаменитаго Икара: дураку Леонькѣ кто-то сказалъ, что если онъ подвѣжетъ себѣ два гусиныхъ крыла, то будетъ летать по воздуху. Дуракъ повѣрилъ, взлѣзъ на кровлю, прыгнулъ внизъ и переломилъ себѣ ногу. Агриппина Львовна Вертлюгина во все это время не была ни разу у Мирошевыхъ. Вслѣдствіе извѣстной вамъ причины, у нея разлилась желчь, и хотя она успѣла ее нѣсколько успокоить, также

извѣстнымъ вамъ образомъ, но, несмотря на это, лицо у нея сдѣлалось лимоннаго цвѣта, и она должна была просидѣть почти два мѣсяца дома. Варенька не могла навѣстить ее, потому что сама занемогла очень опасно. Ее такъ поразили внезапный отъѣздъ Владиміра и намѣреніе отца его прожить всю зиму въ Воронежѣ, что она слегла въ постель. Вы можете себѣ представить, въ какомъ положеніи были бѣдные Мирошевы, когда городской лѣкаръ, Адамъ Ѳомичъ Думкопфъ, объявилъ имъ, что у нея жестокая простудная горячка. Хотя Мирошевы, для которыхъ любовь дочери не могла уже быть тайною, догадывались, что причиною ея болѣзни была вовсе не простуда; но какъ осмѣлиться противорѣчить единственному доктору во всемъ уѣздѣ, и притомъ нѣмцу?.. Тяжелое было тогда время для всѣхъ русскихъ больныхъ, по крайней мѣрѣ, для тѣхъ, которые хотѣли лѣчиться. Я помню еще время, когда русскій медикъ былъ вдиковинку, и почти всѣ доктора, а особливо по губерніямъ, были иностранцы. Это бы еще не бѣда: для больного національность и патріотизмъ дѣло постороннее; кто бы его ни лѣчилъ—все-равно, лишь только бы вылѣчилъ. Но вотъ что было худо: по русской же пословицѣ: «на безлюдьи и Ѳома дворянинъ», каждый пріѣзжій изъ Германіи цырюльникъ называлъ себя врачомъ и учился у насъ въ Россіи *практически* своему искусству, то-есть набивалъ себѣ руку, залѣчивая до смерти и встрѣчнаго и поперечнаго. Теперь, благодаря Бога, мы завелись своими докторами, а иностранный медикъ, прежде чѣмъ получить право лѣчить нашихъ русскихъ больныхъ, долженъ доказать передъ медицинскимъ факультетомъ, что онъ умѣетъ это дѣлать по всѣмъ правиламъ науки. Конечно, и въ старину бывали исключенія, и тогда, случалось, пріѣзжали въ Россію искусные иностранные врачи, но Адамъ Ѳомичъ вовсе не принадлежалъ къ ихъ числу. Когда Мирошевы его позвали, онъ началъ съ того, что пустилъ кровь Варенькѣ; потомъ сталъ лѣчить ее отъ воспаленія. Къ

счастію, господина лѣкаря потребовали для чего-то въ губернский городъ; онъ пробылъ тамъ около двухъ мѣсяцевъ, и Варенька, къ концу шестой недѣли, стала понемногу оправляться.

Кондратычъ съѣздивъ въ Саратовъ, истратилъ довольно денегъ и воротился съ пустыми руками: бумаги, касающіяся до земель, купленныхъ прежними владѣльцами Хопровки, не нашлись въ архивѣ; только и Пафнutyчъ ошибся въ своихъ догадкахъ: ихъ не мыши скушали, а, по наведенной справкѣ, оказалось, что лѣтъ двадцать тому назадъ, по случаю близкаго пожара, во время переноски дѣлъ изъ архива въ ближайшее безопасное мѣсто, въ числѣ утраченныхъ бумагъ, вѣроятно затеряны и вышерѣченные документы. «Если только», — сказано въ заключеніе, — «таковые были, какъ то показываетъ, можетъ-быть, облыжно, вышеупомянутый Прохоръ Кондратьевъ, повѣренный отставного поручика, Кузьмы Петрова сына Миросева».

Межъ тѣмъ, Панкратій Лукичъ не дремалъ; Миросевъ также не жалѣлъ денегъ; мелкіе чиновники уѣзднаго суда и секретарь порядкомъ отъ него поживились; но, къ крайнему его удивленію, никто изъ присутствующихъ не хотѣлъ взять отъ него никакого подарка. Добрый Кузьма Петровичъ не могъ довольно нахвалиться безкорыстіемъ этихъ почтенныхъ чиновниковъ, а Прохоръ Кондратычъ покачивалъ головою.

— Эхъ, сударь, — говорилъ онъ, — видно, дѣло-то наше идетъ плохо, когда намъ и съ задняго крыльца нѣтъ хода къ судьямъ.

— Тѣмъ лучше, Прохоръ: когда судья не беретъ, такъ судить по совѣсти.

— Да вѣдь судятся, батюшка, всегда двое.

— Такъ чтожь?

— А то, сударь, что, взявши съ одного, съ другого не берутъ. Этакъ и судьи-то не будутъ знать, на чью руку потянуть.

— Такъ ты думаешь, что Курочкинъ...

— А вы думаете, что нѣтъ?.. Спросите-ка у Пафнутыча!

— Пафнутычъ вретъ!.. Если бъ они были взяточники, такъ стали бы брать съ обоихъ. Вѣдь секретарь беретъ же съ насъ безъ зазрѣнія совѣсти, хотя и Курочкинъ подарилъ ему лошадь.

— Секретарь дѣло другое, Кузьма Петровичъ. Ему ловко съ обоихъ шкуру драть: вѣдь онъ не судья. Если рѣшеніе будетъ въ нашу пользу, секретарь скажетъ: «я дѣльце-то повернулъ». А коли осудятъ насъ, такъ онъ же, мошенникъ, скажетъ: «Всемирно, благодѣтель, старался, да вѣдь я не присутствующій: выше лба уши не растутъ». А судьямъ какъ можно?.. Взялъ, такъ подавай голосъ въ нашу пользу. Такъ изъ этого и выходитъ, батюшка, что Курочкинъ-то успѣлъ прежде забѣжать. Карманъ-то у него потолще вашего. Мы головку сахару, а онъ три, мы посулимъ рубликовъ двадцать-пять, а онъ гольемъ высыплетъ полсотни! Нѣтъ, Кузьма Петровичъ, что Богъ дастъ въ Саратовѣ, а здѣсь намъ его не перетягать!

Кондратычъ отгадалъ: въ уѣздномъ судѣ рѣшили тяжбу въ пользу Панкратія Лукича Курочкина. Мирошевъ взялъ на апелляцію, и дѣло перешло въ Саратовскую гражданскую палату. Кузьма Петровичъ не хотѣлъ оставить больной дочери и послалъ въ Саратовъ Прохора. Само по себѣ разумѣется, что подьячіе и чиновники высшаго присутственнаго мѣста изъ одной амбиціи не помирятся на какой-нибудь головкѣ сахара или двадцатипяти цѣлковыхъ. Въ нѣсколько недѣль Прохоръ истратилъ рублей двѣсти, то-есть почти четвертую часть тѣхъ денегъ, которыя Мирошевы скопили на приданое Дуняшѣ. Дѣло подвигалось очень медленно: пошли справки, исправки; межъ тѣмъ наступила зима. Секретарю гражданской палаты понадобилась новая шуба; Прохоръ явился къ нему съ енотовой, а Курочкинъ принесъ медвѣжью. Секретарь взялъ обѣ, — разумѣется не въ одно время. Прохору онъ надавалъ обѣщаній, а Курочкину шепнулъ что-то

на-ухо. На другой день Кондратычъ встрѣтился въ рядахъ съ Курочкинымъ; Панкратій Лукичъ сторговалъ при немъ и купилъ серебряную миску и два соусника. Это было наканунѣ Филиппова дня. Прохора морозъ подралъ по кожѣ, когда онъ вспомнилъ, что предсѣдателя палаты называютъ Филиппомъ Аггенчемъ. «Плохо дѣло! — подумалъ онъ. — Вѣдь въ мискѣ-то и соусникахъ будетъ фунтовъ пятнадцать. Нѣтъ, не перетянешь!» Однакоже онъ все-таки не терялъ надежды, которую поддерживали секретарь и одинъ изъ присутствующихъ; первый потому, что находилъ въ этомъ свою выгоду; а второй потому, что былъ честный человѣкъ. Несмотря на всѣ происки Курочкина и увѣщанія предсѣдателя, который напоминалъ ему о знатномъ санѣ челобитчика, — онъ стоялъ въ томъ, что искъ графскаго повѣреннаго не имѣетъ никакого основанія, и что Мирошевъ хотя не можетъ представить документовъ, но имѣетъ полное право владѣть землею, которую у него оспариваютъ, по праву давности, и потому, что соперникъ его не представилъ также никакихъ законныхъ актовъ, доказывающихъ, что спорная земля принадлежала когда-нибудь къ дачамъ села Вознесенскаго. Къ несчастію, мнѣніе этого присутствующаго, который всегда приходилъ въ палату пѣшкомъ, не очень уважалось другими судьями, тѣмъ болѣе, что онъ слылъ человѣкомъ вздорнымъ, беспокойнымъ и даже глупымъ, что оправдалось совершенно впослѣдствіи. Представьте себѣ: онъ прослужилъ двадцать лѣтъ въ гражданской палатѣ совѣтникомъ, а когда умеръ, такъ его не на что было хоронить! «Ну, вотъ», — сказалъ предсѣдатель, возвращаясь съ его похоронъ, — «не говорилъ ли я всегда, что покойникъ пустой человѣкъ: какъ жилъ, такъ и умеръ!»

Мирошевъ получалъ отъ Прохора довольно часто письма, которыхъ содержаніе не очень было утѣшительно: онъ безпрестанно требовалъ денегъ, а можъ тѣмъ вовсе не скрывалъ, что дѣла идутъ плохо. Во всякое другое время Мирошевъ поскакалъ бы самъ въ

Саратовъ, но тогда ему было не до того: болѣзнь дочери такъ его перепугала, что онъ ни за какія земныя блага не рѣшился бы покинуть ее на однѣ сутки. Я ужъ сказалъ вамъ, что Варенька стала понемногу оправляться; боясь снова огорчить отца и мать, которые начали оживать вмѣстѣ съ нею, она старалась всячески скрывать отъ нихъ настоящую причину своей болѣзни. Мирошевъ видѣлъ ясно, что всѣ прежнія опасенія его были справедливы, — и молчалъ, чтобъ не увеличить бесполезнымъ упрекомъ горестъ бѣдной Марьи Дмитриевны; онъ даже увѣрялъ ее, что болѣзнь дочери произошла, дѣйствительно, отъ простуды. Въ этомъ ему очень помогла Варенька, которая сказала самому доктору, что чувствовала себя не хорошо за два дня до своего обморока. Она никогда не говорила о Владимірѣ ни съ отцомъ, ни съ матерью, но зато, когда оставалась вдвоемъ съ Дуняшею, только и рѣчи было, что о немъ. Сначала все, что ни говорила Дуняша, чтобъ оправдать Владиміра, оставалось бесполезнымъ, — Варенька повторяла всегда одно и то же: «Онъ уѣхалъ, не простясь со мною!» Наконецъ, Дуняша узнала стороною, то-есть отъ Аеимьи, кормилицы Владиміра, о всѣхъ подробностяхъ его внезапнаго отъѣзда.

— Знаете ли что?—сказала она Варенькѣ, улучивъ первую удобную минуту.—Вѣдь Владиміръ-то Ивановичъ не самъ уѣхалъ: его увезли.

— Какъ увезли? — спросила съ удивленіемъ Варенька.

— Да такъ же!—Батюшка приказалъ запречь лошадей, да и отвезъ его въ городъ, а оттуда при себѣ отправилъ въ Воронежъ; а онъ-то самъ и въ головѣ не держалъ ѣхать.

— Чтожъ это значитъ?

— Видно, кто-нибудь старику сказалъ, что Владиміръ Ивановичъ въ васъ влюбленъ. Говорятъ, въ тотъ самый день, какъ онъ уѣхалъ, батюшка съ нимъ очень шумѣлъ; Аеимынъ племянникъ, Федька, изъ пе

редней слышалъ, какъ Иванъ Никифоровичъ поминалъ васъ и однажды закричалъ такимъ страшнымъ голосомъ: «Мирошевы, что Мирошевы!»

— Что ты говоришь?... Такъ онъ ужъ знаетъ?

— Видно, что такъ.

— Ахъ, Боже мой!

— Ну, вотъ, заплачете объ этомъ!.. Какія вы, право, чудныя! Вѣдь надобно же было когда-нибудь узнать отцу, что его сынъ хочетъ на васъ жениться. А что это не по-сердцу будетъ батюшкѣ, такъ вы знали напередъ. Самъ Владиміръ Ивановичъ вамъ объ этомъ говорилъ.

— Такъ его насильно увезли въ Воронежъ?

— Ну, разумѣется! Теперь въ Воронежъ, а тамъ, можетъ статься, и въ Москву ушлютъ. Нечего дѣлать, придется вамъ потерпѣть. Видишь, батюшка-то у него медвѣдь какой!

— Бѣдный Владиміръ!

— И, барышня!.. Отцовскій гнѣвъ ничего: посердится, посердится, да перестанетъ; какъ увидитъ, что его сынъ безъ васъ жить не можетъ, такъ сжалятся. Вѣдь онъ у него одинъ. Чудно только, что Владиміръ Ивановичъ къ вамъ ничего не напишетъ.

— Что ты, Дуняша!.. Да неужели ты думаешь, что батюшка позволитъ мнѣ съ нимъ переписываться?

Дуняша улынулась.

— Я ужъ объ этомъ и прежде думала, — сказала она, — и мы условились съ Владиміромъ Ивановичемъ, что когда онъ отсюда уѣдетъ, то будетъ писать ко мнѣ; а Оома, который теперь вмѣсто Прохора Кондратьича ѣздитъ въ городъ, обѣщался справляться каждый разъ на почтѣ и отдавать мнѣ письма потихоньку.

— Ахъ, Дуня, что ты сдѣлала!.. Вѣдь о тебѣ могутъ и Богъ знаетъ что подумать!

— А пожалуй себѣ, — думай, что хочешь.

— Какъ ты неосторожна, мой другъ!.. И ты во все это время не получала ни одного письма?

— То-то и удивительно, что ни одного.

— Ни одного!.. А вотъ ужъ скоро два мѣсяца...

— Знаете ли что? Не перехватываютъ ли его письма? Чай, Иванъ Никифоровичъ такъ за нимъ и сторожить.

— А что ты думаешь, и въ самомъ дѣлѣ!

— Да ужъ, вѣрно, такъ.

Если этотъ разговоръ не совсѣмъ успокоилъ Вареньку, то, по крайней мѣрѣ, сдѣлалъ ей сносное разлуку съ Владиміромъ. Отрада всѣхъ несчастныхъ — надежда, эта обманчивая и утѣшительная тѣнь, за которой мы всѣ гоняемся въ нашей жизни, и которая доведетъ потихоньку каждого до его могилы, — снова воскресла въ душѣ Вареньки. Если Владиміръ, точно, ее любитъ, — а она начинала уже сомнѣваться въ этомъ, — то рано или поздно, а они будутъ принадлежать другъ другу, не здѣсь, такъ въ будущемъ мірѣ: ее не пугало здѣшнее временное горе, но если Владиміръ перестанетъ любить ее, если ей нельзя будетъ назвать его своимъ, даже и тамъ, гдѣ все вѣчно, гдѣ нѣтъ конца ни блаженству, ни горести; если другая... о, объ этомъ она не могла и подумать безъ ужаса! Бѣдная дѣвушка!.. Ослѣпленная своею страстью, она забыла, что небеса чужды всѣхъ земныхъ условій, что вѣчная, святая любовь, эта жизнь всѣхъ праведныхъ, этотъ воздухъ, которымъ дышать въ горнихъ селеніяхъ, не имѣетъ ничего общаго съ нашею землею, тревожною страстію, въ которой каждая минута блаженства покупается годами страданій!.. И какое можетъ быть между ними сходство? Тамъ мы любимъ Бога и въ Немъ все Его созданіе, всю Его славу, Его величіе, премудрость и безпредѣльное милосердіе; а здѣсь мы любимъ человѣка и въ немъ всѣ его недостатки, слабости, пороки, а чаще всего, — не прогнѣвайтесь, — самихъ себя.

XXII.

НОВЫЯ КОЗНИ АГРИППИНЫ ЛЬВОВНЫ ВЕРТЛЮГИНОЙ. ПИСЬМО
АНДРЕЯ БОМИЧА ЗАРУБКИНА.

Однажды, часу въ одиннадцатомъ утра, Варенька, которая, хотя не выходила еще изъ своей комнаты, но чувствовала уже себя несравненно лучше прежняго, вздумала заняться рисованіемъ; подлѣ нея сидѣла за пяльцами Дуняша; она, противъ обыкновенія, была что-то невесела, посматривала печально на окна, и задумчивый взглядъ ея съ грустью останавливался на небольшой липовой рощицѣ, которая росла по ту сторону Хопра.

— Вонъ и послѣднее деревцо пожелтѣло! — сказала она, наконецъ. — Давно ли оно было такое свѣженькое, зеленое.

— Весной опять такое же будетъ, — прервала Варенька, продолжая рисовать головку, разумѣется, вовсе не похожую на лицо Сократа.

— Да, если не убьетъ его морозомъ. Помните, прошлаго года сколько липъ пропало?.. Правда, и морозы-то были не людскіе. Куда лѣто-то скоро проходить, — и не увидишь! Вотъ, того и гляди, выпадетъ снѣгъ, пойдутъ вьюги, метели, нанесетъ сугробовъ, все прикроется бѣлымъ саваномъ, и Хопра-то съ полемъ не распознаешь. Охъ, ужъ эта зима! Какъ подумаешь, такъ грустно становится! И зачѣмъ она есть на свѣтѣ? Барышня, какъ вы думаете, ужъ вѣрно въ раю-то зимы нѣтъ?

— Я читала, что и земли есть, въ которыхъ нѣтъ зимы.

— Гдѣ жъ это, Варвара Кузьминична?

— Далеко, мой другъ, за моремъ.

— Поѣхала бы я туда.

— Одна?

— Какъ это можно! Нѣтъ, съ вами, съ Марьей Дмитріевной, съ Кузьмой Петровичемъ... и съ нимъ.

— Ахъ, Дуня, Дуня! Что-то онъ теперь дѣлаетъ. Здоровъ ли онъ? Помните ли меня?

— Да какъ же онъ можетъ васъ забыть, помилуйте! Вѣдь вы съ нимъ почти обручены. Помните ли что онъ говорилъ вамъ, когда вы помѣнялись кольцами?

— О, я никогда этого не забуду!.. Онъ говорилъ мнѣ, что насъ могутъ разлучить, но заставить его любить другую никто не можетъ; что если отецъ не позволитъ ему жениться на мнѣ, то онъ никогда не женится и умретъ моимъ суженымъ.

— Ну, вотъ видите! Чего жъ вы боитесь?

— Какъ чего, Дуняша? Ну, если отецъ найдетъ для него невѣсту, будетъ требовать, чтобы онъ на ней женился? Если онъ, наконецъ, поневолѣ долженъ будетъ согласиться...

— Поневолѣ!.. Что вы барышня!.. Да вѣдь насильно-то никого не вѣнчаютъ.

— Но развѣ легко противиться волѣ отца? Подумай только, что его будутъ просить, убѣждать всѣ родные, знакомые — весь міръ!.. Вѣдь за меня никто не заступится, Дуняша!

— Все это ничего: если Владиміръ Ивановичъ васъ любить, онъ ни на кого не посмотритъ. Помните, вы читали въ этой книжкѣ, что называется «Любовный вертоградъ», ужъ чего ни дѣлали съ бѣднымъ Камберомъ, а онъ все-таки не измѣнилъ своей Арісенѣ.

— Да вѣдь это все выдумка, Дуняша.

— И, что вы, какъ это можно: стануть печатать выдумки!.. Да вотъ еще въ той книжкѣ... какъ, бишь, ее?.. Ахъ, Боже мой!.. Исторія о какомъ-то принцѣ Ракалмуцкомъ... ну, вотъ что вы брали прошлаго года у Агриппины Львовны... Э!.. Постойте-ка... Ну, такъ и есть! Легка на поминѣ!..

— А что? Развѣ кто пріѣхалъ?

— Вертлюгина.

— Агриппина Львовна?

— Да... Знать, выздоровѣла. Вонъ вылѣзаетъ изъ

фаэтона... Ну, видно же ей не легче было вашего!.. Ахъ, батюшки, какая желтая!

Черезъ нѣсколько минутъ послышались шаги по лѣстницѣ, и Вертлюгина вбѣжала въ комнату.

— Здравствуй, шерочка! — вскричала она, бросившись на шею къ Варенькѣ. — Ну, что, радость, какова ты?

— Слава Богу, теперь получше... Какъ я долго васъ не видала!

— Я ужасъ была больна, мой ангелъ! Совсѣмъ было отретировалась на тотъ свѣтъ. Какъ подумаешь, душечка, какая между нами симпатія: мы занемогли съ тобою въ одинъ день.

— Что вашъ Илья Сергѣевичъ здоровъ?

— Мой папаша? Какъ же!.. Онъ здѣсь. Кузьмы Петровича нѣтъ дома; такъ онъ теперь сидитъ у твоей маменьки, а я лишь только съ нею поцѣловалась и прибѣжала къ тебѣ. А, Дуняша!.. Здравствуй, милочка! Я второпяхъ позабыла тебѣ сказать, что Марья Дмитриевна тебя зачѣмъ-то спрашиваетъ.

Дуняша вышла изъ комнаты.

— Ну, что, моя прелесть? — продолжала Вертлюгина, садясь подлѣ Вареньки. — Что ты дѣлаешь, чѣмъ занимаешься?.. А ко мнѣ прислали изъ Москвы безпримѣрно забавную книжку: «Жизнь и приключенія малаго Помпе, постельной собачки». Какъ въ этой повѣсти ошпечены всѣ люди большого тона, чудо!.. Я тебѣ пришлю ее завтра... Бѣдненькая, тебѣ должно быть очень скучно: никакого занятія... О, нѣтъ, да ты, кажется, рисуешь.

— Такъ, — сегодня только въ первый разъ...

— Да славно!.. Какая хорошенькая головка!.. Пойди-ка, мой свѣтъ!.. Что это?.. Да это никакъ портретъ?.. Ну, такъ и есть!.. И какъ похожъ!..

Варенька покраснѣла.

— Ай, какое ребячество! — прошептала Вертлюгина, качая головой. — Ты все еще его помнишь?.. Ахъ, радость, какой ты посадила себѣ въ голову вздоръ!..

Да неужели ты думаешь, что этотъ повѣса Кирсановъ тебя любить?

Варенька вздрогнула; ей показалось, какъ будто бы около ея сердца обвилась холодная змѣя.

— Нѣтъ, душечка, — продолжала Вертлюгина, — ты вовсе не знаешь этихъ негодныхъ мужчинъ. Фуи, какіе они скверные.

— Неужели всѣ? — проговорила трепещущимъ голосомъ Варенька.

— Всѣ, всѣ, безъ исключенія! Даже мой папаша, и онъ сущій негодяй. Они ужъ такъ сотворены, мой ангелъ!.. Охъ, эти мужчины! Завести бѣдную дѣвушку, обмануть, одурачить ее, это имъ ничего, ровно ничего! Я знаю это по опыту.

— Но неужели вы думаете, что Владиміръ Ивановичъ?..

— Такое же, мой другъ, чудовище, какъ и всѣ. Вотъ то-то и есть, шерочка, сама виновата: еслибъ ты со мной не секретничала, такъ я могла бы тебя предупредить... О, я знаю хорошо этого Кирсанова!.. Онъ, конечно, прекрасный мужчина, очень развязенъ, мастеръ отпускать дусеры; но зато какой предатель!..

— Что вы говорите?

— Да, да! Онъ готовъ клясться въ вѣчной любви каждой женщинѣ.

— Каждой женщинѣ! — прервала съ жаромъ Варенька. — Нѣтъ, Агриппина Львовна, этого быть не можетъ.

— Увѣряю тебя! И чему ты дивишься? Это вещь самая обыкновенная. Мужчина бонтонъ обязанъ куртизанить всякой женщинѣ, — это ужъ такъ принято въ свѣтѣ. Но вотъ что не хорошо: Кирсановъ готовъ общать каждой дѣвушкѣ, что онъ на ней женится; а какъ вскружить ей голову, такъ и прочь, и всегда на своего батюшку свалить всю вину: «не позволяетъ, а и только!».. Фуи, какой гадкій!

— Извините, Агриппина Львовна, я не вѣрю этому: это клевета!

— Какая клевета! Да у него въ этомъ родѣ много авантюрокъ было. Вотъ, въ Москвѣ, онъ волочилъ за мою пріятельницей, молодою дѣвушкой, которая мѣсяца два была въ него влюблена какъ дура, и ужъ послѣ, какъ разняла глаза и увидѣла, какой онъ обманщикъ, такъ пришла въ себя и отплатила ему равнодушіемъ. Я была у нея конфиданткою, и все знала. Онъ поимѣнялся съ нею кольцами и при мнѣ говорилъ ей: «Насъ могутъ разлучить, но заставить меня любить другую женщину никто не можетъ».

— Какъ! — прервала Варенька, — онъ ей это говорилъ?

— Да, мой другъ! Мало ли что онъ говорилъ; онъ даже сказалъ ей, что если ему отецъ не позволитъ на ней жениться, то онъ не женится ни на комъ и умретъ ея суженымъ.

— Боже мой! — прошептала съ ужасомъ Варенька, устремивъ свой помертвѣлый взоръ на Вертлюгину, которая, какъ бездушный убійца, медленно и хладнокровно раскрывающій грудь своей жертвы, готовилась нанести ей смертельный ударъ.

— И знаешь ли, душечка, — продолжала она, — какъ открылись всѣ его обманы? У моей пріятельницы была кузина, также очень миленькая... Представь себѣ, этотъ негодный волокита, Кирсановъ, и ей говорилъ тѣ же самыя слова, да вѣдь точно тѣ же! И добро бы въ разное время, а то въ одинъ и тотъ же день, — моей пріятельницѣ по-утру, а ея кузинѣ вечеромъ. Понимается, ее сначала это огорчило: она такъ же, какъ ты, радость, ужасалась, не вѣрила; а потомъ мы втроемъ очень этому смѣялись.

— И это по-вашему смѣшно? — проговорила прерывающимся голосомъ Варенька.

— Да какъ же не смѣшно? Говорить одно и то же каждой женщинѣ! Можно бы, кажется, немножко варьировать!

— Нѣтъ, Агриппина Львовна, еслибъ я могла подумать, что Владиміръ Ивановичъ...

— А ты все еще не вѣришь?.. Ахъ, шерочка, какая ты смѣшная!.. Да знаешь ли, что онъ теперь дѣлаетъ въ Воронежѣ?

— А развѣ вы что-нибудь слышали? — вскричала Варенька.

— Я вчера получила письмо отъ Зарубкина: онъ живетъ у Ивана Никифоровича, и знаетъ все.

— Ну, что, здоровъ ли онъ?.. Ахъ, Бога ради, скажите, скажите скорѣй!..

— Душечка!.. Какъ ты его любишь!

— Да говорите же!

— Ну да,—онъ здоровъ и, кажется, вовсе не скучаетъ.

— Слава Богу!

Вертлюгина поглядѣла съ удивленіемъ на Вареньку.

— Какая ты чудная, мой ангелъ!—сказала она. — Если Кирсановъ здоровъ и веселъ, такъ вовсе о тебѣ не тоскуетъ, а ты этому радуешься! Да я бы на твоёмъ мѣстѣ ужасно разсердилась.

— Онъ здоровъ! — повторила Варенька. — Слава Богу!

— О, на этотъ счетъ я могу тебя совершенно успокоить: больному человѣку и въ голову бы не пришло то, что онъ затѣваетъ. Да вотъ всего лучше,—письмо Зарубкина со мною, я тебѣ его прочту.

Агриппина Львовна вытащила изъ кармана,—тогда не знали еще ридикюлей, — сложенный вчетверо листокъ синей бумаги, развернула его и начала читать:

«Ваше высокоблагородіе, матушка, сударыня и благодѣтельница, Агриппина Львовна! Во-первыхъ, доношу вамъ, что, по отпуску сего письма, я остаюсь живъ и здоровъ, а впредь уповаю на власть Божію. Здѣсь у насъ все слава Богу! Его высокородіе, Иванъ Никифоровичъ, находится въ вожделѣнномъ здравіи; Владиміръ Ивановичъ также. Мы живемъ попрежнему въ домѣ его превосходительства, Андрея Филипповича Залуцкаго; отличный человѣкъ, сударыня! Несмотря на свой генеральскій чинъ, онъ изволитъ меня жало-

вать и играет со мною часто въ шашки. Дочка у него такая красавица, что ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ написать! Старики-то прочать ея за Владимира Ивановича. Нечего сказать: прелюбезная парочка»...

Тутъ Вертлюгина остановилась и взглянула украдкою на Вареньку; она была блѣдна, но въ глазахъ ея не было слезъ: всѣ черты лица ея выражали какое-то безчувствіе, какую-то мертвую одеревенѣлость, и только едва замѣтное судорожное движеніе посинѣлыхъ губъ изобличало жизнь въ этомъ блѣдномъ, безжизненномъ лицѣ. Съ полминуты наслаждалась Вертлюгина молча своимъ торжествомъ; ей удалось, наконецъ, попасть ножомъ прямо въ сердце своей соперницы; но этого было еще для нея мало: ей хотѣлось повернуть ножъ.

— Душечка,—сказала она,—полно, читать ли еще? Кажется, это тебя слишкомъ аффектируетъ.

— Читайте, читайте!—проговорила глухимъ голосомъ Варенька.

— Ну, если ты хочешь!.. Впрочемъ, рано или поздно, а ты будешь это знать... Гдѣ жъ я остановилась?.. Постой... да!.. «Прелюбезная парочка. Еще жъ вамъ доложу, что и Владиміръ Ивановичъ на ихъ руку тянетъ. Сначала онъ какъ будто бы дичился Екатерины Андреевны, а теперь совсѣмъ не то. Вчера они при мнѣ, на нѣмецкомъ что ль или французскомъ языкѣ,—не знаю,—часа два сряду, съ большимъ пріятствомъ разговаривали, и какъ кончили, такъ Владиміръ Ивановичъ поцѣловаль у нея ручку и сказалъ по-русски: «Теперь вы понимаете меня?» Она изволила отбѣчать: «Понимаю и уважаю». Онъ на это сказалъ ей что-то вполголоса, кажется, также по-русски; мнѣ слышалось между словъ, что онъ ей говорилъ о мытѣ, а тамъ промолвилъ: «лави!»—да и поймалъ у нея опять руку и сталъ цѣловать очень любовно; а изъ этого, матушка, Агриппина Львовна, и выходитъ, что дѣло-то сладится. По отпускѣ сего письма надѣюсь лично засвидѣтельствовать вамъ мое высокопо-

читаніе. Не могу никакъ оставаться въ Воронежѣ; дуракъ Аеонька выздоровѣлъ; этотъ пострѣлъ пріѣхалъ къ своему барину, и мнѣ отъ него вовсе житья нѣтъ. Третьяго дня, шельма этакій, ухватилъ меня припекательными щипцами за носъ, да и началъ водить по всѣмъ комнатамъ, — срамъ да только! За симъ, пожелавъ вашему высокоблагородію»... И прочее, и прочее... А вотъ еще приписка: «Сейчасъ узналъ я, матушка, Агриппина Львовна, отъ Гуря Тихоныча, дворецкого его превосходительства, что старики сегодня сговорились назначить помолвку на будущей недѣлѣ. Придется пообождать отъѣздомъ: при такой радости авось и нашему брату перепадетъ что-нибудь на орѣхи. Еще жъ Гуръ Тихонычъ мнѣ сказывалъ»...

Громкія рыданія Вареньки прервали чтеніе письма. Какъ ни старалась бѣдная дѣвушка скрыть свои страданія отъ Агриппины Львовны, какъ ни боролась она съ горемъ, но горе одолѣло: она закрыла руками лицо и почти безъ чувствъ упала на свою постель. Не помню, гдѣ я читалъ про какого-то искуснаго доктора, который, изъ любви къ своей наукѣ, притаивался ночью за угломъ, бросался на проходящихъ, рѣзалъ ихъ ножомъ и потомъ являлся первый залѣчивать ихъ раны. Агриппина Львовна, точно такъ же, какъ этотъ любознательный врачъ, кинулась къ Варенькѣ и начала утѣшать ее.

— Фуй, душечка, какъ тебѣ не стыдно!—говорила она.—Да стоитъ ли этотъ мизерабельный Кирсановъ, чтобъ ты себя сокрушала? Вотъ забавно!.. Онъ, можетъ, теперь веселится, говоритъ нѣжности своей невѣстѣ, а ты должна плакать!.. Да это было бы ужастъ какъ глупо!

— Боже мой, Боже мой!—шептала Варенька рыдая,—зачѣмъ я не умерла прежде этого!

— И, шерочка, что ты!—продолжала Вертлюгина.—Да еслибъ мы отъ всякой мужской измѣны умирали, такъ ни одна бы женщина не дожила и до пятнадцати лѣтъ. Этимъ мерзкимъ мужчинамъ нельзя ни въ чемъ

вѣрить. Не они насъ, а мы ихъ должны дурачить. Конечно, я понимаю: это обидно для твоего самолюбія... но вѣдь и ты, мой ангель... Ахъ, какъ ты темна въ свѣтѣ!.. Ну, какъ ты рѣшилась повѣрить, что этотъ вертопрахъ, который можетъ сдѣлать блестящую партію, захочетъ жениться на тебѣ?.. Ты безпримѣрно хороша, мила; но вѣдь въ свѣтѣ есть свои условія, приличія... Да полно же, Варечекъ, перестань!.. Чу!.. Слышишь? Кто-то идетъ по лѣстницѣ... Это, кажется, твоя маманька ..

Варенька вскочила съ постели, утерла свои слезы и встрѣтила съ улыбкою, но только не Марью Дмитриевну, а Дуняшу, которая вошла торопливо въ комнату.

— Васъ спрашиваетъ Сергѣй Ильичъ,—сказала она Агриппинѣ Львовнѣ.—Онъ изволитъ ѣхать.

Вертлюгина простилась съ Варенькой, которая, оставшись одна съ Дуняшей, кинулась къ ней на шею и залилась слезами.

— Ахъ, Боже мой!—вскричала Дуняша.—Что вы, барышня? Что съ вами?

— Онъ забылъ меня!—проговорила Варенька рыдая.

— Кто? Владиміръ Ивановичъ?

— Да!.. Онъ женится!..

— Что вы говорите?.. Да нѣтъ, не можетъ быть!

— Сейчасъ Агриппина Львовна...

— Такъ это она!.. И вы вѣрите этой сплетницѣ?..

— Она читала мнѣ письмо изъ Воронежа... Владиміръ Ивановичъ женится на Залудской.

— Письмо? Отъ кого?

— Отъ Зарубкина.

— Отъ этого пьяницы?.. Не вѣрю, барышня, не вѣрю! Тутъ что-нибудь да есть. Это все шутки Агриппины Львовны. Вы всегда со мною спорили, а она точно ревнуетъ васъ къ Владиміру Ивановичу. Помните ли, въ роцѣ, когда эта ободранная кошка выскочила изъ-за куста?.. Да я дамъ голову на отсѣченье,

она шпионничала, подслушивала васъ. Вы вѣдь такія, Богъ съ вами, ничего не замѣтите; а я все видѣла. Бывало, лишь только вы начнете говорить съ Владиміромъ Ивановичемъ, она тутъ какъ тутъ съ ушкомъ. А зеленые-то глаза у нея вотъ такъ и сверкають. Этакая змѣя подколодная!.. Только и слышишь: «радость моя, ангелъ мой, милашечка!».. Такъ въ душу и вѣтся, а сама норовитъ укусить!.. Ну, можетъ-быть, Иванъ Никифоровичъ и хочетъ женить своего сына на какой-нибудь богатой невѣстѣ, да онъ-то ни за что не женится. Нѣтъ, Варвара Кузьминична, не вѣрьте этой кривлякѣ. Владиміръ Ивановичъ не промѣняетъ васъ ни на кого; онъ, точно, васъ любитъ.

Такъ утѣшала Дуняша свою барышню; но ударъ былъ нанесенъ. Бѣдная Варенька, изнуренная продолжительною болѣзнію, не могла вынести этого сильнаго потрясенія: она слегла опять въ постель. На бѣду, Адамъ Ѳомичъ Думкопфъ возвратился изъ губернскаго города и, по просьбѣ Мирошевыхъ, принялся опять лѣчить Вареньку,—разумѣется, ей стало хуже. Еслибъ г-нъ Думкопфъ былъ отличнымъ докторомъ, то, вѣроятно, догадался бы, что болѣзнь Вареньки нельзя было отыскать въ лѣчебникѣ; онъ понялъ бы, что молодая дѣвушка, которая худѣетъ безъ всякой видимой физической причины и, не жалуясь ни на какую боль, гаснетъ какъ догорающая лампада, должна страдать не тѣломъ, а душою; но Адамъ Ѳомичъ, какъ вамъ уже извѣстно, умѣлъ только отлично пускать кровь, и вѣроятно бы выпустилъ ее изъ Вареньки до послѣдней капли, еслибъ не пришло ему въ голову, что у нея злая чахотка; а, къ счастью для больной, онъ не зналъ отъ чахотки никакого другого лѣкарства, кромѣ козьяго молока. Будь этотъ цырюльникъ немного поученѣе,—бѣда: Мирошевымъ пришлось бы непременно похоронить свою единственную дочь.

Здоровье Вареньки не поправилось; но, по крайней мѣрѣ, никто уже не мѣшалъ натурѣ бороться съ этою душевною болѣзнію, которая, впрочемъ, становилась

съ каждымъ днемъ сильнѣе оттого, что Варенька хотѣла скрывать ее. Она была ужасно худа и блѣдна, но старалась всегда казаться веселою, разумѣется, при отцѣ и матери; когда они были съ нею вмѣстѣ, она шутила и улыбалась... Но чего ей это стоило? Улыбаться, когда тоска грызетъ наше сердце; казаться веселымъ, когда въ душѣ нашей смерть; глотать свои слезы, когда онѣ рвутся, чтобъ хлынуть рѣкою... о, это ужасно!.. Эти слезы убиваютъ: онѣ капаютъ прямо на сердце.

XXIII.

КАКЪ ПРОХОРЪ КОНДРАТЬИЧЪ ВОЗВРАТИЛСЯ НИ СЪ ЧѢМЪ ИЗ
САРАТОВА. ОТЧАЯНІЕ МАРЬИ ДМИТРИЕВНЫ.

Давно уже свѣтлый Хоперь, занесенный глубокими сугробами, слился въ одну необозримую равнину со своими поемными лугами. Одѣтые бѣлою пеленою холмы, какъ могильные курганы, подымались среди полей, и голыя сосны, покрытыя махровымъ инеемъ, стояли какъ огромные кресты на этомъ обширномъ снѣговомъ кладбищѣ. Скучно жить въ деревнѣ зимою: эти несносные вечера, которымъ нѣтъ конца, эти дни, похожіе на сумерки, это блѣдное солнце, которое вовсе не грѣетъ, этотъ однообразный видъ мертвой природы—все наводитъ тоску на людей, даже счастливыхъ и довольныхъ своею судьбой. Какую же грусть должны были чувствовать бѣдные Мирошевы, когда, сидя подлѣ постели больной дочери и не смѣя повѣрять другъ другу своихъ ужасныхъ предчувствій, они молча слѣдили жаднымъ взоромъ каждое ея движеніе, прислушивались къ звуку ея рѣчей, оживали съ каждою веселою ея улыбкою и леденѣли при каждомъ невольномъ вздохѣ, который вырывался изъ груди ея. И эта томительная жизнь, эти непрерывные переходы отъ надежды къ отчаянію, эта душевная пытка, ужаснѣйшая изъ всѣхъ пытокъ земныхъ, продолжалась непрерывно не день, не два, а цѣлые мѣсяцы. Бѣдные, бѣд-

ные Мирошевы! И постороннему грустно было смотреть на этот увядающий весенний цвѣтокъ; каково же было имъ видѣть, какъ приближается каждый день къ своей безвременной могилѣ, какъ умираетъ понемногу единственное ихъ дитя, ихъ ангелъ во плоти, ихъ радость, любовь, вся ихъ надежда?.. Нѣтъ, страшно и подумать!

Однажды вечеромъ Кузьма Петровичъ сидѣлъ у себя въ кабинетѣ и читалъ Житія Святыхъ, а Марья Дмитріевна была наверху у дочери. Двери потихоньку отворились, и вошелъ Прохоръ Кондратьичъ въ дорожномъ платьѣ.

— А, здравствуй, Прохоръ!—сказалъ Мирошевъ, сложивъ книгу.—Когда ты приѣхалъ?

— Сію минуту, батюшка,—отвѣчалъ старикъ.—Насилу дотащился. Дорога, помилуй, Господи,—ухабъ на ухабѣ; а верстахъ въ десяти отсюда такіе нырки, что я лошадей-то вовсе поморилъ: все на вынось, да на вынось!

— Ну, что дѣло, Прохоръ?

— Что, сударь, плохо! Въ гражданской палатѣ рѣшено, да только не въ нашу пользу.

— Я ожидалъ это!—прошепталъ Мирошевъ.

— А денегъ-то, батюшка, разсорили сколько! Эхъ, подумаешь, что за народъ эти подьячіе: ни стыда, ни совѣсти!

— Напрасно мы тягались, Прохоръ!

— Что вы, батюшка! Такъ и дать себя грабить этому разбойнику Курочкину?

— Да что толку-то? Деньги мы истратили, а земли все-таки у насъ отнимутъ.

— Ну, это еще, сударь, Богъ знаетъ! Я взялъ н. апелляцію.

— На апелляцію? Куда?

— Извѣстно куда: въ сенатъ.

— Въ Москву?

— Да, сударь, въ Москву; только ужъ вамъ надобно самимъ туда ѣхать: вѣдь это ужъ не граждан-

ская палата, батюшка: ужъ тамъ повѣтчика въ харчевню не позовешь! Куда!.. Тамъ и послѣдній копѣистъ на нашего брата, холопа, взглянуть не захочетъ. Вѣдь сенатскіе-то, сударь, народъ все чиновный,—свысока бьютъ! Съ ними и вы, батюшка, Кузьма Петровичъ, не больно разговоритесь. Спросите-ка у Вертлюгиной о ея двоюродномъ братцѣ Припекинѣ,—фу, ты, батюшки, баринъ какой! А вѣдь только что секретарь. Чтожъ присутствующіе-то, сударь? И подумать страшно! Все генералитетъ, въ кавалеріяхъ,—знать.

— Такъ я долженъ самъ ѣхать въ Москву?

— Да, дѣлать нечего, сударь. Разсудите сами: пристало ли мнѣ соваться туда съ моею холопскою рожей? Да меня, этакого вахлака, и на дворъ-то никто не пустить.

— Нѣтъ, Прохоръ, если Богъ не помилуетъ насъ, и Варенькѣ не будетъ лучше, такъ я ни за что не поѣду отсюда.

— Да, батюшка, да,—мнѣ сказывали. Что это барышня-то у насъ такъ захилѣла?

Мирошевъ закрылъ руками лицо и горько заплакалъ.

— Что это вы, Кузьма Петровичъ? — вскричалъ Прохоръ. — Христосъ съ вами! Да что вы такъ сокрушаетесь? Варвара Кузминична человекъ молодой; ну, похвораетъ, похвораетъ, а тамъ, Богъ дастъ, лучше! И, батюшка, батюшка: Господь милостивъ, не до конца же Онъ на насъ прогнѣвался. Будетъ съ насъ и одного горя. Что, въ самомъ дѣлѣ: и землю отнимаютъ, и денегъ разсорили бездну...

— Полно, Прохоръ! — прервалъ Мирошевъ. — Что земля, что деньги! Богъ съ ними, лишь только бѣ Варенька-то наша...

— Конечно, сударь, деньги дѣло наживное; не даромъ говорится: «то не бѣда, что на деньгу пошла»; однакожъ, батюшка, коли землю-то у насъ всю отхватятъ...

— Такъ чтожъ? Будемъ бѣднѣе — вотъ и все! А если... избави, Господи!..

— Полноте, батюшка, Кузьма Петровичъ! Что вы?.. Такие ли больные встаютъ!

Тутъ вошла въ комнату Марья Дмитріевна. Опухшіе отъ слезъ глаза ея выражали такую безутѣшную горестъ, что Кузьма Петровичъ, взглянувъ на нее, поблѣднѣлъ и спросилъ испуганнымъ голосомъ:

— Что ты, мой другъ? Что Варенька?

Мирошева, не отвѣчая ни слова, бросилась на кресла и громко зарыдала.

— Да что? Не мучь меня, скажи скорѣй!—вскричалъ Кузьма Петровичъ.

— Ей хуже!—прошептала, рыдая, бѣдная Марья Дмитріевна.

— Хуже!—повторилъ Кузьма Петровичъ, и вся кровь застыла въ его жилахъ.

— Не вставать ей, мой другъ!—продолжала Мирошева съ отчаяніемъ. — Нѣтъ, не обманывайте меня! Нѣтъ, я вижу, она таетъ какъ воскъ!.. Она вырывается изъ рукъ моихъ!.. Нѣтъ, нѣтъ, не милостивъ къ намъ Богъ!

Эти слова безнадежной горести возвратили Мирошеву всю его твердость.

— Машенька,—прервалъ онъ,—что ты?.. Отчаяніе, ропотъ,—противъ Кого? Господь посѣтилъ насъ, и мы, строптивые, недостойные рабы, встрѣчаемъ Его не съ покорностію и смиреніемъ, а съ ропотомъ на устахъ и съ отчаяніемъ въ сердцахъ! Вспомни, мой другъ, осьмнадцать лѣтъ сряду мы были счастливы, совершенно счастливы. А часто ли мы благодарили за это Бога? Мы забыли, что это, ничѣмъ не заслуженное счастье, есть только одинъ даръ Его милосердія; мы возгордились, сердца наши окаменѣли, намъ казалось, что такъ быть должно, что мы только получаемъ достойное по дѣламъ нашимъ; мы, какъ невѣсты, ждущія жениха своего, задремали... Вотъ Господь и пришелъ разбудить насъ.

— Да развѣ я могу не плакать, глядя на умирающую дочь?—прервала Мирошева.—Развѣ я могу сказать моему сердцу: не разрывайся!

— Иѣтъ, Машенька, и праведники грустили въ этой жизни, и самъ Спаситель сказалъ нѣкогда: «При- скорбна душа моя до смерти». Но эта скорбь святая, а ропотъ, отчаяніе—о, мой другъ, они убиваютъ душу! Пусть ропщутъ и отчаиваются враги Божіи, а мы, рабы Его, станемъ молиться и говорить со слезами: «Помилуй насъ, Господи, по великой милости Твоей!» И если наша молитва не будетъ услышана, покоримся и скажемъ: «Ты давалъ намъ, Господи, дни радости и счастія; теперь посылаешь намъ дни горести и плача,—да будетъ святая воля Твоя! Ты одинъ знаешь путь, по которому мы должны идти. Теперь онъ для насъ ужасенъ; но когда души наши воспрянутъ отъ земного сна, когда мы будемъ видѣть ясно все—тогда!.. о, вѣрь, мой другъ, вѣрь, — тогда ты воскликнешь виѣстъ со мною: «Воистину, Господи, Ты есть любовь!»

Марья Дмитріевна упала на грудь своего мужа; она продолжала рыдать, но обильныя слезы, не отчаянія, а кроткаго умиленія и святой вѣры въ милосердіе Господа, облегчили скорбь ея растерзаннаго сердца.

Въ тотъ же самый день, часу въ осьмомъ вечера, ненастная погода, которая и съ утра не обѣщала ничего добраго, превратилась въ совершенную метель. На дворѣ было такъ темно, какъ въ закутанномъ погребѣ; снѣгъ валилъ густыми хлопьями, вѣтеръ вылъ, крутилъ въ воздухѣ снѣговую пыль, взрывалъ глубокіе сугробы и свистѣлъ межъ обнаженныхъ деревьевъ, которыя трещали отъ его могучаго напора; однимъ словомъ, это была одна изъ тѣхъ зимнихъ русскихъ ночей, которыя бываютъ такъ губительны для запоздалыхъ путешественниковъ и погребаютъ иногда заживо цѣлые обозы подъ огромными буграми снѣга. Избави васъ, Господи, узнать на опытъ, что значитъ наша сѣверная вьюга!.. Въ полуверстѣ отъ деревенской околицы вы проплутаете въ полѣ всю ночь и можете замерзнуть у воротъ собственнаго вашего дома.

Въ то самое время, какъ на дворѣ бушевала эта непогода, мамушка Игнатъевна сидѣла на антресоляхъ

въ своей каморкѣ и вязала, при свѣтѣ ночника, шерстяной чулокъ. Вдругъ вѣтеръ заревѣлъ сильнѣе прежняго; Игнатъевна невольно вздрогнула, перекрестилась и шепнула про себя:

— Ну, погодка!.. Каково теперь дорожному человеку?.. Помилуй и спаси, Господи!.. Какъ захватить въ полѣ, такъ умирай безъ покаянія!

Двери потихоньку растворились, и вошла Дуняша.

— Ну, что, Дуня?—сказала Игнатъевна, воткнувъ спицу въ чулокъ и положивъ его къ себѣ на колѣни.

— Ничего,—отвѣчала Дуняша шопотомъ.

— Что барышня?

— Въ забыты.

— Господи, Боже мой,—проговорила Игнатъевна,—да неужели въ самомъ дѣлѣ я, старуха, переживу ее, мою родимую?..

Дуняша заплакала.

— Неужели-то Господь не услышитъ моихъ грѣшныхъ молитвъ?—продолжала Игнатъевна.—Ужъ если ей не вставать, моей голубушкѣ, такъ прибралъ бы и меня съ нею вмѣстѣ!.. Ужъ чего я не дѣлала, Дуняша!.. Грѣховъ-то, грѣховъ сколько на душу взяла! И съ уголька ее поила, и нашенывала, и къ ворожеѣ на село ходила...

— А что тебѣ, бабушка, ворожея-то сказала?

— Да что!.. Говорить—съ глазу. Надобно, дескать, вашей барышнѣ три раза по три середи купаться въ проточной водѣ по вечернимъ зорямъ, да пять пятницъ сряду умываться утреннею росой.

— Да какая же теперь роса?

— Ну, вотъ, поди ты!.. Дождидайся до весны.

— Эхъ, Игнатъевна, вретъ эта ворожея: не съ глазу чахнетъ наша барышня.

— А отчего же?

— Отчего?.. Слыхала ли ты, бабушка, пѣсенку, въ которой поютъ:

«Изсушила, сокрушила
Красну дѣвицу

Дума-думушка.
Сохнетъ дѣвица,
Сохнетъ красная
По миломъ дружкѣ.

— Что ты, Дуня?.. Да неужели Варвара Кузьминична?..

— Вотъ хватилась!..

— Ахъ, батюшки! Такъ это, видно, Владиміръ Ивановичъ...

— Ну да!

— Ахъ, онъ злодѣй!.. А я думала, что онъ человѣкъ добрый...

— Да онъ, бабушка, точно, добрый человѣкъ.

— Что ты, мать моя!.. Душегубецъ этакій!.. За что онъ сгубилъ нашу барышню?..

— Эхъ, Игнатъевна, не онъ! Онъ ужъ давно бы на ней женился, еслибъ не его батюшка.

— Да батюшка-то почему не хочетъ?..

— Видно, ищеть для сына невѣсты побогаче нашей барышни.

— Побогаче!.. Да на что ему богатство-то? Мало что ль у него?.. Умреть, старый хрычъ, все останется... Побогаче!.. Жидъ этакій! Чтобъ ему ни дна, ни покрывки!..

— Видно, онъ,—продолжала Дуня,—какъ-нибудь узнать, что сынъ-то его влюбленъ въ барышню и увезъ его въ Воронежъ. Да это бы еще ничего, а на бѣду Вертлюгина наговорила барышнѣ Богъ знаетъ что: и не любить ея Владиміръ Ивановичъ, и женится-то на другой, а все неправда, видитъ Богъ, неправда! Вотъ съ тѣхъ поръ ей и стало хуже. Тутъ ужъ, бабушка, ни лѣкаря, ни ворожеи не помогутъ. Лучше бы всего вѣсточка изъ Воронежа. Хотя бы намъ какъ-нибудь узнать, здоровъ ли Владиміръ Ивановичъ, что онъ дѣлаетъ?..

Игнатъевна призадумалась.

— Здоровъ ли?.. Что дѣлаетъ?..—прошептала она себѣ подъ носъ.—Пу да... конечно... можно бы .. Да,

точно ли барышнѣ будетъ легче, если она что-нибудь узнаетъ о Владиміръ Ивановичѣ?..

— Какъ же не легче, бабушка!.. Да развѣ можно какъ-нибудь?..

— Можно-то можно, да только грѣшно, Дуня.

— Какъ грѣшно?.. А, да вѣдь у насъ святки! Ужъ не хочешь ли ты олово лить?..

— Что олово лить!.. Нѣтъ, Дуняша: я знаю гаданье почище этого, грѣха только боюсь. Да ужъ такъ бы и быть, — для моей голубушки, для родной моей барышни, я на все пойду; авось послѣ бы отмолилась какъ-нибудь, окаянная грѣшница. А вотъ что бѣда, Дуня: глаза-то у меня больно плохи стали, — ничего не увижу.

— Да что это такое?

— А вотъ что: если хочешь про кого-нибудь загадать, гдѣ бы онъ ни былъ, все-равно, возьми два зеркальца и поставь ихъ одно противъ другого такъ, чтобъ свѣча въ обоихъ была видна; а какъ уставишь хорошенько, такъ тебѣ покажется, что зеркаламъ — то и счету нѣтъ; а ты все смотри на седьмое, глазъ не своди. Ну, иногда этакъ просидишь около часу, а тамъ вдругъ седьмое зеркало и потускнѣетъ, потому этотъ туманъ разойдется, и ты увидишь все.

— Да чтожъ я тамъ увижу?

— Ну, извѣстно, что. Вотъ если бъ ты, напримѣръ, загадала о Владиміръ Ивановичѣ, такъ увидѣла бы, что онъ въ это самое время дѣлаетъ: сидитъ ли, лежитъ ли, разговариваетъ ли съ кѣмъ, веселъ ли, печалень ли — все увидишь.

— Неужели въ самомъ дѣлѣ?

— Право такъ.

— Такъ чтожъ, бабушка? Я, пожалуй, посмотрю въ зеркало.

— Охъ, Дуня, Дуня, бойка ты больно! Я посмотрю! Да ты знаешь, какъ надо смотрѣть-то?

— А какъ, Игнатьевна?

— Ты, чай, думаешь; здѣсь — въ комнатѣ?.. Да, какъ бы не такъ!

— А гдѣ же?

— Да въ какомъ-нибудь нежиломъ строеніи, чтобъ въ немъ, кромѣ тебя, никого не было. Безъ этого ничего не увидишь.

— Вотъ что!.. Да этакого и мѣста у насъ нѣтъ.

— Какъ нѣтъ?.. А новая-то людская баня?

— Что ты, бабушка! Да вѣдь она далеко отъ всякаго жилья—за заборомъ...

— То-то и хорошо, Дуня.

— Охъ, страшно!

— А, то-то же, голубка, страшно!

— Ну да чтожъ со мной можетъ сдѣлаться, если я пойду въ баню?

— Сдѣлаться-то ничего не сдѣлается,—это не то, что на прорубь идти гадать,—ты только не бойся; а если что страшное покажется, такъ зачурайся — тотчасъ все пропадетъ.

— А какъ зачураться-то надобно?

— Эхъ, дѣвка, дѣвка, ужъ и этого-то не знаешь! Ну, просто: «чуръ меня, чуръ меня, наше мѣсто свято!»

— Да точно ли ты знаешь, что ничего со мной не будетъ?

— Точно, ничего.

— Ну, такъ и быть: пойду, бабушка!

— Теперь какъ можно, Дуня: видишь, на дворѣ какая непогодица.

— И, ничего: долго ль до бани добѣжать. Въ другой-то разъ, можетъ-быть, у меня и смѣлости не достанетъ.

— Ну, какъ хочешь. Только не сробѣй, Дуня, и какъ увидишь въ зеркалѣ Владиміра Ивановича, не спѣши зачурать: высмотри все хорошенько.

— А что, бабушка, если я загадаю о своемъ суженомъ, покажется онъ мнѣ?

— Коли тебѣ суждено быть замужемъ, такъ покажется; а если нѣтъ, такъ увидишь гробъ.

— Ухъ, страшно!

— И, трусиха, трусиха! Пошла, гдѣ тебѣ!

— Нѣтъ, бабушка, ужъ сказала пойду, такъ пойду! Да гдѣ же я тамъ огня достану?

— Вотъ, возьми сумочку: тутъ все есть. Какъ придешь въ баню, выскки сама огоньку. На вотъ тебѣ и зеркальце, а другое-то возьми свое.

Въ нѣсколько минутъ Дуняша совсѣмъ снарядилась: надѣла шубку на заячьемъ мѣху, накинута на голову шерстяной платокъ, положила въ узелокъ огниво съ припасомъ, сальную свѣчу, мѣдный подсвѣчникъ, два зеркала и отправилась въ путь.

— Смотри, Дуня,—говорила Игнатьевна, провожая ее по лѣстницѣ, — не сробѣй! Высмотри все хорошенько да прежде загадай о Владимірѣ Ивановичѣ, а ужъ послѣ о своемъ суженомъ.

— Хорошо, хорошо, бабушка!.. Да я, можетъ-быть, о своемъ суженомъ и гадать вовсе не стану.

— А если станешь, такъ не забудь сказать три раза сряду, да, знаешь ли, внятно: «суженый, ряженный, приди взглянуть въ зеркало».

— Скажу, бабушка, скажу.

— Охъ, боюсь я за тебя, Дуня! Труслива ты больно!.. Эхъ, кабы старые мои годы!

— Да ужъ не бойся, Игнатьевна, не испугаюсь. Что, въ самомъ дѣлѣ, застольная-то отъ бани близечонько, а тамъ всегда люди. Прощай, бабушка!

XXIV.

СВЯТОЧНОЕ ГАДАНИЕ. НОВОЕ ЛИЦО.

Дуняша прокралась черезъ дѣвичью, вышла на крыльцо, спустилась кой-какъ съ лѣстницы, до половины занасенной снѣгомъ, и сѣдой, непроницаемый мракъ охватилъ ее со всѣхъ сторонъ. Вѣтеръ ревѣлъ, метель бушевала; Дуняша запахла покрѣпче свою

шубу и пустилась бѣгомъ вдоль двора. Въ полминуты ее осыпало съ ногъ до головы снѣгомъ и продуло насквозь. Раза три, увязнувъ въ сугробѣ, она останавливалась, чтобъ перевести духъ; добѣжавъ, наконецъ, до забора, Дуняша отыскала ощупью калитку, выбралась въ поле, почти нечаянно наткнулась на людскую баню, отворила дверь, запертую снаружи деревянною за-верткою, вошла и, едва дыша отъ усталости и холода, который прохватилъ ее до самыхъ костей, упала на скамью. Въ первыя минуты она не чувствовала никакой боязни; но когда поотогрѣлась, и усталость ея прошла, то ей стало такъ страшно, что она долго не могла рѣшиться высѣчь огня. Ей все казалось, что въ ту самую минуту, когда она освѣтитъ баню, передъ нею явится какая-нибудь сатанинская рожа съ рогами и съ козлиною бородою. Она дрожала, не смѣла пошевелиться и робко прислушивалась... Но все было тихо: никто не охалъ за печкою, черти не возились подъ полкомъ, и одинъ постоянный житель бани, неугомонный сверчокъ, распѣвалъ безъ умолку въ своемъ уединенномъ уголкѣ. Вотъ Дуняша поободрилась, вынула изъ узелка огниво и трутницу, высѣкла огня, зажгла свѣчу, и когда закоптѣлыя стѣны бани освѣтились, то она робко поглядѣла кругомъ, потомъ улыбнулась и сказала про себя: «Фу, батюшки, какъ я глупа! Ну, чего я боялась? Баня какъ баня!.. А все это Матрена наговорила мнѣ, что въ баняхъ всегда живутъ домовые!.. Какой вздоръ!.. Дуняша не опасалась, что огонь увидятъ изъ господскаго дома, потому что единственное окно бани было обращено въ поле, и, вслѣдствіе этой увѣренности, начала весьма спокойно приготовляться къ своей ворожбѣ: поставила свѣчу передъ однимъ зеркальцемъ, которое прислонила къ стѣнѣ, навела на него изъ рукъ другое, стала смотреть... И вотъ ей представилось безконечное число зеркалъ, одно въ другомъ, и цѣлый рядъ свѣчей, которые терялись въ отдаленіи. Дуняша устремила все свое вниманіе на седьмое зеркало. Прошло полчаса безъ

всякой перемѣны: все тѣ же свѣчи, тѣ же зеркала и больше ничего. Вотъ ужъ она глядитъ въ зеркало около часу, — скука смертная: все одно да одно. «Вѣрно, что-нибудь не такъ», — подумала Дуняша. — «Надобно хорошенько поразспросить Игнатъевну. Дай-ка лучше загадаю о моемъ суженомъ». Она отдохнула нѣсколько минутъ, потомъ взяла въ руки зеркало, и, глядя въ него, сказала три раза, сначала твердымъ, а подконецъ нѣсколько дрожащимъ голосомъ: «Суженый, ряженный, приходи взглянуть въ мое зеркало». Не прошло двухъ минутъ, какъ ей послышался вдали звонъ колокольчика. «Ужъ не чудится ли мнѣ?» — подумала Дуняша. «Кто поѣдетъ въ такую непогодицу?.. Добро бы еще мы были на большой дорогѣ... Чу!.. Опять!.. Фу, какъ завылъ вѣтеръ, — ничего не слышно!» Вотъ звонъ почтоваго колокольчика раздался гораздо ближе... Дуняша вздрогнула... «Что это?» — прошептала она. — «Въ самомъ дѣлѣ, колокольчикъ!.. Ахъ, Господи, да чтожъ это такое? Тутъ вовсе и вѣды нѣтъ. Ужъ не суженый ли мой?.. Ухъ, страшно!».. Нѣсколько минутъ еще звенѣлъ повременамъ колокольчикъ, то дальше, то ближе, потомъ все затихло... И вдругъ... съ нами крестная сила!.. Что это?.. Снѣгъ хруститъ подъ окномъ... кто-то пробирается тяжелыми шагами вдоль стѣны... Вотъ ужъ онъ близко... у дверей... берется за скобу... у Дуняши подкосились ноги... Она опустила на скамью, и лишь только хотѣла проговорить: «чуръ меня, чуръ!» — какъ вдругъ двери распахнулись, — Дуняша вскрикнула, оглянулась назадъ... Господи... Передъ ней стоитъ какое-то страшное мохнатое, покрытое инеемъ; на головѣ у него курчавая шапка съ огромными ушами; лицо, если только можно назвать лицомъ что-то похожее на человѣческій образъ, красное, съ бѣлыми бровями, обледевѣлыми рѣсницами, изъ-подъ которыхъ сверкаютъ глаза, до половины засыпанные снѣгомъ. Казалось, это чудовище силилось что-то сказать, но вмѣсто словъ вылетали изъ его рта какіе-то невнятные звуки.

— Чуръ меня, чуръ! — проговорила умирающимъ олосомъ Дуняша.

Страшилище, вмѣсто того, чтобъ исчезнуть, сдѣлало шагъ впередъ, и замычало такимъ охриплымъ и дикимъ голосомъ, что у бѣдной дѣвушки отъ страха въ глазахъ потемнѣло. Дуняша хотѣла сотворить молитву, хотѣла перекреститься; но руки ея опустились, языкъ онѣмѣлъ, она зашаталась, и вдругъ—о, ужасъ! чудовище обхватило ее своими мохнатыми руками, она въ его ледяныхъ объятіяхъ!.. Дуняша вскрикнула и лишилась всѣхъ чувствъ.

Когда она очнулась и открыла глаза, то увидѣла, что передъ ней стоитъ, нагнувшись, мужчина въ дорожномъ платьѣ и даетъ ей нюхать что-то изъ пугырька.

— Гдѣ я?—спросила Дуняша слабымъ голосомъ.

— Да тамъ же, гдѣ я васъ нашель, — отвѣчалъ незнакомый, все еще не слишкомъ внятнымъ голосомъ.—Ну, что вы чувствуете?

— Что чувствую?.. Не знаю!.. Кто вы?

— Проѣзжій.

— А гдѣ же онъ? — прошептала Дуня, приподымаясь со скамьи и робко озираясь кругомъ.

— Здѣсь нѣтъ никого, кромѣ меня.

— Вотъ онъ, вотъ онъ,—вскричала Дуняша, указывая съ ужасомъ на полокъ.

— Что вы, что вы? Успокойтесь!—прервалъ проѣзжій.—Это моя волчья винчура и дорожная шапка.

— Возможно ли?.. Да у него было такое страшное лицо...

— Да, я думаю, у меня лицо, точно, было некрасиво, когда я сюда вошелъ.

— Такъ это были вы?—сказала Дуняша, вздохнувъ свободно.—Ахъ, какъ вы меня испугали!

— Не гнѣвайтесь на меня: я вовсе не хотѣлъ васъ пугать. Я ѣду въ Саратовъ по казенной надобности. Въ Хоперскѣ дали мнѣ пьянаго ямщика; онъ сбился съ добоги; насъ захватила метель, и вотъ ужъ три

часа, какъ мы плутаемъ. Еслибъ не ваша свѣча, на которую мы все прямо ѣхали цѣликомъ, то не миновать бы намъ бѣды. Позвольте мнѣ спросить, куда я заѣхалъ?

— Это домъ и деревня Кузьмы Петровича Мирошева.

— Мирошева!—повторилъ незнакомый.—Какъ это счастливо!

— А развѣ вы его знаете?

— Нѣтъ, я не имѣю этого удовольствія; но очень счастливъ, что попалъ на дворъ къ помѣщику, который, вѣроятно, дозволитъ мнѣ у себя переночевать.

— О, безъ всякаго сомнѣнія, — онъ очень будетъ радъ!.. Да надобно послать и за вашимъ ямщикомъ.

— Онъ шагахъ въ двадцати отсюда: не могъ никакъ выбиться съ повозкою изъ сугроба.

— Пойдемте въ домъ, — сказала Дуняша, надѣвая свою шубу.

— А гдѣ мы это теперь? — спросилъ проѣзжій, посмотрѣвъ вокругъ себя. — Это, кажется, баня?.. А, понимаю!.. У насъ святки—вы гадали... Ну, не удивительно, что вы меня испугались...

Дуняша покраснѣла.

— И какъ вамъ было не испугаться,—продолжалъ незнакомый, надѣвая свою винчуру, — когда передъ вами явился, вмѣсто суженаго, какой-то косматый лѣшій, оконечный отъ холода, безъ языка... Признаюсь, и я испугался, когда вы упали въ обморокъ; къ счастью, что со мною былъ спиртъ. Ну, какъ вы себя теперь чувствуете?

— Ничего, только сердце все еще замираетъ и голова какъ-будто бы кружится.

Незнакомый взялъ ее за руку, и, помолчавъ нѣсколько времени, сказалъ:

— Пульсъ не дуренъ, небольшое волненіе и больше ничего. Слава Богу, этотъ испугъ не будетъ имѣть никакихъ послѣдствій! Пойдемте!

Дуняша довела проѣзжаго до дому и, указавъ ему переднее крыльцо, сказала вполголоса:

— Вы, однакожъ, никому не говорите, что застали меня въ банѣ.

— Не беспокойтесь, не скажу.

— Кузьма Петровичъ не любитъ, чтобъ гадали на святкахъ; онъ говоритъ, что это грѣхъ. Прощайте.

Проѣзжій вошелъ въ домъ, а Дуныша побѣжала черезъ дѣвичью на антресоли разсказать о своемъ приключеніи мамушкѣ Игнатьевнѣ, которая ожидала ее съ большимъ нетерпѣніемъ.

Разумѣется, Кузьма Петровичъ принялъ самымъ радушнымъ образомъ нечаяннаго гостя, послалъ людей съ фонарями отыскать извозчика, котораго нашли до половины замерзшимъ. Его оттерли снѣгомъ, потомъ напоили горячимъ и уложили спать. Добрые Миросевы забыли на минуту свое горе и занялись совершенно проѣзжимъ. Когда онъ напился чаю и поотгрѣлся, Кузьма Петровичъ спросилъ его, куда онъ ѣдетъ.

— Я ѣду по казенной надобности въ Саратовъ,—отвѣчалъ проѣзжій.

— По казенной надобности? Такъ поэтому вы въ службѣ?

— Я опредѣленъ въ саратовскій военный госпиталь младшимъ медикомъ.

— Вы докторъ?

— О, нѣтъ еще!—я только лѣкарь.

— А развѣ это не все-равно?

— Въ одномъ смыслѣ—да! Я точно такъ же, какъ докторъ, имѣю право писать рецепты, пользоваться больныхъ и даже вылѣчивать ихъ,—прибавилъ съ улыбкою проѣзжій.

— Гдѣ-жъ вы учились?

— За границею.

Марья Дмитріевна взглянула на своего мужа, шепнула ему что-то на-ухо и сказала гостю:

— Извините, я не знаю, какъ васъ назвать...

— Степанъ Ивановичъ Логиновъ.

— Извините, Степанъ Ивановичъ, если мы васъ спросимъ: вы знаете хоперскаго доктора?

— То-есть лѣкаря Адама Ѳомича Думкопфа?.. Знаю, сударыня.

— Скажите намъ откровенно, что вы о немъ думаете?

— Да какъ вамъ сказать? Я познакомился съ нимъ за границую. Во Франкфуртѣ я былъ боленъ горячкою...

— И Адамъ Ѳомичъ васъ вылѣчилъ?

— Нѣтъ, онъ пускалъ мнѣ кровь; и надобно отдать ему справедливость,—онъ мастеръ этого дѣла.

— Такъ вы находите, что онъ...

— Отличный цырюльникъ!

— Что вы говорите?

— По крайней мѣрѣ, тогда онъ былъ цырюльникомъ. Впрочемъ, можетъ-быть, съ тѣхъ поръ онъ и приобрѣлъ какія-нибудь познанія. Вѣдь практика не бездѣлица; а у насъ за нею дѣло не станетъ, была бы только охота лѣчить. Мы, русскіе, народъ здоровый, крѣпкій,—все вытерпимъ.

— Ну, вотъ видишь, мой другъ,—прервала Марья Дмитріевна,—сердце мое чувствовало, что онъ ничего не знаетъ.

— Вѣрно у васъ есть кто-нибудь больной?—спросилъ лѣкарь.

— Да, Степанъ Ивановичъ, — отвѣчалъ Мирошевъ, — дочь наша. Вотъ ужъ нѣсколько мѣсяцевъ, какъ она занемогла. Кажется, Адамъ Ѳомичъ думаетъ, что у нея чахотка.

— Нѣтъ, нѣтъ, мой другъ,—вскричала Марья Дмитріевна, — это не можетъ быть, я не вѣрю этому!.. Не правда ли, Степанъ Ивановичъ: чахотка неизлѣчимая болѣзнь?

— Не всегда. А позвольте васъ спросить, что чувствуетъ ваша больная?

— Чрезвычайную слабость; она каждый день становится все хуже и хуже,—сказала Марья Дмитріевна, и крупныя слезы покатались по ея щекамъ.

— Она не спитъ по ночамъ, — подхватилъ Кузьма

Петровицъ;—почти ничего не ѣсть, тоскуеть и такъ исхудала...

— О, такъ исхудала,—прервала Марья Дмитриевна, всхлипывая, — такъ исхудала, что я даже не узнаю ея... Ну, точно таетъ какъ свѣча!

Лѣкаръ призадумался.

— Тоскуеть, не спитъ по ночамъ! — прошенталь онъ про себя.—Да!..

Онъ покачалъ головою.

— Боже мой, Боже мой,—вскричала Мирошева, — такъ и вы думаете то же, что Адамъ Оомичъ... Такъ у ней чахотка?

— А можетъ и нѣтъ,—сказалъ лѣкаръ. — Болитъ ли у нея грудь, Кузьма Петровицъ?

— Нѣтъ.

— Харкаетъ ли она кровью?

— Нѣтъ.

— Не чувствуетъ ли глухой боли въ правомъ или лѣвомъ боку?

— Она никогда на это не жаловалась.

— Не замѣчали ли вы, что у нея выступаетъ иногда на щекахъ ненатуральный румянецъ?

— Теперь никогда!—прервала Марья Дмитриевна.— Она блѣдна какъ смерть.

— А есть ли у нея постоянный сухой кашель?

— Нѣтъ, Степанъ Ивановичъ, — отвѣчалъ Мирошевъ. — Мѣсяца два тому назадъ она простудилась и кашляла нѣсколько дней сряду; но этотъ кашель прошелъ безъ всякаго лѣченья.

— Если все это такъ, какъ вы говорите, — сказалъ съ веселымъ видомъ лѣкаръ, — то я могу объявить вамъ утвердительно, что у вашей больной нѣтъ и признаковъ чахотки.

— Въ самомъ дѣлѣ?... Слава Богу! — вскричала Марья Дмитриевна, перекрестясь. — И вы въ этомъ увѣрены!

— Совершенно увѣренъ. Да позвольте мнѣ на нее взглянуть.

— Ахъ, сдѣлайте милость!

— Поди, Машенька, — сказалъ Кузьма Петровичъ, — посмотри, можно ли намъ къ ней придти?

Марья Дмитріевна вышла изъ гостиной и черезъ нѣсколько минутъ прислала просить лѣкаря къ больной. Когда Кузьма Петровичъ вошелъ со своимъ гостемъ въ комнату Вареньки, она сидѣла въ креслахъ, прислоня голову къ подушкѣ, блѣлая наволока которой почти не отличалась отъ блѣднаго лица ея. Позади кресель стояла Дуняша.

— Я принесъ вамъ здоровье, — сказалъ лѣкарь.

Варенька кивнула привѣтливо головой и улыбнулась. Въ этой кроткой, но ужасной улыбкѣ выражалась такая твердая увѣренность, что болѣзнь ея неизлѣчима, такое равнодушіе къ жизни, и такая сердечная грусть, что слезы навернулись на глазахъ у лѣкаря. Степанъ Ивановичъ Логинновъ былъ еще чловѣкъ молодой, мало имѣлъ практики: слѣдовательно, привычка видѣть людскія страданія не убила еще въ душѣ его всей чувствительности; онъ не умѣлъ даже притворяться равнодушнымъ и вовсе не обладалъ искусствомъ, иногда необходимымъ, скрывать подъ наружнымъ спокойствіемъ свои опасенія, которыя, по милости Божіей, не всегда оправдываются на самомъ дѣлѣ, и даже очень часто, — не во гнѣвъ будь сказано господамъ-медикамъ, — имѣютъ своимъ основаніемъ одно ложное понятіе о недугѣ больного. Этотъ неосторожный порывъ чувствительности не укрылся отъ Марьи Дмитріевны: сердце ея замерло отъ ужаса. Да и было чего испугаться: медикъ, который не можетъ безъ слезъ смотрѣть на больного, вовсе неутѣшительнъ. Степанъ Ивановичъ сѣлъ подлѣ Вареньки и взялъ ее за руку. Съ минуту продолжалось общее молчаніе. Мирошевы не смѣли дышать: они оба, и мать, и отецъ, не сводили глазъ съ лѣкаря; въ эту минуту онъ былъ для нихъ судьбою, посланникомъ Божиимъ, вѣстникомъ жизни и смерти; каждое его движеніе, малѣйшее измѣненіе въ чертахъ лица приводило ихъ въ

ужасъ, и даже веселая улыбка, которая появилась на устахъ его, показалась имъ подозрительною. Степанъ Ивановичъ, сдѣлавъ нѣсколько вопросовъ больной, обратился къ Мирошевымъ и сказалъ:

— Теперь я могу васъ совершенно успокоить: вамъ нечего бояться.

— Такъ вы не видите никакой опасности? — прервала съ живостію Марья Дмитріевна.

— Ни малѣйшей! Я готовъ ручаться жизнію, что ваша больная черезъ мѣсяцъ будетъ совершенно здорова.

— О, пусть утѣшитъ васъ Господь Богъ, какъ вы насъ утѣшили! — вскричала Марья Дмитріевна, залившись слезами. — Слышишь ли, Варенька? — продолжала она, обнимая дочь. — Слышишь ли, мой другъ? Ты выздоровѣешь, мы будемъ опять счастливы!

— Да, маменька, опять! — прошептала больная, улыбнувшись точно такъ же, какъ въ первый разъ; потомъ взглянула съ глубокою грустью на мать свою, обвила руками ея шею и зарыдала.

— Полноте, полноте! Что вы это? — сказалъ Мирошевъ. — Охъ, ужъ эти женщины, — вѣчно плачутъ и съ горя, и съ радости!.. Да скажите мнѣ, — прибавилъ онъ вполголоса, обращаясь къ лѣкарю, — чѣмъ же больна Варенька?

— Да такъ, раздраженіе нервовъ, — отвѣчалъ Степанъ Ивановичъ; — истерическіе припадки, слабость, разстроенный желудокъ, и больше ничего. Все это должно быть слѣдствіемъ какого-нибудь внезапнаго потрясенія, испуга; а болѣе всего необдуманнаго кровопусканія и, кажется, вовсе неумѣстныхъ лѣкарствъ. Да чѣмъ лѣчить вашу больную Адамъ Ѳомичъ?

— Теперь ничѣмъ. Онъ приказалъ ее поить козьимъ молокомъ.

— И то хорошо, что средство безвредное; но оно вовсе бесполезно. Вашу больную надобно подкрѣплять. Со мною есть дорожная аптечка. Кузьма Петровичъ, потрудитесь, прикажите ее принести сюда; да еслибъ

вы, сударыня, — продолжалъ лѣкаръ, обращаясь къ Марѣ Дмитріевнѣ, — сдѣлали намъ чашечки двѣ ро машинки. Вѣдь у васъ, вѣрно, есть?

— Какъ же!

— Такъ потрудитесь. А мнѣ позвольте еще кой о чемъ поразспросить мою больную.

— Сдѣлайте милость!

Мирошевы вышли, а лѣкаръ, оставшись одинъ, посмотрѣлъ вокругъ себя, взглянулъ на полуотворенныя двери и сказалъ Варенькѣ:

— Я желалъ бы поговорить съ вами наединѣ.

— Со мной?—прервала съ удивленіемъ больная. — Да чтожъ такое вы можете мнѣ сказать?.. Я васъ не знаю.

— Конечно, я въ первый разъ имѣю удовольствіе васъ видѣть; но еслибъ я могъ говорить...

Тутъ лѣкаръ взглянулъ значительно на Дуняшу.

— Что вы на меня этакъ смотрите? — спросила Дуня.

— При ней вы можете говорить все, — сказала Варенька. — Это другъ мой.

Лѣкаръ посмотрѣлъ опять вокругъ себя и сказалъ вполголоса больной:

— У меня есть къ вамъ препорученіе.

— Ко мнѣ? Да вѣдь вы заѣхали къ намъ нечаянно?

Степанъ Ивановичъ улыбнулся.

— Ахъ, какой же вы притворщикъ! — подхватила Дуня. — Да не вы ли мнѣ говорили, что сбились съ дороги?

— Это правда, и еслибъ я не заплутался, такъ давно бы ужъ былъ у васъ.

— Такъ вы къ намъ ѣхали?

— То-есть, я далъ слово къ вамъ заѣхать: меня просили объ этомъ въ Воронежѣ.

— Въ Воронежѣ? — повторила Варенька, и блѣдныя щеки ея сдѣлались еще блѣднѣе.

— Позвольте! — сказалъ лѣкаръ, взявъ ее за руку. — О, да какъ пульсъ-то у васъ поднялся!.. Выпейте воды

— Бога ради,—вскричала Варенька,—говорите, говорите! Здоровъ ли онъ!

— Владиміръ Ивановичъ? Слава Богу!.. Да успокойтесь!

— Онъ, вѣрно, просилъ васъ... увѣдомить меня?..

— Что любить васъ попрежнему, что ваша любовь дороже ему самой жизни...

— Возможно ли!.. А Залуцкая?..

— Выходить замужъ,—но только не за него.

— Боже мой, Боже мой!—вскричала больная, прижавъ руки къ груди своей.

— Позвольте, позвольте!—сказалъ лѣкаръ. — Охъ, пульсъ-то у васъ!.. Выкушайте водицы.

— А я обвиняла его! — прошептала Варенька, и слезы полились рѣкой изъ глазъ ея.

— Вотъ такъ-то лучше! — сказалъ лѣкаръ. — Плачьте себѣ на здоровье, плачьте!.. Ну, вотъ и пульсъ сталъ лучше, а то было забилъ такую тревогу!.. Да, Варвара Кузьминична, онъ любитъ васъ такъ же пламенно, какъ любилъ прежде. Я знаю все: Владиміръ Ивановичъ называетъ меня своимъ другомъ, а я... о, я совершенно ему принадлежу: онъ благодѣтель мой! Покойный мой батюшка былъ при немъ дядькою; по милости Владиміра Ивановича, я получилъ образованіе, ѣздилъ въ чужіе края и сдѣлался лѣкаремъ. Передъ моимъ отъѣздомъ изъ Воронежа, онъ узналъ, что всѣ письма его удерживаютъ на почтѣ...

— Ну, вотъ слышите, барышня? — прервала Дуняша.—Вѣдь я вамъ говорила!..

— Владиміръ Ивановичъ, — продолжалъ лѣкаръ, вынимая изъ бокового кармана запечатанное письмо,—препоручилъ мнѣ...

— Письмо ко мнѣ?..

На лѣстницѣ послышались шаги.

— Дайте его сюда!—сказала Дуняша.—Мы прочтемъ послѣ.

Кузьма Петровичъ вошелъ въ комнату, неся до-

вольно большой ящикъ, обитый кожею. Степанъ Ивановичъ отперъ его и вынулъ пузырекъ съ каплями.

— Вотъ,—сказалъ онъ Варенькѣ,—лѣкарство, которое недѣли черезъ двѣ поставитъ васъ совершенно на ноги, принимайте каждый день два раза по двадцати капель—хоть на сахарѣ, и запивайте ромашкою. Я увѣренъ, что завтра же вы захотите покушать.

— А что ей можно ѣсть?—спросила Марья Дмитриевна, войдя въ комнату и поставивъ на столъ чайную чашку и чайникъ.

— Сначала овсяную кашицу съ бѣлымъ хлѣбомъ; дней черезъ пять можно цыпленка, а недѣли черезъ три пусть кушаетъ на здоровье все, что ей угодно.

— Вы говорите такъ утвердительно,—сказала Марья Дмитриевна.—Какъ же это Адамъ Ѳомичъ...

— Онъ вовсе не отгадалъ ея болѣзни.

— Гдѣ ему, нѣмцу!—шепнула Дуняша, взглянувъ исподлобья на Степана Ивановича.

Онъ невольно улыбнулся и сказалъ про себя: «Какъ мила эта плутовочка!»

По какому-то странному сочувствію, Дуняша въ эту же самую минуту думала: «Какой онъ хорошенькій! Какъ это я могла его испугаться?» Межъ тѣмъ, Марья Дмитриевна дала капель больной.

— Ну, что, приняли?—сказалъ лѣкаръ.—Запейте!.. Вотъ такъ! Теперь ложитесь съ Богомъ. У васъ будетъ прекрасный сонъ. Останьтесь вы съ нею однѣ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Дуняшѣ,—а мы всѣ пойдемте внизъ: ей надобно успокоиться... И ты, бабушка, не ходи!—прибавилъ лѣкаръ, увидя въ дверяхъ Игнатъевну.—Теперь нужна большая тишина.

— Да я, батюшка, и дышать не стану,—сказала Игнатъевна съ низкимъ поклономъ.—Позволь...

— Не надобно, любезная, не надобно! Чѣмъ меньше въ комнатѣ людей, тѣмъ лучше. И подлѣ дверей-то не стой, бабушка; неравно какъ-нибудь стукнешь. Пойдемте.

Всѣ сошли внизъ, а Игнатъевна поплелась въ свою каморку, ворча себѣ подъ носъ:

— Охъ ужъ эти доктора! Вишь, нельзя и у дверей постоять!.. Причудники этакіе!.. Да что онъ себѣ ни говори, а я все-таки ночью разика три-четыре приду взглянуть на барышню.

XXV.

ДОРОЖНЫЕ СБОРЫ И ОТЪѢЗДЪ МИРОШЕВА ВЪ МОСКВУ.

— Ахъ, какой же умница этотъ лѣкаръ,—шепнула Дуняша Варенькѣ, когда онѣ остались однѣ!—увелъ всѣхъ—и бабушку Игнатьевну не пустил. Теперь вы можете на просторѣ прочесть... А есть что почитать!.. Посмотрите-ка, барышня, письмо-то какое толстое!

Я не стану вамъ описывать чувствъ Вареньки при чтеніи этого письма. Если вы никогда не любили, то это описаніе покажется вамъ преувеличеннымъ и неестественнымъ; если же сердце ваше не всегда оставалось спокойнымъ, то вспомните только, что вы чувствовали, получивъ первое письмо, написанное къ вамъ тѣмъ, котораго вы любили. Не бойтесь также: я не заставляю васъ читать вмѣстѣ съ Варенькой эти мелко исписанные четыре листа почтовой бумаги; вы не узнаете изъ нихъ ничего новаго: всѣ эти страстные письма такъ сходны между собою... Всегда одно и то же: вѣчная любовь, вѣрность, постоянство; разница только въ изложеніи: одинъ пишетъ свои страстные посланія какъ Сентъ-Пре, другой не лучше камердинера покойнаго моего дядюшки, человѣка очень сентиментальнаго, который всегда начиналъ свои любовныя письма слѣдующими словами: «Душа души моей, горизонтъ моего спокойствія и членъ моей внутренности!» Да и вообще этого рода письма, даже самыя краснорѣчивыя, интересны только для тѣхъ, къ кому они писаны, и почти всегда теряютъ свою цѣну, когда становятся достояніемъ всей читающей публики. Въ этомъ отношеніи они походятъ на иные манускрипты, которые драгоцѣнны только потому, что ихъ нѣтъ въ печати.

Я совершенно убѣдился въ этой истинѣ съ тѣхъ поръ какъ прочелъ «Новую Элоизу». Сколько въ этомъ эпи-столярномъ романѣ истрачено ума, таланта и поэзіи для того только, чтобъ вы не вовсе умерли отъ скуки. Лѣтъ двадцать-пять тому назадъ я не смѣлъ бы это сказать громогласно; но теперь каюсь передъ всѣми, что даже и тогда, когда въ головѣ моей не было ни одного сѣдого волоса, я не могъ удерживаться отъ зѣ-воты, читая эти страстные письма Элоизы и Сентъ-Пре. Однажды, — такъ и быть — каяться, такъ каяться! — я заснулъ надъ книгою, кажется, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ описывается съ такою анатомическою под-робностію первый поцѣлуй любви.

Вѣроятно, Жанъ-Жакъ Руссо былъ краснорѣчивѣе Кирсанова; но, несмотря на это, письмо Владиміра Ивановича произвело на Вареньку совершенно про-тивное дѣйствіе: она прочла его нѣсколько разъ сряду, долго не могла заснуть, просыпалась ночью, чтобъ читать его при свѣтѣ лампы, и поутру пересказала все письмо наизусть, слово отъ слова, Дунишѣ, кото-рая также не могла во всю ночь заснуть порядкомъ, по-тому что ей мерещился безпрестанно проѣзжіи докторъ.

Марья Дмитріевна ахнула отъ удивленія и радо-сти, когда вошла на другой день къ своей больной. Нѣсколько часовъ тому назадъ Варенька казалась со-вершенно безнадежною; а теперь... какая неожидан-ная переменѣ! Разумѣется, она была такъ же худа и почти такъ же слаба, какъ наканунѣ; но сколько жизни было въ этихъ свѣтлыхъ взорахъ, которые выражали прежде одну тяжкую грусть и желаніе смерти; съ какою радостною и спокойною улыбкою протянула она руки къ своей матери!.. О, какъ не походила эта улыбка на ту, которая, за нѣсколько часовъ до этого, какъ холодное лезвіе ножа, проникала въ сердце бѣд-ныхъ Мирошевыхъ!

— Ты чувствуешь себя лучше, мой другъ? — ска-зала Марья Дмитріевна, обнимая свою дочь.

— Несравненно лучше.

— Слава Богу!.. Слава Богу!. Принимала ли ты сегодня лѣкарство?

— Принимала, маменька.

— Подлинно Господь Богъ послалъ намъ этого доктора: онъ воскресилъ и тебя и насъ, мой другъ... Да вотъ, кажется, онъ идетъ сюда съ Кузьмою Петровичемъ. Ахъ! — продолжала Марья Дмитріевна, обращаясь ко входящему лѣкарю, — вы нашъ ангель-спаситель! Взгляните на вашу больную!

— Вижу, сударыня, вижу! — сказалъ съ улыбкою Степанъ Ивановичъ. — Кажется, лѣкарство подѣйствовало. Ну, какъ вы провели ночь?

— Очень хорошо, — отвѣчала Варенька.

— Я такъ и думалъ. Пульсъ прекрасный... Да васъ и лѣчить нечего. Если будешь аппетитъ, въ чемъ я совершенно увѣренъ, такъ вы можете денька черезъ три оставить капли.

— Не лучше ли продолжать, Степанъ Ивановичъ? — сказала Мирошева.

— Помилуйте, зачѣмъ?

— Да вѣдь вы уѣдете.

— Такъ чтожъ?... Я оставлю вашу больную на рукахъ у такого доктора, передъ которымъ мы всѣ безъ исключенія Адамы Ѳомичи Думкофъ. До тѣхъ поръ, пока натура спитъ, мы еще на что-нибудь годимся; а какъ она проснется да начнетъ сама лѣчить больного, — такъ наше дѣло сторона.

— Однакожъ, — сказалъ Кузьма Петровичъ, — натурѣ надобно помогать.

— Ну, да, — когда она лѣниво дѣйствуетъ; да и въ этомъ случаѣ должно поступать съ большою осторожностію. Одинъ знаменитый медикъ часто говаривалъ, что врачъ, который надѣется болѣе на свое искусство, чѣмъ на природу, походитъ на слѣпного. Болѣзнь и натура борются въ человѣкѣ, а слѣпой придетъ съ палкою, начнетъ махать направо и налево: попадетъ по болѣзни — убьетъ болѣзнь; попадетъ по натурѣ — убьетъ больного. Конечно, есть недуги, въ которыхъ должно

дѣйствовать рѣшительно и идти «на авось»; но вѣдь, благодаря Бога, Варвара Кузьминична не въ такомъ положеніи. Здоровая пища, спокойная жизнь и, какъ будетъ потеплѣе, такъ свѣжій воздухъ—вотъ все, что ей надобно. Впрочемъ, если бы, сохрани Господи, опять что-нибудь случилось, такъ напишите ко мнѣ въ Саратовъ: я и оттуда къ вамъ приѣду.

— Ахъ, Степанъ Ивановичъ, — прервалъ Мирошевъ, — какъ вы добры! Чѣмъ мы можемъ доказать вамъ нашу благодарность?

— Да за что вы меня благодарите? Позвольте васъ спросить: когда вы укрыли меня отъ непогоды, приняли какъ родного, напоили, накормили, успокоили, — знали ли вы тогда, что я медикъ и могу помочь вашей больной дочери?..

— Конечно, мы этого не знали; но развѣ можно отказать въ ночлегѣ проѣзжему человѣку, а особливо въ такую погоду?

— Такъ за что же вы меня благодарите, если я, которому вы не отказали въ ночлегѣ, не отказалъ вамъ въ моемъ совѣтѣ и пособіи?

— Но вы, Степанъ Ивановичъ, — прервала Марья Дмитриевна, — возвратили намъ жизнь!

— Помилуйте, я только что васъ успокоилъ, какъ вы успокоили меня, — съ тою только разницею, что хлопотъ мнѣ было гораздо менѣе, чѣмъ вамъ. А, да вотъ ужъ и кибитка моя подана! — продолжалъ Степанъ Ивановичъ, взглянувъ въ окно. Прощайте; покорнѣйше васъ благодарю за вашъ ласковый пріемъ! Я надѣюсь, вамъ не зачѣмъ будетъ выписывать меня изъ Саратова. Впрочемъ, можетъ-быть, я и самъ весною у васъ любываю: у меня есть дѣло въ Новохоперскѣ.

Степанъ Ивановичъ, прощаясь съ Мирошевыми, повторилъ еще разъ обѣщаніе пріѣхать къ нимъ погостить весною.

— Вы не можете себѣ представить, — говорилъ онъ, взглянувъ невольнико на Дуняшу, — какъ я самъ желаю этого.

— Пріѣзжайте! — сказала Варенька. — Да поживите у насъ подольше!

— Напишите, когда вы къ намъ пріѣдете, — подхватила Дуняша. — Мы выйдемъ къ вамъ на встрѣчу.

Лѣкаръ поглядѣлъ на нее такъ чудно, что она вся вспыхнула. Сходя съ лѣстницы, онъ поотсталъ отъ Мирошевыхъ и спросилъ вполголоса Дуняшу, которая шла позади:

— Вѣрите ли вы гаданью?

— Нѣтъ! — отвѣчала отрывисто Дуня.

— А я вѣрю. Прощайте!

Лѣкаръ уѣхалъ. Предсказаніе его сбылось: Варенька выздоровѣла, однакожь не такъ скоро, какъ онъ предполагалъ. Не даромъ говорится, что болѣзнь входитъ въ человѣка пудами, а выходитъ золотниками: несмотря на то, что Варенька чувствовала себя каждый день лучше, она долго еще была слаба, и оправилась совершенно не прежде марта мѣсяца, на первой недѣлѣ великаго поста. Мирошчевы говѣли. Въ одно утро, когда Кузьма Петровичъ, пріѣхавъ отъ обѣдни, читалъ, по своему обыкновенію, Житіе Святыхъ, а Марья Дмитріевна, Варенька и Дуняша слушали его, занимаясь рукодѣльемъ, вошелъ Прохоръ Кондратычъ.

— Что ты, Прохоръ? — спросилъ Мирошчевъ.

— Да такъ, сударь, пришелъ вамъ напомнить. Вотъ ужъ зима-то на исходѣ; не пора ли намъ въ дорогу собраться?

— Въ какую дорогу? — спросила Марья Дмитріевна.

— Въ Москву, мой другъ, — отвѣчалъ Мирошчевъ. — Вѣдь я ужъ тебѣ сказывалъ, что наше дѣло перешло въ сенатъ.

— Въ Москву?.. Боже мой, — какая даль!.. А на долго ты поѣдешь?

— Да какъ это узнаешь? Если дѣло не протянется, такъ, можетъ статься, этимъ же путемъ и назадъ.

— Нѣтъ, батюшка, — прервалъ Кондратычъ, — дай Богъ и по просухѣ вернуться домой, а можетъ статься и лѣта еще захватимъ.

— Что ты говоришь, Прохоръ?—вскричала Марья Дмитріевна.—Да этакъ мы мѣсяца четыре проживемъ розно!

— Оно конечно, матушка,—сказалъ Прохоръ, почесывая въ головѣ,—дѣло для васъ небывалое: вы никогда не разставались съ Кузьмою Петровичемъ

— Да и зачѣмъ намъ разставаться: развѣ мы не можемъ всѣ ѣхать въ Москву?

— Помилуйте, сударыня! Да какъ это можно. Мы съ бариномъ поѣдемъ налегкѣ, намъ двоимъ много ли надобно? А если тронуться всѣмъ домою, да упаси Господи!.. И до Москвы-то нечѣмъ будетъ доѣхать.

— Да, мой другъ,—сказалъ Мирошевъ,—Прохоръ говоритъ правду; мы и такъ ужъ совсѣмъ разорились отъ этой тяжбы, такъ надобно остальные деньги поберечь. И мнѣ одному съѣздить въ Москву обойдется не дешево...

— Да, батюшка, да,—прошепталъ Кондратьичъ,—станетъ въ копѣйку.

— Не знаю,—сказала Марья Дмитріевна, — а мнѣ все сдается, что отъ этой поѣздки никакой пользы не будетъ. На твоемъ мѣстѣ, Кузьма Петровичъ, я совершенно бы положила на волю Божию.

— Такъ, сударыня, такъ!—возразилъ Прохоръ.—Конечно, во всемъ воля Божія; да вѣдь старики говорили: «на Бога надѣйся, а самъ не плошай». Если мы хлопотать не станемъ, да проиграемъ нашу тяжбу...

— Такъ чтожъ? Будемъ побѣднѣе, вотъ и все!

— Что вы, матушка!—вскричалъ Прохоръ.—Побѣднѣе!.. Какой побѣднѣе!.. Да если у насъ землю отнимутъ, такъ не только вамъ, да и мужичкамъ - то нашимъ перекусить нечего будетъ.

— Вотъ видишь ли, мой другъ,—прервалъ Мирошевъ,—тогда не только мы, но и бѣдные крестьяне наши пострадаютъ. Вѣдь за нихъ, кромѣ меня, заступиться некому. Нѣтъ, Машенька, тамъ ужъ что будетъ, то будетъ, а ѣхать надобно; по крайней мѣрѣ

намъ не въ чемъ будетъ себя упрекнуть: дѣлали все, что могли; а тамъ, конечно, воля Божья!

— Когда же, сударь, вы думаете?—спросилъ Кондратьичъ. — Надобно денька три-четыре лошадей покормить: вѣдь ѣхать - то слишкомъ шестьсотъ верстъ.

— Ну, дѣлать нечего! Вотъ отговѣмъ эту недѣлю, въ воскресенье отслужимъ послѣ обѣдни молебень, да и съ Богомъ.

— Такъ скоро?—вскричала Марья Дмитріевна..

— Да мѣшкать нечего, сударыня, — сказалъ Прохоръ. — Вотъ ужъ скоро Алексѣй Божій человѣкъ: какъ хлынетъ вода съ горъ, такъ ѣзда-то будетъ плохая.

— Ахъ, мой другъ, — проговорила Марья Дмитріевна, — когда подумаю, что черезъ недѣлю тебя здѣсь не будетъ!..

Она обняла Кузьму Петровича и заплакала. Варенька упала также на грудь къ отцу и залилась слезами.

— Ну!—сказалъ Кузьма Петровичъ.—Этого-то я и боялся! Да полноте, Бога ради! Вы такъ меня съ ума сведете!.. Перестань, Машенька! Тебѣ бы должно подавать примѣръ дочери, а ты сама плачешь, какъ ребенокъ! Богъ дастъ, съѣзжу благополучно въ Москву, кончу счастливо всѣ дѣла, и мы опять заживемъ припѣваячи!

— О, мой другъ, — прервала Марья Дмитріевна, утирая слезы,—не предчувствуетъ мое сердце ничего добраго.: Разстаться мы съ тобой разстанемся, а все этотъ Курочкинъ разорить насъ до конца.

— А я такъ вовсе не отчаиваюсь, Машенька: надѣюсь во всемъ на Бога и думаю про себя: «На Тя, Господи, уповахъ, да не постыжуся во вѣки!»

— Каензма четвертая, псаломъ тридцатый, стихъ первый,—сказалъ Вертлюгинъ, входя въ комнату.

— Илья Сергѣевич!—вскричалъ Мирошевъ.—Милости просимъ!

— Здравствуйте, матушка, Марья Дмитріевна!.. Кузьма Петровичъ!.. Да что это вы всѣ какъ будто въ какомъ-то разстройствѣ?

— А вотъ сказалъ имъ, что ѣду въ Москву, такъ онѣ расплакались.

— Въ Москву?.. Когда?

— Въ это воскресенье.

— Вѣрно, по случаю вашей тяжбы?

— Да, Илья Сергѣевичъ! Наше дѣло перешло въ сенатъ.

— Вотъ что!.. Ну, конечно, ѣхать надобно.

— Да будетъ ли отъ этого какая-нибудь польза, — сказала Мирошева. — Вотъ Прохоръ жилъ въ Саратовѣ и денегъ много истратилъ, а что изъ этого вышло?

— Да это что! — прервалъ Вертлюгинъ. — Саратовъ—что Саратовъ!.. Это еще, матушка, цвѣточки: на гражданскую палату есть управа; а вотъ какъ въ сенатѣ-то рѣшать не въ вашу пользу...

— Да почему жъ вы думаете, что въ сенатѣ рѣшать это дѣло не въ нашу пользу, если Кузьма Петровичъ поѣдетъ самъ въ Москву?

— Эхъ, сударыня!.. Ваше дѣло женское, — вы этого не знаете. Нельзя же по дѣлу не имѣть хожденія.

— Да если оно правое.

— И правое, матушка, покажется неправымъ, коли не такъ доложить. Вѣдь въ дѣловой-то запискѣ, по которой докладываютъ, стоитъ иногда одно словечко переставить, или какой-нибудь указъ пропустить, какъ бѣлое покажется чернымъ, а черное бѣлымъ; а изъ этого и выходитъ, что челобитчику надобно быть самому налицо и для рукоприкладства и для иного прочаго. Все-таки лучше, какъ есть кому поклониться, попросить, позабѣжать этакъ—знаете?.. Ужъ это испоконъ вѣковъ ведется, матушка.

— Илья Сергѣевичъ, — сказалъ Мирошевъ, — у васъ есть близкій родственникъ въ сенатѣ...

— Какъ же! Кириллъ Федосѣевичъ Припекинъ, оберъ-секретарь, батюшка!.. Человѣкъ съ вѣсомъ.

— Кабы вы дали мнѣ къ нему письмо.

— Письмо? То — есть рекомендательное письмо?..

Можно!.. Извольте, Кузьма Петровичъ!.. Очень радъ!.. Очень радъ!.. Да, конечно, это будетъ не худо.

— Какъ я вамъ благодаренъ!

— Помилуйте, что такое! Мы съ нимъ люди свои... Я же не то, чтобъ сталъ просить о вашемъ дѣлѣ, — объ этомъ вы ужъ сами его попросите, — я только отрекомендую васъ. Да сдѣлайте милость, чтобъ это осталось между нами!.. Не то, чтобъ я опасался, что Курочкинъ будетъ на меня въ претензіи за эту рекомендацію, нѣтъ, — что мнѣ Курочкинъ, помилуйте; да вотъ изволите видѣть: дѣло идетъ о графскомъ интересѣ... обнесутъ меня какъ-нибудь передъ его сіятельствомъ, скажутъ, что я дѣйствую противъ его выгодъ... не хорошо!.. Нашему брату, ординарному дворянину заѣдаться съ такимъ вельможею не приходится—понимаете?.. Неловко!

— Будьте спокойны! Я никому не скажу объ этомъ.

— Сдѣлайте милость!.. Да я вѣдь, Кузьма Петровичъ, не даромъ къ вамъ заѣхалъ: во-первыхъ, жена моя свидѣлствуетъ всѣмъ вамъ свое почтеніе... Она все что-то нездорова; кажется, опять желчь поднялась: никто ей угодить не можетъ, все сердится; а вчера еще больше разстроилась... такой вышелъ случай... Матушка, Марья Дмитриевна, помнится, у васъ была примочка отъ ушибовъ,—живая вода что ль...

— Есть, Илья Сергѣевичъ.

— Одолжите мнѣ скляночку. Ванечка у меня ушибся.

— Племянникъ вашъ?

— Да, матушка! Сорвался какъ-то вчера съ голубятни, да такъ ногу зашибъ, что всю ночь прокричалъ.

— Скажите пожалуйста!.. Чтожъ, вамъ теперь дать?

— Нѣтъ, сударыня, мнѣ еще надобно въ Хоперскѣ побывать. Если милость ваша будетъ, пришлите ко мнѣ на домъ съ человѣкомъ, да велите ему подождать; я ужъ съ нимъ и рекомендательное письмо къ вамъ доставлю. Прощайте, матушка, Марья Дмитриевна!.. Дай Богъ вамъ, Кузьма Петровичъ, всякаго

успѣха!.. Право, отъ искренней души желаю... Да смотрите же, о письмѣ ни гу-гу!.. Пожалуйста, помалчивайте!

— Будьте спокойны.

Вертлюгинъ уѣхалъ, и въ тотъ же самый день, дѣйствительно, доставилъ Мирошеву обѣщанное письмо къ своему дядюшкѣ, Кириллу Федосѣвичу Припекину.

Кажется, не нужно говорить, что первая недѣля поста показалась весьма коротка для Марьи Дмитріевны, что она и Варенька очень часто плакали. Наконецъ, наступилъ часъ отъѣзда. Я не буду вамъ описывать прощанья Мирошева съ его семействомъ. Какъ нѣкогда вся деревня и дворня встрѣчали новаго своего барина, точно такъ же провожали его теперь всѣ крестьяне и дворовые; но только тогда это дѣлалось по необходимости и отчасти по любопытству, а теперь всѣ пришли, какъ дѣти, проститься съ отцомъ своимъ, и всѣ сговорились, проводить барина, отправиться въ церковь отслужить молебенъ и просить Господа, да напутствуетъ Онъ его своимъ благословеніемъ. Мамушка Игнатъевна, прощаясь съ Кондратычемъ, сунула ему за пазуху мѣшечекъ съ мѣдными деньгами и шепнула на-ухо:

— На-ка, батюшка, возьми: поставь въ Москвѣ алтынную свѣчу Иверской Божіей Матери, да Спасу Милостивому, да всѣмъ московскимъ угодникамъ по грошевой свѣчѣ; а тамъ, коли что останется, побереги для себя, на чужой сторонѣ все пригодится.

Долго не могъ Кузьма Петровичъ вырваться изъ объятій жены своей и дочери: онѣ цѣловали его, обливали слезами, крестили. Наконецъ, надобно было разстаться. Мирошевъ сѣлъ въ кибитку, Прохоръ помѣстился на облучкѣ.

— Ну, Ерема, — сказалъ онъ кучеру, — съ Богомъ!

Кибитка тронулась.

— Съ Богомъ! — закричали вслѣдъ отъѣзжающимъ крестьяне и дворовые.

Марья Дмитріевна и Варенька не могли ничего выговорить отъ слезъ; Дуняша также рыдала.

— Батюшка ты нашъ, отецъ родной,—проговорилъ староста Пареевъ.—Помоги тебѣ Господи и Мать Пресвятая Богородица!.. Ну, ребята,—продолжалъ онъ, обращаясь къ крестьянамъ,—теперь въ церковь.

И вся толпа двинулась тихимъ шагомъ и чинно по дорогѣ, ведущей въ село Вознесенское.

XXVI.

О томъ, какъ весело ѣздить зимою на долгихъ, и что значить у насъ на Руси извѣстное словечко: «что пожалуете!»

Если вамъ случалось ѣздить зимою верстъ за шесть-сотъ на долгихъ, и вы въ продолженіе этого безконечнаго путешествія не позавидовали ни разу суркамъ, которые спятъ безъ просыпѣ по нѣскольку мѣсяцевъ сряду, то ужъ тогда я позавидую вашему терпѣнію. Плестись нога за ногу по снѣговой пустынѣ, любоваться съ утра до вечера на голыя деревья, обвѣшанныя инеемъ, не видѣть ни рѣкъ, ни озеръ, не различать вдали бѣлаго неба съ бѣлою землею, въ оттепель тонуть на каждомъ шагу въ зажорахъ, въ морозъ зябнуть по нѣскольку часовъ сряду, и потомъ отогрѣваться или въ курной избѣ, въ которой вы задыхаетесь отъ дыму, или въ холодной свѣтлицѣ, въ которой морозятъ таракановъ,—все это вовсе не забавно, и все это ничего въ сравненіи съ другимъ, необходимымъ мученіемъ всякаго зимняго путешественника, если онъ ѣдетъ въ нашей русской незатѣйливой кибиткѣ, нагруженной до верху чемоданами, периной, подушками, однимъ словомъ, всѣмъ тѣмъ, безъ чего у насъ и теперь еще не пускаются въ дальнюю дорогу. Въ такой кибиткѣ сидѣть нельзя: въ ней должно лежать, и, надобно сказать правду, лежать въ ней очень спокойно. Если ваше путешествіе продолжается одну

только ночь, то вы, вѣрно, не промѣняете этого дубочнаго экипажа съ рогожнымъ верхомъ ни на какой щегольской дормезъ; но лежать нѣсколько дней, а иногда нѣсколько недѣль орядѹ, лежать, когда вы чувствуете себя совершенно здоровымъ,—да это такое наказаніе, что не приведи, Господи! Я испыталъ на себѣ всю прелесть этого дорожнаго *far niente*. Первые сутки проходили у меня обыкновенно въ размышленіяхъ: я вспоминалъ о прошедшемъ, думалъ о настоящемъ, мечталъ о будущемъ. Наконецъ, бывало, какъ все переделаю, начну разсматривать рогожный потолокъ кибитки, который опускается раздавленнымъ сводомъ надъ моею головою; потомъ, чтобъ разнообразить свои удовольствія, гляжу въ затылокъ ямщику и замѣчаю, которая изъ пристяжныхъ помогаетъ дружнѣ коренной тащить мою повозку; то полежу на спинѣ, то прилягу на лѣвый бокъ, то повернусь на правый, а вотъ на третьи сутки это непрерывное лежанье до того мнѣ надоѣстъ, что я, несмотря на трескучій морозъ, рѣшусь, наконецъ, присѣсть на облучкѣ; но черезъ нѣсколько минутъ у меня прозябнутъ ноги; я пойду пѣшкомъ, чтобъ согрѣть ихъ... опять бѣда: хорошо ходить пѣшкомъ въ легкомъ и свободномъ платьѣ; но я навьюченъ какъ верблюдъ, на мнѣ около пуда всякой мягкой рухляди; ноги мои не успѣютъ еще порядкомъ согрѣться, а я ужъ задохнулся. Дѣлать нечего: ложись опять на перину и принимайся снова смотрѣть въ спину ямщику или считать ряды въ цыновкѣ, которою обита внутренность твоей кибитки. Весело, что и говорить,—очень весело!

Кузьма Петровичъ былъ терпѣливѣе меня: цѣлыхъ девять дней онъ пролежалъ спокойно въ своей кибиткѣ; такъ же, какъ и я, переворачивался съ-боку-на-бокъ, думалъ, мечталъ, глядѣлъ на пристяжныхъ и разсматривалъ спину своего кучера; но подъ конецъ и его терпѣніе кончилось. Въ десятый день, когда оставалось только двѣ упряжки до Москвы, Кузьмѣ Петровичу до того стало скучно лежать и не говорить ни

слова, что онъ рѣшился пригласить Кондратьича, который сидѣлъ на козлахъ, переселиться къ нему въ кибитку.

— Эй, Прохоръ!—закричалъ онъ, высунувъ изъ-подъ кибиточнаго лучка свою голову.

— Что, батюшка, Кузьма Петровичъ!—спросилъ Кондратьичъ, сдѣлавъ полуоборотъ направо.

— Да что ты все сидишь съ Еремою?

— А гдѣ же мнѣ сидѣть, сударь?

— Прилягъ ко мнѣ въ кибитку.

— Что вы, батюшка, помилуйте! Что я за свинья такая: лягу я съ вами рядышкомъ!

— Да у тебя, чай, спина болитъ?

— Ничего, сударь. Вотъ, Богъ дастъ, приѣдемъ въ Москву, такъ я схожу въ баню, да распарю свои косточки. Эй вы, сердечныя!.. Трогай лѣвую-то пристяжную, Ерема: вишь, она ничего не везетъ!

Разговоръ прекратился. Помолчавъ нѣсколько минутъ, Мирошевъ закричалъ опять:

— Эй, Прохоръ!

— Чего изволите?

— Ложись въ кибитку.

— Воля ваша, сударь, не лягу!

— Да мнѣ, Кондратьичъ, скучно все лежать да молчать; мы бы поговорили. Ложись!

— Совѣстно, Кузьма Петровичъ. Ну, какъ это можно... помилуйте.

— Полно, братецъ, что за совѣсть въ дорогѣ?

— Оно такъ, сударь: въ дорогѣ и отецъ сыну то-варищъ; да мнѣ, право, какъ-то зазорно...

— Эхъ, Прохоръ, надоѣлъ! Ложись, говорятъ тебѣ!

— Ну, если вы приказываете, такъ дѣлать нечего.

Прохоръ подлѣзъ подъ рогожный верхъ кибитки и прилегъ бочкомъ подлѣ своего барина.

— Что-то, Прохоръ, у насъ теперь въ Хопровкѣ дѣлается?—сказалъ Мирошевъ.

— Богъ милостивъ, батюшка, — отвѣчалъ Кон-

дратычъ: — чай, все по добру, по здорову. Я боюсь только за старосту Пареена:

— А что такое? Вѣдь онъ старикъ добрый.

— Конечно, не злой, да такой рахманный, что не приведи, Господи. Теперь покажѣтъ ничего, а вотъ какъ работа начнѣтся, такъ врядъ ли онъ справится. При насъ онъ еще бредетъ кой-какъ, а безъ насъ лучше было бы вамъ поставить старостою Луку Андреева.

— Что ты, Прохоръ, — пьяница!

— Пьянъ да исправенъ, сударь. У него и дуракъ не хуже умнаго свое дѣло справить; а дураковъ-то въ Хопровкѣ не занимать стать.

— Ихъ, Прохоръ, вездѣ много; да зато, я думаю, и ладить-то съ ними легче, чѣмъ съ умными.

— Легче?.. Что вы, батюшка! Случалось ли вамъ бывать на крестьянскихъ сходкахъ?

— Нѣтъ, не случалось.

— А я бывалъ. Вотъ тутъ-то, батюшка, посмотрѣли бы вы, какъ дураки-то гарцуютъ. Вѣдь дѣло извѣстное: передъ народомъ тотъ и правъ, кто громче кричитъ; а вѣдь дураки-то, сударь, какъ нарочно всѣ преголосистые. Одинъ заоретъ, а другіе подхватятъ; не успѣешь оглянуться, а ужъ ихъ цѣлая ватага. Вѣдь они, сударь, всѣ другъ за друга стоятъ. Попытайся-ка только съ однимъ дуракомъ схватиться, откуда возьмется ихъ видимо-невидимо, такъ и налетятъ со всѣхъ сторонъ! «Куда, ребята; что вы за люди такіе?» — «Дураки, дескать, — бѣжимъ выручать товарища!» Нѣтъ, сударь: куда смирному человѣку возиться съ дураками; съ ними надобно горло да горло, а подчасъ и дубинку! А Пареевъ что? Его всякая баба загоняетъ.

— И, Прохоръ, что объ этомъ думать? Пошло бы только хорошо въ Москвѣ, а дома какъ-нибудь справимся... Да что это намъ Москва-то не дается?.. Ыдемъ, ѣдемъ...

— Должно бы, кажется, сегодня пріѣхать.

— Посчастливится ли намъ, Прохоръ, хоть въ Москвѣ-то?

— Авось, батюшка! Богъ милостивъ! Помните ли, какъ мы, лѣтъ девятнадцать тому назадъ, ѣхали съ вами также въ Москву? Что у насъ было тогда впереди? Ничего! У меня въ мошнѣ пусто, да и у васъ въ карманѣ-то хоть въ горѣлки играй. А на кого была надежда? Все-таки на Бога. Тѣперь мы, по крайней мѣрѣ, знаемъ, зачѣмъ ѣдемъ въ Москву; а тогда ѣхали такъ — наудачу, да и наткнулись на Хопровку. Эхъ, батюшка, доброму человѣку Богъ невидимо помогаетъ!

— Правда, Прохоръ, правда! Не знаю, добрый ли я человѣкъ, а какъ взглянешь назадъ, — подлинно, Богъ никогда меня не покидалъ. Я остался круглымъ сиротою, безъ всякаго пристанища; а дай, Господи, каждому дожить до моихъ лѣтъ, какъ я дожилъ!

— Конечно, сударь, конечно! И еслибъ Господь не насладъ на насъ этого мошенника Курочкина...

— Почему знать, можетъ-быть, и это къ лучшему?

— Къ лучшему! Что вы, помилуйте!.. Да коли и нашъ верхъ будетъ, такъ мы все-таки не воротимъ того, что истратили. Отъ васъ, батюшка, все станется! вы, пожалуй, не захотите взыскать съ Курочкина за протори и убытки?

— Сохрани, Боже!.. Стану я заводить новое дѣло!

— Вотъ то-то же, сударь! А мало ли мы газны потратили? Да еще впереди сколько харчей будетъ!.. Пиши — все пропало! Такъ изъ этого, батюшка, и выходитъ, что коли Господь Богъ и постоитъ за наше правое дѣло, а все бы лучше, еслибъ вамъ не зачѣмъ было ѣхать въ Москву.

— Нѣтъ, Прохоръ, не говори! Мало ли что для насъ кажется бѣдою и несчастьемъ, а глядишь — выйдетъ совсѣмъ другое. Помнишь, какъ бывший сослуживецъ Фурсяковъ сдѣлался моимъ командиромъ, сталъ гнать меня безъ всякой причины и заставилъ наконецъ подать въ отставку? Ты и тогда говорилъ то же самое: «Чѣмъ мы прогнѣвили Господа, за что Онъ по-

сладъ на насъ этого злодѣя? Если бъ не онъ, такъ вы бы, Кузьма Петровичъ, служили да служили!».. Ну, а чтобы изъ этого вышло?

— А Богъ знаетъ, сударь. Вѣдь хуже бы отъ этого не было. Вы не скоро бы провѣдали, что вамъ досталось наслѣдство, а все-таки Хопровка отъ насъ бы не ушла.

— А женился бы я тогда на Марьѣ Дмитриевнѣ?

— Да-съ, наврядъ бы. Вѣдь черезъ недѣлю послѣ вашей отставки полкъ выступилъ въ походъ, и вотъ ужъ сколько годовъ, какъ о немъ въ нашей сторонѣ и слуху и духу нѣтъ. А что, сударь, чай, ужъ теперь въ нашемъ полку-то никого изъ прежнихъ служивыхъ не осталось?

— Можетъ-быть и есть кто-нибудь изъ офицеровъ.

— Полно, есть ли? Чай, ихъ всѣхъ разогналъ этотъ выскочка Фурсиковъ. Экій озорникъ, подумаешь! Кого онъ только не обижалъ? И добро бы ужъ тогда, какъ его произвели въ начальники; то дѣло другое: передъ командиромъ всякій безъ вины виноватъ; а то еще какъ былъ простымъ офицеромъ, такъ и тутъ отъ него никому житья не было. А вѣдь не то, чтобы храбраго десятка. Однажды при мнѣ онъ наскочилъ на Костоломова, такъ тотъ его такъ пугнулъ, что онъ и мѣста не нашелъ. Вы изволите помнить Костоломова?

— Какъ же не помнить: мы съ нимъ служили въ одномъ эскадронѣ.

— Вотъ, сударь, былъ бравый офицеръ! Весельчакъ, гуляка, а вѣдь предобрый.

— Да, это правда; жаль только, что попивалъ.

— Такъ чтожъ за бѣда, сударь? Пилъ, да ума не пропивалъ; а вѣдь не даромъ говорится: «кто пьянъ да уменъ, два угодыя въ немъ». Бывало, Фурсиковъ натянется, такъ ужъ къ нему и не подходи — словно цѣпная собака; не успѣлъ вынуть третей чарки и пошелъ ко всѣмъ придирается. А Костоломовъ какъ хватить, бывало, порядочную красоулю, такъ весь на распашку, — что хочешь бери, со всѣми другъ и пріятель!

Начнетъ крутить усы, подбоченится — и пошла потѣха! Помните ли, въ Польшѣ: нагонитъ жидовъ на цымбалахъ, на скрипичахъ, — плясуны, пѣсельники!.. Валяй, да и только! А какъ самъ пораспотѣшится да крикнетъ: «подымай выше», да подхватитъ панночку, да начнетъ съ ней краковяку... тѣфу, ты, батюшки, дымъ коромысломъ!.. Что и говорить — залихватскій малый!.. А ужъ, бывало, обидѣтъ ни за что никого не обидитъ!

— Полно, такъ ли, Прохоръ? Миѣ помнится, онъ иногда...

— Ну, что сударь?.. Жида за песики оттаскаетъ, нѣмцу дастъ подзатыльникъ? Эка важность! А если надобно кому помочь, такъ первый-то кто? Костоломовъ!.. Помните ли, какъ мы проходили Польшу и Фурсиковъ, для потѣхи, застрѣлили у жида корову?.. Бѣдный жидокъ такъ и завопилъ! Вы дали ему рубль, а Костоломовъ отдалъ послѣдніе три рубля, да распозорилъ Фурсикова на чемъ свѣтъ стоитъ! Въ другой разъ, когда мы проживали въ Нѣметчинѣ, разсердилъ его чѣмъ-то хозяинъ; Костоломовъ сгоряча съѣздилъ его по затылку; а послѣ что?.. Покуда мы въ этой деревнѣ стояли, каждый день давалъ ему на шнапсъ!.. Нѣтъ, сударь, добрый былъ баринъ, добрый!

— Конечно, въ немъ много было хорошаго, и если бъ онъ не былъ такимъ гулякою...

— Гулякою!.. Что гульба, сударь! Вотъ какъ нашъ братъ старикъ начнетъ не въ мѣру гулять, такъ что и говорить, — стыдно! А народъ молодой, служивый, въ походѣ... Эхъ, сударь, сударь, кто бабушкѣ не внукъ?

— Вотъ мы теперь о немъ разговорились, Прохоръ, а живъ ли онъ?

— Богъ знаетъ, Кузьма Петровичъ! Вѣдь, кажется, въ послѣднее сраженіе онъ тяжело былъ раненъ?

— Да, очень тяжело. Онъ остался въ Пруссіи, и какъ я вышелъ въ отставку, такъ о немъ еще не было въ полку никакого извѣстія.

— Видно, сердечный, положилъ свои косточки на чужой сторонѣ. Дай Богъ ему царство небесное! Да и вѣрно Господь его помилуетъ. Всѣ мы, батюшка, грѣшники, всѣ родимся и живемъ во грѣхахъ; да не у всякаго бываетъ такая простая душа, какъ у него. Добрый былъ человекъ, добрый!.. Ерема, что близко до деревни?

— Недалеко, Прохоръ Кондратьичъ, — отвѣчалъ кучеръ. — Вонъ и околица.

— А что, мы отъ ночлега — то верстъ двадцать-пять отѣхали?

— И всѣ тридцать будетъ.

— Такъ не покормить ли намъ въ этой деревнѣ, Кузьма Петровичъ?

— Пожалуй. А что это, Ерема, село что ль?

— Село сударь, и, кажись, большое.

— Такъ вѣрно есть постоянные дворы. Какъ въѣдешь въ улицу, остановись у перваго.

— Слушаю, сударь.

Когда наши дорожные въѣхали въ селеніе, Прохоръ вылѣзъ изъ повозки. Въ одну минуту окружила его цѣлая толпа *зазывальщиковъ*; въ числѣ ихъ было нѣсколько бабъ и мальчишекъ: ихъ пискливые и пронзительные голоса рѣзко отдѣлялись отъ охриплыхъ и дрожащихъ голосовъ сѣдыхъ стариковъ и старухъ, которые, несмотря на свою дряхлость, не менѣе другихъ суетились и приставали къ проѣзжающимъ.

— Милости просимъ, господа честные, сюда, — у меня изба со свѣтлицею!..

— Полно, бабушка, не хвастай, что за свѣтлица, — чуланъ съ окномъ! Пожалуйте, батюшка, къ намъ: изба бѣлая, дворъ знатный, подъ навѣсомъ...

— Не слушайте его — вретъ: двориска маленькій! Къ намъ милости просимъ: сѣно важное, овесъ отличный — овинный! Вотъ посмотрите!.. Осетрина свѣжая... похлебка съ рыбой!..

— Господа честные, господа честные, милости просимъ!.. Вонъ подлѣ церкви!.. У насъ все есть: калачи

московскіе, бѣлужина, а ужъ просторъ - то какой — просторъ!..

— Что ты господъ - то морочишь, колотовка: изба биткомъ набита! Не слушайте ее, пожалуйста сюда!..

— Баринъ, баринъ!.. Дядюшка, наша изба лучше всѣхъ!..

— Ахъ, ты, щенокъ этакій, избенка на-боку! Нѣтъ, хозяинъ, милости просимъ къ намъ — Андронъ Прокотьевъ, — насъ всѣ знаютъ: всѣ господа и купцы у насъ останавливаются...

— Да, да, всѣ купцы! А что ты съ нихъ дерешь-то, жидъ этакій?..

— Ну, не ругайся же... смотри!.. Пожалуйста, пожалуйста!

Прохоръ, какъ человѣкъ бывалый, далъ имъ сначала накричаться до-сыта, потомъ спросилъ старика, который приставалъ къ нему менѣе другихъ, о цѣнѣ овса и сѣна, сторговался съ нимъ за ужинъ и постой, и наши дорожные вѣхали наконецъ на обширный крытый дворъ большой двухъ-этажной избы съ красными окнами.

— Что это за повозка, хозяинъ?—спросилъ Мирошевъ, выѣзая изъ кибитки.

— Проѣзжій, батюшка.

— Одинъ?

— Одинъ со слугою. Да ты не бойся, кормилецъ: будетъ всѣмъ мѣсто, изба большая; а коли угодно, такъ у меня и другая изба есть!

Кондратьичъ остался при повозкѣ, а Кузьма Петровичъ вошелъ въ избу. За столомъ подъ образами сидѣлъ мужчина лѣтъ пятидесяти; на немъ былъ надѣтъ нараспашку овчинный калмыцкій тулупъ, крытый китайкою. Красный шейный платокъ лежалъ передъ нимъ на столѣ вмѣстѣ съ огромными томпаковыми часами и табачнымъ, въ серебряной оправѣ, рожкомъ изъ черной кости. Этотъ проѣзжій по виду казался человѣкомъ сильнымъ и здоровымъ; полное, румяное лицо его выражало безпечную веселость, простодушіе и доброту.

Когда Кузьма Петровичъ вошелъ въ избу, проѣзжій, окончивъ свой обѣдъ, запивалъ его чаркою водки, которая въ дорожной флягѣ стояла подлѣ него на скамьѣ. Онъ очень вѣжливо разбѣнялся поклономъ съ Мирошевымъ и, обратясь къ хозяину, который также вошелъ въ избу, сказалъ:

— Ну, что, старина, слуга мой поѣлъ?

— Поѣлъ, батюшка,—отвѣчалъ хозяинъ.

— А ямщикъ управился?

— Сейчасъ станетъ впрягать: повелъ лошадей поить.

— Добро!.. А за мой обѣдъ что?

— Что, батюшка, пожалуешь.

— Эхъ, братецъ, терпѣть не могу ваше: «что пожалуешь!» Говори толкомъ, что тебѣ надобно?

— Да что, кормилецъ... воля твоя, что пожалуешь!

— Охъ, вы, большедорожники! Съ вами ничего нельзя безъ уговора. «Что пожалуешь!»—а самъ норовить взять втрое.

— Что ты, батюшка! Да развѣ я нехристь какая?.. Ужъ и втрое!..

— А что, небось, только вдвое?.. Ну, говори же проворнѣй: что тебѣ за мой обѣдъ надобно?

— Что пожалуешь.

— Фу, ты, пронасть, наладилъ одно да одно! Ну, слушай: я щей похлебалъ, бѣлужины поѣлъ, каши съ масломъ... ну, что за все?

— Что пожалуешь.

— Постой же ты, старый хрѣнь,—вскричалъ проѣзжій,—я тебя отучу говорить «что пожалуешь». На вотъ тебѣ, — продолжалъ онъ, вынимая изъ кармана мѣдную копѣйку;—вотъ тебѣ за обѣдъ.

Старикъ взялъ копѣйку, положилъ ее преспокойно въ свою мошну и, отвѣсивъ низкій поклонъ, сказалъ:

— И тѣмъ довольны, батюшка!

— Да что ты думаешь, я шучу что ль?—спросилъ проѣзжій, взглянувъ съ удивленіемъ на хозяина.—Слышишь ли, я не дамъ тебѣ ни полушки больше этого!

— Слышу, кормилецъ!

— Впередъ не говори «что пожалуешь». Ну, что, на дворѣ-то какъ?

— Да больно сиверко, батюшка; не по времени.

— Намъ, кажется, ѣхать лѣсомъ?

— Какой лѣсъ, баринъ!.. Такъ, лѣсишка рѣденъ-кій, прогонистый, кой-гдѣ деревцо. Вотъ около Москвы такъ лѣсу довольно; только, бають, дорога такая, что не приведи Господи! Нырнешь въ ухабъ, такъ свѣту Божьяго не видно.*

— Поторопиться же пріѣхать за-свѣтло въ Москву. Поди-ка, хозяинъ, скажи, чтобъ мнѣ поскорѣ лошадей закладывали.

Старикъ не трогался съ мѣста, пожимался и молча чесалъ у себя въ затылкѣ.

— Ну, чего дожидаясь? — продолжалъ проѣзжій. — Вѣдь мы съ тобой разсчитались?

— Не совсѣмъ еще, кормилецъ, — сказалъ старикъ: — ты заплатилъ за обѣдъ, а за постой-то?

— За постой?.. Ну, что ты хочешь?

— Полтинничекъ надобно, баринъ.

— Полтинникъ?!.. Что ты, въ умѣ ли?

— Вѣстимо, батюшка, что и говорить — маленько! Надобно бы цѣлковенькій, да ужъ такъ и быть, — баринъ-то ты добрый!..

— Да я нигдѣ и съ обѣдомъ больше пятацтыннаго не платилъ.

— Всяко бываетъ, батюшка, — каковъ уговоръ.

— И ты думаешь, что я тебѣ заплачу?

— А коли не заплатишь, баринъ, такъ я и со двора не спущу.

— Не спустишь со двора! — вскричалъ проѣзжій, и глаза его засверкали. — Ахъ, ты, козлиная борода! Полтинникъ за постой!

— За что гнѣваться изволишь, господинъ честной? — продолжалъ спокойно старикъ. — Вѣдь я не спорилъ съ тобой, какъ ты пожаловалъ мнѣ за обѣдъ копѣечку? Ты о постой со мной не уговаривался, а я за ѣду сказалъ тебѣ: что пожалуешь; такъ оба мы вольны: ты

платить за объѣдъ, что хочешь, а я брать за постой, что мнѣ вздумается.

Проѣзжій замолчалъ; на лицѣ его изобразились по-прежнему спокойствіе и безпечная веселость; онъ улынулся и сказалъ:

— Правда, правда, самъ сплеховаль!.. Ну, старина, поддѣлъ ты меня... Нечего дѣлать!.. На, вотъ тебѣ полтинникъ!

— Покорнѣйше благодарю, батюшка! Дай Богъ тебѣ много лѣтъ здравствовать!

— Ну, ужъ вы подмосковные мужички! Дать бы вамъ каждому жиденка по два на выучку, то-то-бы пошла порода!

— И, кормилецъ, чему жидамъ у насъ учиться? Мы народъ простой, безграмотный.

— Добро, добро, старикъ, рассказывай!.. Нѣтъ, любезный, знаю я васъ!.. Кто вашего брата проведетъ, тотъ двухъ дней не проживетъ.

— И, батюшка, гдѣ намъ! Да насъ глупыхъ людей походя всѣ обманываютъ.

— Да, какъ же—обманешь васъ! Нѣтъ, братъ, не даромъ есть поговорка: «Цыгана обманетъ жидъ, жидъ обманетъ русскій мужичекъ, а ужъ русскаго - то мужичка самъ чортъ не проведетъ».

— Ахъ, ты, баринъ-батюшка, какой ты затѣйникъ!

— Ну, ступай, старинушка, ступай! Скажи, чтобъ закладывали проворнѣй.

— Разомъ запрягутъ, кормилецъ, разомъ!—сказалъ хозяинъ, переминаясь попрежнему на одномъ мѣстѣ и почесывая въ головѣ.

— Ну, чтожъ ты нейдешь?—закричалъ проѣзжій.—Ступай!

— Да какъ же, батюшка,—промолвилъ старикъ съ низкимъ поклономъ:—за постой ты изволилъ заплатить, а за тепло-то что!

— За тепло?.. За какое тепло?

— А какъ же? За постой, батюшка, ты и лѣтомъ бы заплатилъ, а теперь зима.

— Такъ чтожъ?

— Какъ что?.. Вѣдь я избу - то не даромъ топлю: вѣдь у насъ дрова покупныя. Двугривенный надобно, кормилецъ.

— Двугривенный?!—повторилъ проѣзжій, вставая.

— Эхъ, баринъ, баринъ, — продолжалъ спокойно хозяинъ, — что тебѣ двугривенный? Да я еще дешево попросилъ съ твоей милости, — промолвился!

— Ахъ, ты, ненасытная утроба, бездѣльникъ ты этакій!.. Да что вы, разбойники, въ самомъ дѣлѣ! Иль вамъ здѣсь воля на большихъ - то дорогахъ грабить проѣзжающихъ?.. Да что, на васъ управы что ль нѣтъ?

— Да вѣдь, батюшка, это дѣло любовное. Не прогнѣвайся, уговору не было, а всякій у себя въ дому хозяинъ.

— Право?.. Погоди же, дружокъ!—прервалъ проѣзжій. — Если на тебя управы нѣтъ, такъ я и самъ съ тобой управлюсь.

— Да ты, баринъ, не буйнь, — сказалъ старикъ, отступя шагъ назадъ. — Вѣдь здѣсь не глушь какая; здѣсь нахрапомъ ничего не возьмешь.

— А вотъ я тебя, мошенникъ!—вскричалъ вспылчиво проѣзжій, схвативъ хозяина за воротъ.

— Тише, тише!—сказалъ Мирошевъ, который во все это время всматривался въ проѣзжаго. — Полно, Егоръ Васильевичъ, — не горячись!

Проѣзжій кинулъ хозяина, взглянулъ пристально на Кузьму Петровича и съ радостнымъ крикомъ бросился къ нему на шею.

XXVII.

РАЗГОВОРЪ ДВУХЪ СОСЛУЖИВЦЕВЪ. СТАРЫЙ ХОЛОСТЯКЪ.

— Дядюшка Мирошевъ! Ты ли это?—проговорилъ наконецъ проѣзжій, обнимая, или, вѣрнѣй сказать, давя въ своихъ объятіяхъ Кузьму Петровича.

— Ну да, Костоломовъ, это я, твой старый сослуживецъ.

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. Сколько лѣтъ, сколько зимъ!... Здравствуй, товарищъ!

И Костоломовъ принялся опять душить Мирошева.

— Да полно, братецъ, перестань!—сказалъ Кузьма Петровичъ, стараясь высвободиться изъ объятій своего дюжого однополчанина.—Ну, прямой ты Костоломовъ,—всѣ кости переломалъ!

— Да я, братецъ, такъ радъ, что и сказать нельзя!.. Легко ли, безъ малаго двадцать лѣтъ!.. Да ты вовсе не перемѣнился; сталъ подороднѣе и посѣдѣлъ немножко... Ахъ, ты, мой голубчикъ!.. Ну, не ожидалъ я такой радости!.. Сядемъ-ка, братъ, рядкомъ, да поговоримъ ладкомъ... А ты что стоишь? — продолжалъ Костоломовъ, обращаясь къ хозяину.—На, вотъ тебѣ двугривенный!.. Подавись имъ!

— Много благодарны вашей милости!.. А что, баринъ, на водку-то пожелаешь?..

— На водку!.. Ахъ, ты, старичишка окаянный!.. Да сгинь ты съ глазъ, проклятый!..

— Иду, кормилецъ, иду! Сейчасъ велю запрягать твою повозку.

Старые сослуживцы усѣлись на скамьи подъ образа. Костоломовъ помялъ еще раза два Мирошева, и наконецъ, когда первый восторгъ его миновалъ, спросилъ, куда онъ ѣдетъ?

— Въ Москву,—отвѣчалъ Мирошевъ.

— И я туда же!.. Такъ мы попутчики. Знаешь ли что, дядюшка: или ты садись ко мнѣ въ кибитку, или я къ тебѣ сяду,—да такъ и поѣдемъ до Москвы.

— А что и въ самомъ дѣлѣ, Егоръ Васильевичъ!.. Садись ко мнѣ: у меня повозка просторная.

— Добре!.. Ну, что, братъ Кузьма, какъ поживаешь, что подѣливаешь?

— Славу Богу, живу понемножку.

— А гдѣ твое житье-бытье?

— Въ Новохоперскомъ уѣздѣ.

— Что у тебя, деревня что ль есть?

— Есть небольшая деревнишка.

— И мнѣ также, братъ, дворовъ тридцать послѣ батюшки досталось, въ пяти верстахъ отъ Сапожка. Деревенька хоть куда!.. Ну, что, дядюшка, ты, чай, ужъ давно завелся хозяйкою?

— Да, вотъ скоро девятнадцать лѣтъ.

— И дѣтки есть?

— Одна дочь. А ты, Егоръ Васильевичъ, женатъ?

— Нѣтъ еще, братецъ; все собираюсь.

— Смотри, не опоздай.

— Эхъ, дядюшка, полно, не опоздалъ ли? Прежде я самъ не хотѣлъ жениться, а теперь за меня никто нейдетъ.

— Помилуй, Егоръ Васильевичъ, да ты еще молодецъ!

— Нѣтъ, братъ, укатали коня крутыя горки!.. Нѣтъ, братъ, ужъ теперь не то!.. Помнишь ли бывало, въ старину?.. Э, да что объ этомъ говорить! Мало ли что было, да бывшемъ поросло!

— Ты вѣдь, кажется, Егоръ Васильевичъ, былъ тяжело раненъ и оставался въ Пруссіи?

— Да, братецъ, чуть не умеръ; мѣсяцевъ шесть провалялся, а тамъ сталъ чахнуть: однѣ кости да кожа остались. Вотъ, думаю: «Плохо дѣло, не хочется умирать на чужой сторонѣ; дай, попытаюсь,—авось доѣду какъ-нибудь до матушки святой Руси». Потащился на нѣмецкихъ форшпанахъ, доѣхалъ до нашей границы; это было зимою. Чтожъ ты думаешь, братецъ? Какъ повѣяло на меня русскимъ духомъ, да прохватило морозцемъ, такъ вовсе не тотъ сталъ: откуда взялись и бодрость и сила! Я прожилъ еще на покоѣ мѣсяца два у батюшки, да и явился опять на службу. Ну, братъ, не узналъ я нашего полка! Старыхъ офицеровъ почти никого, солдатъ также; а что хуже-то всего—Фурсиковъ командиромъ! Прослужилъ я этакъ около года: отъ начальника житья нѣтъ; товарищи или молокососы, или командирскіе наушники, или такъ же, какъ я, въ загонѣ. Тошно стало!.. Добро бы еще я могъ отвести душу, да какъ, бывало, въ старину, плюнуть

Фурсикову въ рожу; нельзя,—командиръ! Нечего дѣлать,—подавъ въ отставку. Приѣхалъ домой: покойный батюшка лежитъ на столѣ. Грустно, братецъ, стало, больно грустно! Вѣдь онъ у меня былъ одинъ-одинехонекъ: ни матери, ни братьевъ, ни сестеръ. Ну, дѣлать нечего! Поплакалъ, похоронилъ родного, остался на житье въ деревнѣ и занялся хозяйствомъ. Вотъ такъ черезъ годъ надоѣло мнѣ сидѣть, зимою поджавши руки, а лѣтомъ присматривать съ утра до вечера за работою; началъ я знакомиться съ сосѣдами, завелъ себѣ двухъ борзыхъ да лихого горскаго коня, сталъ ѣздить въ отъѣзжія поля, травить зайцевъ;—пошла потѣха!.. Охотничья жизнь какъ-будто бы на военную стать: и ночь не доспишь, и поздно ляжешь, и на плащѣ въ чистомъ полѣ отобѣдаешь, цѣлый день на конѣ, то подъ дождемъ, то на солнышкѣ—славно! У моихъ товарищей-охотниковъ у кого была дочка на возрастѣ, у кого сестрица въ законныхъ лѣтахъ. Вотъ и стали ко мнѣ свахи похаживать: «и та хороша, и эта пригожа»; а я думаю: «Что торопиться? Успѣю еще навязать себѣ жену на шею!» Откладывалъ, да откладывалъ, годъ за годъ; глядь-поглядь—еже, ужъ мнѣ гораздо за сорокъ! Пора завестись хозяйкою; ужъ такъ, знаешь ли, въ зимній-то вечеръ и скучненько,—не съ кѣмъ слова перемолвить. Конечно, холостая жизнь вольная: дѣлай, что хочешь, ступай, куда вздумается; дома тебя никто не ждетъ, ребятишки не плачутъ,—чего бы кажется? Анъ нѣтъ, любезный!... Случилось мнѣ раза два-три прихворнуть,—охъ, тошно, братецъ! Полъ-имѣнья бы отдалъ, чтобъ возлѣ меня сидѣла жена, да играли дѣточки.

— Да, Егоръ Васильевичъ, я думаю, и здоровому то подчасъ грустно бываетъ?

— Не приведи, Господи!.. Бывало, пригласить меня съ собою какой-нибудь сосѣдъ заѣхать къ нему съ поля; посмотришь: въ домѣ все убрано, чисто, жена дожидается за самоваромъ, дѣти бѣгутъ къ нему навстрѣчу; онъ одѣляетъ ихъ заячьими лапками,—шумъ, гамъ, ве-

село, живо!.. А меня холопъ съ пьяной рожей встрѣчаетъ, ключница съ заспанными глазами; вездѣ пыль, сѣрь, безпорядица; въ передней конюшня, въ столовой мальчишки въ козлы играютъ,—срамъ да и только! Вотъ я, наконецъ, рѣшилъ посвататься за одной вдовушкой, лѣтъ двадцати-пяти. Женщина такая бойкая, веселая, хохотунья, глаза черные, бровь дугою—король-барыня! Она меня выслушала, улыбнулась и сказала, что будетъ отвѣчать письменно.

— Чтожъ она тебѣ отвѣчала?

— Да что, братецъ: отказъ какъ шесть! «Вамъ, дескать, батюшка, Егоръ Васильевичъ, безъ малаго пятьдесятъ годовъ, а мнѣ съ небольшимъ двадцать; впрочемъ, я, дескать, васъ очень уважаю, и если вы будете женаты, какъ я стану выходить замужъ, такъ прошу васъ заранѣе въ посаженные отцы». Что будешь дѣлать?.. Какъ не солоно хлебаль!

— Я думаю, это весьма тебя огорчило?

— Нѣтъ, братецъ, не скажу. Вдовушка-то не то, чтобъ очень пришлась мнѣ по-сердцу,—а такъ, жениться больно захотѣлось; она же была у меня подъ руками, въ двухъ верстахъ... Нѣтъ, братъ, горе-то было впереди!

— А что такое?

— А вотъ что: изъ моихъ сосѣдей дружище всѣхъ жилъ со мною Петръ Никитичъ Пышкинъ, также нашъ братъ—старый кавалеристъ. У него была дочка Настенька, лѣтъ двадцати, не то, чтобъ красавица, а такая миловидная, что вотъ такъ бы съ нея глазъ и не сводилъ,—скромная, тихая. Матушка ея, предобрая барыня, любила меня какъ родного; а объ отцѣ и говорить нечего: мы съ нимъ жили душа въ душу. За дочкой больно ухаживалъ одинъ молодчикъ, по имени Иванъ Михайловичъ, а по фамилии Рындиковъ, сынъ бѣднаго дворянина, который служилъ въ Сапожкѣ уѣзднымъ засѣдателемъ. Правда, Пышкины не очень его баловали, да и Настасья Петровна не была съ нимъ вполовину такъ ласкова, какъ со мною. Разумѣется,

братецъ, мнѣ самому и въ голову не пришло бы приволочнуться за этой барышней: ужъ коли вдова забрила мнѣ затылокъ, такъ чего ждать отъ дѣвицы?.. Да вотъ изволишь видѣть: я сталъ замѣчать, что она больно умильно на меня посматриваетъ, а къ тому же и батюшка начнетъ иногда говорить такіе обиняки, и матушка туда же... Вотъ, братецъ, у меня понемножку да понемножку и засѣло въ головѣ. Бывало, я выдаюсь съ Настасьей Петровной раза три-четыре въ недѣлю, а тамъ ужъ сталъ иногда и по два раза въ день за-вертывать.

— Что вижу, Егоръ Васильевичъ, ты вѣнчаться не влюбился?

— Влюбился?.. Что влюбился!.. Я съ молодости часто влюблялся,—да нѣтъ, дядя, это совсѣмъ не то. Я врѣзался по-уши; только о ней и думаю... Засыпаю—Настасья Петровна; проснусь—Настасья Петровна!.. Такой грѣхъ, братецъ: молиться начну—Настасья Петровна! Вотъ однажды уговорили меня ѣхать въ отъѣздъ за двадцать. У меня былъ полвопѣтый кобель, Буянъ,—дикий собака: какой бы ни былъ русакъ, съ первой угонки какъ пить дать!.. Насъ охотилось этакъ помѣщиковъ съ полдюжины: у одного была стая гончихъ, у двухъ-трехъ отличныя борзые, въ томъ числѣ у Пышкина. Травятъ безъ меня: собаки рѣзвые, со мною—всѣ тупицы; лишь только атукнутъ да укажутъ косога, мой Буянъ изо всѣхъ собакъ какъ свѣчка затеплится! А Пышкинъ такъ и выходитъ изъ себя... Вотъ мы охотимся день, охотимся другой; въ первый я заповалъ шесть русаковъ, во второй затравилъ лису... Ну, какъ бы не тѣшиться? Нѣтъ, не то на умѣ!.. На третій день чѣмъ-свѣтъ всѣ отправились на сборное мѣсто, а я домой, и лишь только съ коня, тотчасъ къ Пышкинымъ. Матушка чѣмъ-то занималась; меня приняла дочка.

— Что это вы такъ скоро воротились съ охоты?—спросила она меня.

— Да такъ, Настасья Петровна,—по васъ стосковался.

— Такъ вы меня въ самомъ дѣлѣ очень любите?

— И сказать нельзя!

Она улыбнулась и проговорила своимъ милымъ голоскомъ:

— Я также васъ чрезвычайно люблю, Егоръ Васильевичъ!

— Ну,—шепнулъ я про себя,—махну: что будетъ, то будетъ!.. Настасья Петровна!—сказалъ я,—вы ужъ дѣвица на возрастѣ, что если бы за васъ кто-нибудь посватался?..

Моя барышня такъ вся и вспыхнула.—Ладно,—подумалъ я:—понимаетъ!

— Ну, чтожъ вы не изволите отвѣчать?—продолжалъ я.

Настасья Петровна взглянула на меня такъ умильно, такъ ласково, и на ея голубенькихъ глазкахъ навернулись слезы.

— Егоръ Васильевичъ,—сказала она,—я давно хотѣла съ вами объ этомъ поговорить, да все не могла рѣшиться начать первая.

— Виновать, Настасья Петровна, — мнѣ бы самому...

— Но, можетъ-быть, вы не замѣчали?..

— Замѣчать-то замѣчалъ, да мнѣ все какъ-то не вѣрилось...

— Ахъ, Егоръ Васильевичъ, вы до сихъ поръ были лучшимъ моимъ другомъ, будьте же теперь моимъ вторымъ отцомъ...

Меня подрало морозомъ по кожѣ.

— Конечно, Иванъ Михайловичъ не богатъ,—продолжала Настасья Петровна,—но онъ такой честный, благородный человѣкъ; онъ такъ меня любитъ!.. Съ нимъ я, вѣрно, буду счастлива.

У меня въ глазахъ позеленѣло и начали мальчики попрыгивать.

— Егоръ Васильевичъ,—прибавила эта разбойница своимъ умильнымъ голоскомъ,—вступитесь за насъ! Батюшка васъ любитъ, вы одни можете уговорить его.

Что, братецъ, со мной дѣлалось въ эту минуту, такъ я тебѣ и разсказать не могу! Я хотѣлъ что-то вымолвить, заикнулся, забормоталъ. Настасья Петровна кинулась ко мнѣ на шею, заплакала... Что будешь дѣлать,—жалко стало!

— Ну, чтожъ ты сдѣлалъ?

— Да что, братецъ!.. Вотъ, говорятъ, на себя руки не подымеешь,—поднял! Велѣлъ осѣдлать своего черкеса и отправился опять на охоту. Я засталъ Пышкина за дѣломъ: травить русака. У другихъ охотниковъ собаки поразметались; одинъ лишь только Нахаль, любимый кобель Пышкина, тянется за сердечнымъ. Видно, русакъ-то попался степной: повернулъ въ чистое поле, да и пошелъ на утекъ! Нахаль зачалъ наддавать—ближе, ближе... Пышкинъ несется позади, кричить: «Нахалушка!.. Голубчикъ!.. Нахалушка!» Чего Нахалушка!.. Мой Буянъ воззрился, да изъ-за него, какъ изъ стоячаго — хватъ! Угонка, другая, третья—русакъ мой! Пышкинъ такъ и деретъ на себѣ волосы. Я подѣхалъ къ нему и говорю:

— Послушай, братъ Петръ, чтобъ ты далъ за эту собаку, а?

— За Буяна? Да что хочешь?.. Возьми все!

— Ну, а если я тебѣ и такъ отдамъ?

— Полно, братъ, шутишь!

— Я не шучу: возьми хоть теперь.

У Пышкина такъ глаза и засверкали.

— Только съ уговоромъ, — прибавилъ я, — собака твоя, а ты не откажи въ томъ, что попрошу.

— Проси, что хочешь.

— Выдай замужъ дочь.

— За кого?

— За того, кого она любитъ.

— Ужъ не за Рындикова ли?

— Да хоть бы и за него.

— За эту мелкую сошку?

— Эхъ, братецъ, и мы вѣдь съ тобой не такъ чтобъ очень крупные.

— Да у него ничего нѣтъ, — сказалъ Пышкинъ, поглядывая на Буяна.

— Зато есть у тебя.

— Есть, да не про него! Вотъ если бы ты посватался за Настеньку...

— Эхъ, братъ Петръ, гдѣ ужъ намъ съ тобой думать о молодыхъ! Послушайся, выдай ее за Ивана Михайловича: малый добрый, честный!..

— Нѣтъ, братецъ, ни за что на свѣтѣ!

Я замолчалъ и свистнулъ Буяна, который лежалъ въ растяжку и отдыхалъ. Мой полвопѣгій вскочилъ, отряхнулся, поднялъ уши... Тѣфу, ты, пропасть, въ самомъ дѣлѣ, картина!.. Пышкинъ такъ его и бѣтъ глазами. Вотъ подъѣхали другіе охотники, начали хвалить Буяна, — гляжу, моего Петра Никитича больно разбираетъ.

— Ну, что, братецъ, — сказалъ я, — твой что ль Буянъ или нѣтъ?

— Эхъ, Егоръ Васильевичъ, что это тебѣ въ голову вошло?.. Ты говори дѣло. Ну, хочешь за него триста рублей чистыми деньгами?

— Нѣтъ, братъ, деньгами ничего не возьмешь.

— Да помилуй, что это за женихъ моей дочери—этотъ Рындиковъ?.. Еслибъ у него хоть что-нибудь было... Ужъ не говорю—деревня, а хоть бы пустошь какая съ угодьями... вотъ хоть такая, какъ у тебя, заозерная пустошь,—съ лѣсомъ, съ мельницей, съ сѣнными покосами...

— Такъ чтожъ?.. Ты выдалъ бы тогда дочь за Ивана Михайловича?

— Ну, тогда бы еще можно какъ-нибудь...

— Право? Такъ по рукамъ!

— Какъ такъ?

— Да такъ!.. Я отдаю мою пустошь въ приданое за твою дочь, — разумѣется, если она только выйдетъ за Рындикова.

— А Буянъ?

— Бери хоть сейчасъ на свору.

Пышкинъ не долго ломался: мы, не сходя съ мѣста, порѣшили, и на другой же день была помолвка Настасьи Петровны съ Иваномъ Михайловичемъ.

— Ай да Егоръ Васильевичъ! — сказалъ Мирошевъ. — Ну, вотъ за это спасибо!

— Да, братъ, хорошо тебѣ говорить «спасибо!» Пошелъ бы ты въ мою шкуру. Сосватать я сосваталъ, а что у меня было на душѣ - то, такъ одинъ Богъ знаетъ!.. При людяхъ я храбрился, а какъ пріѣхалъ домой, — стыдно сказать, братецъ, — упалъ на постель, да такъ и заревѣлъ бѣдую.

— Бѣдняжка!

— Да это бы еще ничего! А что послѣ - то было: хлѣба лишился, по ночамъ не сплю, а въ голову такая дрянь лѣзетъ, что и, Господи, помилуй! Ну, вотъ словно кто-нибудь такъ и шепчетъ мнѣ на-ухо: «Дуракъ, что ты невѣсту - то уступилъ? Еслибъ не ты, такъ ей бы не бывать за Рындиковымъ: ее бы отдали за тебя; дѣвка молодая, привыкла бы къ тебѣ какъ-нибудь. Да и чѣмъ ты хуже этого молокососа?.. А теперь что?.. Они, чай, смѣются надъ тобой!.. Экій простофиля, — самъ высваталъ за другого свою невѣсту!» Повѣришь ли, дядюшка, совсѣмъ было съ ума сошелъ! А злоба-то какая, злоба!.. Какъ увижу Рындикова, вотъ такъ бы его и пришибъ!

— Скажи пожалуйста!

— Вотъ однажды ночью не спится мнѣ: тошно, грустно; мѣста не найду!.. То хочу ѣхать къ Пышкину и сказать ему все, то убить Рындикова, то на самого себя руки наложить... Вдругъ мнѣ пришло въ голову: ужъ не наказываетъ ли меня Господь Богъ за гордость... Вотъ, изволишь видѣть: я хотѣлъ самъ переломить себя: «Я, дескать, человѣкъ добродѣтельный, великодушный, на что мнѣ просить Божьей помощи, чтобъ сдѣлать доброе дѣло, — и самъ сдѣлаю!» Да, какъ бы не такъ! Нѣтъ, любезный, коли Богъ не по можетъ, такъ ничего путнаго не сдѣлаешь. Лишь только задумаешь что-нибудь хорошее, а бѣсъ тутъ

какъ тутъ, и начнетъ тебѣ нашептывать на-ухо... Такихъ резоновъ наскажетъ, братецъ, что черное покажется бѣлымъ, а бѣлое чернымъ.

— Правда, Егоръ Васильевичъ, правда!

— Вотъ я, братецъ, спохватился, да и ну-ка молиться. Слава Богу—отлегло отъ сердца!.. Недѣли черезъ двѣ дошелъ я до того, что не только обнялъ Рындикова какъ родного и поѣхалъ къ нему на свадьбу, да еще послѣ вѣнчанья образомъ благословилъ; только деревенская жизнь мнѣ вовсе опостылѣла, и пришла, наконецъ, охота опять послужить Царю-Государю. Въ военную поздно — старенецъ сталъ; дай, поѣду въ Москву: тамъ у меня есть родные; похлопочутъ за меня, — авось попаду куда-нибудь въ городничье; эта служба по мнѣ: дадутъ тебѣ дюжины двѣ гарнизонныхъ крысъ подъ команду... да оно и кстати: гдѣ ужъ мнѣ возиться съ фрунтовыми!

— Ахъ, братецъ,—прервалъ Кузьма Петровичъ,— вотъ было бы славно: у насъ въ Новохоперскѣй городничій хочетъ подать въ отставку. Вѣдь это только десять верстъ отъ моей деревни. Вотъ бы зажили!.. То ты ко мнѣ, то я къ тебѣ...

— А что ты думаешь? Можетъ-быть и посчастливится. Вотъ ужъ подлинно было бы хорошо!.. Я чело-вѣкъ одинокій, твоя семья сдѣлалась бы моею семьею, — зажили бы, братецъ, припѣваючи!.. Однакожъ, сытый голоднаго не разумѣетъ, — продолжалъ Костоломовъ, вставая:—ты еще, братъ, не обѣдалъ; покушай - ка на здоровье, а я пойду, взгляну на мою повозку.

Егоръ Васильевичъ повстрѣчался въ дверяхъ съ Прохоромъ.

— Здравствуйте, батюшка, Егоръ Васильевичъ!—сказалъ Прохоръ съ низкимъ поклономъ.

— Ба, ба, ба! — вскричалъ Костоломовъ. — Кондратьичъ! Ты еще живъ?

— Живъ, батюшка.

— Здорово, старина! Скажи пожалуйста,—да ты ни крошечки не перемѣнился: такой же лысый, какъ былъ...

— Такой же, батюшка, такой же!

— И рожа такая же красная.

— Ну, нѣтъ, сударь, прежде я былъ подвяѣтистѣе.

— Право, все такой же. Прошу покорно, — мы молодые, состарились, а этотъ старый хрычъ все въ одной порѣ. Да что ты, братецъ, иль хлебнулъ живой и мертвой водицы?

— Видно, что такъ, батюшка. Да и вы, Егоръ Васильевичъ, мало постарѣли; стали только подюжѣе, да поосанистѣе. Помните ли, батюшка, какъ, бывало, въ Польшѣ-то?..

— Эхъ, полно, Кондратьичъ! Не вспоминая про бывшее...

— Помилуйте, да вы и теперь еще краковяку такъ отхватаете, что только держись!

— Нѣтъ, Прохорушка, дамы по себѣ не найду: старуха не пойдетъ, молодая не захочетъ... Ну, да что объ этомъ!.. Корми-ка своего барина, а я пойду сказать, чтобъ моихъ лошадей запрягать пообождали: мы ѣдемъ вмѣстѣ.

КОНЕЦЪ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

XXVIII.

КАКЪ КУЗЬМА ПЕТРОВИЧЪ ПРИѢХАЛЪ ВЪ МОСКВУ И ОСТАНО
ВИЛСЯ ВЪ ЗАРЯДѢ, И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПРИ НЕМЪ НА
ПСКОВСКОМЪ ПОДВОРЬѢ.

Мирошевъ и Костоломовъ отправились съ постоя-
лаго двора въ одной кибиткѣ, а Кондратьичъ помѣ-
стился со слугою Егора Васильевича въ другой. Они
ночевали верстахъ въ тридцати отъ Москвы, подня-
лись чѣмъ-свѣтъ и, обгоняя длинные обозы, которые
тянулись по коломенской дорогѣ, увидѣли, наконецъ,
высокую колокольню и бѣлыя стѣны Андроньевскаго
монастыря, за нимъ начали показываться одна за дру-
гою безчисленныя главы церквей и заблесталъ вдали
позлащенный крестъ Ивана Великаго. Наши путеше-
ственники сняли шапки и набожно перекрестились.

— Слава Богу,—вскричалъ Костоломовъ,—вотъ и
наша кормилица, матушка Москва православная!.. До-
тащились, наконецъ.

— Да, Егоръ Васильевичъ,—сказалъ съ глубокимъ
вздохомъ Мирошевъ,—вотъ мы и доѣхали; когда-то
Богъ приведетъ изъ нея выѣхать?

— Что ты, братецъ: не успѣлъ приѣхать, да ужъ
и назадъ собираешься.

— Хорошо тебѣ говорить, Костоломовъ: ты человѣкъ одинокій, и долго проживешь не бѣда: по тебѣ никто не груститъ, да и ты, чай, ни о комъ не тоскуешь.

— Нашелъ чему позавидовать! Эхъ, дядюшка, дожилъ бы ты въ одиночествѣ до сѣдыхъ волосъ, какъ я, такъ не сталъ бы радоваться, что о тебѣ некому погрустить. Да скажи, Кузьма Петровичъ, я еще тебя не спрашивалъ: ты зачѣмъ ѣдешь въ Москву?

— По тяжѣбному дѣлу.

— Вотъ что! Такъ чтожъ, братецъ: надоѣсть жить въ Москвѣ, оставь за себя повѣреннаго.

— Нельзя, Егоръ Васильевичъ, дѣло-то больно важное; того и гляди, пустятъ по міру.

— Ну, если такъ, то я тебѣ скажу, любезный, не скоро ты изъ Москвы вырвешься.

— Авось, братецъ, — Богъ милостивъ! У меня же есть рекомендательное письмо...

Костоломовъ улынулся.

— Рекомендательное письмо! — повторилъ онъ сквозь зубы. — Эхъ, душенька, что эти письма! Коли есть у тебя рекомендація въ карманѣ, знаешь, этакъ... звонкая съ вѣсомъ, такъ дѣло твое пойдетъ какъ по маслу; а то на всѣ эти рекомендаціи отпустить тебѣ экскюзаціи, да и ворота на запоръ.

— Такъ и въ Москвѣ-то, братецъ, такъ-же, какъ у насъ?

— А ты думалъ нѣтъ?.. Ахъ, ты, деревенщина! Да если у васъ въ глуши берутъ, такъ въ Москвѣ надобно брать вдвое. У васъ, чай, подъячіе-то и ерофейчъ пьютъ по однимъ только праздникамъ, а здѣсь какой-нибудь регистраторъ не сядетъ за столъ безъ бутылки францъ-вейна.

— Ну, чтожъ, братецъ, дѣлать нечего; если надобно будетъ, такъ почему жъ...

— А гдѣ ты остановишься, Кузьма Петровичъ?

— Я и самъ не знаю.

— Да развѣ у тебя въ Москвѣ нѣтъ ни родныхъ, знакомыхъ?

— Ни одной души.

— Я останавлиюсь у моего двоюроднаго брата. Онъ словѣкъ семейный, живетъ не просторно, да для меня мѣстечко найдутъ. А тебѣ, видно, придется взѣзжать на постоянный дворъ.

— Разумѣется.

— Въ Москвѣ всякихъ взѣзжихъ домовъ и трактировъ довольно; только въ однихъ карману накладно, а другіе далеко отъ города. Всего лучше остановиться тебѣ, Кузьма Петровичъ, въ Зарядѣ.

— А гдѣ это Заряде?

— Въ Китай-городѣ. Года три тому назадъ я приѣзжалъ въ Москву также похлопотать объ одномъ дѣльцѣ, и прожилъ въ Зарядѣ цѣлый мѣсяцъ. Мѣсто бойкое, а дешево; присутственные мѣста, сенатъ, ряды—все, братецъ, въ двухъ шагахъ. Ну, конечно, чистоты большой нѣтъ и живутъ тѣсненько, да вѣдь тебѣ не банкеты давать.

— Какіе банкеты! Особая кухня, да горенка...

— Кухня? На что тебѣ?... Обѣдать ты можешь тутъ же въ трактирѣ, да и гораздо дешевле обойдется. Кошечекъ за двадцать накормятъ и тебя и Прохора такъ, что вы и ужинать не захотите.

— Да я, братецъ не люблю таскаться по трактирамъ.

— Видишь, какая красная дѣвушка! Да что тебя съѣдятъ что ль въ трактирѣ-то? Я изо дня въ день цѣлый мѣсяцъ тамъ обѣдалъ, а ничего дурного не видалъ. Однажды только какой-то магистратскій чиновникъ подрался съ пьянымъ нѣмцемъ, да ихъ тотчасъ розняли. Нѣтъ, братецъ вѣдь трактиръ не то, что кабакъ; ты будешь въ немъ обѣдать съ людьми порядочными: приказные, купцы, наша братья, заѣзжіе люди...

— Ну, если ты совѣтуешь, такъ быть по-твоему Кибитка остановилась.

— Куда прикажете ѣхать?—спросилъ Кондратьичъ, подойдя къ господамъ.

— Въ Зарядье, — сказали Костоломовъ. — Да ты знаешь ли, Прохоръ, гдѣ Зарядье?

— Какъ же, батюшка! Вѣдь я московскій старожилъ. Вотъ я присяду къ вамъ на облучокъ да стану говорить Еремѣ, куда ѣхать: онъ человѣкъ небывалый.

Проѣхавъ всю Рогожскую, наши путешественники переправились черезъ Яузу и вѣхали, наконецъ, Варварскими воротами въ Китай-городъ; потомъ, миновавъ Знаменскій монастырь, они повернули налѣво, мимо церкви Максима Исповѣдника, и стали спускаться подъ гору, по узкому и кривому переулку, который соединяется съ большою Москворѣцкою улицею, недалеко отъ церкви Николы Мокраго.

— Сюда, налѣво, въ ворота!—закричалъ Костоломовъ, когда кибитка поровнялась съ двухъ-этажнымъ кирпичнымъ домомъ, весьма некрасивой наружности.

— Длинный рядъ оконъ съ подъемными рамами, стекла съ бумажными заплатками, тѣсныя дворъ, загроможденный возами и повозками, закопченныя стѣны дома, къ которымъ пристроены были съ надворья деревянные ветхія переходы и грязныя лѣстницы—все это заставило невольно содрогнуться бѣднаго Мирошева который всегда жилъ такъ опрятно, что могъ бы безъ стыда принять и угостить въ своемъ домѣ самаго чистоплотнаго гарлемскаго бюргера.

— Да это настоящій хлѣвъ!—промолвилъ онъ, вылѣзая изъ кибитки.

— Ну да, братецъ,—сказалъ Костоломовъ,—я ужъ тебѣ говорилъ, что чистоты большой нѣтъ. Вѣдь это подворье, любезный; народу съ утра до вечера неотолченная труба, одни уѣзжаютъ, другіе пріѣзжаютъ,—гдѣ тутъ чистоту наблюдать. Да еще теперь что! Вотъ погляди, что будетъ въ ростепель: на дворѣ грязь по колѣно, а на улицѣ хоть въ лодкѣ поѣзжай. Конечно, въ другомъ мѣстѣ найдешь квартиру почище, да что съ тебя возьмутъ! Или придется жить гдѣ-нибудь у

чорта на куличкахъ!.. Наскучить, братъ, каждый день ходить за семь верстъ киселя ѣсть; а здѣсь хоть и грязненько, зато дешево, и все подъ руками.

Въ продолженіе этого разговора они поднялись во второй этажъ по крутой лѣстницѣ: она вела на крытый переходъ, пристроенный къ надворной сторонѣ дома. Проходя по этой *галдерей*, въ которой досчатый полъ гнулся подъ ихъ ногами, они замѣтили трехъ чловѣкъ весьма подозрительной наружности, которые стояли, прижавшись къ стѣнѣ. По платью, ихъ можно было принять за простыхъ крестьянъ; но бритые подбородки и подстриженные волосы изобличали въ нихъ съ перваго взгляда или бѣглыхъ, или переодѣтыхъ солдатъ. Когда Мирошевъ и Костоломовъ дошли до половины перехода, оборванный мальчишка отворилъ имъ дверь, и они вошли въ обширную комнату, уставленную столами. Въ одномъ углу, за большимъ прилавкомъ, стоялъ дородный старикъ въ красной рубашкѣ и распашномъ синемъ кафтанѣ: это былъ хозяинъ трактира и гостиницы.

— Здравствуйте, Ѳедосей Кононычъ!—сказалъ Костоломовъ.—По добру ли, по здорову?

— А, батюшка, ваше благородіе!—вскричалъ хозяинъ.—Милости просимъ!

— Что, есть у тебя квартиры?

— Какъ для васъ не быть!

— Не для меня, а вотъ для моего пріятеля.

— Все-равно, батюшка, все-равно!

— Вели-ка, любезный, указать его чловѣку, куда имъ переносить свои пожитки, да дай-ка намъ что-нибудь перекусить: мы съ дороги проголодались.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!.. Прикажете селянки?

— Давай!

Костоломовъ усадилъ Мирошева за одинъ порожній столъ, а самъ пошелъ опять къ хозяину условиться о платѣ за квартиру. Кузьма Петровичъ, оставшись одинъ, сталъ, отъ нечего дѣлать, разсматривать

честную компанію, въ которой онъ находился. Она была немногочлюдна. За однимъ столомъ, на противоположномъ концѣ комнаты, пили чай и толковали о чемъ-то трое осанистыхъ гостинодворцевъ, да еще, въ двухъ шагахъ отъ Мирошева, сидѣли за небольшимъ столикомъ два человѣка; передъ ними стоялъ большой пирогъ и до половины выпитый штофъ ерофеича. Одинъ изъ этихъ пирующихъ былъ уже вполонину пьянъ; другой, который повидимому угощалъ, потому что безпрестанно потчевалъ своего товарища, казался только немного навеселѣ. Первый, плотный и здоровый мужикъ съ рыжею бородою, кривымъ глазомъ и большимъ рубцомъ на лбу, походилъ на зажиточнаго мѣщанина, мясника или ухорскаго извозчика; на немъ была шелковая, обшитая галуномъ, рубашка и плисовое полукафтанье. Второй, человѣкъ уже пожилой, но повидимому весьма еще сильный и здоровый, былъ въ коричневомъ нѣмецкомъ кафтанѣ и цвѣтномъ атласномъ камзолѣ. Несмотря на этотъ дворянскій нарядъ, его нельзя было никакъ почесть за барина; онъ даже не походилъ на подъячаго или на управителя какого-нибудь знатнаго господина, хотя сѣрые глаза его показались Мирошеву очень сходными съ глазами Панкратія Лукича Курочкина: они точно также были въ безпрестанномъ движеніи и точно такъ же не останавливались ни на минуту на одномъ предметѣ; но въ нихъ было еще что-то до такой степени наглое и безстыдное, что Кузьма Петровичъ съ перваго взгляда почувствовалъ невольное отвращеніе къ этому незнакомцу. Собою онъ былъ гораздо лучше своего безобразнаго товарища: въ его быстромъ взглядѣ и правильныхъ чертахъ лица отражались природный умъ, острота и безстрашіе; но все это было подавлено печатью самаго гнуснаго разврата. Выраженіе лица его измѣнялось непрерывно, чаще всего оно могло бы служить прекраснымъ образцомъ для живописца, желающаго изобразить Іуду въ ту самую минуту, когда онъ предастъ своего Спасителя. Товарищъ его походилъ просто на

безсмысленное животное, которое какъ-то ошибкою родилось съ человѣческимъ образомъ; а этотъ загадочный незнакомецъ, въ нѣмецкомъ кафтанѣ, напоминалъ собою, разумѣется, въ нашемъ мелкомъ земномъ размѣрѣ, что-то похожее на падшаго духа, на ангела тьмы, который самъ добровольно возлюбилъ зло и растлилъ свое небесное начало. Эти два человѣка разговаривали межъ собою вполголоса; но они сидѣли такъ близко къ Миросеву, что онъ не проронилъ ни одного слова.

— Ну, братъ Каинъ,—говорилъ рыжебородый,—не чаялъ я тебя сегодня встрѣтить. Я только-что вчера ночью добрался съ моими молодцами до Москвы; вышелъ нынче на площадь, а ты мнѣ и пырь въ глаза...

— Да, братецъ!—прервалъ человѣкъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ.—Я гляжу на тебя... Ба, ба, ба!.. Что это? Бахтей!.. Откуда взялся старинный другъ и товарищъ?.. Ужъ какъ же я обрадовался!.. Выпей-ка, любезный!

— А я тебя не вдругъ призналъ,—сказалъ рыжебородый, осушивъ стаканъ ерофеича.—Да что это, Каинъ, иль ты пошелъ въ нехристи? Обрилъ бороду, надѣлъ это басурманское платье!

— Неволѣ плачетъ, любезный, неволѣ пѣсенки поетъ! Коли ты старый другъ и пріятель не вдругъ меня призналъ, такъ другіе-то и подавно; а мнѣ-то и на руку,—понимаешь?

— Разумѣю!.. Только, воля твоя, Каинъ, чего другого, а ужъ отъ вѣры я не отступлюсь; хоть сейчасъ голову на плаху, а бороды не обрѣю.

— Что ты, Бахтей! Была бы голова на плечахъ, а борода отрастетъ!.. Выкушай еще чарочку!

— Да чтожъ ты самъ-то не пьешь?

— Что, любезный, плохъ сталъ: съ трехъ стакановъ въ головѣ зашумитъ, что какъ разъ выболтаешь всю подноготную; а вѣдь ты, я знаю тебя, голубчика,—тебя сорокоушей не спойшь!.. Да полно, допивай, братецъ! Кажись, въ старину ты не жаловалъ, чтобъ на днѣ оставалось.

— Эхъ, Каинъ, не говори про старину!

— А что? Помнишь, на Макарьевской-то ярмаркѣ... а?..

— Какъ же, братецъ, какъ же! Повеселились вдоволь, потѣшились!.. А добра-то, добра! Не знали куда съ нимъ дѣваться!.. Намъ бы въ голову не пришло, что ты придумалъ: за одну ночь выстроилъ лавочку, развѣсилъ въ ней всякихъ ветошечекъ да тесемочекъ, а настоящій-то товаръ лежалъ у насъ въ землѣ, подъ поломъ!..

— А здѣсь въ Москвѣ, помнишь?.. Нарядили Марeutку барыней, да и катаемъ ее въ шегольскомъ берлинѣ по городу!.. Ты, Бахтей, былъ кучеромъ...

— А ты, Каинъ, стоялъ на запяткахъ; а сыщики-то глядятъ на насъ, разиня рты, да шапки ломаютъ!.. То-то смѣху-то было!.. А помнишь?..

Тутъ они заговорили шопотомъ межъ собою. Мирошевъ не зналъ, что подумать. Ему не трудно было отгадать, что подлѣ него сидятъ двое мошенниковъ; но онъ не могъ понять, какъ эти воры смѣютъ разговаривать такъ свободно, въ публичномъ мѣстѣ, о своихъ плутовскихъ дѣлахъ? Ну, пускай ужъ этотъ кривой, — онъ пьянъ, а пьяному море по колѣно; но другой, кажется, въ полномъ разумѣ, и не только не удерживаетъ своего товарища, а еще говоритъ громче его!.. Эти размышленія Кузьмы Петровича были прерваны громкимъ хохотомъ рыжебородаго, у котораго языкъ начиналъ прилипать къ гортани.

— Да, да, братецъ, — вскричалъ онъ, — потѣха была знатная! Жаль только, что скоро захлебнулась.

Кузьму Петровича морозъ подралъ по кожѣ.

— То-то было времячко! — сказалъ человѣкъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ. — Куда всѣ подѣвались?.. Алексѣй Журка, Савелій Вьюшкинъ, Андрюшка Пиво, Федотъ Замчалко... что за народъ такой! Любой, бывало, въ щелку пролѣзетъ! А что, любезный, — прибавилъ онъ, понизивъ голосъ, — твои-то молодцы каковы?

— Бредутъ.

— А гдѣ они?

— Да что, братецъ, времена пришли тяжкія, не знаешь, куда голову приклонить. Нечего дѣлать: покажѣтъ чернецы безъ монастыря, а игумень безъ келleyки.

— Да вѣдь на дворѣ-то, любезный, холодно вато...

— Что дѣлать, братецъ! У насъ всего довольно: наготы, босоты навѣшены шесты, а голоду и холоду полны амбары стоять.

— Погоди, найдемъ тепленькое мѣстечко; ты мнѣ скажи только...

Тутъ эти два собесѣдника заговорили опять шопотомъ. Мирошевъ всталъ съ своего мѣста и подошелъ къ прилавку.

— Такъ по рукамъ, Федосей Кононычъ,—говорилъ Костоломовъ хозяину:—два съ полтиной въ мѣсяцъ, вода и дрова твои...

— Послушайте, — прервалъ вполголоса Мирошевъ,—я долгомъ считаю вамъ заявить, что вотъ эти два человѣка, одинъ въ нѣмецкомъ платьѣ, а другой въ плисовомъ полукафтани, должны быть воры и разбойники.

Хозяинъ гостиницы улыбнулся.

— Не беспокойтесь, батюшка,—сказалъ онъ.—Одного изъ нихъ я знаю. Не троньте ихъ, пусть себѣ гуляютъ на здоровье.

— Что же это такое??—прошепталъ Мирошевъ, поглядѣвъ съ удивленіемъ на хозяина.—Ужъ и онъ не заодно ли съ этими разбойниками?.. Егоръ Васильевичъ,—продолжалъ онъ вполголоса, обращаясь къ Костоломову,—я въ этомъ домѣ ни за что на свѣтѣ не останусь.

— Что такъ?

— Да помилуй, братецъ, здѣсь воровской притонъ!

— Вотъ вздоръ какой! Ну, разумѣется, въ трактиръ идетъ всякій,—и честный человѣкъ и мошенникъ; да тебѣ-то какое до этого дѣло? Пойдемъ, братъ, завтракать, вонъ намъ селянку несутъ.

— Да знаешь ли, что подлѣ насъ сидятъ два разбойника?

— Ужъ и разбойники! Воришки, можетъ-быть. Ну, такъ чтожъ? Береги карманы, вотъ и все.

— Воля твоя, я ни за что не останусь жить въ такомъ домѣ, гдѣ воры разговариваютъ вслухъ о своихъ мошенническихъ дѣлахъ.

— Эхъ, дядюшка, да если ты воровъ боишься, такъ зачѣмъ въ Москву и пріѣзжалъ? Здѣсь этого добра вездѣ довольно.

— Я лучше найму гдѣ-нибудь особую квартирку.

— Да въ ней тебя скорѣй обокрадутъ. Тамъ кто у тебя будетъ караульщикомъ? Старикъ Прохоръ. А здѣсь двадцать глазъ стануть сторожить за твоими пожитками.

— Конечно, батюшка, конечно!—прервалъ хозяинъ, который вслушался въ ихъ разговоръ.—Да ужъ будьте покойны! Чтобъ у меня въ домѣ обокрали жильца,—сохрани Господи! Да за это я самъ отвѣчаю, помилуйте!..

— Пойдемъ, братецъ,—сказалъ Костоломовъ, таща Мирошева къ столу,—прежде закусимъ, а тамъ ужъ поговоримъ объ этомъ.

Егоръ Васильвичъ принялся кушать селянку, не обращая никакого вниманія на своихъ сосѣдей. Мирошевъ не могъ никакъ послѣдовать его примѣру: онъ невольно прислушивался къ ихъ разговору, который примѣтнымъ образомъ становился шумнѣе.

— Ладно, Бахтей, ладно! — говорилъ человекъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ.—Мы это дѣло справимъ. Да только какъ ихъ отыщешь?.. Чай, всѣ теперь въ разбродѣ.

— Около полуденъ всѣ сберутся.

— Полно, такъ ли?

— Ужъ я тебѣ говорю. Куда жъ ты?

— Такъ, братецъ, ноги поразмятъ,—отвѣчалъ нѣмецкій кафтанъ. Онъ всталъ, чтобъ идти; но вдругъ остановился и сказалъ:

— Что это, Бахтей, у тебя за пазухою-то?.. А, а,

ты, видно, гулять-то гуляешь, а съ милымъ другомъ не расстаешься?

— А ты думалъ какъ?.. Нѣтъ, братъ, живой въ руки не дамся!

— Вотъ что! — пробормоталъ нѣмецкій кафтанъ, садясь на прежнее мѣсто. — Дѣло, братецъ, дѣло!.. Да чтожъ мы пирога-то не отвѣдаемъ? Дай-ка я тебѣ отрѣжу ломтикъ!.. Тьфу, ты пропасть, что за ножъ такой!.. Рѣжетъ не рѣжетъ... эка тупица!.. Ну, вотъ хоть тресни, — продолжалъ онъ, бросилъ съ досадою ножикъ подъ столъ. — Бахтей, дай-ка мнѣ, братъ, своего завитнаго-то.

Рыжебородый вытащилъ изъ-за пазухи огромный ножъ и подаль его своему товарищу, который, вмѣсто того, чтобы рѣзать имъ пирогъ, спрыгнулъ со стула, подбѣжалъ къ дверямъ, свистнулъ, и въ ту же минуту трое дюжихъ мужиковъ вскочили въ комнату.

— Камчатка, — закричалъ человекъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ, обращаясь къ одному изъ нихъ, — вяжите этого молодца — живо!

Все это было сдѣлано съ такою быстротою, что рыжебородый не успѣлъ приподняться со стула, а его ужъ схватили и, несмотря на отчаянное сопротивленіе, скрутили назадъ руки.

— Каинъ, что ты? — вскричалъ рыжебородый.

— Ничего, любезный! Я общалъ и тебѣ и твоимъ товарищамъ тепленькое мѣстечко — милости просимъ!

— Ахъ, ты, Иуда предатель! Да ты что самъ?

— По милости Царской, московскій главный сыщикъ, Иванъ Семеновъ, по прозванью Ванька Каинъ.

— Послушайте, братцы, — закричалъ Бахтей: — онъ такой же разбойникъ, какъ и я. Слово и дѣло!

— Добро, добро, говори это въ сыскомъ приказѣ, а здѣсь этимъ не отдѣлаешься. Скрутите ему руки-то покрѣпче!.. Да ведите его съ честью, ребята: вѣдь онъ баринъ большой; для него готовы высокія хоромы — два столбика съ перекладиной!

— Добро, ты, проклятый Каинъ, — проговорилъ

Бахтей, скрипя зубами,—попадешься же ты намъ въ руки!

— И, братъ, страшенъ сонъ, а милостивъ Богъ. Ну, ступай же, Бахтеюшка, ступай! Мнѣ вѣдь некогда съ тобой калякать: чай, молодцы-то твои ждутъ, не дождутся; надобно ихъ скорѣй по фатерамъ развести... Ну, что упираешься? Полно, Бахтей, не дури: вѣдь тебѣ здѣсь не жить, голубчикъ!

Сыщики вытащили изъ комнаты разбойника, а Каинъ приостановился на минуту, чтобъ выпить два стакана вина, одинъ за другимъ, потомъ вышелъ вслѣдъ за ними.

— Такъ это-то Ванька Каинъ? — сказалъ Костоломовъ.

— Да, батюшка, это онъ! — отвѣчалъ хозяинъ. — Я оттого ничего и не сказалъ вашей милости, чтобъ вы какъ ни есть не помѣшали ему изловить этого вора.

— Ну, вотъ видишь, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Костоломовъ, — ты было совсѣмъ поклепалъ здѣшняго хозяина. Нѣтъ, братъ, здѣсь не воровской притонъ, а развѣ воровская ловушка.

— Все такъ, Егоръ Васильевичъ, да, право, не весело смотрѣть...

— Какъ ловятъ воровъ? Да это, братецъ, ты увидишь вездѣ: и на улицахъ, и на площадяхъ, и въ рядахъ, и на рынкѣ. Пойдемъ - ка теперь къ тебѣ на квартиру: я посмотрю, какъ ты расположился, а тамъ и отправлюсь къ своему двоюродному брату. Онъ живетъ не очень далеко отсюда, на Яузѣ: мы съ тобой часто будемъ видѣться.

XXIX.

ПРИЕМНАЯ КОМНАТА ОБЕРЬ-СЕКРЕТАРЯ КИРИЛЛА ѦЕДОСѦЕВИЧА
ПРИПЕКИНА.

Квартира, которую занялъ Мирошевъ, была въ нижнемъ этажѣ дома; она состояла изъ двухъ ком-

натъ, изъ которыхъ одна служила прихожей. Само собою разумѣется, что эти комнаты были не очень щеголеваты: голыя стѣны, покрытыя плѣсенью, по угламъ сырость; окна, надъ которыми, вмѣсто драпировокъ, висѣли огромныя паутины; ветхія рамы съ тусклыми зелеными стеклами; нѣсколько плохихъ стульевъ, еловый столъ и деревянная кровать съ веревочнымъ переплетомъ. Конечно, все это было вовсе не красиво, и даже Прохоръ—человѣкъ, какъ вы знаете, совсѣмъ не прихотливый, поморщивался, смотря на всю эту нечистоту и запустѣніе.

— Ну, братъ,—сказалъ Костоломовъ,—квартирка у тебя конечно не завидная, да вѣдь тебѣ не вѣкъ здѣсь вѣковать. Въ другомъ мѣстѣ нашелъ бы и почище, зато и взяли бы съ тебя втрое.

— А что, Егоръ Васильевичъ, — спросилъ Прохоръ,—чай, и за эту конуру хозяинъ заломилъ и Богъ вѣсть что? Небось, рублей пять въ мѣсяцъ?

— Дешевле, братецъ.

— Право? А чтожъ онъ выпросилъ найма за эти горенки,—четыре рубля?

— Дешевле.

— Въ самомъ дѣлѣ?... Вотъ что! Ну, конечно, что и говорить,—позапачкано немного, а вѣдь квартира-то хоть куда!.. Чтожъ, по три рубля что ль въ мѣсяцъ?

— По два съ полтиной.

— По два съ полтиной?... А что вы думаете, Кузьма Петровичъ, какъ посмотрѣть хорошенько, такъ комнатки, право, порядочныя. Вотъ погодите, батюшка, какъ приберутся, такъ вы ихъ не узнаете. А что, дрова и вода хозяйскія?

— Хозяйскія.

— Ну, это хорошо!.. А вѣдь если сказать правду, такъ квартира-то веселая! Посмотрите, батюшка Кузьма Петровичъ: всѣ окна на улицу!.. Дайте мнѣ только промыть стекла,—увидите, какая будетъ свѣтленькая, сущій фонарикъ!

Хотя Мирошевъ и не вполне раздѣлялъ мнѣніе Про-

хора Кондратьича, однакоже, не сдѣлалъ никакого возраженія. Костоломовъ простился съ нимъ, давъ слово побывать у него дня черезъ два. Мирошевъ оставилъ Прохора разбираться, а самъ пошелъ бродить по городу. Разумѣется, онъ началъ съ Кремля; поклонился московскимъ святителямъ, отслужилъ молебенъ Иверской Божіей Матери, и отправился на Тверскую, чтобъ взглянуть на тотъ домъ, гдѣ нѣкогда, съ горемъ пополамъ, прошли его дѣтскіе годы. Напрасно онъ искалъ его: этотъ ветхій двухъ-этажный домъ давно уже превратился въ великолѣпныя барскія палаты. У дверей стоялъ швейцаръ въ богатой ливреѣ, который не удостоилъ его отвѣтомъ, когда онъ спросилъ, давно ли этотъ домъ построенъ на мѣсто прежняго? Походивъ еще около часу, онъ возвратился на свою квартиру, которая, дѣйствительно, благодаря неутомимой дѣятельности Прохора, имѣла ужъ видъ довольно опрятный, и хотя все еще походила на тюрьму, но, по крайней мѣрѣ, не возбуждала отвращенія своею нечистотою. Весь остатокъ дня Мирошевъ провелъ дома, написалъ преогромное письмо къ женѣ, поужиналъ въ трактирѣ и легъ спать часовъ въ девять для того, чтобъ встать на другой день поранѣе и отправиться съ рекомендательнымъ письмомъ къ оберъ-секретарю Припекину.

Въ шесть часовъ утра Кузьма Петровичъ надѣлъ мундиръ и пошелъ на Поварскую. Онъ долго не могъ отыскать домъ Припекина; наконецъ, догадался спросить въ одной мелочной лавочкѣ, и, къ крайнему его удивленію, ему указали только-что отстроенный большой трехъ-этажный домъ, мимо котораго онъ прошелъ уже нѣсколько разъ. Хотя Мирошевъ имѣлъ весьма высокое понятіе о званіи сенатскаго оберъ-секретаря, но никакъ не воображалъ, чтобъ онъ жилъ въ такихъ палатахъ, тѣмъ болѣе, что въ сосѣдствѣ его было нѣсколько княжескихъ, генеральскихъ и даже одинъ сенаторскій домъ, весьма скромной наружности. «Какъ жется, Илья Сергѣевичъ Вертлюгинъ», — подумалъ Мирошевъ, — «говорилъ мнѣ, что у его родственника

вотчинъ никакихъ нѣтъ, а смотри пожалуй, какой онъ выстроилъ дворецъ!.. Видно, жалованье получаетъ большое». Кузьма Петровичъ поднялся по широкой лѣстницѣ во второй этажъ дома и вошелъ въ просторную, но весьма нечистую лакейскую. Толстый слуга, съ косматою головою и заспанными глазами, лѣнливо подметалъ полъ; онъ взглянулъ на Мирошева и, не отвѣчая на его поклонъ, спросилъ грубымъ голосомъ:

— Что вамъ надобно?

— Могу ли я видѣть его высокородіе, Кирилла Ѳедосеевича Припекина?

— Почиваетъ.

— Когда же онъ встанетъ?

— Да когда онъ проснется.

— А когда онъ проснется?

— Не знаю.

Мирошевъ вынулъ изъ кармана полтинникъ и подалъ его этой цѣпной собакѣ; толстое животное милостиво улыбнулось и проворчало, оскаливъ зубы:

— Приходите черезъ часъ.

— Да я ужъ лучше подожду здѣсь въ столовой, — сказалъ Мирошевъ.

— Пожалуй, какъ хотите.

Кузьма Петровичъ вошелъ въ столовую комнату, которая удивила его своимъ роскошнымъ убранствомъ. Еслибъ Мирошевъ имѣлъ понятіе объ образѣ жизни богатыхъ людей хорошаго общества, то, конечно бы замѣтилъ, какъ неумѣстна была эта роскошь, и какъ все, безъ исключенія, доказывало безвкусіе и необразованность хозяина. Стѣны комнаты были увѣшаны картинами, одна другой безобразнѣе; но зато рамы были превеликолѣпныя. Въсто стульевъ—кресла, обитыя какою-то узорчатою китайскою матеріею; во всѣхъ простѣнкахъ составныя зеркала, а на подстольникахъ, на одномъ французскіе бронзовые часы, на другомъ вазы изъ саксонскаго фарфора, на третьемъ серебряные подсвѣчники. Человѣкъ опытный отгадалъ бы безъ труда причину этой пестроты и безпорядка; разу-

мѣется, они происходили оттого, что хозяинъ не тратилъ денегъ на украшеніе своихъ комнатъ, а просто повытаскалъ изъ кладовой всѣ подарки и разставилъ ихъ какъ ни попало.

Слишкомъ часъ сидѣлъ Мирошевъ одинъ въ столовой. Нѣсколько разъ проходилъ мимо него толстый лакей и раза два выглядывала изъ-за дверей внутреннихъ комнатъ какая-то голова въ запачканномъ чепцѣ; наконецъ, вошелъ въ столовую съ кипюю бумагъ чиновникъ въ нѣмецкомъ кафтанѣ; вслѣдъ за нимъ какой-то пожилой человѣкъ въ изношенномъ сюртукѣ, а спустя нѣсколько минутъ дородный купецъ съ сѣдою бородою. Чиновникъ, не удостоивъ взглядомъ Мирошева, подошелъ къ столу, положилъ на него бумаги и началъ ихъ перебирать съ заботливымъ видомъ. Пожилой человѣкъ въ изношенномъ кафтанѣ отвѣсилъ всѣмъ по низкому поклону и сталъ подлѣ дверей, а купецъ, войдя, помолился иконѣ, которая висѣла въ одномъ углу столовой, и присѣлъ на окно. Когда чиновникъ пересмотрѣлъ всѣ свои бумаги, купецъ подошелъ къ нему и сказалъ, поглаживая бороду:

— Здравствуйте, батюшка, Семенъ Акимовичъ! Какъ изволите поживать?

— А, Оедуль Антонычъ, здравія желаю!—отвѣчалъ чиновникъ съ ласковою улыбкою.—Раненько вы здѣсь, почтеннѣйшій!

— И, батюшка, намъ не привыкать стать рано вставать. Ну, что, сударь, дѣльце-то мое?..

— А вотъ здѣсь; принесъ показать его высокородію экстрактецъ. Если онъ подмахнетъ, такъ на будущей недѣлѣ къ докладу.

— Такъ, сударь, такъ-съ!

— Ну, Оедуль Антонычъ, попотѣлъ я за нимъ! Вы встали рано, а я вовсе не ложился спать.

— Дай Богъ вамъ добраго здоровья! Повѣрьте, батюшка, благодарность наша...

— И, полноте, Оедуль Антонычъ, я знаю, вы человѣкъ аккуратный. А ты что пришелъ?—продолжалъ

чиновникъ, взглянувъ на человѣка въ поношенномъ сюртукѣ — Зачѣмъ?

— Какъ же, ваше благородіе, — отвѣчалъ онъ, кланяясь почти въ землю, — да развѣ вы не изволили узнать меня?

— Какъ не узнать: ты у меня всѣ пороги обилъ. Вѣдь ты повѣренный рязанскаго помѣщика Куроцапова?

— Такъ точно, ваше благородіе.

— Да чтожь ты, братецъ, пришелъ опять беспокоить по пустякамъ его высокородіе? Вѣдь ужъ тебѣ сказано, что, за неимѣніемъ важныхъ документовъ, дѣло ваше не можетъ поступить къ докладу?.. Погоди, голубчикъ, въ свое время будутъ сдѣланы нужныя справки и, когда получатся отвѣты, тогда...

— Ваше благородіе, да ужъ дѣло-то наше давно на очереди...

— Чтожь дѣлать, любезный: всякое дѣло изъ очередныхъ поступить въ число нерѣшенныхъ, коли нѣтъ дополнительныхъ свѣдѣній и нужныхъ справокъ.

— Я писалъ ужъ объ этомъ моему господину, и онъ изволилъ мнѣ прислать съ послѣднею почтою вотт этотъ пакетъ...

— Пакетъ?.. Дай-ка сюда!

— Онъ на имя его высокородія, — прошепталъ повѣренный, подавая чиновнику небольшой, но довольнс толстый пакетъ.

— Знаю, братецъ, знаю! — проговорилъ чиновникъ.

Онъ прочелъ надпись, пощупалъ пакетъ, повертѣлъ его въ рукахъ и сказалъ:

— Ну, это дѣло другое: тутъ, я вижу, всѣ нужные документы находятся. Вотъ теперь ужъ остановки не будетъ. Давно бы такъ, братецъ!

— Ахъ, батюшки, — подумалъ Мирошевъ, — какъ эти люди наметаны! Лишь только въ руки взялъ пакетъ, а ужъ знаетъ, что въ немъ запечатано. Какое тонкое осязаніе у этихъ господъ!.. Привычка!

— Вы также имѣете надобность до Кириллы Ое-

досеевича? — спросилъ чиновникъ, взглянувъ, наконецъ, на Мирошева.

— Да-съ! — отвѣчалъ Кузьма Петровичъ. — Я имѣю къ нему рекомендательное письмо.

— У васъ, вѣрно, есть тяжба въ сенатѣ?

— Да, сударь, есть къ несчастію.

— Почему жъ къ несчастію? Вѣдь вы еще процесса не проиграли.

— Въ гражданской палатѣ рѣшено не въ мою пользу.

— Что гражданская палата, помилуйте! Здѣсь бы только пошло хорошо, а гражданская палата ничего!.. Да вотъ, кажется, и его высокородіе.

Двери изъ кабинета отворились, и вошелъ человѣкъ лѣтъ шестидесяти, въ атласномъ голубомъ халатѣ, съ широкими пунцовыми разводами. Говорятъ, будто бы гордость красить однихъ только лошадей, — неправда: гордый взглядъ и надменная осанка чрезвычайно были полезны для Кириллы Федосеевича Припекина. Еслибъ его покрытое глубокими рябинами лицо, съ раздутыми щеками, вздернутымъ кверху толстымъ носомъ и узкимъ лбомъ, не выражало необычайной спеси и чванства, то вы могли бы его принять за какого-нибудь отставного будочника; но этотъ надменный взглядъ, эта важная выступка, эти нахмуренныя брови придавали ему такой величественный видъ, что вы, взглянувъ на него, сказали бы невольно: «Какая подлая физіономія у этого большого барина!» Казалось, онъ очень дорожилъ каждымъ своимъ словомъ и, по большей части, виѣсто отвѣта кивалъ головою, или мычалъ, или ухмылялся значительнымъ образомъ.

— Мое нижайшее почтеніе, ваше высокородіе, — сказалъ купецъ. — Вы, кажется, батюшка, изволите обрѣтаться въ вожделѣнномъ здравіи?

Припекинъ кивнулъ головою и промычалъ что-то похожее на слово: да!

— Я осмѣлился придти напомнить вамъ...

— А ужъ у меня и экстрактъ готовъ, — подхватилъ чиновникъ. — Если вашему высокородію будетъ угодно...

— Хорошо! Мы посмотримъ.

— Батюшка, Кирилла Ѳедосеевичъ,—продолжалъ купецъ, понизивъ голосъ,—тамъ, въ прихожей... вы вчера изволили купить у меня... полцыбика чаю, да головокъ пять-шесть рафинаду... Вотъ и расписка въ полученіи денегъ...

Припекинъ улыбнулся весьма выразительно и крикнулъ.

— Афимья!

Старуха въ запачканномъ чепцѣ показалась въ дверяхъ гостиной.

— Чай и сахаръ... тамъ, въ прихожей... приберу въ кладовую.

— Такъ я могу надѣяться,—продолжалъ купецъ,—что на будущей недѣлѣ?..

— Да, да,—сказалъ Припекинъ,—на будущей недѣлѣ... будьте спокойны!

— Вотъ, Кирилль Ѳедосеевичъ,—сказалъ чиновникъ,—повѣренный помѣщика Куроцапова... Изволите помнить?

— Ну, что ты, братецъ,—вскричалъ онъ, бросивъ грозный взглядъ на повѣреннаго,—присталъ какъ лихорадка?.. Ужъ тебѣ сказано...

— У него есть,—прервалъ чиновникъ,—пакетъ на ваше имя, кажется, съ тѣми документами, которыхъ недоставало въ дѣлѣ. Подавай, Сидорычъ! Чтожъ ты?

Повѣренный подошелъ къ Припекину и подалъ ему пакетъ. Припекинъ взялъ его, пощупалъ, положилъ не распечатывая въ карманъ, промычалъ что-то себѣ подъ носъ и, ласково ухмылясь, сказалъ повѣренному:

— Хорошо, братецъ, хорошо! Зайди ко мнѣ завтра... А вамъ что угодно?—продолжалъ онъ, окинувъ важнымъ взглядомъ съ головы до ногъ Мирошева.

— Я имѣю къ вамъ письмо отъ родственника вашего, Ильи Сергѣевича Вертлюгина.

— Пожалуйте.

Припекинъ взялъ письмо, распечаталъ, прочелъ, бросилъ его на столъ и сказалъ:

— У васъ есть дѣло въ сенатѣ?

— Есть Кирилла Ѳедосеевичъ.

— О чемъ?

— О землѣ.

— Въ Новохоперскомъ уѣздѣ?

— Точно такъ.

— Оно должно быть въ нашемъ департаментѣ.

— Могу ли я надѣяться?..

Припекинъ замычалъ довольно ласково и проговорилъ:

— Да, да!.. Почему жъ... я очень радъ!.. А съ кѣмъ у васъ тяжба?

— Съ Курочкинымъ.

— Съ Курочкинымъ?.. Я знаю одного Курочкина; да, кажется, онъ...

— Виновать, ошибся! Курочкинъ только повѣренный по этому дѣлу; у меня тяжба съ графомъ...

— Знаю, знаю!—прервалъ Припекинъ.—Вотъ что!—продолжалъ онъ, нахмутивъ брови.—Такъ у васъ тяжба съ его сіятельствомъ... гмъ!.. Ну, чего же вы отъ меня хотите?

— Одной справедливости.

— Справедливости!.. Гмъ!.. Это говорятъ всѣ чело-
битчики.

— Я надѣюсь, вы не откажете мнѣ въ вашемъ со-
вѣтѣ; я человекъ вовсе непривычный къ дѣламъ.

— Это и замѣтно!.. Мнѣ, право, чуденъ Вертлю-
гинъ: адресовать васъ прямо ко мнѣ!.. Кажется, онъ
бы долженъ знать, что такое оберъ-секретарь прави-
тельствующаго сената.

— Вѣроятно, онъ полагалъ, что ваше покрови-
тельство...

— Мое покровительство!.. Какъ будто бы я имѣю
время заниматься особенно каждымъ челобитчикомъ!

— Чтожъ прикажете мнѣ дѣлать? — прошепталъ
Мирошевъ, который вовсе растерялся отъ этихъ не-
привѣтливыхъ рѣчей.

— Что дѣлать!—повторилъ Припекинъ.—Вамъ бы

слѣдовало начать немного пониже. Вотъ вы бы отне-
лись съ вашею просьбою къ повытчику...

— Я очень радъ, но я никого не знаю...

— Вотъ онъ, — сказалъ Припекинъ, указывая на
чиновника: — старшій повытчикъ, Семенъ Акимовичъ
Тетерькинъ... Познакомьтесь!

Проговоривъ эти слова, оберъ-секретарь запахнулъ
преважно свой халатъ, кивнулъ слегка головою купцу
и медленно, торжественнымъ шагомъ, вошелъ снова въ
свой кабинетъ.

— Могу ли узнать вашу фамилію, имя и отчество?—
сказалъ повытчикъ, подойдя къ Мирошеву.

— Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

— Очень радъ съ вами познакомиться, Кузьма Пе-
тровичъ! Гдѣ изволите квартировать?

— На Псковскомъ подворьѣ, въ Зарядьѣ.

— На Псковскомъ подворьѣ?.. Скажите пожалуй-
ста?.. А я сегодня собирался туда обѣдать... Знаете ли
что? Подождите меня до перваго часу, такъ мы вмѣстѣ
съ вами пообѣдаемъ и разопьемъ для перваго знаком-
ства бутылочку винца.

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Такъ по рукамъ! А я межъ тѣмъ побываю въ
сенатѣ и успѣю обозрѣть, въ какомъ положеніи ваше
дѣло.

— Сдѣлайте милость!

— Будьте покойны.

— Тетерькинъ! — раздался голосъ Припекина въ
кабинетѣ.

— Чу, — сказалъ повытчикъ, — его высокородіе меня
спрашиваетъ. До свиданья, Кузьма Петровичъ! Не за-
будьте, въ первомъ часу.

Мирошевъ отправился домой, а повытчикъ вошелъ
въ кабинетъ, гдѣ за большимъ столомъ, покрытымъ
бумагами, сидѣлъ Кирилль Федосеевичъ.

— Ну, чтожъ, Семенъ Акимовичъ, — сказалъ онъ съ
милостивою улыбкою, — кланяйся, благодари за чело-
битчика!

— Покорнѣйше благодарю, ваше высокородіе! Только дѣло-то, кажется, не въ моемъ повиыти.

— Ну, ужъ тамъ, братецъ, какъ знаешь.

— Да осмѣлюсь вамъ доложить: что это вы изволили такъ сурово съ нимъ обойтись? Вѣдь лишній челобитчикъ не бѣда.

— Эхъ, братецъ, челобитчикъ челобитчику розъ! Ко мнѣ пишетъ племянникъ, что этотъ Мирошевъ человекъ небогатый, всего пятьдесятъ душъ...

— И, ваше благородіе, курочка по зернышку клюетъ!..

— Знаю, братецъ, знаю! Да тутъ есть другое обстоятельство: ты слышалъ, съ кѣмъ онъ въ тяжбѣ, а?

— Да-съ, рука сильная!

— То-то и есть! Тутъ ужъ немного выторгуешь.

— Такъ чтожъ?..

— Какъ что?.. Да развѣ ты не знаешь моего обычая?.. Нѣтъ, братецъ, благодарю моего Создателя, я человекъ честный! По-моему, взять, такъ сдѣлать.

— Охъ, ваше высокородіе!.. Оно такъ, конечно, честь великое дѣло; да только, воля ваша, — съ этой добротой не далеко уйдешь. Посмотрите-ка другіе...

— И, братецъ, что мнѣ до другихъ! Неправедное стяжаніе прахъ! Вотъ дѣло другое мелкій чиновникъ, — ну, конечно, ему разбирать нельзя: что взято, то свято! А начальнику стыдно крохоборничать; да если мы будемъ все себѣ захватывать, такъ вашему-то брату что останется? Вѣдь и повиычикъ также пить-ѣсть хочетъ.

— О, Господи,—вскричалъ съ умиленіемъ Тетеркинъ,—вотъ истинный отецъ, а не начальникъ! Другому и дѣла до насъ нѣтъ, а вы, ваше высокородіе... дай Богъ много лѣтъ вамъ здравствовать... Нѣтъ, — прибавилъ Тетеркинъ, утирая платкомъ глаза,—нѣтъ, не наживемъ мы другого такого командира!

— Полно, Семенъ Акимовичъ, — прервалъ Припекинъ,—полно, любезный! Я знаю, ты меня любишь...

— Помилуйте, да какъ не любить такого благодѣтельнаго начальника? Да кто за васъ Бога не молить?..

— Перестань, говорятъ тебѣ! Ты меня растрогалъ!.. Давай-ка лучше займемся бумагами. Что это у тебя?

— Экстрактъ по дѣлу купца Сигова съ отставнымъ маіоромъ Чистяковымъ.

— А, знаю!.. Ну, что законы?

— Подобралъ какъ слѣдуетъ, да и ловко пришлось: одни указы гласятъ въ пользу маіора Чистякова, другіе какъ-будто бы оправдываютъ Сигова, такъ выборку-то сдѣлать было не трудно.

— Поэтому куманекъ мой Сиговъ...

— Долженъ, кажется, быть чистъ какъ стекло...

— Э, кстати!.. Знаешь ли, братецъ, Семенъ Акимовичъ, вчера въ присутствіи какая зашла рѣчь у сенаторовъ? Одинъ изъ нихъ,—что его называть, самъ отгадаешь... вотъ что вѣчно хочетъ новизны вводить,—началъ говорить, что пора бы всѣ указы соединить воедино и сдѣлать какой-то сводъ законовъ...

— Что вы говорите?..

— Да это еще ничего!.. «Не мѣшало бы»,—прибавилъ онъ, — «сдѣлавъ подробный алфавитъ, напечатать тогда эту книгу и выпустить въ свѣтъ для всеобщаго употребленія!»

— Для всеобщаго употребленія!.. Помилуйте, ваше высококородіе! Да вѣдь тогда всякій чумичка законы-то знать будетъ?

— Вотъ то-то и есть!

— Мало-мальски кто маракуетъ грамотѣ, въ грошъ не будетъ насъ ставить.

— Ну, да!.. Вотъ оно просвѣщеніе - то, братецъ! Вотъ оно куда ведетъ!..

— Ахъ, батюшки! И придетъ же въ голову такая богопротивная мысль!.. Чтожъ другіе-то сенаторы?

— Всѣ до одного заговорили то-же.

— А господинъ оберъ-прокуроръ?

— Пуще всѣхъ!.. Пора, дескать, привести въ ясность эту часть, а то, дескать, теперь въ мутной водѣ всякій рыбу ловить!

— Ахъ, онъ богоотступникъ!

— Ну, разумѣется, въ канцеляріи не то заговорили, кромѣ оберъ-секретаря Варягина. Какъ ты думаешь? Вѣдь онъ туда же за сенаторами!

— Такъ, такъ!.. Вольнодумецъ проклятый!.. Да онъ бы на себя оглянулся! Вѣдь, чай, вашему высокородію стыдно быть съ нимъ товарищемъ? Кафтанишка истасканный, шляпенка измятая, срамецъ этакій! Посмотришь иногда, — грязь по колѣно, а онъ тащится пѣшкомъ, подлецъ этакій!

— И я ему говорилъ: «Братецъ, да ты подумай только: вѣдь тогда любой сенаторъ взял книгу, развернулъ—законъ и тутъ! Чтожъ мы-то будемъ дѣлать?»—«То же, что и теперь»,—отвѣчалъ этотъ дурчина;—«только ужъ тогда нельзя будетъ о нашихъ дѣловыхъ выпискахъ говорить: «темна вода во облацѣхъ!»»

— То-то, ваше высокородіе, какъ же намъ не молить за васъ Бога? Ну, вотъ какъ этакимъ-то начальникомъ накажетъ Господь?.. Посмотрите на его подчиненныхъ,—истинно слезамъ подобно: не только повытчики, да и секретари-то съ голоду умираютъ!.. Ахъ, Боже мой, Боже мой!.. Что если, Кириллъ Федосеевичъ, займутся этимъ дѣломъ не шутя?

— И, Семенъ Акимовичъ, что этого бояться? Вѣдь это дѣло не годовое; на нашъ вѣкъ съ тобою станетъ! Возьми-ка лучше да прочти свой экстрактъ, не пропустилъ ли ты чего-нибудь въ пользу моего куманька?

— Кажется, нѣтъ, ваше высокородіе.

— А вотъ посмотримъ. Читай!

Пока Тетерькинъ читаетъ свой хитро-сплетенный экстрактъ господину оберъ-секретарю Припекину, мы посмотримъ, что дѣлаетъ нашъ Кузьма Петровичъ Мирошевъ.

XXX.

О ТОМЪ, КАКЪ МИРОШЕВЪ УГОСТИЛЪ ОБЪДОМЪ ПОВЫТЧИКА ТЕТЕРЬКИНА, И ВО ЧТО ЕМУ ОБОШЛОСЬ ЭТО УГОЩЕНИЕ.

— Ну, что, батюшка,—спросилъ Прохоръ, когда Мирошевъ возвратился на свою квартиру,—вы были у Кирилла Ѳедосеевича Припекина?

— Былъ.

— Чтожъ онъ, ласково съ вами обошелся?

— Ну, нѣтъ, Прохоръ, похвастаться нечѣмъ.

— А что?

— Да такъ... Сказалъ со мною словъ пять, и то какъ-будто бы нехотя.

— Что дѣлать, сударь,—вѣдь здѣсь народъ спесивый!.. Вотъ вы не хотѣли, батюшка, сами сюда ѣхать; да что бы я сталъ дѣлать?.. Со мною и дворникъ Припекина не захотѣлъ бы говорить. Ну, чтожъ, о дѣлѣ-то нашемъ сказалъ онъ что-нибудь?

— Ничего. Я знаю только, что оно по его департаменту.

— Право?.. Вотъ это хорошо!.. Вѣдь вы съ племянникомъ его, Вертлюгинымъ, сосѣди и пріятели; такъ если не для васъ, такъ, можетъ-быть, для него...

— Нѣтъ, Прохоръ, мнѣ кажется, рекомендація Ильи Сергѣевича не много намъ поможетъ.

— И, сударь!.. Рекомендація сама по себѣ, а прочее другое само по себѣ. Теперь вы являлись къ нему съ передняго крыльца, а послѣ можно будетъ и съ задняго побывать.

— Полно, можно ли?.. Посмотрѣлъ бы ты, какъ онъ живетъ: каменные палаты, а что въ нихъ-то!.. Я было хотѣлъ поговорить съ нимъ о моемъ дѣлѣ,—куда, и слушать не хочетъ! Передалъ меня своему повытчику...

— Такъ можно будетъ черезъ него...

— Знаешь ли, Прохоръ: я вѣдь не рѣшусь гово-

рить объ этомъ и съ повытчикомъ; ну, если онъ обидится!..

— Не бойтесь, не обидится!

— Воля твоя, у меня языкъ не повернется! Да и что я могу предложить такому большому барину? Вѣдь онъ во сто разъ меня богаче.

— И, сударь, да развѣ вы не богаче вашихъ мужиковъ, а вѣдь оброкъ съ нихъ берете!

— Да это совсѣмъ другое дѣло, — я помѣщикъ.

— И онъ помѣщикъ, сударь; только вотчина-то его посылтиѣ вашей. Вамъ платять крестьяне, а ему челобитчики. Ну, конечно, онъ богаче васъ: у него каменные палаты, а все-таки онъ выстроилъ ихъ на мірскіи денежки. Да что объ этомъ толковать! Вотъ какъ переговорите съ повытчикомъ, такъ перестанете совѣститься. А что, онъ хотѣлъ къ вамъ побывать что ль?

— Онъ въ первомъ часу будетъ со мною здѣсь въ трактирѣ обѣдать.

— Право?.. Такъ надобно же его угостить хорошенько. Вы ужъ не поскупитесь, батюшка! Пусть онъ себѣ хоть цѣлый штофъ ерофеича высосетъ!

— Ерофеича!.. Что ты, Прохоръ?.. Да онъ и винограднаго-то плохого пить не станетъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Такъ вы ужъ не извольте, батюшка, спрашивать въ трактирѣ: здѣсь слупятъ второе; я лучше самъ сбѣгаю въ ренской погребокъ, куплю бутылочки двѣ...

— Смотри, Прохоръ, купи хорошаго.

— Ужъ не извольте беспокоиться.

— Да полно, знаешь ли ты въ этомъ толкъ?

— Помилуйте! Хотя я самъ вина не употребляю, а случалось, однакожъ, пробовать. Вѣдь я въ Нѣмечинѣ былъ вмѣстѣ съ вами и всякихъ францвейновъ видѣлъ довольно; есть и желтые, есть и красные. Однажды нѣмецъ-хозяинъ приневолилъ меня выпить стаканчикъ, — фу, ты, батюшки, что за вино такое!.. Съ легкимъ квасомъ, языкъ щиплетъ, ротъ деретъ, — ну вотъ еслибъ не боялся грѣха, такъ бы все его и пилъ.

— Хорошо, хорошо!—прервалъ Мирошевъ съ улыбкою.—Ты ужъ не пробуй, спроси просто стараго французскаго.

— Что старое, Кузьма Петровичъ! Для перваго раза можно поискаться: позвольте ужъ мнѣ купить бутылочку хорошаго вина, свѣжаго, молодого!..

— Да старое-то лучше, Прохоръ.

— Въ самомъ дѣлѣ?.. Ну, такъ стараго. Я приду въ трактиръ служить вамъ за столомъ да посмотрю на этого сенатскаго повѣтника,—какъ-таки онъ противъ нашихъ саратовскихъ.

Въ двѣнадцатомъ часу Мирошевъ сидѣлъ уже въ трактирѣ за однимъ порожнимъ столомъ, подлѣ котораго стоялъ Прохоръ съ тарелкою въ рукѣ и перекинутою черезъ плечо салфеткою. На столѣ было два прибора, закуска, графинъ съ водкою и бутылка бѣлаго вина. Въ трактирѣ безпрестанно входили купцы, мѣщане и приказные; одни завтракали, другіе собирались обѣдать. Вотъ, наконецъ, вошелъ небольшого роста человѣкъ, въ нѣмецкомъ кафтанѣ, при шпагѣ, съ треугольною шляпою подъ плечомъ. Его слегка напудренные волосы завязаны были на затылкѣ въ длинный пучекъ. Черты лица его были довольно пріятны: въ нихъ выражалась даже какая-то добродушная веселость, и еслибъ косые глаза его не походили на кошачьи, то его можно было бы принять за весьма порядочнаго человѣка.

— А вы ужъ здѣсь?—вскричалъ онъ, подходя къ Мирошеву.—Ну, Кузьма Петровичъ, аккуратный вы человѣкъ!

— Милости прошу, Семенъ Акимовичъ!—сказалъ Мирошевъ.—Не угодно ли чего-нибудь закусить?

— Съ большимъ удовольствіемъ; я что-то очень проголодался.

Тетеркинъ выпилъ водки, закусилъ и, взглянувъ на Прохора, сказалъ:

— Это что за харя такая? Ты, видно, братъ, недавно здѣсь служишь? Я тебя никогда не видывалъ.

— Это мой человекъ,—отвѣчалъ Мирошевъ.—Онъ вольный; служить при мнѣ приказчикомъ и ходить также по моимъ дѣламъ.

— Право?.. Такъ онъ нашъ братъ-законникъ?.. Ну, любезный, не красивъ ты.

— Каковъ есть, батюшка!—отвѣчалъ Прохоръ съ низкимъ поклономъ.

— А рожа плутовская, и долженъ быть большая пьяница!

— О, нѣтъ!—подхватилъ Мирошевъ.—Могу васъ увѣрить: онъ ничего не пьетъ, и самый честный человекъ.

— Ну-ка, братъ, честный человекъ, возьми мою шляпу и шпагу да положи ихъ къ сторонкѣ.

— Ахъ, ты, приказная строка!—шепнулъ про себя Прохоръ, кладя на стулъ шляпу и шпагу повытчика.— Собака этакая!.. За что облаялъ, крапивное сѣмя!

Межъ тѣмъ поставили на столъ миску съ горячимъ, блюдо свѣжепросольной осетрины и жаренаго судака.

— Ну, вотъ, почтеннѣйшій,—сказалъ Тетерькинъ, придвигая къ себѣ суповую чашку,—какъ мы этакъ, знаете, червячка заморимъ да выпьемъ по стаканчику, такъ я вамъ кой-что поразскажу о вашемъ дѣлѣ; а теперь не погнѣвайтесь! Вѣдь вы, я думаю, слышали поговорицу: «голодной кумѣ хлѣбъ на умѣ».

— Кушайте на здоровье, Семенъ Акимовичъ, сдѣлайте милость!

Тетерькинъ принялся ѣсть такъ проворно и съ такимъ необычайнымъ аппетитомъ, что Прохоръ Кондратьичъ не выдержалъ и проговорилъ себѣ подъ носъ:

— Экъ онъ за обѣ щеки-то убираетъ! Словно три дня ничего не трескалъ, проклятый!

— Что ты тамъ, краснорожій, бормочешь?—спросилъ повытчикъ, принимаясь за осетрину.

— Да что, ваше благородіе, мало изволите кушать. Похлебка, кажется, добрая, а полмиски осталось.

— Что, братецъ, дѣлать: вотъ ужъ другая недѣля, какъ у меня желудокъ не въ порядкѣ!

— Такъ-съ, ваше благородіе! Посмотрѣлъ бы я, какъ вы изволите кушать, когда онъ у васъ въ порядкѣ-то.

— А вотъ, братецъ, выпью, такъ дѣло пойдетъ лучше. Позвольте-ка стаканчикъ вина!

Кузьма Петровичъ подаль Тетерькину бутылку, онъ налилъ, хлебнулъ и сдѣлалъ такую кислую рожу, что бѣдный Мирошевъ сгорѣлъ отъ стыда.

— Что это за вино? — вскричалъ повытчикъ. — Да это не вино, а рѣдечный сокъ!.. Тьфу, мерзость какая!

Кузьма Петровичъ взглянулъ съ упрекомъ на Прохора.

— Помилуйте, ваше благородіе, — отвѣчалъ Прохоръ съ обиженнымъ видомъ, — да это настоящій францвейнъ.

— Убирайся съ нимъ къ чорту!.. Эй, хозяинъ, подай-ка, братецъ, намъ стараго рейнвейна, — вотъ что я пилъ у тебя на прошлой недѣлѣ; ну, знаешь: бутылка два съ полтиной?

Еслибъ Прохоръ Кондратьичъ былъ не плѣшивъ, такъ ужъ вѣрно бы у него волосы на головѣ стали дыбомъ.

— Два съ полтиной!.. Разбойникъ!.. — подумалъ онъ. — Да вѣдь такъ каждый глотокъ будетъ стоить по цѣлковому!.. Ахъ, батюшки, бутылка два съ полтиной!.. Да такіе напитки и царямъ кушать такъ впору... а этотъ подьячій!.. Чтобъ ему захлебнуться, окаянному!.. Ну, протрутъ же намъ здѣсь глаза!

— Вотъ, — сказалъ Тетерькинъ, когда подали рейнвейнъ, — вотъ это винцо!.. Пожалуйте-ка вашъ стаканчикъ, Кузьма Петровичъ.

— Я не пью никакого вина, — отвѣчалъ Мирошевъ.

— Напрасно, почтеннѣйшій! Два вѣка проживете, коли станете кушать это вино. За ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!.. Ну, теперь скажу я вамъ: дѣльце ваше я поразсмотрѣлъ.

— Чтожъ вы думаете, Семенъ Акимовичъ?

— Казусное дѣло, сударь, казусное! Соперникъ-то вашъ больно силенъ! Ваше здоровье!..

— Да вѣдь передъ закономъ должны быть всѣ равны,—сказалъ Мирошевъ.

— И, Кузьма Петровичъ, мало ли что говорится, да не все-то дѣлается! Законъ!.. Ну, конечно, законъ святъ и ненарушимъ; да вѣдь его никогда и не нарушаютъ. Разумѣется, и у васъ отнимутъ землю не потому, что вы тягаетесь съ знатнымъ бариномъ, а въ силу законовъ и по точному разуму постановлений и указовъ, существующихъ по сему предмету. Вотъ если бы вашъ искъ подкрѣплялся ясными и законными документами, такъ еще можно было бы какъ-нибудь; но вѣдь у васъ никакихъ актовъ на спорную землю не имѣется?

— Были, Семенъ Акимовичъ, да сгорѣли.

— А въ архивѣ?

— И тамъ показываютъ, что утрачены.

— Такъ это все-равно, еслибъ ихъ и вовсе не было... Ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!

— Такъ поэтому мнѣ и хлопотать нечего, — сказалъ Мирошевъ.—Судя по вашимъ словамъ, я не имѣю никакой надежды...

— Отчаяніе — смертный грѣхъ, Кузьма Петровичъ!—прервалъ съ улыбкою Тетерькинъ. — Никогда не должно терять надежды.

— Но вы сами говорите...

— Я только хотѣлъ вамъ изъяснить, какъ трудно будетъ дать хорошій ходъ вашему дѣлу.

— Я прошу только одной справедливости; пусть судятъ меня по силѣ законовъ...

— По силѣ законовъ!—прервалъ повѣтчикъ. — Да эту силу-то можно толковать и такъ и этакъ; можно также подчасъ какой-нибудь указецъ пропустить. И нашъ братъ, законникъ, человѣкъ же есть, — проглядить, пропустить, ошибется; вѣдь за это не казнятъ, не рубятъ. Эхъ, Кузьма Петровичъ, мало ли что можно!..

Все зависитъ отъ докладной записки, которую составляютъ повѣтчикъ или секретарь, а оберъ-секретарь просматриваетъ. Я только-что успѣлъ пробѣжать ваше дѣло, а ужъ кой-что замѣтилъ: ни у васъ, ни у соперника вашего на спорную землю никакихъ актовъ не имѣется; но вы въ прошеніи вашемъ изъясняете, что эти акты утрачены во время бывшаго пожара, а соперникъ вашъ даже и не упоминаетъ, что подобные акты когда-либо у него находились. Вотъ ужъ одно обстоятельство въ вашу пользу; а какъ порыться хорошенько, такъ найдемъ и побольше... Ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!

— И такъ, вы думаете, что я могу еще надѣяться!

— Да ужъ положитесь въ этомъ на меня! Я, Кузьма Петровичъ, человекъ простой: что на умѣ, то и на языкѣ. Вотъ я вамъ скажу: вы мнѣ съ перваго раза такъ полюбились, что я готовъ для васъ ночи не спать!

— Чувствительно вамъ обязанъ! Повѣрьте, благодарность моя...

— И, полноте, что тутъ говорить о благодарности!.. Мнѣ отъ васъ ничего не надобно. Вотъ секретарь,—вы не изволите его знать? Андрей Егоровичъ Щипцовъ...

— Нѣтъ, не знаю.

— Тяжелый человекъ! Напримѣръ, вы, Кузьма Петровичъ, вы, кажется, человекъ не очень достаточный?

— Да, это правда: я только-что имѣю нужное.

— То-есть рубликовъ этакъ тысячи полторы въ годъ?—сказалъ Тетерькинъ, допивая послѣдній стаканъ вина.

— И половины нѣтъ.

— Ну, вотъ изволите видѣть! Отъ васъ бы, кажется, грѣшно и поживиться чѣмъ-нибудь, а вы все-таки дешево съ нимъ не раздѣляетесь. Повѣрите ли, Кузьма Петровичъ: даромъ пера въ руки не возьметъ! Да хоть бы, по крайней мѣрѣ, съ разборомъ: ну, богатый челобитчикъ—дѣло другое,—ему что! А то готовъ у нищаго послѣднюю копѣйку взять, лихоимецъ этакій!.. Ваше здоровье, Кузьма Петровичъ!.. Э, да

все ужъ!.. Прикажите-ка, батюшка, еще бутылочку того же. Славное вино!

— Господи, помилуй насъ грѣшныхъ! — шепталъ Кондратьичъ.—Еще два съ полтиной!

— Ну, что стоишь, Прохоръ? — сказалъ Миронъ.—Ступай скорѣй, принеси бутылку рейнвейна.

— Да полно, ужъ есть ли?—проговорилъ, запинаясь, Кондратьичъ.—Кажется, все вышло.

— Врешь, братецъ!—закричалъ повытчикъ. — Хочешь ли, я сейчасъ спрошу дюжину и намъ подадутъ?

Прохоръ не отвѣчалъ ни слова, бросился со всѣхъ ногъ къ прилавку и принесть бутылку вина, которая такъ же, какъ и первая, опорожнилась въ нѣсколько минутъ.

— Ну, Кузьма Петровичъ, — сказалъ Тетеркинъ, вставая,—прощайте покамѣстъ! Покорнѣйше васъ благодарю за угощенье!.. До свиданья!

— Что, Семенъ Акимовичъ, — спросилъ Миронъ, — не зайти ли мнѣ завтра или послѣзавтра къ вамъ въ сенатъ?

— Зачѣмъ, Кузьма Петровичъ?.. Не нужно! Я буду каждую недѣлю раза по два приходить къ вамъ сюда обѣдать; стану извѣщать васъ о ходѣ вашего дѣла, скажу, когда надобно будетъ расходецъ какой-нибудь сдѣлать—то, другое... здѣсь удобнѣе обо всемъ переговорить... Да знаете что, Кузьма Петровичъ: не худо, если будутъ думать, что вы вовсе о вашей тяжбѣ не хлопчете!.. Исподтишка да втихомолку скорѣй все обдѣлаешь. Прощайте, почтеннѣйшій... Будьте здоровы!

— Ушелъ! — сказалъ Кондратьичъ, проводивъ до дверей повытчика.—Ахъ, онъ, пострѣлъ этакій!.. Ну, сударь?..

— Что, Прохоръ?

— Пять цѣлковыхъ за одно вино!..

— Чтожъ дѣлать.

— Пять цѣлковыхъ, не считая пятнадцати копѣекъ, что я заплатилъ за бутылку францвейна!.. Да хоть бы, онъ охмелѣлъ мошенникъ, а то ни въ одномъ глазѣ!..

Двѣ бутылки!.. Чтожъ это за вино такое?.. Э, да вотъ никакъ на доньшкѣ осталось... Дайте-ка попробую... Тѣту пропастъ!.. Да чтожъ въ немъ хорошаго?.. Кисло, пахнетъ какою-то травою... Ну, за что деньги платятъ?.. Ахъ, батюшки, батюшки!.. Куда, подумаешь, господа-то глупы!..

— Прохоръ, что ты это ругаешься?

— Да не прогнѣвайтесь, Кузьма Петровичъ, — въ чемъ другомъ, а въ этомъ нашъ братъ посмышленѣе. Ужъ если пить вино, такъ такое, чтобъ съ двухъ стакановъ въ головѣ зашумѣло; а коли пьешь не ради хмеля, а для одной сласти, такъ кушай медъ. А это что: вино не вино, квасъ не квасъ, а бутылка два съ полтиной!

— Да, конечно, это очень дорого. Мнѣ случилось пить за границу рейнвейнъ, вѣрно, не хуже этого...

— А, чай, платили копѣекъ по двадцати за бутылку?.. Вотъ то-то и есть, батюшка: «за моремъ телушка по полушкѣ, да перевозу рубль».

— Полно, Прохоръ, объ этомъ толковать! Ступай-ка, разсчитайся съ хозяиномъ.

— Чего тутъ считать, сударь? За обѣдъ два полтинника, да за вино пять рублей—всего шесть рублей.

— Вотъ деньги, ступай, расплатись.

Кондратьичъ пошелъ расплачиваться съ хозяиномъ, заспорилъ и поднялъ такой шумъ, что самъ Мирошевъ подошелъ къ прилавку.

— О чемъ ты споришь?—спросилъ онъ Прохора.

— Да какъ же, сударь, помилуйте! Мало того, что мы платимъ пять рублей за двѣ бутылки вина, да еще требуютъ съ насъ за то вино, что я самъ покупалъ въ погребкѣ.

— Да съ тебя не за вино просятъ,—прервалъ хозяинъ,—а за пробку.

— За какую пробку? Да развѣ пробка-то ваша? Я купилъ ее вмѣстѣ съ бутылкою.

— Это такъ ужъ говорится. Коли ты вино бралъ не здѣсь, а принесъ съ собою, такъ долженъ заплатить по гривнѣ съ каждой пробки хозяину.

— Какъ тебѣ не стыдно, Прохоръ? — прервалъ Мирошевъ. — Я истратилъ шесть рублей, а ты изъ гривны шумишь.

— Изъ гривны? Бездѣлица — гривна! Что вы, сударь! Да коли денежка рубль бережетъ, такъ гривнато и подавно.

— Да извольте, батюшка, Кузьма Петровичъ, — сказалъ хозяинъ, — для перваго раза я васъ этимъ уважу. А ты, Кондратычъ, смотри, впередъ изъ погребковъ-то вина сюда не таскай!

— Не таскай! Ты бы еще по пяти рублей за бутылку бралъ.

— Коли спросите, такъ подадимъ и пятирублевого.

— Какъ такъ, и такое есть? Эге-ге, такъ мы еще дешево отдѣлались!.. Ну, сударь, — продолжалъ Прохоръ, идя за Мирошевымъ, который пробирался къ себѣ на квартиру, — чтожъ это будетъ такое? Вѣдь вы слышали, этотъ Тетерькинъ обѣщался по два раза въ недѣлю обѣдать здѣсь на наши денежки?

— Чтожъ дѣлать, Прохоръ.

— Да вы позабыли что ль, батюшка, что у насъ всего-на-всего только двѣсти рублей осталось? На долго ли ихъ станетъ?..

— Да, конечно; и не увидишь, какъ всѣ выйдутъ.

— Ахъ, Господи, Господи!.. Вотъ тошно-то будетъ, коли мы вовсе исхарчимся, а земли нашей не отстоимъ!

— Легко быть можетъ. Вотъ то-то, Прохоръ! Хотя дѣло наше по совѣсти чистое и справедливое, а еслибы не ты, такъ я вовсе бы не сталъ о немъ хлопотать, а представилъ бы все волѣ Божіей: Онъ лучше нашего знаетъ, что для насъ необходимо.

— А пословица-то, сударь: «На Бога надѣйся, а самъ не плошай».

— Пословица не законъ, Кондратычъ.

— Законъ не законъ, а какъ придется умирать съ голоду...

— Съ голоду, Прохоръ, на Руси никто не уми-

раетъ; а терпѣть нужду, коли на это есть воля Божья, вовсе не бѣда. Развѣ ты забылъ, что говоритъ Спаситель: «блаженни алчущіе, ибо они насытятся».

— Да, батюшка, такъ, точно такъ: коли Богъ на-шлетъ горе—терпи, — не здѣсь, такъ тамъ слюбится. Вотъ, сударь, какъ вы заговорите со мной отъ божественнаго, такъ у меня и рѣчей нѣтъ. Подлинно, правда, Кузьма Петровичъ! Станемте надѣяться на Господа Бога да на Матушку нашу, Пресвятую Богородицу, а тамъ что будетъ, то будетъ.

XXXI.

НЕОЖИДАННОЕ ОТКРЫТІЕ. ПОЛОЖЕНІЕ МИРОШЕВА СТАНОВИТСЯ ЧАСЪ-ОТЪ-ЧАСУ ХУЖЕ.

Грустно жить въ разлукѣ съ тѣми, кого любишь, а еще грустнѣе, когда не знаешь, долго ли продлится эта разлука. Прощаясь со своимъ семействомъ, Мирошевъ думалъ, что онъ разстанется съ нимъ не болѣе, какъ мѣсяца на два; онъ даже не вовсе терялъ надежду, что Богъ сподобитъ его поклониться вмѣстѣ съ ними святому Христову Воскресенію, и вотъ ужъ прошелъ Великій постъ, прошли всѣ праздники, а дѣло его не подвигалось впередъ. Время шло очень медленно для Мирошева; онъ видался раза по три въ недѣлю съ Костоломовымъ, бывалъ каждый день у обѣдни въ одномъ изъ кремлевскихъ соборовъ; послѣ обѣда, если погода была хороша, гулялъ по городу и почти всѣ вечера проводилъ дома, читая книги, по большей части, духовныя. Ихъ доставалъ ему хозяинъ гостиницы отъ приходскаго священника, съ которымъ онъ находился въ близкихъ сношеніяхъ, потому что былъ церковнымъ старостою.

Повѣтчикъ Тетерькинъ сдержалъ свое слово: онъ приходилъ по два раза въ недѣлю обѣдать на счетъ Мирошева и каждый разъ приносилъ ему весьма утѣшительныя извѣстія: то онъ слышалъ отъ оберъ-се-

кретаря, что тяжёлое дѣло Кузьмы Петровича должно быть рѣшено непременно въ его пользу; то секретарь, разсматривая рѣшеніе гражданской палаты, покачивалъ головою и шепталъ про себя: «Ну, слѣдуетъ ихъ оштрафовать порядкомъ!» То увѣдомлялъ Мирошева, что записка о его дѣлѣ пошла уже въ ходъ и скоро поступить къ докладу.

— Да отчего-же, — спросилъ однажды Мирошевъ, — дѣло мое до сихъ поръ не рѣшено? Вы все говорите, Семенъ Акимовичъ, что оно на будущей недѣлѣ поступить къ докладу, а ужъ этихъ будущихъ недѣль прошло четыре.

— Чтожъ дѣлать, Кузьма Петровичъ! — отвѣчалъ Тетерькинъ, откупоривая бутылку рейнвейна. — И радъ бы радостію, да развѣ это отъ меня зависитъ?.. Вотъ, напримѣръ, на прошлой недѣлѣ, ваше дѣло было по очереди третьимъ; вдругъ приказаніе — рѣшить не въ очередь одну тяжбу, такую запутанную, что всѣ наши законники втупикъ стали. Какъ приступили къ разбирательству, такъ представились такія обстоятельства, что изъ одного дѣла выходитъ безъ малаго десять, и въ томъ числѣ два уголовныхъ. Гдѣ тутъ думать объ очередныхъ, — лежать покуда!.. Потерпите, Кузьма Петровичъ, потерпите! Авось этакъ недѣльки черезъ двѣ.

— Да я бы радъ и три недѣли дожидаться, лишь только бы дожждаться чего-нибудь.

— Дождетесь, почтеннѣйшій, дождетесь!.. Ваше здоровье!

Однажды Кондратьичъ, который ушелъ съ утра на толкучій рынокъ покупать себѣ сапоги, воротился домой послѣ обѣда.

— Ну, Прохоръ, — сказалъ Мирошевъ, — молись Богу: кажется, мы скоро отправимся въ Хопровку.

— Дай-то, Господи!

— Сейчасъ только ушелъ отъ меня Тетерькинъ: наше дѣло на очереди, а послѣзавтра его будутъ слушать.

— Воля ваша, сударь, не вѣрю я этому подъячему: онъ все лжетъ!

— Нѣтъ, Прохоръ, сегодня онъ былъ со мною очень откровененъ. Вотъ, изволишь видѣть: записка о нашемъ дѣлѣ третью недѣлю лежитъ у оберъ-секретаря Припекина. Семенъ Акимовичъ все совѣстился мнѣ сказать...

— Что надобно сунуть что-нибудь этому Припекину?.. И онъ совѣстился вамъ объ этомъ сказать?.. Лжетъ, мошенникъ!.. Ну, чтожъ? Какъ вы съ нимъ покончили?

— Онъ взялся мнѣ все уладить за сто рублей.

— За сто рублей?.. И вы ему деньги отдали?

— Отдалъ.

— А чтожъ у васъ самихъ-то осталось?

— Цѣлковый и гривень шесть мелочи.

— Ахъ, батюшки! Чѣмъ же мы будемъ жить?

— Да если дѣло наше кончится на этой недѣлѣ, такъ я займу рублей двадцать-пять у Костоломова; съ этимъ мы до дому какъ-нибудь дойдемъ.

— Такъ, сударь, такъ! А если Тетерькинъ васъ обманываетъ?.. Послушайте-ка, батюшка, не лучше ли вотъ что?.. Не занимайте покамѣстъ у Костоломова, поберегите его для переды; а продадимте-ка лучше лошадей: вѣдь онѣ насъ вовсе съѣли. Тогда можно и Ерему съ хлѣба долой; дайте ему цѣлковый на дорогу, да и съ Богомъ! Здѣсь мы всегда найдемъ попутчиковъ, — свезутъ до дому за бездѣлицу; а я ужъ на конной прицѣпывался, — приступу нѣтъ къ степнымъ лошадямъ!.. Мы за тройку возьмемъ рублей семьдесятъ, а какъ прїедемъ домой, такъ купимъ знатныхъ лошадей изъ косяка, рублей за сорокъ.

— А что, Прохоръ, въ самомъ дѣлѣ, ты правду говоришь.

— Я ужъ, сударь, давно объ этомъ думаю. Если дѣло наше опять затянется, такъ позвольте.

— Продавай, Прохоръ. Но я надѣюсь, что на этотъ разъ Тетерькинъ меня не обманывалъ; еслибъ ты слышалъ, какъ онъ божился...

— И, сударь, что имъ божба!.. Коли приказный или купецъ божится, тутъ-то имъ и не вѣрь; божба ни почемъ!.. Охъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, чувствуетъ мое сердце, что мы еще не скоро отсюда вырвемся.

Къ несчастію, это грустное предчувствіе не обмануло Прохора Кондратьича. Дней черезъ пять Тетеркинъ явился къ Мирошеву и объявилъ, что дѣло опять остановилось.

— Что вы говорите!—вскричалъ съ ужасомъ Мирошевъ.—Да отчего же?

— Оттого, Кузьма Петровичъ, что есть люди, въ которыхъ нѣтъ ни совѣсти, ни чести, ни Бога!.. Я говорилъ вамъ, что этотъ секретарь Щипцовъ человѣкъ самый бездушный и неблагонамѣренный: онъ остановилъ ваше дѣло. Представьте себѣ: докладная записка, которую я самъ составлялъ, просмотрѣна и утверждена оберъ-секретаремъ Пришекинымъ; его высокородіе сдѣлалъ даже въ ней своеручныя поправки,—и чтожъ вы думаете? Щипцовъ удерживаетъ ее у себя, подъ тѣмъ предлогомъ, что будто бы въ ней не довольно объяснены нѣкоторыя обстоятельства. Что дѣлать, Кузьма Петровичъ: нашъ оберъ-секретарь человѣкъ добрый, да больно слабъ. Другой бы пугнулъ секретаря такъ, что онъ и мѣста бы не нашелъ, а Кирилль Федосеевичъ молчитъ.

— Какъ вы думаете,—спросилъ Мирошевъ,—ужь не съѣздить ли мнѣ самому къ Щипцову?

— О, нѣтъ, нѣтъ, —прервалъ съ живостью понычкѣ,—зачѣмъ, не надобно!.. Вы все дѣло испортите!

— Да что же намъ дѣлать?

— Какъ что? Надобно будетъ какъ-нибудь усовѣстить этого разбойника Щипцова; а то, пожалуй, онъ мѣсяца два продержитъ у себя докладную записку. Я говорю усовѣстить,—понимаете?.. То-есть поступить такимъ образомъ, чтобъ ему совѣстно было дѣйствовать противъ васъ.

— А, понимаю!.. То-есть надобно...

— Ну, да!

— Чтожъ вы думаете?

— Да если вы хотите въ этомъ случаѣ положиться на меня, такъ я кончу все дня въ четыре. Вы ужъ много тратили, Кузьма Петровичъ,—не поскупитесь!

— Эхъ, Семенъ Акимовичъ, если бъ вы знали... Мнѣ скоро нечѣмъ будетъ за квартиру платить...

— Займите гдѣ-нибудь. Всего рублей пятьдесятъ,—больше не надобно.

— По крайней мѣрѣ,—сказалъ Мирошевъ, помолчавъ нѣсколько времени,—могу ли я надѣяться, что моя тяжба...

— Кажется, по всему должна кончиться въ вашу пользу,—прервалъ повытчикъ.—Впрочемъ, наше дѣло составить докладную записку и пустить ее въ ходъ, а тамъ, что Богъ дастъ.

— Да ужъ не объ этомъ рѣчь, Семенъ Акимовичъ! Мнѣ бы только развязаться какъ-нибудь. Если у меня землю отнимутъ,—что дѣлать: былъ небогатъ, буду еще бѣднѣе, а съ голоду не умру; но дожидаться еще нѣсколько мѣсяцевъ, жить розно съ моею семьею, не зная, когда это кончится...

— О, будьте покойны,—непремѣнно на этихъ дняхъ!

— Да вы ужъ сколько разъ мнѣ это говорили.

— Чтожъ дѣлать, Кузьма Петровичъ! Я все думаю, не обойдется ли какъ-нибудь безъ дальнихъ расходовъ. Вы человекъ небогатый, хотѣлось побереечь васъ, анъ и вышло хуже! Да зато ужъ теперь, если вы сдѣлаете это послѣднее пожертвованіе, никакой остановки быть не можетъ.

— Извольте, Семенъ Акимовичъ; постараюсь какъ-нибудь. Побывайте у меня завтра.

— Очень хорошо! А я межъ тѣмъ заверну къ Щипцову: надобно его къ этому приготовить,—тяжелый человекъ, батюшка, тяжелый! Боюсь, чтобъ онъ не заломилъ!.. Ну, да я ужъ какъ-нибудь это дѣло улажу... До свиданья, Кузьма Петровичъ!

На другой день, рано по-утру, Кондратъичъ отвелъ на конную лошадей; но вмѣсто того, чтобъ взять за

нихъ семьдесятъ рублей, съ трудомъ могъ ихъ продать за сорокъ. Часу въ девятомъ по-утру явился къ Мирошеву Тетерькинъ. Онъ казался очень разстроеннымъ: лицо его было блѣдно, волосы растрепаны и во всѣхъ движеніяхъ замѣтна какая-то торопливость и безпокойство.

— Ну, что, почтеннѣйшій, — сказалъ онъ, — достали ли вы денегъ?

— Досталъ, но только не всѣ.

— Эхъ, жалъ!.. А много ли?

— Сорокъ рублей. Подождите до завтраго: я повидаюсь съ моимъ пріятелемъ Костоломовымъ, — онъ, вѣрно, не откажетъ мнѣ...

— Да вамъ повѣритъ, я думаю, здѣшній хозяинъ.

— Охъ, нѣтъ, Семенъ Акимовичъ, я и такъ ужъ ему задолжалъ.

— Какъ же быть-то?.. Я сейчасъ отъ секретаря: онъ станеть меня дожидаться... Ну, да дѣлать нечего, — давайте мнѣ то, что у васъ есть.

Мирошевъ отсчиталъ ему сорокъ цѣлковыхъ и сказалъ:

— Могу ли я теперь надѣяться?

— На будущей недѣлѣ, непременно на будущей! — прервалъ повытчикъ. — Прощайте!.. Да, кстати, я долженъ вамъ сказать: на меня навалили такую кучу дѣлъ, что я, можетъ-быть, дней пять и шесть съ вами не увижусь... До свиданья!

— Что это, сударь? — сказалъ Кондратьичъ, когда повытчикъ ушелъ. — Изволили вы замѣтить, какая сегодня рожа у этого Тетерькина?

— Да, онъ что-то очень смущенъ.

—словно изъ острога вырвался: глаза такіе шальные, волосы дыбомъ! Ну, это что-нибудь не даромъ!.. Охъ, сударь, напрасно вы ему деньги отдали!

— Да какъ же не отдать, Прохоръ? Ужъ если я до сихъ поръ имѣлъ къ нему довѣренность...

— Воля ваша, Кузьма Петровичъ, а я бы ему гроша не повѣрилъ, а особливо сегодня: онъ или въ картежъ

бился всю ночь, или пьянствовалъ... Дай-то, Господи, чтобъ этотъ плутъ насъ не обманулъ!

— Прохоръ,—сказалъ Мирошевъ, помолчавъ нѣсколько времени,—есть у тебя что-нибудь на расходъ?

— Овсеца оставалось, такъ я продалъ на сорокъ копѣекъ въ лавочку. А у васъ?

— Одинъ гривенникъ.

— Только-то? Ну, сударь, дѣлать нечего: пришлось почать кубышку.

— Какую кубышку.

— А вотъ какую,—продолжалъ Прохоръ, подавая своему барину кожаный мѣшечекъ, въ которомъ было рублей восемь серебромъ.

— Откуда у тебя эти деньги?—спросилъ Мирошевъ.

— Берите, добро!

— Чьи это деньги?

— Ваши, сударь.

— Неправда, Прохоръ. Вотъ старый полтинникъ, которымъ я съ тобой похристовался въ прошломъ году. Это твои деньги.

— Да развѣ не вы мнѣ ихъ пожаловали? Пришла нужда, такъ я вашимъ же добромъ вамъ и челомъ!

— Спасибо, мой другъ! Дай только намъ доѣхать до дому...

— И, сударь, у васъ будутъ деньги, будутъ и у меня! Да и на что мнѣ столько денегъ? Что у меня, семья что ль?.. По вашей милости, я сытъ, одѣтъ, ни въ чемъ не нуждаюсь; а нищему подать всегда копѣйка найдется.

Прошло недѣли полторы, а объ Тетерькинѣ и слуху не было.

— Да чтожъ это значитъ?—сказалъ однажды Кузьма Петровичъ, выдавая Кондратычу на расходъ послѣдній свой цѣлковый.—Ужъ здоровъ ли Тетерькинъ? Ты знаешь, гдѣ онъ живетъ, Прохоръ?

— Знаю, сударь.

— Сходилъ бы ты узнать объ его здоровьѣ... Иль нѣтъ, я лучше самъ къ нему зайду.

— Не извольте, сударь, беспокоиться: я сегодня, чѣмъ свѣтъ, къ нему ходилъ.

— Ну, что?

— Съѣхалъ съ квартиры.

— Куда?

— Неизвѣстно.

— Чтожъ это значитъ?

— Вѣстимо что: мошенникъ!

— И, полно, Прохоръ! Можетъ-быть, онъ переехалъ на другую квартиру и занемогъ. Да вѣтъ я сегодня же все узнаю. Приготовь мнѣ мундиръ.

— Куда вы, сударь?

— Въ сенатъ. Если Тетерькинъ здоровъ, такъ я его тамъ увижу: а если боленъ, такъ мнѣ скажутъ, гдѣ онъ живетъ.

— Да благо ужъ вы будете въ сенатѣ, батюшка, такъ поразспросите обо всемъ хорошенько. Чтожъ это—будетъ ли конецъ нашему дѣлу?.. Очередное да очередное, а все очередь не приходитъ.

Мирошевъ надѣлъ мундиръ и пошелъ въ сенатъ. Походивъ довольно времени по коридорамъ, отыскалъ онъ, наконецъ, канцелярію департамента, въ который поступило его дѣло. Пройдя первую комнату, наполненную сторожами и сенатскими курьерами, онъ вошелъ въ обширную залу, уставленную столами. Человѣкъ тридцать въ мундирахъ и въ нѣмецкихъ кафтаняхъ занимались письмомъ; почти столько же не дѣлало ничего и прохаживалось взадъ и впередъ по залѣ; челобитчики и повѣренные по тяжбамъ разговаривали вполголоса съ нѣкоторыми изъ этихъ господъ; временамъ растворялись двери въ присутствіе, и оттуда выходили чиновники съ бумагами и безъ бумагъ. Когда Кузьма Петровичъ увѣрился, что въ этой залѣ нѣтъ Тетерькина, то рѣшился подойти къ одному отдѣльному столу, за которымъ сидѣлъ сѣдой старикъ, не очень привлекательной наружности; предъ нимъ ле-

жала огромная кipa бумагъ, которыя онъ пересматривалъ съ большимъ вниманіемъ.

— Позвольте васъ спросить...—проговорилъ робкимъ голосомъ Кузьма Петровичъ.

Старикъ поднялъ голову, взглянулъ пристально на Мирошева и сказалъ:

— Что вамъ надобно?

— Мнѣ надобно поговорить съ господиномъ повѣтчикомъ Тетерькинымъ?..

— Съ Тетерькинымъ?.. Его здѣсь нѣтъ.

— Такъ, поэтому, онъ боленъ?

— Да, я думаю, не очень здоровъ: онъ уволенъ отъ службы.

— Что вы говорите?.. Когда?

— На прошлой недѣлѣ.

— Позвольте узнать...

— Не прогнѣвайтесь, мнѣ некогда,—прервалъ старикъ, принимаясь опять за свои бумаги.

— Скажите мнѣ, по крайней мѣрѣ, кто поступилъ на его мѣсто?

Угрюмый чиновникъ молча показалъ на одинъ столъ, за которымъ сидѣлъ молодой человѣкъ лѣтъ тридцати, весьма благообразной и пріятной наружности. Мирошевъ подошелъ къ нему и сказалъ:

— Извините, мнѣ нужно кой о чемъ васъ спросить...

— Съ большимъ удовольствіемъ!—отвѣчалъ ласково молодой человѣкъ.—Вотъ порожній стулъ—присядьте! Прошу покорно!

— Вы поступили на мѣсто Семена Акимовича Тетерькина?

— Точно такъ.

— У него было тяжebное дѣло отставного поручика Мирошева...

— А, знаю! Это дѣло было у меня въ рукахъ, когда я находился въ третьемъ повѣтѣ; я и выписку изъ него дѣлалъ.

— Вы?..—прервалъ съ удивленіемъ Мирошевъ.—

Да какъ же мнѣ говорилъ Тетерькинъ, что это дѣло у него?

— Неужели?... Безсовѣстный! — прошепталъ молодой человѣкъ, покачивая головою.

— Такъ, поэтому, онъ меня обманывалъ? — спросилъ съ ужасомъ Мирошевъ.

— Видно, что такъ! Я помню, онъ меня расспрашивалъ объ этомъ дѣлѣ. Ну, признаюсь, не ожидалъ я, чтобъ онъ былъ такъ безстыденъ!.. Впрочемъ, что о немъ говорить: за чѣмъ пошелъ, то и нашелъ!

— Да гдѣ онъ теперь?..

— Покамѣстъ въ острогѣ, а тамъ — какъ рѣшить уголовная палата.

— Чтожъ онъ такое сдѣлалъ?

— Выкралъ документъ изъ дѣла.

— Ахъ, Боже мой, — проговорилъ Кузьма Петровичъ, — какъ я былъ обманутъ!

— Жаль мнѣ васъ, батюшка, — сказалъ молодой по-вытчикъ, взглянувъ съ участіемъ на Мирошева, — напали вы на дурного человѣка; впрочемъ, я думаю, дѣло ваше должно скорорѣшиться. Иванъ Андреичъ, — продолжалъ онъ, обращаясь къ одному пожилому человѣку, который, закинувъ назадъ руки, прохаживался по комнатѣ, — что апелляціонное дѣло отставного поручика Мирошева на очереди или нѣтъ?

— Да! — отвѣчалъ мимоходомъ пожилой человѣкъ. — Можетъ-быть, мѣсяца черезъ два или черезъ три...

У Мирошева вся кровь застыла въ жилахъ.

— Три мѣсяца!.. Еще три мѣсяца! — прошепталъ онъ, смотря какъ помѣшанный на повытчика. — Да какъ же это можно?

— Чтожъ дѣлать! — сказалъ молодой человѣкъ, пожимая плечами. — Вы ужъ, вѣрно, долго дожидаетесь, такъ потерпите еще.

— О, ни за что на свѣтѣ! — вскричалъ Мирошевъ, вскочивъ со стула. — Три мѣсяца!... Нѣтъ, нѣтъ!.. я не хочу три мѣсяца сряду умирать съ тоски!.. Три мѣ-

сяца!.. Да это цѣлый вѣкъ!... Прощайте!.. Покорнѣйше васъ благодарю!..

Кузьма Петровичъ какъ сумасшедшій прибѣжалъ домой. Кондратичъ встрѣтилъ его въ передней.

— Прохоръ,—вскричалъ Мирошевъ,—знаешь ли, что? Вѣдь Тетеркинъ, точно, плутъ и мошенникъ!

— Давно, сударь, знаю.

— Знаешь ли, что онъ сидитъ въ острогѣ?

— Давно пора.

— А знаешь ли, что наше дѣло никогда не было у него въ рукахъ?

— Что вы говорите?

— Оно совсѣмъ въ другомъ помытѣ.

— Вотъ тебѣ разъ!.. Такъ, поэтому, всѣ наши харчи!..

— Пропали даромъ.

— Ну, зарѣзалъ насъ этотъ подьячій!.. Ахъ, онъ разбойникъ!.. Чтобъ ему издохнуть въ острогѣ!

— Эхъ, полно, Прохоръ. Что, намъ отъ этого легче что ль будетъ?

— Да какъ же, сударь,—все-таки отъ души отляжетъ, когда этакого мошенника заморятъ въ кандалахъ. Ну, слыхано ли дѣло: брать деньги за дѣло, которое не у него!.. Да ужъ чего, кажется, подьячье у насъ въ Хоперскѣ, а и тамъ этакого каторжнаго не найдешь!.. Ахъ, Господи, Господи!.. Ну, что мы будемъ теперь дѣлать?

— Отправимся домой.

— А дѣло-то, сударь?

— Оно еще три мѣсяца не попадетъ въ очередь; чтожъ мы станемъ по пустякамъ здѣсь проживаться.

— А кто жъ будетъ имѣть хожденіе по нашей тяжбѣ!

— Да много намъ пользы принесло это хожденіе! Еслибъ и съ самаго начала положился на волю Божью, такъ это было бы во сто разъ лучше.

— Эхъ, батюшка, Кузьма Петровичъ!.. Да вѣдь

воля Божья во всемъ, не безъ Его же воли мы и сюда приѣхали.

— Нѣтъ, рѣшено!.. Укладывайся, Прохоръ: мы ѣдемъ завтра.

— Ёдемъ!.. А на чемъ, сударь? На своемъ на-дво-емъ!.. Вѣдь лошадей-то у насъ ужъ нѣтъ, а почтовыхъ нанять не на что.

— Мы поѣдемъ на долгихъ.

— Да вѣдь и на долгихъ - то, сударь, даромъ не возять.

— Я займу у Костоломова.

— Такъ займите же, батюшка!.. Вотъ онъ идетъ по улицѣ; вѣрно, къ вамъ.

— Черезъ минуту вошелъ Костоломовъ въ полномъ мундирѣ.

— Здравствуй, дядюшка! — сказалъ онъ. — Ба, ба, ба, да ты и сегодня примундирился!..

— Я былъ въ сенатѣ.

— А я у одного благодѣтеля, который хлопочетъ о моемъ мѣстечкѣ. Я пришелъ къ тебѣ, Кузьма Петровичъ, съ просьбою: не можешь ли мнѣ одолжить недѣли на двѣ рубликовъ двадцать-пять?

— Вотъ кстати! — вскричалъ Прохоръ. — А баринъ хотѣлъ у васъ просить.

— Неужели?

— Да, любезный другъ, я собираюсь домой, да не на что съѣхать.

— Домой?.. Такъ твое дѣло рѣшено?

— Какой рѣшено! — прервалъ Прохоръ. — Насъ кормили все завтраками, а мы кормили обѣдами; да и докормились до того, что самимъ ѣсть нечего.

— Эхъ, досадно, — сказалъ Костоломовъ, — не могу я тебѣ, дядя, помочь!.. Ну, да это еще дѣло поправное. Вотъ, изволишь видѣть: мой двоюродный братъ со всѣмъ семействомъ отправился въ свое помѣстье; ему надобно было кой-что закупить, такъ я написалъ въ деревню, чтобъ мнѣ выслали денегъ, — отдалъ всѣ наличныя ему, и остался самъ безъ гроша. Ну, дѣ-

дать нечего!.. Недѣльки полторы перебьемся какъ-нибудь, а тамъ, какъ получу изъ деревни рублей двѣсти, такъ, пожалуй, пополамъ съ тобой раздѣлю.

— Спасибо, мой другъ! Будь увѣренъ, что я, лишь только справлюсь съ деньгами...

— Ну, поговори, поговори еще!.. Справлюсь съ деньгами!.. Что ты, дядя, не хочешь ли ужъ проценты платить?.. Будутъ лишнія, такъ отдашь,—вотъ и все! Ну, братъ Кузьма, такъ у насъ теперь казныто, видно, не больше, какъ тогда... помнишь, подъ Кросеномъ, сирѣчь—ни полушки!

— То дѣло другое, братецъ: въ Пруссіи насъ кормили даромъ.

— Такъ чтожъ?.. Хочешь ли, братецъ, и здѣсь даромъ накормятъ!.. Да еще какъ — пальчики оближешь!.. Мы же кстати оба съ тобой въ мундирахъ Пойдемъ.

— Куда?

— Что тебѣ за дѣло—пойдемъ!

— Да скажи, куда!.. Въ какой-нибудь трактиръ?

— Вотъ еще? Развѣ въ трактирахъ даромъ кормятъ?

— Такъ, вѣрно, къ какому-нибудь изъ твоихъ знакомыхъ?

— Да! Я ужъ у него раза три обѣдалъ.

— Но какъ же я-то, братецъ?.. Прийти въ первый разъ обѣдать!..

— Ничего! Хозяинъ человѣкъ очень почтенный, добрый, ѣсть прекрасно и всегда радъ гостямъ.

— Да ты, по крайней мѣрѣ, скажи мнѣ, кто онъ такой?

— Я говорю тебѣ, что онъ человѣкъ добрый и почтенный; а кто онъ таковъ, скажу тебѣ послѣ обѣда.

— Воля твоя, Егоръ Васильевичъ; надобно, по крайней мѣрѣ, чтобъ я зналъ...

— Экій ты, братецъ, какой! Да развѣ я тебя поведу туда, куда тебѣ идти не можно?.. Повѣрь мнѣ,

хозяинъ будетъ тебѣ очень радъ; а сверхъ того,—прибавилъ Костоломовъ съ улыбкою,—кого другого, а тебя покормить ему вовсе не грѣшно.

— Меня?.. Чтожъ это значить?

— Узнаешь все послѣ обѣда... Пойдемъ!

— Ступайте, сударь! — шепнулъ Прохоръ. — Сегодня за обѣдъ не заплатите, такъ завтра будетъ на что покушать.

— Да отчего ты не хочешь сказать мнѣ, Егоръ Васильевичъ?..

— Ну, такъ, братецъ,—капризь!

Мироновъ долго не соглашался на предложеніе Костоломова; наконецъ, по убѣдительной его просьбѣ, рѣшился идти вмѣстѣ съ нимъ, не зная самъ, куда онъ ведетъ.

XXXII.

ОТКРЫТЫЙ СТОЛЪ БОЛЬШОГО БАРИНА.

Начиная эту главу, я долженъ сказать своимъ читателямъ нѣсколько словъ объ одномъ старинномъ обычаѣ московскихъ именитыхъ бояръ, для которыхъ наше нынѣшнее гостепріимство показалось бы чрезвычайно мелкимъ, ничтожнымъ и даже вовсе не русскимъ. Лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, въ Москвѣ жилось на покой много заслуженныхъ вельможъ, которые славились своею щедростію, великолѣпіемъ и роскошнымъ гостепріимствомъ. У нѣкоторыхъ изъ нихъ почти ежедневно были такъ-называемые *открытые столы*. Каждый опрятно одѣтый человѣкъ, хотя бы онъ вовсе не былъ знакомъ хозяину, могъ смѣло приходить обѣдать за этотъ столъ; его не спрашивали, кто онъ такой. Дождавшись въ столовой хозяина и отвѣсивъ ему низкій поклонъ, онъ садился за общую трапезу и кушалъ на здоровье во славу Божию и въ честь русскаго гостепріимнаго боярина, которому и кушанье показалось бы не вкуснымъ, если бы за его столомъ сидѣло менѣе ста человѣкъ гостей. Этотъ

обычай извѣстенъ намъ теперь по одному преданію. Мы не дошли еще до просвѣщенной расчетливости нашихъ западныхъ сосѣдей, у которыхъ отдѣльный сынъ не придетъ незванный обѣдать къ отцу; но, несмотря на это, съ трудомъ уже вѣримъ, что русское хлѣбосольство могло когда-нибудь существовать въ такомъ обширномъ размѣрѣ, — и вотъ почему я нашелъ необходимымъ предварить своихъ читателей, что этотъ обычай, дѣйствительно, существовалъ на Руси, и что были у насъ такіе бояре, которые находили удовольствіе угощать однимъ и тѣмъ же столомъ и бѣдныхъ, и богатыхъ, и друзей, и незнакомыхъ; однимъ словомъ, дѣлиться со всѣми богатствомъ, которымъ наградила ихъ Господь, и проживать свои доходы дома, а не копить деньги для того, чтобъ проматывать ихъ на чужой сторонѣ, ради пріобрѣтенія себѣ европейскаго имени.

Костоломовъ и Мирошевъ вышли Иверскими воротами изъ города. Перейдя черезъ Неглинную, они повернули налѣво; потомъ, пройдя нѣсколько времени по Моховой, повернули направо и пошли по Воздвиженкѣ.

— Повѣришь ли ты, — сказалъ Мирошевъ, — съ тѣхъ поръ, какъ мы живемъ въ Москвѣ, я еще ни разу не былъ на этой улицѣ?

— Да развѣ ты куда не ходишь?

— Нѣтъ, я почти каждый день гуляю по городу, да всегда въ нашей сторонѣ. Ты живешь на Яузѣ, такъ я зайду къ тебѣ, а отъ тебя въ Рогожскую, въ Таганку, къ Симонову, на Крутицы; тамъ по Москвѣрѣкѣ такіе прекрасные виды, да и строенія лучше здѣшнихъ... Однакожъ, и здѣсь, кажется, есть славные дома. Посмотри, какія палаты, — продолжалъ Мирошевъ, остановясь противъ огромнаго каменнаго дома.

Этотъ домъ стоялъ посреди обширнаго двора; главный корпусъ былъ въ два этажа, или, лучше сказать, въ одинъ, потому что продолговатыя окна второго этажа были чрезвычайно малы и, казалось, служили

только для одного наружнаго украшенія; къ дому примыкали съ обѣихъ сторонъ два трех-этажные флигеля: одинъ изъ нихъ тянулся вдоль нынѣшняго Шереметьевскаго переулка. Изъ-за кровли дома поднималась глава довольно большой церкви, выстроенной на внутреннемъ дворѣ, который оканчивался садомъ.

— Какой чудный домъ, — сказалъ Мирошевъ: — самъ въ одинъ этажъ съ антресолями, а флигеля трех-этажные.

— Такъ онъ тебѣ не нравится?

— Нѣтъ, братецъ, домъ барскій! Конечно, еслибъ онъ былъ повыше, такъ еще бы казался красивѣе.

— Да это снаружи, любезный; а вотъ посмотри-ка внутри... Пойдемъ!

— Какъ, Егоръ Васильевичъ, — вскричалъ Мирошевъ, — да развѣ мы будемъ обѣдать въ этихъ палатахъ?

— Чего жъ ты испугался?

— Да въ нихъ живетъ какой-нибудь вельможа.

— Такъ чтожъ такое, если этотъ вельможа любить, чтобъ его хлѣбъ-соль кушали и знакомые, и незнакомые?.. Пойдемъ, братецъ!

Костоломовъ втащилъ почти насильно Мирошева во дворъ. У воротъ стоялъ, опираясь на свою форменную булаву, зашитый въ золото швейцаръ. Костоломовъ, какъ человѣкъ знакомый, кивнулъ ему головою, а Мирошевъ очень вѣжливо поклонился. Когда они взошли на широкое крыльцо, другой швейцаръ отворилъ имъ двери въ обширную прихожую, въ которой было человѣкъ шестьдесятъ лакеевъ: одни въ богатыхъ либреяхъ, другіе въ красивыхъ казачьихъ чекменяхъ. Изъ прихожей, пройдя чрезъ офиціантскую, вошли они въ пріемную залу. Человѣкъ тридцать гостей, изъ которыхъ большая часть была въ мундирахъ, ходили взадъ и впередъ по залѣ, сидѣли на стульяхъ и разговаривали межъ собою вполголоса.

— Это такіе же гости, какъ и мы, — сказалъ Костоломовъ Мирошеву. — Теперь не хочешь ли присѣсть и отдохнуть?.. Еще рано, — прибавилъ онъ, взгля-

нужъ на великолѣпныя бронзовыя часы, которые украшали одну изъ стѣнъ залы: мы прежде получаса обѣдать не будемъ.

— Да скажешь ли ты мнѣ, по крайней мѣрѣ, хотъ теперь?..

— Не скажу, братецъ!.. Вотъ какъ покушаешь— тогда!

— А если я спрошу у кого-нибудь изъ гостей?

— Право?.. Да какъ же ты спросишь?.. «Позвольте, дескать, батюшка, узнать, къ кому я пришелъ обѣдать»? Нѣтъ, дядя, лучше подожди.

— Какой ты упрямый!

— Натура такая, любезный!

Прошло около четверти часа, — вдругъ послышались шаги въ сосѣдней комнатѣ; всѣ гости пришли въ движеніе: тѣ, которые ходили по комнатѣ, остановились; а тѣ, которые сидѣли, вскочили со своихъ мѣстъ. Двери изъ гостиной отворились, и въ пріемную залу вошелъ человекъ лѣтъ пятидесяти, полный, краснощекій, въ красивомъ нѣмецкомъ кафтанѣ; онъ съ вѣжливой улыбкою поклонился всѣмъ гостямъ, которые также отвѣсили ему по низкому поклону.

— Это хозяинъ?—спросилъ Кузьма Петровичъ Костомова.

— Нѣтъ, братецъ, это его дворецкій.

— Покорнѣйше прошу, господа, въ гостиную! — сказалъ привѣтливо дворецкій.— Не угодно ли кому закусить и выпить водки?

Всѣ гости вошли въ обширную комнату, обитую малиновымъ штофомъ; посреди нея стоялъ круглый столъ съ закускою. Въ нѣсколько минутъ на столѣ остались одни пустыя блюда и тарелки. Впрочемъ, почти всѣ гости пили водку весьма умеренно, исключая одного человека лѣтъ тридцати въ драгунскомъ мундирѣ, который, безъ всякаго зазрѣнія совѣсти, выпилъ три рюмки водки одну за другою. Мирошевъ давно уже замѣтилъ въ этомъ драгунскомъ офицерѣ что-то странное. Весьма некрасивое лицо его выра-

жало наглость и безстыдство; а несмотря на это, онъ держалъ себя въ почтительномъ отдаленіи отъ другихъ гостей, жался къ стѣнкѣ, посматривалъ на всѣхъ съ какимъ-то безпокойствомъ и примѣтнымъ образомъ старался, чтобъ глаза его не встрѣтились съ глазами другихъ гостей. Вообще, всѣ движенія его изобличали челоуѣка, который чувствуетъ самъ, что онъ не на своемъ мѣстѣ. Поношенный мундиръ сидѣлъ на немъ какъ мѣшокъ; онъ путался поминутно со своею саблею, зацѣплялъ за все шпорами и не зналъ, куда дѣвать свою шляпу.

— Что это за офицеръ такой! — спросилъ Кузьма Петровичъ Костоломова. — На немъ мундиръ точно такой же, какъ на насъ.

— Такъ чтожъ? Развѣ ты забылъ, что всѣ драгунскіе мундиры отличаются другъ отъ друга одними только погончиками?

— Да это было прежде; теперь, кажется, форма другая.

— Онъ, видно, такъ же, какъ и мы, отставной; служилъ въ наше время.

— Въ наше время?.. Помилуй, братецъ, да ему нѣтъ и тридцати лѣтъ!

— Тсъ!.. Тише! — прервалъ Костоломовъ. — Вотъ, кажется, хозяинъ со своими гостями!

Два ливрейныхъ лакея растворили обѣ половинки дверей приѣмной залы; изъ внутреннихъ комнатъ показалась большая толпа гостей, въ числѣ которыхъ много было генераловъ и знатныхъ господъ въ богатыхъ французскихъ кафтанахъ. Впереди, рядомъ съ однимъ бариномъ во Владимірской звѣздѣ, шелъ высокаго роста сутуловатый старикъ, особенно замѣчательный по необычайной простотѣ и даже странности своего наряда. Въ то время, безъ исключенія всѣ, принадлежащіе къ высшему обществу, носили шитые золотомъ и шелками французскіе кафтаны, кружевные манжеты и жабо; пудрились, завивали на вискахъ бѣлки, взбивали туею и прицѣпляли къ затылку различныхъ формъ

шелковые кошельки съ бантами, оборками и разными другими *агрементами*. Точно такъ были одѣты почти всѣ гости, исключая этого старика. Онъ былъ въ виго-невомъ, темнаго цвѣта сюртукѣ, съ отложнымъ воротникомъ, въ бѣломъ, небрежно повязанномъ галстукѣ, и его сѣдые волосы, безъ пудры, были острижены въ кружокъ. Наружность этого старика была весьма привлекательна: кротость, доброта и умъ изображались во всѣхъ чертахъ худощаваго лица его, а особливо въ глазахъ и улыбкѣ, исполненной неизъяснимой пріятности. На немъ не было никакихъ орденовъ, кромѣ Андреевской звѣзды, которая виднѣлась изъ - подъ лѣваго лацкана до половины застегнутаго сюртука.

— Вотъ хозяинъ—въ сюртукѣ со звѣздою,—шепнула Костоломовъ Мирошеву.

— Прошу покорно, господа!—проговорилъ съ ласковою улыбкою добрый хозяинъ, обращаясь къ своимъ незваннымъ гостямъ. — Милости прошу! Чѣмъ Богъ пошлалъ.

Изъ этихъ немногихъ словъ можно было замѣтить по выговору, что хозяинъ дома былъ природнымъ малороссіяниномъ и, вѣроятно, ужъ не ребенкомъ оставилъ свою родину. Мирошевъ вслѣдъ за другими вошелъ изъ гостиной въ длинную залу въ два свѣта. Въ ней накрытъ былъ покоемъ обѣденный столъ слишкомъ на сто приборовъ. Кузьма Петровичъ хотѣлъ сѣсть рядомъ съ Костоломовымъ, но при входѣ въ залу толпа ихъ разлучила, и ему пришлось сидѣть совсѣмъ на другомъ концѣ стола. Въ первыя минуты Мирошевъ былъ совершенно пораженъ новостію своего положенія. Онъ сидѣлъ за великолѣпнымъ столомъ, на которомъ все блистало серебромъ и золотомъ; передъ нимъ какъ жаръ горѣло роскошное плато, которое, вѣроятно, стоило дороже, чѣмъ три Хопровки; онъ обѣдалъ со знатными господами, подъ звуки очаровательной музыки, ѣлъ съ серебряной тарелки; ему служили попеременно то одѣтый бариномъ офиціантъ, то залитой въ золото казачекъ. Все это казалось ему

сномъ. Наконецъ, когда онъ приглядѣлся понемногу къ этому царскому великолѣпію и утолилъ свой голодъ, то, по примѣру другихъ гостей, захотѣлъ поразговориться со своими сосѣдами. Съ правой сторонѣ подлѣ него сидѣлъ какой-то господинъ въ черномъ бархатномъ кафтанѣ съ золотыми пуговицами, а съ лѣвой тотъ самый драгунскій офицеръ, который странною своею наружностію обратилъ на себя его вниманіе. Мирошевъ началъ говорить со своимъ сосѣдомъ въ черномъ бархатномъ кафтанѣ.

— Какая прекрасная зала!—сказалъ онъ.

Сосѣдъ, который въ эту минуту трудился около большого куска разварной стерляди, не взглянулъ даже на Мирошева. Помолчавъ нѣсколько времени, Кузьма Петровичъ обратился къ нему снова, но уже съ вопросомъ, на который слѣдовало отвѣчать.

— Позвольте спросить, что такое играла сейчасъ музыка?

— Музыкѣ?...—проговорилъ черный бархатный кафтанъ, укладывая весьма бережно на кусочекъ хлѣба свою вилку и ножикъ.—Я, я, музыкѣ!

— А!.. Нѣмецъ!—подумалъ Мирошевъ.—Ну, съ нимъ я немного наговорю.—Помолчавъ еще нѣсколько минутъ, Кузьма Петровичъ обратился къ другому своему сосѣду:

— Позвольте мнѣ спросить васъ: вы, вѣрно, въ отставкѣ?

Драгунскій офицеръ вздрогнулъ и, не отвѣчая ни слова, поотодвинулъ свой стулъ отъ Мирошева.

— Не беспокойтесь,—сказалъ Кузьма Петровичъ,—мы сидимъ довольно просторно. Извините, мнѣ хотѣлось бы знать: вы служите или нѣтъ?

Глаза драгунскаго офицера забѣгали кругомъ; онъ робко посмотрѣлъ назадъ, потомъ взглянулъ недоувѣрчиво на Мирошева и отвѣчалъ глухимъ голосомъ:

— Служу!

— Право? А я думалъ, что вы отставной; судя по вашему мундиру...

— По мундиру?—повторилъ торопливо драгунъ.—
А что мой мундиръ?..

— Да, кажется, теперь не та форма.

— Форма?.. Какая форма?..

Мирошевъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на этого чу-
дака и сказалъ:

— Такъ поэтому не во всѣхъ полкахъ мундиры
перемѣнены?.. Вы служите въ драгунахъ?

Офицеръ кивнулъ головою.

— Позвольте спросить, въ какомъ полку?

— А на что вамъ?

— Такъ, одно любопытство.

Офицеръ замолчалъ, поотодвинулъ еще свой стулъ
отъ Мирошева и принялся рѣзать ножомъ артишокъ,
который лежалъ у него на тарелкѣ.

— Ну, — подумалъ Мирошевъ, — дѣлать нечего:
одинъ сосѣдъ нѣмецъ, другой какой-то полоумный! Не
съ кѣмъ промолвить и словечка!

Вотъ, наконецъ, встали изъ-за стола; одни гости
пошли вмѣстѣ съ хозяиномъ на его половину, а другіе,
то-есть незваные, остались въ гостиной. Кузьма Пе-
тровичъ замѣтилъ, что драгунскій офицеръ исчезъ тот-
часъ послѣ обѣда.

— Ну, дядя, — сказалъ Костоломовъ, подойдя къ
Мирошеву, — хорошо покушалъ?

— Не о томъ рѣчь, Егоръ Васильевичъ! Теперь
ты долженъ сказать мнѣ...

— Изволь! Помнишь, я намекнулъ тебѣ, что хо-
зяину здѣшняго дома вовсе не грѣшно покормить тебя
своимъ хлѣбомъ и солью?..

— Ну да! Чтожъ это значить?

— А то, что ты по милости его пріѣхалъ въ Москву?

— Какъ по милости его?

— Ну, пожалуй, хоть по милости его приказчика,
который отнимаетъ у тебя землю.

— Что ты говоришь? Такъ мы обѣдали у графа?..

— Да, братецъ, да! Ну, что, любезный: вѣдь штука-
то недурная?..

— Ахъ, Егоръ Васильевичъ, — вскричалъ Мирошевъ, — что ты со мной сдѣлалъ!

— А что такое?

— Какъ что? Я съ нимъ въ тяжбѣ и обѣдалъ за его столомъ! Ну, если онъ узнаетъ?..

— Не узнаетъ, братецъ! А еслибъ и узналъ, такъ чтожъ за бѣда?

— Помилуй, Егоръ Васильевичъ, да на что это походить!.. И что скажутъ обо мнѣ добрые люди?.. Ахъ, какой стыдъ!.. Пойдемъ, братецъ, скорѣй отсюда!

— погоди немножко! Видишь, подають кофе.

— Такъ прощай же, — я здѣсь ни мину́ты не останусь! — сказалъ Мирошевъ, спѣша выйти изъ гостиной.

Въ пріемной комнатѣ, у самыхъ дверей въ прихожую, стоялъ дворецкій; онъ говорилъ вполголоса съ однимъ офиціантомъ. Увидѣвъ Мирошева, офиціантъ шепнулъ что-то на-ухо дворецкому, и они оба замолчали. Когда Кузьма Петровичъ подошелъ къ дверямъ прихожей, дворецкій обратился къ нему и сказалъ:

— Извините, сударь, мнѣ нужно васъ спросить...

У Мирошева сердце замерло..

— Что вамъ угодно? — прошепталъ онъ заикаясь.

— Позвольте узнать вашу фамилію.

— Мою фамилію? — повторилъ Мирошевъ, оледенѣвъ отъ ужаса. — То-есть... вы хотите знать, кто я?

— Да-съ!

— Я отставной поручикъ, Кузьма Петровичъ, — промолвилъ съ запинкою Мирошевъ, стараясь пройти въ дверь.

— Позвольте! — сказалъ дворецкій, заслонивъ ему дорогу. — А фамилія ваша, если смѣю спросить?

Кузьма Петровичъ поблѣднѣлъ, какъ приговоренный къ смерти. И подлинно, положеніе его было очень непріятно. Честный, примодушный Мирошевъ ни за что въ свѣтѣ не рѣшился бы назвать себя чужимъ именемъ; но какъ объявить свое собственное; какъ признаться, что онъ въ одно и то-же время и въ тяжбѣ съ графомъ и въ числѣ его нахлѣбниковъ?.. Бѣдняжка,

онъ думалъ, что графъ, который и не подозрѣвалъ его существованія, точно такъ же, какъ онъ, заботится объ этомъ ничтожномъ процессѣ, и, вслѣдствіе этой увѣренности, не сомнѣвался, что лишь только произнесетъ свое имя, то всѣ ахнутъ отъ ужаса и закричатъ: «Посмотрите, посмотрите, вотъ безстыдный человѣкъ: подаетъ на графа просьбы, а самъ незваный таскается къ нему обѣдать!» Эта страшная мысль до того овладѣла Мирошевымъ, что онъ совершенно растерялся. Въ глазахъ у него потемнѣло, губы дрожали, языкъ не могъ выговорить ни слова... Дворецкій взглянулъ значительно на официанта, улыбнулся и сказалъ Мирошеву почти насмѣшливымъ голосомъ:

— Ну, что, сударь, вспомнили вашу фамилію?

— Мирошевъ!—прошепталъ, наконецъ, Кузьма Петровичъ, чуть-чуть шевеля губами.

— Какъ, сударь, какъ?—спросилъ дворецкій.

— Мирошевъ!—закричалъ Кузьма Петровичъ такимъ дикимъ и отчаяннымъ голосомъ, что дворецкій вздрогнулъ.

— А гдѣ изволите квартировать?—спросилъ онъ.

— Въ Зарядѣ.

Дворецкій поклонился, а Мирошевъ бросился со всѣхъ ногъ въ лакейскую и выбѣжалъ какъ сумасшедшій на дворъ. Онъ слышалъ позади себя,—да, точно,—онъ слышалъ злобный хохотъ дворецкаго, онъ слышалъ, какъ въ нѣсколько голосовъ повторяли его имя въ передней... Бѣдный Кузьма Петровичъ, добѣжавъ домой, почти безъ чувствъ упалъ на постель.

— Ну, что, сударь,—спросилъ Кондратычъ,—гдѣ вы изволили кушать?

— Ахъ, Прохоръ,—вскричалъ Мирошевъ,— не спрашивай!.. Представь, что сдѣлалъ со мной этотъ злодѣй Костоломовъ!

— А что, сударь?

— А то, Прохоръ, что мнѣ стыдно глядѣть на самого себя.

— Ахъ, батюшки мои!.. Да чтожь такое? Неужели онъ завелъ васъ въ какое-нибудь дурное мѣсто?

— О, нѣтъ! Я обѣдалъ у знаменитаго вельможи, со мною сидѣли за столомъ генералы, знатные люди...

— Право?

— Да, Прохоръ, да!.. Только знаешь ли ты, у кого я обѣдалъ въ гостяхъ?.. У того самаго графа, съ которымъ мы въ тяжбѣ!

— Что вы говорите?

— Ну, разсуди самъ: что онъ теперь обо мнѣ думаетъ?

— Помилуйте, — прервалъ Прохоръ, — за чтожь вы сердитесь на Егора Васильевича? Этотъ графъ хочетъ отнять у васъ послѣдній кусокъ хлѣба, а вамъ еще у него и не покушать!.. Эхъ, сударь, не я на вашемъ мѣстѣ! Я бы каждый день сталъ у него обѣдать, да ѣлъ бы за пятерыхъ; ужъ я бы доѣхалъ этого графа не мытьемъ, такъ катаньемъ!

— Какъ тебѣ не стыдно, Прохоръ!

— Да чего тутъ стыдиться? Что вы, развѣ мы у него отнимаемъ землю? Вотъ еслибъ мы стали подбираться къ его селу Вознесенскому, такъ это дѣло другое. Съ одного вола двухъ шкуръ не дерутъ. Эхъ, батюшка, Кузьма Петровичъ, благо ужъ вы знаете дорогу, ступайте-ка и завтра къ нему обѣдать!

— Ни за что на свѣтѣ!

— Да чтожь вы станете кушать-то? Я и за пятакъ буду сытъ: краюха хлѣба, да ковшикъ воды. такъ и слава Богу! А вы, сударь...

— А я-то чтожь? Развѣ мнѣ больше твоего надобно?

— Вы человѣкъ непривычный, Кузьма Петровичъ, — отощаете!

— Не безпокойся!

— Ну, воля ваша, какъ хотите. А я бы ужъ далъ себя знать этому графу! Пообѣдалъ бы вплотную, а тамъ бы сказалъ: «нельзя ли поужинать?»

XXXIII.

ОДИННАДЦАТЬ ЛОЖЕКЪ.

На другой день, часу въ седьмомъ послѣ обѣда, Кузьма Петровичъ пошелъ гулять по городу, Кондратьичъ—человѣкъ, какъ вы знаете, на все досужій, принялся чинить старые сапоги своего барина. Вотъ этакъ часу въ девятомъ, двери отворились и вошелъ человѣкъ, просто, но очень опрятно одѣтый.

— Здѣсь ли живетъ отставной поручикъ, Кузьма Петровичъ Мирошевъ?—спросилъ онъ.

— Здѣсь, батюшка!—отвѣчалъ Прохоръ вставая.— Что вамъ угодно?

— А вотъ велѣно ему отдать,—продолжалъ незнакомый, кладя на столъ что-то завернутое въ бумагу.

— Да вы отъ кого?—спросилъ Кондратьичъ.

— Незнакомый, не отвѣчая ни слова, поклонился и вышелъ вонъ.

— Что это такое?—подумалъ Прохоръ, взявъ въ руки свертокъ.—Ого, да это что-то тяжелое и звенить!

— Что ты это разсматриваешь?—сказалъ Мирошевъ, войдя въ комнату.

— Да вотъ, сударь, сію минуту былъ здѣсь какой-то человѣкъ и принесъ это вамъ.

— Человѣкъ?.. Отъ кого?

— Не знаю, сударь. Я спрашивалъ, да онъ не сказалъ.

— А что это такое?

— А вотъ сейчасъ разверну!.. Ахъ, батюшки!—продолжалъ Прохоръ.—Что это?.. Серебряная ложка... другая... третья!.. Кажется, цѣлая дюжина!.. Нѣтъ, только одиннадцать!..

— Чтожъ это значить?—вскричалъ Мирошевъ.— Это должна быть ошибка: вѣрно, ложки присланы не ко мнѣ, а къ хозяину.

— Никакъ нѣтъ, сударь! Тотъ, кто ихъ принесъ,

сказалъ, что онѣ присланы къ отставному поручику, Кузьмѣ Петровичу Мирошеву.

— Да кто ихъ принесъ?

— Ужъ я вамъ докладывалъ, какой-то человѣкъ. Богъ его знаетъ, кто онъ такой!.. Да вы, я думаю, съ нимъ повстрѣчались: онъ только-что передъ вами отсюда вышелъ.

— Э, знаешь ли что?.. У Костодомова нѣтъ ни гроша денегъ, ужъ не прислалъ ли онъ эти ложки, чтобъ я заложилъ ихъ хозяину гостиницы?

— Помилуйте, вѣдь, кажется, я его Андриюшку знаю; а съ чужимъ человѣкомъ онъ вѣрно бы не послалъ серебряныхъ ложекъ.

— Да на кого походить тотъ, кто ихъ принесъ? Лакей что ль онъ?

— А кто его знаетъ! На взглядъ онъ больше походить на барина: одѣтъ такъ чисто; бекашка знатная, изъ тонкаго сукна...

— Куда жъ намъ дѣваться съ этими ложками?

— Покаместъ останутся у насъ; не за окно же ихъ выбросить. Можетъ-быть, этотъ человѣкъ и опять зайдетъ.

— Странно, очень странно!.. Пойду наверхъ, спрошу хозяина, не ждетъ ли онъ отъ кого-нибудь ложекъ; да кстати и чаю напьюсь; я ужинать сегодня не стану.

Мирошевъ, не найдя хозяина гостиницы на обыкновенномъ его мѣстѣ, за прилавкомъ, спросилъ себѣ порцію чаю и расположился за небольшимъ столикомъ. Въ двухъ шагахъ отъ него, за другимъ столомъ или также чай нѣсколько человѣкъ, которыхъ лица были ему совершенно незнакомы. Сначала онъ не обращалъ никакого вниманія на ихъ шумный разговоръ; но нѣсколько разъ повторенное имя графа, у котораго онъ наканунѣ обѣдалъ, возбудило, наконецъ, его любопытство. Эти господа говорили очень громко и, казалось, вовсе не заботились о томъ, что посторонній человѣкъ слышитъ ихъ разговоръ.

— Да, милостивые государи, да,—говорилъ одинъ

изъ нихъ, лысый старичокъ небольшого роста,—довольно въ Москвѣ знатныхъ господъ и бояръ; но каковъ графъ, такихъ вельможъ и въ Питерѣ не много. Подлинно, Господь Богъ не даромъ благословилъ его такимъ несмѣтнымъ богатствомъ,—настоящій русскій бояринъ: щедръ, милостивъ, набоженъ...

— Набоженъ?—прервалъ одинъ худощавый чело­вѣкъ съ блѣднымъ лицомъ.—Ну, это еще Богъ вѣсть! Кабы онъ чело­вѣкъ былъ набожный, такъ не сталъ бы жить такъ роскошно.

— Да почему же, Ѳедоръ Ивановичъ,—возразилъ лысый старикъ,—знатному вельможѣ и не жить съ пышностію, приличною его сану? Лишь только бы это было безъ обиды другимъ. Да если богатые люди не станутъ жить роскошно, такъ бѣднымъ-то придется умирать съ голоду.

— Это, сударь, почему?.. Пусть богатый подаетъ милостыню.

— Да, кажется, графъ на это вовсе не скупъ; кто больше его дѣлаетъ добра бѣднымъ людямъ?

— Жилъ бы поскромнѣе, такъ и еще бы больше могъ дѣлать.

— То-есть безъ всякаго разбора подавать всѣмъ сплошь милостыню? Да развѣ это можно! И вы, батюшка, не подадите мужику здоровому и молодому, а скажете ему: «Не совѣстно ли тебѣ питаться Христовымъ именемъ?.. Ступай—работай!»

— Оно такъ, Андрей Петровичъ, а все-таки роскошь порокъ, и чело­вѣкъ истинно набожный не станетъ для себя строить позлащенныхъ чертоговъ.

— Позлащенныхъ чертоговъ!.. Да вѣдь эти чертоги строятъ мастеровые и рабочіе люди; имъ за это платятъ деньги, а они на эти деньги содержатъ себя и свои семейства, такъ на повѣрку-то выходитъ, что графъ себя тѣшитъ и бѣдныхъ людей кормитъ. На то Господь и даетъ богатство чело­вѣку, чтобъ онъ имъ дѣлился съ другими; недужнымъ и убогимъ подавалъ бы милостыню, а людямъ здоровымъ и молодымъ да-

валъ бы работу. Вотъ, напримѣръ, еслибъ какой-нибудь человѣкъ, не очень богатый, отыскалъ въ своей землѣ золотые рудники, сдѣлался бы милліонщикомъ, а жить бы сталъ все попрежнему, такъ и вы бы ему сказали: «Что ты, бесплодная смоковница, сидишь на своихъ сундукахъ съ золотомъ? Пускай его въ ходъ! Коли ты не хочешь быть добрымъ христіаниномъ, не подаешь милостыни, не заводишь больницы и страннопримныхъ домовъ, не сооружаешь храмовъ Божьихъ,—такъ будь, по крайней мѣрѣ, не вовсе бесполезнымъ гражданиномъ, и, хотя изъ барышей, пускай въ оборотъ свои милліоны: строй себѣ огромные дома, живи съ роскошью, давай хлѣбъ рабочимъ людямъ; а то какая польза для Русскаго Царства, что въ немъ есть свое золото, коли ты выкапываешь его изъ земли для того только, чтобъ опять закопать въ свои сундуки? Ты, чай, думаешь про себя: «я знаменитый гражданинъ, капиталистъ, милліонщикъ!» Неправда, ты просто мѣшокъ, набитый золотомъ. Вотъ какъ износишься, отживешь свой вѣкъ, да повытаскаютъ изъ тебя денежки, такъ о тебѣ и вспомнить-то никто не захочетъ!... Пѣтъ, господа, не такъ поступаетъ графъ. Его и роскошь основана вся на добрѣ. Сколько людей живутъ по его милости! Да что и говорить—истинный русскій бояринъ!.. А справедливъ-то какъ!.. Ужъ не зайкнется, когда надобно высказать правду, такъ и отрѣжетъ!

— Да, — прервалъ худощавый господинъ, — говорятъ, онъ на это хорошъ: не посмотритъ ни на какое лицо...

— Ужъ, точно, не посмотритъ!.. Да вотъ я расскажу вамъ, господа, что онъ недавно сдѣлалъ. Одинъ генералъ, человѣкъ также немаловажный, попался какъ то въ немилость и отданъ былъ подъ судъ; всѣ судьи, желая угодить одной знаменитой особѣ, такъ и вскинулись на бѣднаго подсудимаго: начали слѣдовать его безъ всякой пощады, ко всему придирались, и, наконецъ, почти единогласно приговорили

его къ жестокому наказанію. Графъ былъ также въ числѣ судей. Когда дошла до него очередь подписать резолюцію, онъ сказалъ, что въ судебской приговорѣ не всѣ законы подобраны, и что такого-то года, числа и мѣсяца состоялся законъ, въ силу котораго слѣдовало бы облегчить участь подсудимаго. Вотъ справились, и докладываютъ графу, что въ этотъ годъ, мѣсяцъ и число никакихъ не выходило законовъ, кромѣ одного закона о кулачныхъ бояхъ. «Ну да!» сказалъ графъ. «Посмотри-ка въ немъ такую-то статью». Чтожъ вы думаете, господа, въ этой статьѣ написано?.. *«Легкаго не бьютъ»*.—А, каково.

— Умно, умно!—сказали собесѣдники старика.

— И весьма милосердно! — прибавилъ худощавый господинъ.

— Ну, если дѣло дошло до графскаго милосердія, — заговорилъ одинъ пожилой человѣкъ въ коричневомъ нѣмецкомъ кафтанѣ, — такъ я вамъ, господа, скажу, что вчера случилось у него въ домѣ. Мнѣ сегодня утру рассказывать объ этомъ мой кумъ, Иванъ Аванасьевичъ, дворецкій его сіятельства. Я думаю, вы знаете, что у графа почти всегда бываетъ открытый столъ: приходи и кушай, кто хочетъ. Вчера обѣдало у него человѣкъ тридцать всякихъ разночинцевъ. Когда встали изъ-за стола, офиціантъ доложилъ дворецкому, что при одномъ приборѣ не оказалось серебряной ложки, и что за этимъ кувертомъ обѣдалъ какой-то офицеръ въ драгунскомъ мундирѣ; вотъ Иванъ Аванасьевичъ, вмѣстѣ со слугою, вышли въ пріемную комнату и стали подлѣ дверей прихожей; глядятъ—летитъ молодецъ въ драгунскомъ мундирѣ! Дворецкій подошелъ къ нему и спросилъ очень вѣжливо: какъ его фамилія? Офицеръ поблѣднѣлъ какъ полотно. «Ага», — подумалъ Иванъ Аванасьевичъ, — «знаетъ кошка, чье мясо съѣла!» — Онъ повторилъ свой вопросъ; его благородіе замаялся, — туда, сюда, шепнулъ что-то себѣ подъ носъ, да и хотѣлъ проскользнуть въ лакейскую... Нѣтъ, шутишь! Иванъ Аванасьевичъ сталъ въ дверяхъ и приступилъ

къ нему съ ножомъ къ горлу: воришка началъ заикаться, забормоталъ и сказалъ наконецъ, что онъ отставной поручикъ Марошевъ... Мирошевъ—не помню, какъ-то этакъ.

— Скажите пожалуйста! — вскричалъ худощавый господинъ. — Добро бъ кто-нибудь, а то офицеръ!.. Да ужъ нѣтъ ли тутъ какой ошибки?

— Вотъ то-то и дѣло, что нѣтъ!.. Ну, разсудите сами: еслибъ у этого офицера совѣсть была чиста, такъ чего же ему испугаться, когда спросили, какъ его зовутъ? А сверхъ того, одинъ казачекъ, который служилъ за столомъ, объявилъ послѣ дворецкому, что онъ самъ видѣлъ, какъ гость положилъ въ карманъ ложку, и что этотъ гость былъ, точно, въ драгунскомъ мундирѣ. Когда вечеромъ Иванъ Аванасьевичъ доложилъ объ этомъ графу, какъ вы думаете, что сказалъ его сіятельство?

— Да, вѣрно, изволилъ сказать, — прервалъ лысый старичекъ: — «Богъ съ нимъ, пускай владѣетъ моею ложкой!».

— Нѣтъ, не то!.. «Бѣдняжка», — сказалъ его сіятельство, — «видно, ему дома-то нечѣмъ кушать. Пошлите ему еще одиннадцать ложекъ: пускай ихъ будеть у него цѣлая дюжина».

— Ну, этого я не ожидалъ! — вскричалъ лысый старикъ. — Какое великодушіе!..

— А по мнѣ, такъ баловство, — проговорилъ худощавый господинъ вставая. — Коли вору дѣлать такіе подарки, такъ чтожъ надобно дать честному человеку?

Тутъ вся компанія поднялась, и черезъ нѣсколько минутъ подлѣ Мирошева не осталось никого. Какъ пораженный громомъ, безъ всякаго сознанія, почти безъ чувствъ, сидѣлъ онъ неподвижно на своемъ мѣстѣ. Бѣдный Кузьма Петровичъ, онъ не проронилъ ни одного слова изъ этого ужаснаго разговора! Вы знаете Мирошева: этотъ кроткій, смиренный христіанинъ сносилъ все безъ ропота; онъ былъ бѣденъ, и никогда

не жаловался на свою бѣдность; видѣлъ единственную дочь свою при смерти, и говорилъ: «Да будетъ Ею Святая воля!».. Но это послѣднее испытаніе было тяжелѣе всѣхъ другихъ. Онъ слышалъ, какъ его чистое, ничѣмъ незапятнанное имя произносили съ презрѣніемъ; онъ слышалъ, какъ его называли публично воромъ, и долженъ былъ молчать!.. Къ чему, — думалъ онъ, — послужили мнѣ безпорочная жизнь, неукоризненное поведеніе и честная, усердная служба Царю и отечеству?.. Кто сталъ бы подозрѣвать въ воровствѣ богатаго человѣка, и кому придетъ въ голову, что бѣдный ничтожный Мирошевъ, которому нечего ѣсть, рѣшится лучше умереть голодною смертію, чѣмъ сдѣлать подлый поступокъ?.. О, бѣдность, бѣдность, теперь-то я понимаю, какъ ты тяжка!.. Этотъ графъ!.. Всѣ говорятъ, что онъ добръ и справедливъ, а онъ отнимаетъ у меня послѣдній кусокъ хлѣба... Но это еще ничего: у меня оставалось честное, безпорочное имя, и онъ, вѣрно, подумалъ: «на что оно нищему?» — Кинулъ мнѣ свое серебро, назвалъ меня воромъ, — и всѣ кричатъ: «какое великодушіе!» Боже мой, Боже мой, чѣмъ я заслужилъ этотъ позоръ?

Въ первый разъ еще въ жизни Мирошевъ забылъ, въ минуту горести, предать себя безусловно волѣ Отца Небеснаго, и чувство, вовсе ему незнакомое, чадо ропота и непокорности, чувство адское—отчаяніе овладѣло его душою; сердце его ожесточилось; онъ забылъ все: жену, дочь, святую вѣру; онъ видѣлъ только передъ собою одинъ позоръ свой: ему казалось, что всѣ—хозяинъ гостиницы, слуги, и каждый, входящій въ комнату, смотрятъ на него съ презрительною усмѣшкою и, перешептываясь межъ собой, говорятъ: «Посмотрите, вотъ сидитъ отставной поручикъ Мирошевъ, который укралъ серебряную ложку!»

— Здравствуй, дядя!—раздался подлѣ него знакомый голосъ.

— А, это ты, Костоломовъ!—вскричалъ Мирошевъ, вскочивъ со стула.—Пойдемъ отсюда!

— Постой, братецъ! Я зашелъ сюда напиться вмѣстѣ съ тобой чайку.

— Пойдемъ ко мнѣ—прошенталь Мирошевъ, таща его за руку.—Да скорѣй!.. Ты видишь, на насъ смотрятъ!

— Ну, что за бѣда?.. Пускай себѣ смотреть!

— Да развѣ тебѣ не стыдно быть вмѣстѣ со мною?

— Съ тобою?.. Что ты, братецъ, въ умѣ ли?

— Такъ ты ничего не знаешь?

— А что такое?

— Пойдемъ!.. Я все тебѣ расскажу!

— Тише, Кузьма Петровичъ, тише! Куда торопиться!—закричалъ Костоломовъ, догоняя Мирошева, который бѣжалъ, какъ сумасшедшій, внизъ по лестницѣ.

— Ну, что, сударь,—спросилъ Прохоръ, встрѣчая въ прихожей своего барина,—вы спрашивали хозяина?.. Что, ложки его?

— Ложки! — вскричалъ глухимъ голосомъ Мирошевъ.—Ложки!—повторилъ онъ стиснувъ съ бѣшенствомъ зубы.—Прочь эти проклятыя ложки!.. Прочь ихъ!.. Это подарокъ сатаны!.. Слышишь ли—сатаны!

— Батюшка, батюшка!.. Что вы? — прервалъ съ ужасомъ Кондратычъ.

— Да, да!.. На нихъ адское клеймо!.. Онѣ мой стыдъ, мой позоръ!.. За окно ихъ, за окно!.. Скорѣй, скорѣй!..

— Господи, — вскричалъ Кондратычъ, всплеснувъ руками, — что это съ нимъ сдѣлалось?.. Батюшка-баринъ, да что это съ тобой?

— Въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ Костоломовъ, — у тебя глаза какіе-то шальные!.. Что ты, братецъ?

— Что я?—повторилъ съ дикимъ хохотомъ Мирошевъ.—Такъ ты еще не знаешь?.. Я воръ!..

— Что ты это за дичь порешь?.. Помилуй!

— Ну, да!.. Я, слышишь ли, я, твой сослуживецъ, Мирошевъ, укралъ вчера серебряную ложку у этого графа, гдѣ мы вмѣстѣ съ тобой обѣдали, куда

ты затащилъ меня обманомъ!.. О, сердце мое чувствовало, — я не хотѣлъ идти съ тобой!.. А этотъ графъ!.. Дай Богъ ему здоровья!.. Подлинно, гдѣ гнѣвъ, тутъ и милость! Я укралъ у него ложку, — онъ погнѣвался, а тамъ сжалился надо мною и прислалъ ко мнѣ еще одиннадцать ложекъ для того, чтобъ у меня была полная дюжина!.. Ну, понимаешь ли теперь?

— Нѣтъ, братецъ, не понимаю.

— Такъ слушай же.

Когда Егоръ Васильевичъ выслушалъ Мирошева, который рассказалъ ему все, то очень призадумался.

— Ахъ, батюшки,—проговорилъ онъ, наконецъ,— да вѣдь эта оказія-то въ самомъ дѣлѣ не шуточная!.. И надобно же чтобъ такъ случилось!.. Э, постой-ка, братецъ!.. Подлѣ тебя, кажется, сидѣлъ вотъ, помнишь, тотъ драгунскій офицеръ, у котораго и рожа-то вовсе не офицерская... Ну, точно, дядя,—это его дѣло!.. Да я голову свою прозакладую, что онъ не офицеръ, а какой-нибудь переодѣтый мошенникъ.

— Да чтожъ мнѣ отъ этого легче что ль? — прервалъ Мирошевъ. — Вѣдь подозрѣваютъ не его, а меня: чѣмъ я докажу мою невинность?

— Какъ чѣмъ?.. Ступай самъ къ этому графу, отнеси ему ложки, изъясни все, какъ было, скажи ему: «Ваше графское сіятельство»...

— Нѣтъ, нѣтъ! — вскричалъ съ ужасомъ Кузьма Петровичъ. — Чтобъ я пошелъ самъ къ этому барину, къ которому, можетъ-быть, меня и не допустятъ; чтобъ я сталъ вымаливать эту милость у его слугъ, которые будутъ смотрѣть на меня съ презрѣніемъ и радостію... Да, съ радостію: вѣдь для нихъ праздникъ видѣть дворянина, офицера, котораго поймали и уличили въ воровствѣ!.. О, нѣтъ, нѣтъ!.. Я лучше умру, чѣмъ переступлю черезъ порогъ этого дома!..

— Такъ чтожъ, братецъ, я пойду къ графу, и, во чтобъ ни стало, оправдаю тебя.

— И ты думаешь, онъ тебѣ повѣритъ!

— А почему же бы онъ мнѣ не повѣрилъ? Какъ

отдамъ ему назадъ подарокъ, который онъ такъ не кстати тебѣ сдѣлалъ, такъ онъ поневолѣ убѣдится, что ты честный человѣкъ. Воръ, братъ, не отдастъ ничего.

— Нѣтъ, Егоръ Васильевичъ, и мошенникъ сдѣлаеть то же, чтобъ оправдать себя, и онъ прикинется честнымъ человѣкомъ, когда знаетъ, что его подозрѣваютъ въ воровствѣ! Нѣтъ, меня могло бы оправдать одно: еслибъ ложка нашлась, а вмѣстѣ съ нею и тотъ, кто укралъ ее.

— Ну, братъ, это трудно! Москва велика, да и какъ теперь найти этого мошенника? Почему знать, можетъ-быть, его ужъ нѣтъ въ городѣ?

— Ну, видишь ли, что ничто не можетъ спасти мою честь? Ахъ, Егоръ Васильевичъ, ты погубилъ меня на вѣки!

— И, полно, братецъ, — время все откроеть.

— Время! Да неужели ты думаешь, что я переживу честь мою? Вѣдь это одно, что оставалось у меня въ жизни.

— Одно?.. А жена... а дочь, братецъ?

Мирошевъ вздрогнулъ.

— Боже мой! — сказалъ онъ. — Жена... дочь!.. О, мой другъ, — продолжалъ онъ, закрывъ блѣдное лицо свое руками, — суди же о моемъ отчаяніи: я забылъ, что у меня есть дочь и жена!

— Бѣдняжка! — прошепталъ Костоломовъ. — Да успокойся, Бога ради! Мнѣ что-то сдается, что все это кончится благополучно. Ну, прощай покамѣстъ! Мнѣ надобно домой; да и тебѣ не мѣшаетъ остаться одному. Знаешь ли что? Помолись-ка Богу, да ложись спать: утро вечера мудренѣе. А я завтра ранехонько побываю у графа и узнаю отъ его людей, когда онъ по утрамъ къ себѣ принимаетъ. Прощай, дядя!.. Полно, не горюй! Вѣдь передъ Богомъ-то что твоя честь, что честь какого-нибудь вельможи — все едино! Ну, оставить ли Онъ добраго человѣка въ напрасномъ нареканіи? Вотъ припомни мое слово: все уладится какъ

нельзя лучше, и ты выйдешь изъ этого дѣла чистъ и непороченъ, какъ младенецъ изъ купели. Прощай, братецъ, до завтраго!

XXXIV.

ВАНЬКА КАИНЪ. ВОРОВСКОЙ ПРИТОНЪ. СЧАСТЛИВАЯ ВСТРѢЧА.

Костоломовъ, простясь съ Мирошевымъ, отправился домой. Хоть онъ и утѣшалъ своего пріятеля, но очень чувствовалъ, какъ тяжело было ему выносить этотъ незаслуженный позоръ. «Экое несчастіе!»—думалъ онъ, идя по берегу Москвы-рѣки. «И нужно мнѣ было тащить его къ этому графу!.. Эхъ, еслибъ мнѣ попался теперь мошенникъ въ драгунскомъ мундирѣ, ужъ я бы его изъ рукъ не выпустилъ!» Межъ тѣмъ на дворѣ стало смеркаться. Когда Костоломовъ дошелъ до того мѣста, гдѣ въ Москву-рѣку впадаетъ Яуза, то, не переходя черезъ мостъ, повернулъ налѣво и пошелъ по берегу этой рѣчки. Теперь Яуза, обставленная во многихъ мѣстахъ красивыми домами, перерѣзываетъ городской валъ между Сокольничьею и Преображенскою заставою, и течетъ свободно по городу, до самаго впаденія своего въ Москву-рѣку; но тогда, то-есть лѣтъ шестьдесятъ тому назадъ, въ самомъ городѣ на ней были плотины, мельницы, и она образовала даже въ нынѣшней Яузской части довольно обширный прудъ, посреди котораго былъ островъ, а на немъ пивной заводъ. Этотъ заводъ, какъ рассказываютъ старики, былъ главнымъ притономъ всѣхъ московскихъ воровъ, мошенниковъ и безпаспортныхъ бродягъ. Ветхія и безобразныя лачуги, которыя кой-какъ лѣпились на крутыхъ и обрывистыхъ берегахъ Яузы, разбросаны были очень рѣдко, и по большей части не соединялись даже между собой заборами. Хотя Костоломовъ былъ человѣкъ смѣлый, и надѣялся на свою силу, однакожъ, всякій разъ, когда ему случалось идти подъ вечеръ этими пустырями, онъ посматривалъ во всѣ стороны съ опасеніемъ,

и держалъ наготовѣ свою увѣсистую трость съ серебрянымъ литымъ набалдашникомъ. Шагахъ въ двадцати передъ нимъ кто-то пробирался сторонкою, держась подлѣ самаго забора. Когда Костоломовъ обогналъ этого прохожаго, то замѣтилъ трехъ человѣкъ, которые стояли за угломъ одной, до половины развалившейся избушки, повидимому никѣмъ не обитаемой. Это такъ походило на воровскую засаду, что Егоръ Васильевичъ невольно поднялъ на плечо свою тяжелую трость и приготовился къ оборонѣ. На этотъ разъ опасенія его были напрасны: онъ миновалъ благополучно этихъ подозрительныхъ людей; но почти въ то же самое время раздались позади него голоса.

— Вотъ онъ, Іуда предатель!.. Ага, попался, переметная сума!.. Бейте его, ребята!..

Костоломовъ обернулся и увидѣлъ, что эти три человѣка напали всѣ разомъ на прохожаго, котораго онъ обогналъ. Судя по восклицаніямъ, не трудно было отгадать, что это былъ не простой грабежъ, а мщеніе за какую-то обиду; но, несмотря на это, Егоръ Васильевичъ не могъ остаться равнодушнымъ зрителемъ такого неравнаго боя.

— Трое на одного!.. Ахъ, вы, разбойники!—закричалъ онъ, спѣша на выручку къ прохожему. Егора Васильевича встрѣтили ударомъ кулака, который, какъ тяжелый безменъ, обрушился на его голову; но молодецъ Костоломовъ и не пошатнулся; въ нѣсколько секундъ онъ оглушилъ одного изъ нападающихъ ударомъ палки и кинулъ на-земь другого; третій, мужикъ здоровый и плечистый, бросилъ прохожаго, котораго уже успѣлъ поднять подъ себя, и схватился съ Костоломовымъ. Въ эту самую минуту послышались вдали голоса; тотъ, который боролся съ Егоромъ Васильевичемъ, вырвался изъ его рукъ, закричалъ что-то своимъ товарищамъ, и они всѣ трое разбѣжались въ разные стороны. Костоломовъ подошелъ къ прохожему; онъ поднялся на ноги, однакожъ, стоялъ, прислонясь къ забору, и покачивался.

— Ну, что, любезный, — спросилъ Егоръ Васильевичъ, — ужъ не больно ли тебя зашибли?

— Ничего, — проговорилъ шопотомъ прохожій, — пройдетъ!.. Ну, вотъ и полегче!.. Фу, ты, батюшки, — продолжалъ онъ, потряхивая головою, — какъ этотъ Бахтей меня ошеломилъ!.. Разбойникъ этакій; у него, видно, въ рукавицѣ-то свинчатка!

— Бахтей! — повторилъ Костоломовъ. — Да это, кажется, разбойникъ, котораго при мнѣ поймали въ Зарядѣ?

— Ну да, батюшка! Онъ вчера съ двумя товарищами убѣжалъ изъ острога.

— Что это, любезный, — прервалъ Костоломовъ, — мнѣ кажется, я тебя гдѣ-то видалъ?

— Да тамъ же, сударь, гдѣ вы видѣли и Бахтея: на Псковскомъ подворьѣ. Вѣдь я-то его и поймалъ.

— Въ самомъ дѣлѣ! Такъ ты, братецъ...

— Я, сударь, московскій сыщикъ...

— Ванька Каинъ?

— Да, батюшка! Иванъ Семеновъ, по прозванью Каинъ...

— А, такъ вотъ за что тебя хотѣли поколотить?.. Ну, братъ, дешево ты отдѣлался!

— По вашей милости, батюшка, дай Богъ вамъ добраго здоровья! Кабы не вы, не сдобровать бы мнѣ!

— Ну, что, ты совсѣмъ очнулся?

— Ничего, сударь! Голова немножко болитъ; да вотъ выпью стаканчикъ - другой вина, такъ все пройдетъ, — какъ съ гуся вода!

— Вотъ идутъ люди, — сказала Костоломовъ, — теперь тебѣ бояться нечего. Прощай!

— Это, кажись, мои ребята... Да позвольте, батюшка, позвольте!.. Ужъ сдѣлайте милость, скажите мнѣ, кто вы таковы?

— На что тебѣ?

— Какъ на что, сударь? Да если бы не вы, такъ меня бы, можетъ статься, и въ живыхъ теперь не

было. Мнѣ бы хотѣлось, батюшка, чѣмъ-нибудь вамъ отслужить.

— Мнѣ?—сказалъ съ улыбкою Костоломовъ. — Да что ты можешь для меня сдѣлать? У меня, братъ, пріятелей въ острогѣ нѣтъ, самъ я не воришка...

— Эхъ, баринъ, не смѣйся! Не ровень часъ: пригожусь и я; мало ли что случиться можетъ?.. Ну, вотъ, если обокрадутъ вашу милость? Вѣдь ужъ никто скорѣй меня вора не отыщетъ: на томъ стоимъ, господинъ честной!

— Ахъ, батюшки!—вскричалъ Костоломовъ. — Да вѣдь въ самомъ дѣлѣ!.. Знаешь ли что, любезный? Ты, точно, можешь сослужить мнѣ большую службу...

— Извольте, сударь! Что такое?

— Вотъ, братецъ, что...

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!.. Только скажу словечка два этимъ молодцамъ,—прервалъ Каинъ, обращаясь къ четверемъ дюжимъ мужикамъ, которые, подойдя къ нему, сняли свои шляпы... Гдѣ вы, пострѣлы, шатались до сихъ поръ, а?.. То ли я вамъ приказывалъ?.. Ну, какой ты десятникъ, Камчатка? Чего ты смотришь?

— Да что съ ними будешь дѣлать, Иванъ Семеновичъ,—отвѣчалъ охриплымъ голосомъ мужчина вершковъ двѣнадцати росту, съ черною окладистою бородою. — Завернули мимоходомъ на тычокъ выпить по одной; сидятъ, да пѣсенки попѣваютъ! Я имъ говорю: Эй, ребята, пора, вѣдь ужъ солнышко-то закатилось! А они дерутъ себѣ горло, да и только!

— Такъ вы этакъ-то Царю-Государю служите?—закричалъ Каинъ.—Ахъ, вы, неслухи!.. Да знаете ли вы, что если я доложу его превосходительству, Алексѣю Даниловичу, такъ онъ прикажетъ васъ запороть батожемъ!.. Знаете ли вы, что, по милости вашей, Бахтей опять ускользнулъ, и меня бы до смерти прибили, кабы не этотъ честной господинъ!.. Ахъ вы, пьяницы этакіе! Да за что васъ и хлѣбомъ-то кормить?

— Виноваты, Иванъ Семеновичъ,—заговорили сыщики, кланяясь Каину:—позагулялись!

— Вотъ я вамъ дамъ гульбу!.. А все ты, Волкъ!.. Я ужъ, братъ, давно до тебя добираюсь!.. Ты и Барана-то спойлъ и Тулью все таскаешь по кабакамъ! Тебѣ бы только съ утра и до вечера бражничать да пѣсни орать!..

— Да я, батюшка, Иванъ Семеновичъ, — промолвилъ рыжеволосый дѣтина, почесывая въ головѣ, — пою все пѣсенки, что ты самъ сложить изволилъ. Вотъ и теперь, такъ бы и затулилъ твою любимую: «Вниз по матушкѣ по Волгѣ!» Эка пѣсня, подумаешь!

— Ну, да, пѣсня хороша, — сказалъ поласковѣе Каинъ;—да ты, дурачина, пой ее, когда тебѣ дѣлать нечего; а коли дойдешь до службы царской, такъ у меня смотри!.. Камчатка, ступай съ Бараномъ въ Сыромятники и дожидайся тамъ меня въ харчевнѣ у Сидорыча!.. А ты, Волкъ, останься съ Тульею здѣсь!.. Ну, батюшка, — продолжалъ Каинъ, обращаясь снова къ Егору Васильевичу, — какую прикажете вамъ службу сослужить?

— Вотъ что, любезный: вчера за столомъ у графа Р***** сдѣлалась покража, — пропала серебряная ложка. Кажется, въ этомъ подозрѣваютъ моего пріятеля, который вмѣстѣ со мною обѣдалъ у его сіятельства. Пріятель мой такъ же, какъ и я заслуженный офицеръ и дворянинъ, такъ суди самъ, любезный, каково ему терпѣть такую напраслину? Ты, чай, братецъ, знаешь, что къ графу ходятъ обѣдать и вовсе незнакомые люди?

— Знаю, ваше благородіе, знаю!

— Такъ изволишь видѣть: я увѣренъ, что эту ложку укралъ какой-то офицеръ въ драгунскомъ мундирѣ, который сидѣлъ подлѣ моего пріятеля. Судя по отвѣтамъ и ухваткамъ этого чловѣка, я готовъ биться объ закладъ, что онъ не офицеръ, а переодѣтый мошенникъ.

— Въ драгунскомъ мундирѣ! — проговорилъ вполголоса Каинъ. — Ужъ не плутъ ли Тришка? Онъ третьяго

дня на толкучемъ рынкѣ торговалъ какой-то мундиръ. А что, ваше благородіе, какихъ лѣтъ показался вамъ этотъ офицеръ?

— Лѣтъ тридцати.

— Такъ-съ!.. А волосы на головѣ черные?

— Черные.

— Ростомъ какъ?

— Пониже тебя и человекъ худощавый.

— Такъ-съ!.. А что, не замѣтили ли вы у него на лѣвой щекѣ рубецъ?

— Какъ же, очень замѣтилъ.

— Такъ-съ!.. Лицо у него рябое, и двухъ переднихъ зубовъ нѣтъ?..

— Ну, точно такъ! — вскричалъ Костоломовъ. — Такъ ты его знаешь?

— Знавалъ въ старину, ваше благородіе!.. Ахъ, онъ, теткинъ сынъ! Смотри пожалуй, въ офицерскомъ мундирѣ за графскимъ столомъ!.. Да это хотъ бы и мнѣ въ старые годы!.. Ну, нечего сказать, молодецъ!

— Такъ это въ самомъ дѣлѣ переодѣтый мошенникъ?

— Да, ваше благородіе! Долженъ быть Тришка.

— Какая дерзость!

— За этимъ, сударь, у него дѣло не станеть, — удалой дѣтина!.. Какъ онъ еще былъ мальчишкою, такъ я и тогда ужъ видѣлъ, что въ немъ прокъ будетъ.

— Что ты, Кайнъ! Да ты никакъ его подхваляешь?

— Такъ, сударь, ничего, — по старой привычкѣ!.. Ну, да теперь совсѣмъ не то: теперь я и похваляю, а руки назадъ скручу, батюшка. Ну, чтожъ вамъ, сударь, надобно?

— А вотъ что: надобно, чтобъ и воръ и ложка были отысканы и представлены къ его сіятельству

— Постараюсь, ваше благородіе. Только времени то много ушло... Да вотъ пожалуйста-ка со мною: можетъ статья, ложку - то не далеко еще спровадили. Вѣдь вы ее узнаете?

— Какъ не узнать: на ней долженъ быть гербъ.

— Такъ пожалуйста, батюшка!.. А вы, братцы, ступайте поодаль отъ насъ.

Кайнъ и Костоломовъ пошли по берегу Яузы. Миновавъ плотину, они остановились противъ самой середины пруда. Кайнъ подозвалъ сыщиковъ и сказалъ имъ:

— Мы пойдемъ на пивной заводъ, а вы чуръ не дремать! Лишь только свистну, — какъ листъ передъ травой! Слышите, ребята?

Отдавъ имъ это приказаніе, онъ повелъ Егора Васильевича черезъ мостъ, которымъ соединялся неширокій, но довольно длинный островъ съ берегомъ пруда. Обойдя лѣвой стороною забора, изъ-за котораго поднималась кровля пивного завода со своими высокими деревянными трубами, они увидѣли передъ собой пять или шесть избъ. Въ одной изъ нихъ раздавались заливыя пѣсни, или, лучше сказать, отвратительные звуки, болѣе похожіе на дикіе вопли бѣснующихся, чѣмъ на разгульное, но согласное пѣніе нашихъ удалыхъ фабричныхъ. Это былъ знаменитый въ свое время питейный домъ, который назывался *тычкомъ*. Костоломовъ, большой охотникъ до русскихъ хоровыхъ пѣсенъ, приостановился на минуту у дверей этого кабака.

— Что это они ревутъ?—прошпенталъ сквозь зубы Кайнъ. — Ну, такъ и есть: «Не шуми, мати зелена дубровушка». Разбойники, какъ они увѣчатъ мою пѣсенку!.. За языки бы ихъ всѣхъ повѣсилъ, грачи проклятые!.. А туда жъ, чай, говорятъ: «мы пѣсельники».. Пойдемте, сударь! Что слушать этихъ пьяницъ: ни складу, ни ладу; орутъ, дурачье, какъ ни попало!.. Пожалуйте вонъ сюда!

Они подошли къ одной избушкѣ, которая стояла поодаль отъ другихъ, на самомъ берегу острова. Одна половина ея была построена на землѣ, а другая, опираясь на сваи, висѣла надъ водою. Въ избушкѣ свѣтился огонекъ и довольно громко разговаривали. Кайнъ постучался; вдругъ все затихло; потомъ послышались шаги: кто-то подошелъ къ дверямъ и спросилъ сиповатымъ голосомъ:

— Кто тутъ?

— Я, Марѳуша, — отвѣчалъ Каинъ, — отпирай, небось!

— Сейчасъ, кормилецъ, сейчасъ! — проговорили за дверьми.

Голосъ замолкъ, и въ избѣ поднялся какой-то шорохъ и суета.

— Эге, — прошепталъ Каинъ, — видно, надобно кого-нибудь припрятать!.. Да отпирай же проворнѣй! — кричалъ онъ, когда прошло минуты двѣ.

— Иду, батюшка, иду! — раздался снова сиповатый голосъ.

Двери отворились, и Костоломовъ, вслѣдъ за Каиномъ, пройдя небольшими сѣнями, вошелъ въ чистую горенку, освѣщенную лампадой, которая висѣла передъ образами. У самыхъ дверей была изразцовая печь съ лежанкою, а отъ нея, во всю длину свѣтлицы, деревянная перегородка.

— Здравствуйте, батюшка, Иванъ Семенычъ! — прошептала дородная женщина, лѣтъ пятидесяти, въ гарнитуровомъ шушунѣ и ситцевой юбкѣ, встрѣчая съ низкимъ поклономъ гостей.

— Здорово, тетка! — сказалъ Каинъ. — Вотъ я привелъ къ тебѣ хозяина изъ гостинаго двора, — кланяйся!

— Изъ гостинаго двора! — повторила хозяйка, поглядѣвъ недовѣрчиво на Костоломова.

— А что, — чай, одежда не такая?.. Онъ только-что вернулся изъ Нѣметчины; ѣздилъ туда за товаромъ, да вотъ и одѣлся по-ихнему.

— Такъ, батюшка, такъ!.. Милости просимъ!

— Послушай-ка, Марѳа: нѣтъ ли у тебя продажнаго чего-нибудь?.. Знаешь — такъ получше и подешевле?

— Есть кой-что, Иванъ Семеновичъ. Просимъ по корно, — присядьте покамѣстъ!

Костоломовъ и Каинъ сѣли на скамью, а хозяйка, засвѣтивъ сальный огарокъ, вышла въ сѣни и черезъ минуту возвратилась, неся большой узелъ.

— Вотъ, батюшка,—сказала она, выкладывая на столъ свой товаръ,—шубейка на собольемъ мѣху;—да соболи-то все какіе—якутскіе, батюшка!.. Покрышку только надо новенькую.

— Знаемъ, знаемъ, тетка!—прервалъ Каинъ.—На мѣху узоровъ нѣтъ,—никто не вклепнется.

— А вотъ,—продолжала Марѳа, развертывая шитый золотомъ французскій кафтанъ,—бойрское платице... Какъ пораспороть его, такъ выжиги будетъ фунтика два; а бархатецъ пойдетъ на то, на другое. Вотъ рабронть изъ заморскаго атласа. Посмотрите-ка, батюшка,—лубокъ лубкомъ.

— Да это, тетка, все не то!—прервалъ Каинъ.—Вѣдь хозяинъ-то не изъ панскаго ряда,—у него серебряная лавка. Ты намъ давай, знаешь, что потяжелѣ.

— Слушаю, кормилецъ, слушаю!.. Повремените немного.

Хозяйка вышла опять въ сѣни.

— Чтожъ это? — спросилъ вполголоса Костоломовъ:—Неужели все краденныя вещи?

— Со всячинкой, ваше благородіе,—отвѣчалъ также вполголоса Каинъ.—Марѳа торговка, такъ гдѣ ей разбирать.

— Охъ, тяжелъ, проклятый! — сказала хозяйка, войдя въ свѣтлицу и поставивъ на столъ ларецъ, окованный желѣзомъ.

Она отперла его и начала вынимать разныя вещи одну за другою.

— Вотъ, ваша милость,—сказала она,—томпаковые часики съ симилеровой цѣпочкой; вотъ золотой перстенецъ съ яхонтомъ... сережки изумрудныя... А вотъ серебряная кружечка нѣмецкой работы... Изволька, хозяинъ, привѣсится на руку... Что, батюшка, небось дутая?.. То-то же!.. Угодно столоваго серебра?—продолжала она, вынимая изъ ларца три ложки разной величины и формы.

— Вотъ она!—вскричалъ съ радостію Костоломовъ, схвативъ одну изъ ложекъ.—Вотъ и гербъ!

— Пожалуйте-ка сюда!—сказалъ Каинъ.—Да, точно такъ, съ гербомъ!.. Тетка, вѣдь эта ложка-то краденая!

— Неужели, батюшка?.. Ахъ, Ты, Господи!..

— Да, точно, краденая!.. Марѳа, вѣдь дѣло-то плохо!.. Вы, точно, батюшка, увѣрены, что это та самая ложка?

— Хоть сейчасъ къ присягѣ!

— Ну, слышишь, голубушка, что говоритъ его благородіе?

— Его благородіе!—повторила хозяйка, всплеснувъ руками.—Такъ это все былъ подвохъ?.. Ну, батюшка Иванъ Семеновичъ!..

— Молчи, тетка! Твое дѣло сторона; только говори всю правду: отъ кого ты взяла эту ложку?

— Отъ кого?.. Да почему мнѣ знать?.. Мало ли ко мнѣ добрыхъ людей ходить!.. Не знаю, батюшка, видитъ Богъ, не знаю!

— Эй, Марѳа,—сказалъ Каинъ, погрозивъ пальцемъ,—шалишь!.. Вѣдь мы съ тобой давненько знакомы... Помнишь, какъ тебя по Москвѣ-то въ каретѣ катали, а?.. То-то же, смотри, чтобъ старые грѣшки не вспомнили!.. Какъ притянуть въ розыскной приказъ, такъ заговоришь!.. Ну, сказывай же: кто далъ тебѣ эту ложку?

— Какой-то мѣщанинъ, Господь его знаетъ. Вѣдь ко мнѣ всякій идетъ, батюшка: я торговка.

— Эй, тетка, чтобъ тебѣ не угодить въ торговли туда, гдѣ соболями торгуютъ!.. Такъ ты же знаешь, кто этотъ мѣщанинъ?..

— Чтобъ мнѣ сквозь землю провалиться!

— Право?.. Такъ ты не знаешь Тришку?

— Тришку?.. Какого Тришку?

— Ну, вотъ что ходитъ въ сѣромъ казакинѣ, а подчасъ и мундиръ надѣваетъ..

— Въ какомъ казакинѣ?

— Въ какомъ?.. Ну, вотъ точнехонько въ такомъ, какой лежитъ у тебя подъ лавкою.

— Гдѣ, батюшка?.. Гдѣ?

— Да вотъ здѣсь, тетка,—продолжалъ Каинъ, вытаскивая изъ-подъ скамьи суконный казакинъ, отороченный серебрянымъ позументикомъ. Постой-ка!.. Да тутъ и картузъ!.. Ба, ба, ба! Сабля драгунская?.. Эге, такъ вотъ оно что: видно, не успѣлъ прицѣпить?.. Ну, ваше благородіе, дѣло-то идетъ задачно! Пошли ловить пескаря, а поймали щуку!.. А вотъ мы сейчасъ ее на берегъ вытащимъ.

Каинъ подошелъ къ окну, поднялъ стекло и свистнулъ.

— Батюшка, батюшка!—закричала хозяйка.

— Небось, Марea,—шепнулъ Каинъ,—ужъ я тебѣ сказалъ: твое дѣло сторона; я и его допрашивать не стану. Коли поймали вора въ горохѣ, такъ нечего спрашивать, зачѣмъ пришелъ... Да и подѣломъ ему!.. Не пѣтъ бы тебѣ, кукушка, соловьемъ; не бывать бы тебѣ, кукушкѣ, въ ловушкѣ!.. Эй, ребята,—продолжалъ Каинъ, обращаясь къ двумъ сыщикамъ, которые вошли въ свѣтлицу,—посмотрите-ка вонъ тамъ, за перегородкою!.. Что... двери заперты? У хозяйки ключа нечего спрашивать,—не найдетъ!.. Тулья, ты, братъ, и не этакія двери ломалъ, — ну-ка, понапри плечомъ!

— Что ужъ, батюшка, ломать,—сказала хозяйка,—видно, дѣлать нечего: вотъ ключъ.

— Давай сюда!

Каинъ отперъ двери и вошелъ за перегородку.

— Ну, такъ и есть,—закричалъ онъ,—во всей формѣ!.. Милости просимъ, ~~господинъ~~ офицеръ!—продолжалъ Каинъ, вытаскивая за воротъ небольшого роста человѣка въ полномъ драгунскомъ мундирѣ.—Пожалуйте, батюшка, пожалуйста!.. Ну, что, сударь, онъ ли?

— Онъ и есть!—отвѣчалъ Костоломовъ.

— Не осудите, ваше благородіе, господинъ драгунскій офицеръ!—сказалъ Каинъ.—Ребята, скрутите-ка ему руки назадъ.

— Иванъ Семеновичъ, — прошепталъ переодѣтый мошенникъ, — помилуй!..

— Нѣтъ, Триша, не прогнѣвайся! Коли ты самъ себя не миловалъ, такъ ужъ мнѣ миловать не приходится. Я, братъ, и такъ тебѣ давно мирволю. То-то, голубчикъ, зналъ бы сверчокъ свой шестокъ! Колотыриль бы по площадямъ, да на толкучемъ... Такъ нѣтъ, залетѣла ворона въ высокія хоромы... за графскій столъ!.. Нѣтъ, сынокъ, раненько принялся бить свысока; ты еще не соколъ!

— Смотри же, любезный, не упусти его! — сказали Костоломовъ.

— Не извольте беспокоиться: пока у меня въ рукахъ, не уйдетъ! Завтра же по-утру представлю его съ покражей къ его сіятельству.

— И я туда же явлюсь. Спасибо тебѣ, любезный!

— Не на чемъ, ваше благородіе! Я только-что поквитался съ вами.

— Такъ я могу теперь объявить моему пріятелю, что воръ нашелся?

— Извольте, сударь, извольте!

— Прощай, любезный!.. Надобно скорѣй его обрадовать.

Костоломовъ пустился почти бѣгомъ назадъ по Яузѣ, очутился въ нѣсколько минутъ въ Зарядѣ и вбѣжалъ, запыхавшись, къ Мирошеву. Кузьма Петровичъ не спалъ. Чувство, противное Богу, не могло долго владѣть чистою душою этого истиннаго христіанина: онъ молился; — не о томъ, чтобъ невинность его открылась, — нѣтъ, онъ умолялъ Господа простить ему минуту отчаянія и, проливая горькія, но утѣшительныя слезы раскаянія, примирялся со своимъ Спасителемъ.

— Слава Богу, — проговорилъ Костоломовъ, — слава Богу: ложка нашлась!.. Воръ также!

— Какъ? — спросилъ Мирошевъ. — Что ты говоришь?

— Ну, да, завтра же ты будешь чистъ, какъ стѣкло.

— Ахъ, батюшки! — вскричалъ Прохоръ, высунувъ изъ дверей свою голову. — Да какъ же это вамъ помогъ Господь?

— А вотъ дайте вздохну!.. Фу, прахъ какой, совѣмъ захлебнулся!

Когда Костоломовъ отдохнулъ и пересказалъ Кузьмѣ Петровичу, по какому странному стеченію обстоятельствъ ему удалось отыскать покражу и поймать вора, Миросhevъ залился слезами.

— Боже мой, Боже мой! — сказалъ онъ. — Въ ту самую минуту, какъ я предавался отчаянію и ропталъ на Твой святой Промыселъ, Ты устроилъ все для моего оправданія! Я не понялъ, окаянный грѣшникъ, что Ты хотѣлъ смирить мою гордость!.. Мнѣ казалось, что я, бѣдный дворянинъ, унизилъ себя отъ того, что обѣдалъ незванный у богатаго графа, и вотъ я сдѣлался въ глазахъ людей не только нахлѣбникомъ, но даже воромъ! И вмѣсто того, чтобъ смирить свою строптивость и, по словамъ Твоимъ, радоваться этому незаслуженному позору, я вознегодовалъ!.. Гордость моя возмущилась еще болѣе, и вотъ Ты избавляешь меня отъ мірскаго поношенія: я буду чистъ передъ людьми... О, я не достоинъ былъ понести крестъ Твой, Господи!

— Да, братецъ, — сказалъ Егоръ Васильевичъ, — поневолѣ подумаешь, что самъ Богъ хотѣлъ тебя оправдать. Надобно же мнѣ было наткнуться на этого Каина, и случилось же такъ, что мы и вора-то застали у торговли!.. Ну, слава Богу, теперь какъ гора съ плечъ!.. Кондратычъ, дай-ка мнѣ ложки; завтра по-утру я отнесу ихъ къ графу. Тебѣ самому, Кузьма Петровичъ, неловко: вѣдь графу-то стыдно будетъ на тебя взглянуть.

— Да, Егоръ Васильевичъ, я и самъ то же думаю.

— Такъ оставайся завтра дома, я одинъ все это дѣло обработаю... Чу, вонъ ужъ пѣтухи поютъ!.. Прощай, дядя, до завтра!

XXXV.

О ТОМЪ, КАКЪ МИРОШЕВЪ ИМѢЛЪ СВИДАНІЕ СЪ ГРАФОМЪ, И КАКЪ ПРОХОРЪ КОНДРАТЫЧЪ ОШИБСЯ ВЪ СВОЕМЪ РАЗСЧЕТѢ.

На другой день, часу въ девятомъ по-утру, Мирошевъ отправился по обыкновенію къ обѣднѣ. Спустя полчаса, Кондратычъ собрался также идти за чѣмъ-то на рынокъ, какъ вдругъ вошелъ въ комнату человекъ пожилыхъ лѣтъ, дородный и краснощекій, одѣтый просто, но весьма опрятно.

— Здѣсь живетъ Кузьма Петровичъ Мирошевъ? — спросилъ онъ.

— Здѣсь, сударь, — отвѣчалъ Прохоръ: — да его нѣтъ теперь дома.

— Ахъ, какъ досадно, — сказалъ незнакомый; — а мнѣ такъ нужно его видѣть.

— Такъ извольте мнѣ сказать, что вамъ угодно.

— Его сіятельство, графъ Р***** свидѣтельствуемъ Кузьмѣ Петровичу свое почтеніе и просить его пожаловать къ нему сегодня часу въ двѣнадцатомъ.

— Хорошо, батюшка, доложу.

Незнакомый поглядѣлъ вокругъ себя и сказалъ:

— Вашъ баринъ, кажется, человекъ не очень достаточный.

— Да, мой господинъ не богатъ, а почестнѣй многихъ сіятельныхъ графовъ!

— Вы, я вижу, все еще на насъ сердитесь? — прервалъ незнакомый. — Да и есть за что!.. Еслибъ вы знали, какъ графъ огорченъ этимъ случаемъ.

— Огорченъ!.. Посмотрѣли бы вы вчера на моего барина!

— Да не безпокойтесь, все поправится. А что, смѣю васъ спросить: у вашего барина есть помѣстье?

— Какъ же, — пятьдесятъ душъ.

— Только?

— Только!.. У другого и этого нѣтъ. Было бы съ

насъ, если не тяжба... Вотъ она-то насъ вконецъ и разорила.

— А у васъ есть тяжба?.. Съ кѣмъ?

— Да не ужели вы не знаете? Вѣдь вы находитесь при графѣ?

— Я его дворецкій.

— Такъ какъ же вамъ не знать, съ кѣмъ у насъ тяжба?

— Право, не знаю.

— Да вѣдь мой баринъ тотъ самый помѣщикъ Миросшевъ, съ которымъ завелъ тяжбу о землѣ Панкратій Лукичъ Курочкинъ, приказчикъ вашего графа.

— Какъ?.. Такъ у васъ процессъ съ графомъ?.. Чтожъ это, баринъ что ль вашъ чего-нибудь отыскиваетъ?

— Нѣтъ, батюшка, у него отнимаютъ послѣдній кусокъ хлѣба; и все это господинъ Курочкинъ дѣлаетъ по злобѣ.

— По злобѣ?.. За что?

— А вотъ изволите видѣть: съ тѣхъ поръ, какъ Панкратій Лукичъ пріѣхалъ управлять графскимъ имѣньемъ, у насъ въ Хоперскомъ уѣздѣ житья никому не стало: такіа началъ дѣлать всѣмъ притѣсненія, что хоть на край свѣта бѣги! Во всемъ околоткѣ не осталось души христіанской, которую онъ чѣмъ бы не обидѣлъ. А ужъ спесь-то какая!.. Фу, ты, батюшки.

— Неужели?—сказалъ съ улыбкой дворецкій.

— Приступу нѣтъ, батюшка!.. И насъ онъ также обижалъ: загонялъ съ болота скотину, дѣлалъ всякія прижимки; да это бы еще куда ни шло! А вотъ какой грѣхъ случился: вы, я думаю, изволите знать, что самъ-то Курочкинъ хоть и крѣпостной его сіятельства, а сынъ у него оберъ-офицеръ?

— Какъ же, знаю!

— Не прогнѣвайтесь, — дубина такая, что и сказать нельзя? Чтожъ вы думаете? Панкратій Лукичъ вздумалъ посватать за него нашу барышню...

— И, вѣрно, отказали.

— Ну, разумѣется!.. Конечно, быть приказчикомъ или дворецкимъ у его графскаго сіятельства дѣло не шуточное; но вѣдь баринъ мой природный столбовой дворянинъ, такъ, воля ваша, ему въ родствѣ быть съ крѣпостнымъ челоѡкомъ не приходится. Вотъ, батюшка, Панкратій Лукичъ и осерчалъ на барина, да какъ провѣдалъ, что у насъ въ пожаръ всѣ купчія крѣпости и отказныя книги сгорѣли, такъ, не говоря добраго слова, и брякъ въ судъ просьбу, будто бы мы завладѣли землей села Вознесенскаго. Баринъ послалъ меня въ Саратовъ выправить изъ архива копіи,—не тутъ-то было! Панкратій Лукичъ успѣлъ ужъ тамъ сироворить: подлинныя документы оказались затерянными, и мы не могли никакъ отыскать нашего права. Теперь дѣло въ сенатѣ. Богъ вѣсть, чѣмъ кончится, а межъ тѣмъ мы вовсе исхарчились. И если, батюшка, признаться по совѣсти, такъ у насъ съ бариномъ другой ужъ день ни гроша нѣтъ въ карманѣ.

— Богъ милостивъ,—сказалъ дворецкій,—авось все это перемѣнится. Во всякомъ случаѣ, я очень радъ, что поговорилъ съ вами. Давно ужъ слышно, что этотъ Курочкинъ во зло употребляетъ довѣренность его сіятельства. Ну, не одобровать ему! Графъ очень не жалуетъ кляузниковъ, а гордецовъ и обидчиковъ терпѣть не можетъ. Прощайте, батюшка!.. Попросите же вашего барина, чтобъ онъ потрудился сегодня пожаловать часу въ двѣнадцатомъ къ его сіятельству. Я буду дожидаться въ передней Кузьму Петровича. Мнѣ еще надобно ему низенько поклониться: вѣдь я и самъ передъ нимъ не вовсе правъ.

Дворецкій ушелъ. Часу въ двѣнадцатомъ возвратился Мирошевъ.

— Гдѣ вы это до сихъ поръ были? — спросилъ Кондратычъ.

— Ходилъ гулять за Симоновъ.

— Знаете ли что?.. Видно, этотъ графъ, съ которымъ у насъ тяжба, хочетъ съ вами мириться.

— А что такое?

— Онъ присылалъ къ вамъ своего дворецкаго и просить пожаловать къ нему въ двѣнадцатомъ часу.

— А который теперь часъ?

— Вотъ не такъ давно, напротивъ насъ, у часового мастера, кукушка прокуковала одиннадцать часовъ.

— Такъ давай же мнѣ скорѣй мундиръ.

Мирошевъ не успѣлъ еще одѣться, какъ вошелъ къ нему Костоломовъ.

— Ну, дядя,—вскричалъ онъ,—все, слава Богу, кончено!.. Не говорилъ ли я тебѣ, что ты выйдешь изъ этого дѣла чистъ и непороченъ, какъ младенецъ изъ купели. Каинъ сдержалъ слово: я засталъ его у графа вмѣстѣ съ пойманнымъ воромъ. Ахъ, братецъ, что за добрый человекъ этотъ графъ! Какъ я рассказывалъ ему, въ какомъ ты былъ отчаяніи, такъ, вѣришь ли, онъ чуть-чуть не заплакалъ. «Боже мой»,—проговорилъ онъ, всплеснувъ руками,—«за чтожъ я такъ разобидѣлъ честнаго человека? Да чѣмъ я могу теперь это поправить?» Тутъ онъ подозвалъ своего дворецкаго и шепнулъ ему что-то на-ухо, а мнѣ сказалъ: «Уговорите вашего пріятеля, чтобъ онъ на меня не гнѣвался и позволилъ бы мнѣ покорооче съ собою познакомиться». Ну, разумѣется, братецъ, я побоялся за тебя, что ты никакой досады на него имѣть не будешь. Знаешь ли что? Ты бы къ нему сходилъ, дядя!

— Я и такъ къ нему иду; онъ сейчасъ присылалъ за мною.

— Ну, теперь, братецъ, онъ вѣрно прекратитъ съ тобою тяжбу.

— Дай-то Господи! Прощай, Егоръ Васильевичъ,—я долженъ быть у графа въ двѣнадцатомъ часу.

Когда Кузьма Петровичъ вошелъ въ переднюю графскаго дома, то всѣ слуги вскочили съ своихъ мѣстъ, а дворецкій, встрѣтивъ его почтительнымъ поклономъ, сказалъ:

— Пожалуйте, Кузьма Петровичъ, — его сіятельство съ нетерпѣніемъ васъ дожидается.

Пройдя цѣлымъ рядомъ великолѣпно убранныхъ комнатъ, въ которыхъ у всѣхъ дверей стояли одѣтые въ бархатные кафтаны офиціанты, Мирошевъ подошелъ къ дверямъ графскаго кабинета; два, залитые въ золото, казачка отворили настежь двери, и Мирошева встрѣтилъ хозяинъ въ томъ же самомъ нарядѣ, въ которомъ онъ видѣлъ его два дня тому назадъ за обѣдомъ.

— Здравствуйте, Кузьма Петровичъ!—сказалъ онъ, протягивая руку своему гостю.—Милости просимъ!

— Вашему сіятельству угодно было... — проговорилъ Мирошевъ, кланяясь.

— Не прогнѣвайтесь, Кузьма Петровичъ, — прервалъ хозяинъ, — я что-то плохо себя чувствую сегодня, а то бы мнѣ слѣдовало самому къ вамъ пріѣхать.

— Помилуйте, ваше сіятельство!..

— Да, да, — продолжалъ хозяинъ, — вѣдь вы мой судья, а я вашъ челобитчикъ. Да прошу покорно садиться!

Графъ сѣлъ на канапе и посадилъ подлѣ себя Мирошева.

— Я очень виноватъ передъ вами, Кузьма Петровичъ, — сказалъ онъ. — Прошу васъ простить меня. Вы жестоко мною обижены; но, боюсь, я не имѣлъ никакого намѣренія оскорбить васъ.

— Кто жъ можетъ въ этомъ усомниться, ваше сіятельство? Развѣ только тотъ, кто никогда не слышалъ о васъ.

— Такъ вы меня прощаете?

— Да вы меня ничѣмъ не обидѣли; вся наружность была противъ меня: я человѣкъ бѣдный, неизвѣстный. Когда меня спросили, кто я такой, то я такъ смутился, что едва могъ отвѣчать: я чувствовалъ, какъ неприлично было мнѣ, имѣя съ вами тяжбу, обѣдать незваному за вашимъ столомъ. Все это должно было казаться весьма подозрительнымъ, и всякій на вашемъ мѣстѣ точно также бы ошибся; но не всякій поступилъ бы такъ великодушно, какъ ваше сіятельство.

— Все это, Кузьма Петровичъ, одни слова; вы

докажите на самомъ дѣлѣ, что не имѣете на меня никакой досады.

— Да чѣмъ же я могу доказать это вашему сіятельству?

— А вотъ чѣмъ: я хотя невольно и безъ всякаго намѣренія, а все-таки былъ причиною вашихъ несчастій. Я знаю все: по милости моей вы пріѣхали въ Москву, разстроили ваше состояніе и, что всего хуже, могли потерять ваше честное имя. Позвольте же мнѣ все это поправить; дайте мнѣ благородное, дворянское слово, что вы не помѣшаете мнѣ въ этомъ.

— Да если ваше сіятельство убѣдились въ моей невинности, такъ все ужъ поправлено.

— О, нѣтъ! Во-первыхъ, я разлучилъ васъ съ семействомъ, слѣдовательно я и долженъ дать вамъ способъ скорѣй съ нимъ увидѣться. Я узналъ отъ вашего пріятели, который былъ сегодня у меня по-утру, что вы собираетесь ѣхать изъ Москвы на долгихъ. Новохоперскъ отсюда не близко: вы долго проѣдете. Не лучше ли вамъ отправиться на почтовыхъ?.. Быть-можетъ, вы поистратились... у васъ нѣтъ денегъ... О, Бога ради, не оскорбите меня отказомъ!.. Вѣдь это будетъ платить зломъ за зло, а вы ужъ, Кузьма Петровичъ, меня простили.

— Я очень чувствую всю милость вашего сіятельства, — сказалъ Мирошевъ, вспыхнувъ какъ красная дѣвушка, — но я не имѣю никакого права на ваши благодаренія: есть люди гораздо бѣднѣе меня.

— Кузьма Петровичъ, — прервалъ графъ, погрозивъ ласково пальцемъ, — вы все еще на меня гнѣваетесь!

— Я, ваше сіятельство?.. О, клянусь вамъ честію!..

— Такъ не мѣшайте же мнѣ помириться, если не съ вами, такъ съ самимъ собою.

Мирошевъ молча поклонился.

— Итакъ, рѣшено, — продолжалъ графъ: — вы ѣдете на почтовыхъ. Кажется, мнѣ не нужно вамъ говорить, что тяжба наша кончена.

— Ахъ, ваше сіятельство!..

— Но я виноватъ, что допустилъ моего приказчика начать такой несправедливый процессъ. Впрочемъ, будьте спокойны, съ этой минуты вамъ нечего опасаться Курочкина, который ужъ вѣрно, — продолжалъ графъ съ улыбкою, — не посватаетъ теперь вашу дочь за своего сына.

— Какъ, ваше сіятельство, — вскричалъ Мирошевъ, — такъ вы знаете?..

— Ужъ я вамъ сказалъ, что все знаю, — отвѣчалъ графъ, вставая. — Прошу васъ сегодня ко мнѣ откупать, — продолжалъ онъ. — Завтра вы успѣете приготовиться къ отѣзду, а послѣзавтра по-утру пожалуйте ко мнѣ: я хочу съ вами проститься и дать вамъ кой-какія порученія къ моему приказчику. Прощайте, Кузьма Петровичъ!.. Часа черезъ полтора я ожидаю васъ къ себѣ обѣдать.

Мирошевъ отправился отъ графа прямо къ Иверской Божіей Матери. Онъ долго не могъ дожидаться своей очереди, чтобъ отслужить ей благодарственный молебенъ. Слишкомъ часъ онъ стоялъ въ часовнѣ, прижавшись въ уголку; слезы его текли ручьями. Этотъ внезапный переходъ отъ ужаснаго горя къ неожиданному счастью до того потрясъ его душу, что онъ почти задыхался отъ избытка радости и благодарности къ Тому, Кто превратилъ скорбь его въ ликование и *препоясалъ его веселіемъ*.

— Боже мой, — думалъ онъ, — какъ неисповѣдимы судьбы Твои! Когда я слышалъ, что имя мое произносятъ съ презрѣніемъ, не я ли въ безуміи моемъ повторялъ: «Господи, Господи, чѣмъ заслужилъ я это?» И вотъ тотъ самый, кто полагалъ меня безчестнымъ, именемъ котораго отнимали у меня послѣдній кусокъ хлѣба, признаетъ мою невинность, возвращаетъ мнѣ мое наслѣдіе и съ дружбою протягиваетъ мнѣ руку!.. Еще нѣсколько дней, и я обниму жену, прижму къ моему сердцу дочь, и снова жизнь моя потечетъ тихо и спокойно подъ тѣнью крылъ Твоихъ, Всевышній!..

О, теперь-то я могу сказать: «Господи, Господи, чѣмъ заслужилъ я это?»

Отпѣвъ молебень, Мирошевъ отправился опять къ графу. На дворѣ было уже нѣсколько экипажей. Кузьма Петровичъ, войдя въ пріемную комнату, хотѣлъ было въ ней остаться; но офиціантъ отворилъ двери во внутреннія комнаты и пригласилъ его на половину графа, который принялъ его съ распростертыми объятіями, расцѣловалъ и, подводя къ своимъ гостямъ, изъ которыхъ многіе были въ звѣздахъ, сказалъ:

— Честь имѣю представить вамъ моего добраго пріятеля и деревенскаго сосѣда, Кузьму Петровича Мирошева, котораго я всей душой уважаю.

Разумѣется, что послѣ такой рекомендаціи гости обошлись весьма ласково съ Мирошевымъ, несмотря на то, что на немъ былъ поношенный мундиръ, что на камзолѣ его не было широкихъ галуновъ. За столомъ графъ посадилъ Кузьму Петровича рядомъ съ собою, безпрестанно съ нимъ разговаривалъ, и когда послѣ обѣда гости стали разъѣзжаться, сказалъ ему:

— Не забудьте, любезный мой сосѣдъ, что послѣзавтра я жду васъ къ себѣ часу въ девятомъ утра. Надѣюсь однакожъ, что я не навсегда съ вами прощусь, и что вы пріѣдете когда-нибудь въ Москву повидаться со старикомъ, который полюбилъ васъ всею душою.

Я не берусь описать шумныхъ восторговъ Прохора, когда баринъ сказалъ ему, что тяжба ихъ прекращена, что они послѣзавтра же отправляются во свояси и дня черезъ четыре будутъ опять въ Хопровкѣ. У Прохора Кондратьича лѣтъ двадцать пять свалилось съ плечъ, онъ прыгалъ отъ радости.

— Дай Богъ здоровья его сіятельству!—повторялъ онъ безпрестанно. — Чтобъ ему еще прожить несчетные годы!.. И у этакого барина приказчикомъ шельмецъ Курочкинъ!.. Да теперь недолго ты насидишь управителемъ, приказная строка! Спесь-то съ тебя пособьютъ!..

— Эхъ, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ,—чѣмъ бы тебѣ вмѣстѣ со мною благодарить Бога, а ты все злое думаешь!.. Принимайся-ка лучше за дѣло да укладывайся проворнѣй.

— Мигомъ все будетъ готово, сударь... Да и что вамъ укладывать? Застегнулъ чемоданъ, и дѣло съ концомъ!.. А вотъ о чемъ надобно подумать, батюшка: вѣдь у насъ лѣтней повозки нѣтъ.

— Чтожъ дѣлать: поѣдемъ на перекладныхъ.

— Умаетесь, Кузьма Петровичъ! Своя кибитченка какова ни есть, а все-таки въ ней вольготнѣе: и простору больше, и прикурнуть можно.

— Такъ, Прохоръ; да вѣдь лѣтняя-то повозка, чай, не дешево стоитъ.

— И, сударь, за деньгами дѣло не станетъ. Посмотрите, если графъ не пришлетъ вамъ на дорогу рублей пятьсотъ.

— Помилуй, да на что намъ столько денегъ? На прогоны и сорока рублей не выйдетъ.

— Выйдутъ и всѣ пятьдесятъ, сударь!.. Вы еще, видно, на почтовыхъ-то не ѣзжали: на иной станціи прижмутъ такъ, что и тройные прогоны заплатишь!.. Съ хозяиномъ надобно расплатиться; на то, на другое, и не увидишь, батюшка, какъ сто рублей выйдетъ.

— Такъ ты думаешь, что графъ пришлетъ мнѣ...

— На крайній конецъ, сударь, рублей триста или четыреста.

Прохоръ Кондратьичъ ошибся въ расчетъ: графъ прислалъ Мирошеву на дорогу только сто рублей.

— Только-то?—сказалъ Кондратьичъ, когда ушелъ присланный отъ графа.—Ну, ваше сіятельство, не больно вы разчлвились!.. Сто рублей!.. Экъ разорился!.. А еще говорятъ, что ему деньги ни почемъ!

— Какъ тебѣ не стыдно, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ.—Да мало ли онъ и такъ для меня сдѣлалъ? Не по его ли милости я увижусь чрезъ нѣсколько дней съ женою и дочерью? Не онъ ли самъ прекратилъ тягбу, которая въ конецъ бы насъ разорила?..

— Да она и такъ ужъ васъ разорила! Вы осьмнадцать лѣтъ копили вашей крестницѣ на приданое, а гдѣ оно?.. Разошлось все по подьячимъ! А хлопотъ и горя-то сколько было?.. Такъ чтожъ онъ вамъ говорилъ: «и все поправлю!» Хорошо поправилъ!.. «Ты, дескать, бѣдняга, истратилъ рублей тысячу, тебя таскали по разнымъ судамъ, да по всякимъ мытарствамъ; а такъ какъ я человѣкъ справедливый, и дознался теперь, что дѣло твое правое, такъ вотъ тебѣ, голубчикъ, сто рублей,—убирайся съ глазъ долой!».. Охъ, ужъ эти богачи,—дастъ полушку, а славы-то надѣлаетъ на рубль!

На другой день по-утру Мирошевъ явился къ графу, который принялъ его какъ родного. Проговоря съ нимъ около часу о его семействѣ, о прежней службѣ и о настоящемъ его положеніи, онъ вынулъ изъ бюро запечатанный пакетъ и, отдавая его Мирошеву, сказалъ:

— Позвольте, Кузьма Петровичъ, дать вамъ небольшое порученіе, которое впрочемъ и до васъ касается. Надѣюсь, мой приказчикъ не осмѣлится ужъ дѣлать вамъ никакихъ притѣсненій; но все-таки будетъ вѣрнѣе, если вы, возвратясь домой, пошлете за Курочкинымъ, заставите его распечатать этотъ пакетъ, вынуть изъ него бумагу и прочесть вмѣстѣ съ вами то, что въ ней написано. Я даже прошу васъ исполнить это съ большою точностію и, если можно, тотчасъ же по вашемъ возвращеніи.

— Слушаю, ваше сіятельство!

— Да скажите мнѣ, Кузьма Петровичъ, кто этотъ офицеръ, вашъ пріятель, который третьяго дня былъ у меня по-утру?

— Мой прежній однополчанинъ, поручикъ Косто ломовъ.

— Онъ долженъ быть очень хорошій человѣкъ?

— Вы не ошибаетесь, ваше сіятельство: онъ всегда былъ отличнымъ офицеромъ; а ужъ какъ добръ и благороденъ!..

— Что, онъ здѣшній, или пріѣхалъ по дѣламъ?

— Онъ ищетъ себѣ мѣста.

— По статской службѣ?

— Да, ваше сіятельство, куда-нибудь въ городничіе... Еслибъ можно было... Но мнѣ, право, совѣстно: вы ужъ и такъ слишкомъ много изволили для меня сдѣлать...

— И, полноте, Кузьма Петровичъ! Говорите, говорите!

— Новохоперскій городничій подалъ въ отставку...

— Такъ вы желали бы, чтобъ вашъ пріятель заступилъ его мѣсто?.. Ну, чтожъ, попытаться можно. Скажите ему, чтобъ онъ побывалъ ко мнѣ завтра. Когда вы ѣдете?

— Сію минуту, ваше сіятельство; у меня ужъ и лошади готовы.

— Не нужно ли вамъ еще денегъ?

— Помилуйте, ваше сіятельство! Да вы столько изволили мнѣ пожаловать на дорогу, что я расквитался со всѣми долгами, а все еще могу платить вездѣ двойные прогоны.

— Я не хочу васъ долѣе удерживать,—сказалъ графъ, вставая. — Теперь каждая минута, которую вы пробудете въ Москвѣ, должна вамъ казаться потерянною. Прощайте, Кузьма Петровичъ! Дай Богъ, чтобъ вы нашли всѣхъ вашихъ здоровыми; да пожалуйста не забудьте призвать къ себѣ Курочкина: я желаю, чтобъ онъ получилъ мой приказъ какъ можно скорѣе.

Простившись съ графомъ, Мирошевъ поспѣшилъ на свою квартиру. Тамъ дожидался его Костоломовъ. Кузьма Петровичъ сказалъ ему, что графъ желаетъ съ нимъ повидаться; потомъ, помолясь Богу, обнялъ своего стараго сослуживца и сѣлъ въ телѣгу. Прохоръ, которому не было никакой возможности пріютиться подлѣ ямщика, помѣстился рядомъ съ бариномъ.

— Ну, съ Богомъ!—закричалъ Костоломовъ. — Прощай, дядя! Когда-то Господь приведетъ опять увидѣться?

— Авось увидимся,—отвѣчалъ Мирошевъ. — Не забудь только побывать завтра у графа.

Когда наши путешественники выѣхали за заставу, ямщикъ остановился и сталъ оправлять сбрую на лошадахъ. Мирошевъ прыгнулъ также съ телѣги и пошелъ купить на дорогу калачей; а Прохоръ Кондратьичъ обернулся назадъ, снялъ картузъ, перекрестился и сказалъ:

— Прощай, кормилица наша Москва, золотыя маковки! Дай Богъ тебя вѣкъ не видать!.. Хороша ты и красна, матушка,—да Господь съ тобою!.. Не даромъ говорятъ: «Москва царство, а деревня рай». Наша Хопровка лучше... Любезный,—продолжалъ онъ, обращаясь къ ямщику,—какъ тебя величать-то, Иваномъ что ль?

— Нѣтъ, батюшка, меня зовутъ Матвѣемъ.

— Ну-ка, братъ Матюха, садись: вонъ баринъ идетъ... Да смотри, потрогивай лошадокъ, а не то худо будетъ.

— А что?

— Да баринъ-то у меня больно лихъ.

— Ой ли?

— У, батюшки!.. Такой злой, что не приведи Господи! Разомъ затылокъ нагрѣетъ.

Ямщикъ вспрыгнулъ на телѣгу, и когда Мирошевъ усѣлся на прежнее мѣсто, онъ подобралъ вожжи, свистнулъ и покатилъ по мостовой такъ, что у Кузьмы Петровича сердце замерло, а Прохоръ Кондратьичъ принялся сначала шептать про себя:

— Ай да братъ Матюха, молодець!.. Эхъ, версты-то замелькали!..

А тамъ пришелъ въ такой азартъ, что, забывъ все экономическіе свои расчеты, закричалъ во все горло:

— Эй вы!.. Съ горки на горку, баринъ дастъ на водку!.. Катай небось!

XXXVI.

ОПЯТЬ ХОПРОВКА. КУРОЧКИНЪ. НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА.

Если подлинно ложь бываетъ иногда во спасеніе, чему однакожъ я плохо вѣрю, то, конечно, можно

было простить Прохору Кондратьичу самую безстыдную ложь и даже клевету, которую онъ взвелъ на своего добраго и кроткаго бари́на: по милости этой лжи, которая повторялась на каждой станціи, нашихъ путешественниковъ везли очень хорошо; на четвертыя сутки, часу въ осьмомъ утра, пріѣхали они въ Нопохоперскъ. Знакомый ящикъ взялся ихъ доставить въ полчаса до дому. Минутъ десять, которыя прошли въ закладываніи лошадей, показались Мирошеву десятию часами. Наконецъ, лихая тройка подкатила къ крыльцу почтоваго двора, и Кузьма Петровичъ помчался по той же самой дорогѣ, по которой, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, тащился на долгихъ, оставляя позади себя все, что привязывало его къ жизни. Вотъ черезъ четверть часа, прямо передъ ними далекій небосклонъ окаймился темнозеленою полосой.

— Вонъ, сударь,—сказалъ Прохоръ,—Кирсановскія рощи,—извольте видѣть?

— Вижу, Прохоръ.

— А ближе къ намъ, направо, Вознесенская церковь; а вотъ тамъ, за горкою-то, спряталась наша родная Хопровка... То-то будетъ радости, батюшка! Вѣдь васъ не ждутъ.

Мирошевъ молчалъ. То, что онъ чувствовалъ, не могло быть выражено словами. Прошло еще нѣсколько минутъ.

— Вотъ и наши поля!—заговорилъ опять Прохоръ.—Рожь знатная!.. И, кажись, крупна колосомъ... И греча изрядная... Эхъ, овсы-то рѣденьки!.. Ну, такъ и есть,—я говорилъ вамъ, батюшка: гдѣ Парееву безъ насъ этимъ дѣломъ справить!.. Ну, помилуйте, что за посѣвъ такой?.. Вонъ крестьянская полоса рядомъ съ нашимъ полемъ,—извольте-ка посмотрѣть, какой овесъ!.. А у насъ словно градомъ выбило! Ну, вотъ, подумаешь: добрый мужикъ этотъ Пареевъ, а что въ немъ толку? Чай, посѣяли, да недѣли двѣ не бороновали, а воробы то себѣ кушай, да кушай!.. Эхъ. Кузьма Петровичъ, что вы смотрите по верхамъ?.. Извольте-ка посмотрѣть, что у васъ подъ ногами!

— Прохоръ, — сказалъ Миршевъ, указывая на холмъ, съ которымъ давно уже знакомы наши читатели, — не размотришь ли ты, кто тамъ у часовни стоитъ?

— У васъ, сударь, глаза-то помоложе моихъ, — гдѣ мнѣ отсюда увидать!

— Кажется, въ бѣлыхъ платьяхъ, — такъ точно! это, должны быть, Варенька и Дуня!.. Прохоръ, онѣ на насъ не смотрятъ?

— Не смотрятъ, сударь.

— Постой, я имъ закричу...

— Да, какъ же, услышатъ отсюда! Вѣдь такъ-то кажется, а до нихъ съ полверсты будетъ.

— Вотъ онѣ оборотились въ нашу сторону, — прервалъ Миршевъ. — Постой!

Онъ поднялся на ноги и началъ махать платкомъ.

— Увидѣли, батюшка! — вскричалъ Прохоръ, — точно, увидѣли!.. Посмотрите, какъ онѣ засуетились!.. Шу, теперь встрѣча будетъ!

— Прохоръ, — сказалъ Миршевъ, — я хочу въ точности исполнить волю графа: лишь только мы придемъ, ступай къ Курочкину и попроси его ко мнѣ.

— Слушаю, сударь! Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!.. Я думаю, въ этой бумагѣ, которую вы везете отъ графа, наклеенъ ему порядочный носъ. Я вѣдь дворецкому все пересказалъ... Посмотрите, батюшка, какъ ему перья-то обшито.

— Прохоръ, — вскричалъ Миршевъ, — видишь ли, вонъ и Хопровка.

— А видите ли, сударь, у околицы?..

— Боже мой, это онѣ!.. Стой, стой!

Миршевъ прыгнулъ съ телѣги, и черезъ полминуты вся грудь его взмокла отъ радостныхъ слезъ жены и дочери, которыя лежали въ его объятіяхъ...

Я не стану описывать этого свиданія. Кто изъ васъ, любезные читатели, не разставался, хотя однажды въ жизни, съ милыми сердцу и не испыталъ при встрѣчѣ съ ними эту неизъяснимую радость, это веселіе и

праздникъ души, для описанія которыхъ нѣтъ словъ на языкѣ человѣческомъ. Мы оставимъ на минуту Мирошева: пусть онъ осыпаетъ поцѣлуями жену и дочь, обнимаетъ Дуняшу, Игнатьевну и всѣхъ домашнихъ. Эти шумные восторги, эти несвязныя рѣчи и отрывистыя восклицанія не скоро еще перейдутъ въ тихій и спокойный разговоръ, и вы, любезные читатели, успѣете побывать вмѣстѣ со мною у нашего стариннаго знакома, Панкратія Лукича Курочкина.

Въ большой комнатѣ, оклеенной зелеными обоями, на кожаной софѣ, передъ раскрытымъ ломбернымъ столомъ сидѣлъ Панкратій Лукичъ Курочкинъ. На столѣ, посреди разбросанныхъ бумагъ, стояли: огромная мѣдная чернильница, графинъ съ водкою и тарелка съ паюсной икрой. За тѣмъ же столомъ, противъ Курочкина, кой-какъ лѣпился на стулѣ пріятель нашъ, Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ. Панкратій Лукичъ держалъ въ рукѣ распечатанное письмо; вѣроятно, этимъ письмомъ извѣщали его о чемъ-то пріятномъ, потому что онъ былъ очень веселъ и перечитывалъ его нѣсколько разъ съ большимъ удовольствіемъ.

— Такъ васъ, батюшка, Панкратій Лукичъ,—говорилъ съ подобострастною улыбкою Зарубкинъ,—увѣдомляютъ, что ваша тяжба съ Мирошевымъ приходитъ къ желанному окончанію.

— Да, Андрей Ѳомичъ; я думаю, на первой почтѣ и указъ будетъ посланъ. Любезному-то сосѣду нашему придется заводить пашню на своемъ господскомъ дворѣ, а выгонъ сдѣлать передъ домомъ на улицѣ.

— Какъ, сударь?.. Такъ луга-то по Хопру...

— По самый дворъ отойдутъ къ намъ.

— А что, батюшка, лѣсу-то у него?..

— Ни прутика не останется.

— Вотъ что!.. Ну, слава Богу!.. Честь имѣю васъ поздравить, Панкратій Лукичъ!.. А что, почтеннѣйшій, тогда можно мнѣ будетъ иногда этакъ валежнику охапку-другую, хворостку вязанки двѣ-три...

— Съ моимъ удовольствіемъ!

— Нижайше васъ благодарю!.. Позвольте-ка рюмочку.

— Прошу покорно!

— Ну,—продолжалъ Зарубкинъ, проглотивъ рюмку водки, — тѣсененько же будетъ жить Кузьмѣ Петровичу!.. Вѣдь этакъ ему и на рѣчку нельзя будетъ выйти прогуляться.

— Разумѣется!.. Тутъ будутъ наши луга, а чужую траву топтать законъ строго воспрещаетъ.

— Нечего дѣлать, придется имъ глядѣть на Хоперь изъ окошечка.

— Немного увидятъ: я противъ самого дома выстрою сальный заводъ.

— Сальный заводъ!.. Да этакъ имъ придется и домъ снести. Сальный заводъ передъ самыми окнами!

— Ну, конечно, какъ вѣтерокъ потянетъ отъ рѣки, такъ въ покояхъ-то идохнуть нельзя будетъ; да дѣлать нечего, Андрей Ѳомичъ: вѣдь всякій на своей землѣ воленъ заводить, что ни захочетъ.

— Всеконечно такъ!.. Ну, сударь, Панкратій Лукичъ, съ вами заѣдаться-то неловко!.. Жаль мнѣ Мирошевыхъ, по человѣчеству, батюшка! А если такъ сказать: кто виноватъ?.. Не гордиться бы, не чваниться бы передъ тѣми, кто ихъ лучше... Счастливы еще они, что у нихъ дочка есть: нельзя будетъ жить въ Хопровкѣ, такъ она ихъ къ себѣ возьметъ.

— Къ себѣ?.. Куда къ себѣ?

— Такъ вы еще не знаете?

— А что такое?

— Правда, какъ вамъ и знать объ этомъ: вчера голько порѣшили.

— Порѣшили?.. Что порѣшили?

— А вотъ что-съ: Варвара Кузьминична Мирошева выходитъ за Владиміра Ивановича Кирсанова.

— Что вы говорите?

— Да такъ-съ, Панкратій Лукичъ! Ждутъ только изъ Москвы Кузьму Петровича!

— Не можетъ быть!

— Истинно такъ.

— Да чтожъ старикъ-то, Иванъ Никифоровичъ?

— А чтожъ прикажете ему дѣлать, коли сынъ отъ рукъ отбился?.. Мало ли, батюшка, ломки-то было!.. Боже мой!.. Онъ его и въ Воронежъ увозилъ, и хотѣлъ женить на дочери своего пріятеля Залуцкаго, и грозился отъ наслѣдства отрѣшиться, — такъ нѣтъ, сударь, ни на комъ, дескать, не женюсь, кромѣ Вареньки Мирошевой.

— Экій упрямый мальчишка! Ну, что она ему за невѣста?

— И батюшка то же при мнѣ бывало начнетъ говорить: «Вотъ нашелъ въ кого влюбиться! Да пара ли тебѣ эта дѣвочка? Ужъ пускай бы за ней было хоть душеночъ сто приданого или родство какое-нибудь, — а то что такое: мать Богъ знаетъ кто, отецъ отставной поручикъ, мелкопомѣстный дворянинъ, который только не питается Христовымъ именемъ... Хороша будетъ невѣстушка! Да у меня и языкъ — то не повернется назвать ее дочерью!»

— Правда, правда!

— А что толку-то, что правда, Панкратій Лукичъ? Сынокъ все-таки поставилъ на своемъ. Вы знаете, что они съ недѣлю тому назадъ воротились изъ Воронежа; старикъ Кирсановъ все еще не соглашался, да вчера былъ у него съ сыномъ большой разговоръ. Я, батюшка, въ замочную щелку видѣлъ, что Владиміръ Ивановичъ больно плакалъ, — какъ рѣка льется! Вотъ, наконецъ, и старикъ прослезился и сказалъ: «Ну, нечего дѣлать, видно, ужъ такъ угодно Богу! Только, не прогнѣвайся, я самъ къ Мирошевымъ сватомъ не поѣду. Я напишу имъ, что согласенъ женить тебя на ихъ дочери, а тамъ ужъ дѣлай, какъ знаешь». Вотъ Владиміръ Ивановичъ бросился цѣловать руку у батюшки да тотчасъ и отправился къ Мирошевымъ.

— Скажите, пожалуйста! — вскричалъ Курочкинъ. — Какое ослѣпленіе!.. И чѣмъ они его такъ обворожили?..

Что у нихъ, прости, Господи, приворотный корешокъ что ль есть?

— Эхъ, Панкратій Лукичъ, на что приворотный корешокъ? Человѣкъ онъ молодой, барышня хорошенькая, видались каждый день...

— Да, конечно; долго ли молодого парня съ пути сбить!.. Ну, сударь, не правда ли я говорю, что эти Мирошевы негодные люди?.. Сманить сына у отца... заставить его идти противъ воли родительской!.. И какъ Господь Богъ терпитъ такое беззаконіе!..

— Да-съ, дѣло нечистое.

— Андрей Ѳомичъ,—сказалъ Курочкинъ, посмотрите-ка въ окно, кто это идетъ по двору.

— Ахъ, батюшки,—вскричалъ Зарубкинъ,—да это Кондратычъ!.. Точно, Кондратычъ!.. Онъ былъ съ Кузьмою Петровичемъ въ Москвѣ. Видно, баринъ - то его воротился.

— Видно, что такъ!

Двери потихоньку отворились, и знакомый вамъ писарь-дипломатъ, Антонъ Ѳедотовъ, вошелъ въ комнату.

— Что ты, братецъ?—спросилъ Курочкинъ...

— Приказчикъ Кузьмы Петровича Мирошева...— проговорилъ писарь вполголоса.

— Приказчикъ!—повторилъ съ презрѣніемъ Курочкинъ.—Хорошъ приказчикъ—при пятидесяти душахъ!.. Зачѣмъ онъ пришелъ?

— Не могу сказать, Панкратій Лукичъ,—въ этомъ я неизвѣстенъ.

— Пусть подождетъ!

— Слушаю-съ.

— Чтобъ это такое значило?—спросилъ Зарубкинъ.

— Ну, разумѣется что: съ повинною головою. Да нѣтъ, батюшка, поздно!

— Да-съ, конечно: «снявши голову, по волосамъ не плачутъ!».. Самъ виновать.

— Что это,—прервалъ Курочкинъ:—никакъ этотъ дурачина вздумалъ шумѣть у меня въ передней?

— Да, точно, — сказала Зарубкинъ, — это голосъ Кондратьича... Онъ что-то покрикиваетъ.

— Панкратій Лукичъ! — прошепталъ писарь, просунувъ въ двери свою голову, — Кондратьичъ не хочетъ дожидаться.

— Такъ гони его вонъ!

— И вонъ нейдетъ. Онъ присланъ съ какимъ-то важнымъ порученіемъ отъ своего барина, и я имѣю сомнительство, что это дѣло нешуточное.

— А почему ты это думаешь?

— Да такъ-съ!.. Кондратьичъ азартно больно поговариваетъ и смотритъ съ большимъ аванжемъ.

— Ну, ну, пошли его сюда!

Прохоръ Кондратьичъ вошелъ въ дорожномъ платьѣ, съ головы до ногъ забрызганный грязью. Онъ перекрестился на иконы; потомъ, не обращая никакого вниманія на хозяина, сказалъ Зарубкину:

— Здравствуйте, батюшка, Андрей Ѳомичъ!.. По добру ли, по здорову?

— А, здравстуй, Прохорушка! — вскричалъ Зарубкинъ. — Давно ли изъ Москвы?

— Сейчасъ, сударь.

— Что вамъ, батюшка, надобно? — спросилъ Курочкинъ, едва скрывая свою досаду.

— Меня прислалъ баринъ сказать вамъ, чтобъ вы къ нему сейчасъ явились.

— Что, что? — проговорилъ Курочкинъ, вскочивъ съ софы.

— Я вамъ по-русски говорю: мой баринъ требуетъ васъ къ себѣ.

— Требуется?.. Меня?.. Вотъ новости!.. Скажите вашему барину, что если есть у него для меня дѣло, такъ онъ можетъ облегчиться, и самъ ко мнѣ пожаловать.

— Къ вамъ?.. Нѣтъ, батюшка, далеко!

— Да не дальше, чѣмъ отъ меня до васъ.

— Не объ этомъ рѣчь!.. Что вы это, Панкратій Лукичъ?.. Гдѣ нашему брату считается съ Кузьмою

Петровичемъ! Вѣдь онъ родовой дворянинъ, а мы съ вами что?

Курочкинъ поблѣднѣлъ.

— Наше дѣло съ вами холопское, — продолжалъ спокойно Кондратьичъ. — Сегодня въ чести, а завтра ступай свиней пасти.

— Да чтожъ это такое? — вскричалъ Курочкинъ, задыхаясь отъ бѣшенства. — Что ты хлебнулъ что ль черезъ край или съ ума сошелъ, братецъ?

— Нѣтъ, сестрица, я въ полномъ разумѣ.

— Да что вы съ бариномъ-то начальники что ль мои?... У меня одинъ командиръ—его сіятельство!

— Такъ чтожъ?... По его-то приказанію мой баринъ и требуетъ, чтобъ вы къ нему явились.

— Какъ?... — вскричалъ Курочкинъ, остолбенѣвъ отъ удивленія.

— Да такъ!.. Вашъ баринъ лично его объ этомъ просилъ.

— Да развѣ Кузьма Петровичъ имѣлъ свиданіе съ его сіятельствомъ?

— Свиданіе?... Экъ вы!.. Какое свиданіе?... Да они задушевные друзья!

— Возможно ли!..

— Последнее время Кузьма Петровичъ житья-жилъ у графа, и за столъ-то онъ всегда сажалъ рядомъ съ собою.

— Что вы говорите?

— Да, Панкратій Лукичъ!.. Его сіятельство, прощаясь съ моимъ бариномъ, отдалъ ему запечатанное письмо и сказалъ: «Прошу, дескать, васъ, любезнѣйшій сосѣдъ, — онъ всегда такъ изволилъ называть барина, — прошу, дескать, васъ, пріѣхавъ домой, потребовать къ себѣ сейчасъ Курочкина, и прочесть при немъ то, что въ этомъ письмѣ написано».

— Вотъ что!.. А вы не знаете, Прохоръ Кондратьичъ, что заключается въ этомъ графскомъ письмѣ?

— Почему мнѣ знать? Можетъ-быть, похвальный листъ за ваше усердіе.

— Прохоръ Кондратьичъ, да неужели я въ самомъ дѣлѣ служу не усердно его сіятельству?.. Да я пошлюсь на васъ: изъ чего жъ я и тяжбу-то завелъ съ вашимъ баринѣмъ? Что мнѣ, легко что ль было досаждать почтеннѣйшему Кузьмѣ Петровичу, котораго я всей душой моею уважаю?

— Право?.. А чтожъ вы сейчасъ говорили?

— Эхъ, Прохоръ Кондратьичъ, и вы думаете, что я не пошелъ бы къ вашему барину?.. Да вы обошлись-то больно крутенько со мною: начали съ дубавать; я также погорячился... Вѣдь и у курицы есть сердце, батюшка, а я человѣкъ!.. Такъ вамъ, точно, не извѣстно, что его сіятельство изволитъ писать?

— Ужъ я вамъ сказалъ, что не знаю. Да ступайте же скорѣе! Вѣдь баринъ васъ дожидается.

— Сейчасъ, батюшка, сейчасъ!.. Не погнѣвайтесь, я пойду надѣть кафтанъ, а вы межъ тѣмъ — милости просимъ!.. Домашняя настойка! Не прикажете ли?

— Благодарю покорно, — я и дома позавтракаю. Счастливо оставаться!..

— И я съ вами, Прохоръ Кондратьичъ, — сказалъ Зарубкинъ. — Надобно поздравить съ прїѣздомъ моего благодѣтеля... Ужъ какъ мы васъ всѣ ждали, Господи! И я, и Марья Дмитриевна, и Варвара Кузьминична!.. Только заверну на минутку домой, да тотчасъ и къ вамъ!

Въ сѣняхъ остановилъ Кондратьича писарь Антонъ Федотовъ.

— Прохоръ Кондратьичъ, — сказалъ онъ вполголоса, — неужели въ самомъ дѣлѣ вашъ баринъ находится въ персональномъ дружествѣ съ его высокографскимъ сіятельствомъ?

— Прїатели, братецъ, прїатели!

— Такъ нельзя ли какъ-нибудь, по случаю сей ласкательной для вашего барина оказіи, выручить меня изъ этого едикуля?.. Вамъ, Прохоръ Кондратьичъ, не безызвѣстно, что я человѣкъ съ амбіціею, полированный; что мнѣ въ этой трущобѣ жить: совсѣмъ заглох-

нешь! Вѣкъ проживешь безъ всякой сортировки, и умрешь, не заслужа никакого эстиму.

— Послѣ, любезный, послѣ, — теперь некогда объ этомъ толковать!

— Такъ дозвоьте мнѣ возымѣть случай зайти къ вамъ и келейно потрактовать о сей подлежащей моей всенижайшей просьбѣ?

— Пожалуй, братецъ, приходи!.. Прощай, добро!

Теперь мы можемъ воротиться къ Мирошевымъ. Въ ихъ домѣ, въ которомъ за полчаса все было въ суетѣ и безпорядкѣ, воцарилась снова тишина и спокойствіе. Они сидѣли въ гостиной; передъ ними на столѣ кипѣлъ самоваръ; но чашки были не налиты, и Кузьма Петровичъ, вмѣсто того, чтобъ весело разговаривать со своею женою, сидѣлъ задумавшись и молчалъ. Марья Дмитриевна также не очень походила на счастливую жену, обрадованную нечаяннымъ прїѣздомъ мужа. Дуняша стояла у окна, повѣсивъ голову. Вареньки не было въ комнатѣ.

— Куда же дѣвалась Варенька? — спросилъ, наконецъ, Мирошевъ, поглядѣвъ вокругъ себя.

— Вѣрно, ушла къ себѣ въ комнату поплакать на просторѣ, — отвѣчала Марья Дмитриевна

— Плакать?.. О чемъ?

— Да какъ же, мой другъ, мы думали, что обрадуемъ тебя, и ты принялъ такъ холодно это извѣстіе! И почему Владиміръ Ивановичъ тебѣ не нравится?

— И, Машенька!.. Сколько разъ я тебѣ говорилъ: еслибъ дочь наша была богатая невѣста, или онъ небогатый женихъ, такъ я благословилъ бы ее обѣими руками.

— Да чтожъ такое, что мы бѣдны? Когда отецъ Владиміра Ивановича желаетъ самъ...

— Онъ желаетъ этого? Помилуй!.. Да неужели ты не видишь, что Иванъ Никифоровичъ рѣшительно этого не хочетъ, а соглашается только потому, что ему нечего дѣлать съ сыномъ.

— Почему же ты это думаешь?

— Да это ясно, Машенька!.. Еслибъ Кирсановъ хотѣлъ этой свадьбы, такъ ужъ вѣрно бы пріѣхалъ самъ съ предложеніемъ.

— И, Кузьма Петровичъ, да развѣ это не все-равно: самъ не пріѣхалъ, такъ письмо ко мнѣ написалъ?

— Хорошо письмо!—сказалъ Кузьма Петровичъ.

Онъ взялъ со стола небольшой листокъ бумаги, на которомъ написано было нѣсколько строкъ, и началъ читать: «Государыня моя, Марья Дмитріевна! По убѣдительной просьбѣ моего сына, Владиміра, я дозволяю ему жениться на вашей дочери. Съ должнымъ почтеніемъ честь имѣю остаться вашимъ покорнымъ слугою. Иванъ Кирсановъ».

— Что это, мой другъ? И ты называешь это предложеніемъ? Да это просто письменное дозволеніе, которое даетъ не отецъ сыну, а господинъ своему слугѣ, чтобъ онъ могъ жениться на чужой дѣвкѣ!.. И послѣ этого ты можешь еще сомнѣваться въ чувствахъ Ивана Никифоровича? Да не очевидно ли, что онъ дѣлаетъ это совершенно противъ своего желанія, и что участь нашей бѣдной Вареньки можетъ быть самая несчастная.

— Вотъ ужъ этому-то я не повѣрю!—прервала съ жаромъ Марья Дмитріевна.—Ну, положимъ, я согласна: теперь старику Кирсанову не по душѣ эта свадьба; но лишь только онъ узнаетъ покорооче нашу Вареньку...

— Такъ полюбитъ ее,—прервалъ Мирошевъ,—точно такъ же, какъ мы ее любимъ? Не правда ли?.. Эхъ, Марья Дмитріевна! Тѣми ли мы смотримъ на нее глазами, какими будетъ смотрѣть Иванъ Никифоровичъ?.. Она единственное дитя наше, наша радость, наше утѣшеніе; а что она для него? Деревенская барышня, дочь нечиновнаго дворянина, безъ всякаго свѣтскаго образованія, помѣха всѣмъ честолюбивымъ его видамъ, и вдобавокъ ко всему этому—бѣдная дѣвушка, которая, по смерти отца и матери, получить въ наслѣдство пятьдесятъ душъ!.. О, мой другъ, я боюсь не того, что онъ не станетъ любить ея,—это бы еще ни-

чего; но меня ужасаетъ мысль, что онъ будетъ ее ненавидѣть.

— Пенавидѣть нашу Вареньку?.. Помилуй, Кузьма Петровичъ!.. Да развѣ онъ злодѣй какой-нибудь, чудище?

— Нѣтъ, Машенька, онъ очень честный и даже добрый человѣкъ; но ты знаешь, какъ онъ кичится своимъ знатнымъ родствомъ и богатымъ состояніемъ; посуди же сама, легко ли ему будетъ отвѣчать, когда спросятъ, на комъ женатъ его сынъ. — «На Мирошевой». — «А кто эта Мирошева?» — «Дочь безроднаго дворянина, отставнаго поручика». — «А много за нею приданаго?» — «Ничего!» — О, я воображаю, какъ послѣ каждаго такого разспроса Иванъ Никифоровичъ будетъ глядѣть на бѣдную нашу дочь. Нѣтъ, мой другъ, я не мѣшаю Варенькѣ выдти замужъ за Владиміра Ивановича; но не требуйте отъ меня, чтобъ я радовался этой свадьбѣ. Вотъ еслибъ мы могли дать за нею хоть двѣсти душъ... о, это другое дѣло!.. Конечно, и тогда Иванъ Никифоровичъ не сказалъ бы, что она ровня его сыну; но, по крайней мѣрѣ, могъ бы безъ стыда называть ее своею невѣсткою.

— Что это, Кузьма Петровичъ, какъ ты любишь себя унижать!.. Ты говоришь, какъ будто бы мы однопорцы какіе!

— А что ты думаешь?.. Я увѣренъ, для Кирсанова все-равно: что я, что Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ...

— И, что ты, мой другъ, — ужъ Андрей Ѳомичъ Зарубкинъ!..

— Такъ точно, сударыня, это я! — раздался въ столовой голосъ Зарубкина. — Ахъ, благодѣтель мой! — продолжалъ онъ, входя въ гостиную и цѣлуя въ плечо Кузьму Петровича. — Насилу-то мы васъ дождались!

— Здравствуйте, Андрей Ѳомичъ!.. Ну, что, какъ вамъ можетъся?

— Плохо, батюшка! Ноги все пришаливаютъ. А вы, сударь, какъ изволили пожить въ Москвѣ? Что тяжба ваша?

— Кажется, все кончено.

— Въ вашу пользу?

— Да, по милости его сіятельства, которому угодно было прекратить этотъ процессъ.

— Такъ Панкратій Лукичъ съ носомъ?.. Ну, слава Богу!.. Честь имѣю васъ поздравить!

— Кузьма Петровичъ,—сказалъ Прохоръ, растворявъ одну половинку дверей,—Куручкинъ пришелъ. Прикажете принять?

— Проси!

Панкратій Лукичъ, войдя въ гостиную, низко поклонился Мирошевымъ. Какъ ни старался онъ казаться веселымъ и спокойнымъ, но, несмотря на это, смущеніе его была очень замѣтно.

— Извините, Панкратій Лукичъ, что я васъ потревожилъ!—сказалъ Мирошевъ.—Я спѣшилъ исполнить приказаніе его сіятельства и прочесть вмѣстѣ съ вами бумагу, которую онъ изволилъ со мною прислать.

— Помилуйте-съ!.. Я виноватъ, что не успѣлъ скорѣе къ вамъ явиться... Я было приказалъ заложить лошадь, да подумалъ: кучеришка у меня плохой, проваландается полчаса,—нѣтъ, лучше побѣгу пѣшкомъ!.. Сдѣлайте милость, Кузьма Петровичъ, обрадуйте скорѣе! Вѣрно, его сіятельство изволитъ ко мнѣ писать, что эта окаянная тяжба прекращена?.. Дай то Господи!

— Она, точно, прекращена; но я не знаю, объ этомъ ли онъ къ вамъ пишетъ. Да вотъ потрудитесь, прочтите сами,—прибавилъ Кузьма Петровичъ, подавая Курочкину запечатанное письмо.

— Ого, какой большой пакетъ!—сказалъ Курочкинъ.—Что бы это такое было?.. На немъ нѣтъ никакой надписи... Прикажете распечатать?

— Сдѣлайте милость!

Курочкинъ сломилъ печать и вынулъ изъ пакета исписанный кругомъ листъ бумаги.

— Что это?—сказалъ онъ.—Такъ точно... купчая!..

— Купчая?—повторилъ Кузьма Петровичъ.—Чтожъ это значитъ?.. Читайте, читайте!

Панкратій Лукичъ началъ читать, сначала довольно твердымъ, а потомъ прерывающимся голосомъ:

— «Лѣта тысяча семьсотъ восемьдесятъ перваго, іюня въ двадцать осьмой день... продалъ я»... Такъ точно!.. Его сіятельство!.. И подпись его!

— Да читайте!—вскричалъ Мирошевъ.

— «Продалъ я», — продолжалъ Курочкинъ, заикаясь, — «отставному поручику, Кузьмѣ Петрову, сыну Мирошеву, благопріобрѣтенное мое имѣнье, состоящее въ Саратовскомъ намѣстничествѣ... Новохоперской округи»...—Да-съ... Точно такъ!.. «въ селѣ Вознесенскомъ... Старые Вязники то-жъ... и написанныя въ ономъ... по послѣдней ревизіи за мною... дворовыхъ людей и крестьянъ мужескаго пола... четыреста тридцать-семь душъ»...

— Возможно ли?—вскричалъ Мирошевъ. — Село Вознесенское?... О, нѣтъ, нѣтъ, вы не такъ читаете!.. Этого быть не можетъ!

Курочкинъ подаль молча бумагу Кузьмѣ Петровичу.

— Да, да!.. Такъ точно!—вскричалъ Мирошевъ. — Это купчая... на мое имя!.. Машенька, погляди... читай!.. Четыреста тридцать-семь душъ!.. Посмотри, Прохоръ... село Вознесенское со всѣми угодьями, землею!.. Да чтожъ вы ничего не говорите?.. Во снѣ что ль это или на яву?.. Да говорите, Бога ради, говорите!

Но Марья Дмитріевна и Кондратъичъ не могли ничего отвѣчать: они онѣмѣли отъ удивленія и радости, и точно такъ же, какъ Кузьма Петровичъ, не могли вмѣстить и постигнуть возможности такого неожиданнаго и невѣроятнаго счастья. Они смотрѣли на графскую подпись и ничего не видѣли; перечитывали купчую и ничего не понимали... Вдругъ одна мысль, какъ молнія, мелькнула въ головѣ Мирошева: дочь его богатая невѣста!..

— Варенька,—вскричалъ онъ, идя навстрѣчу дочери, которая вошла въ комнату, — другъ мой, теперь мы совершенно счастливы!.. Ты не бѣдная дѣвушка,

нѣтъ, — у тебя будетъ почти пятьсотъ душъ крестьянъ!.. О, теперь Ивану Никифоровичу нечего стыдиться своей невѣстки!.. Теперь онъ съ радостію назоветъ тебя своею дочерью!.. Ну, да!.. Что ты на меня смотришь?—продолжалъ Мирошевъ.—Да, да!.. село Вознесенское твое! Слышишь ли, мой другъ, твое!

— Что это вы, папенька, говорите? Я не понимаю! — промолвила, наконецъ, Варенька, смотря съ удивленіемъ на отца.

— Да, мой ангелъ, — сказала Марья Дмитріевна, обнимая дочь,—село Вознесенское принадлежит намъ.

— Какъ намъ, маменька?

— Вотъ и купчая.

— Такъ вы его купили?

— И, нѣтъ, мой другъ,—прервалъ Мирошевъ,—это подарокъ благодѣтеля нашего, великодушнѣйшаго изъ людей!.. Ну, Прохоръ, помнишь ли, что ты говорилъ, когда онъ прислалъ къ намъ деньги на дорогу?

— Эхъ, батюшка, не вспоминайте! Вотъ такъ бы самого себя и приколотилъ до полусмерти!

Въ первыя минуты удивленія, радости и восторга, Мирошевъ совершенно забылъ о Курочкинѣ и Зарубкинѣ. Перваго трясла лихорадка; второй сначала остолбенѣлъ отъ удивленія, потомъ пожелтѣлъ отъ досады, и вѣрно бы допнулъ съ зависти, еслибъ его не успокоила одна утѣшительная мысль: онъ взглянулъ на Курочкина и улыбнулся съ такою злобною радостію, что Панкратій Лукичъ, который понялъ эту улыбку, поблѣднѣлъ какъ полотно и, подойдя къ Мирошеву, сказалъ едва внятнымъ голосомъ:

— Батюшка... ваше благородіе... дозвоьте взглянуть купчую: въ ней должны быть исключенныя души...

— Кажется есть,—сказалъ Мирошевъ.—Вотъ посмотрите сами.

Курочкинъ пробѣжалъ глазами нѣсколько строкъ и началъ читать вполголоса:

— «Дворовыхъ людей и крестьянъ мужескаго пола

четыреста тридцать-семь душъ, за исключеніемъ мною изъ сей продажи»...—Панкратій Лукичъ остановился и перевелъ духъ; потомъ продолжалъ, понизивъ голосъ: «за исключеніемъ изъ сей продажи... вдовы, Прасковьи Никифоровой, съ малолѣтними ея дѣтьми, сыновьями: Дмитріемъ, Петромъ и Андреемъ... а за симъ исключеніемъ... дѣйствительно, въ продажу сію поступаютъ... всѣ остальные четыреста тридцать-три души»...

Тутъ голосъ Курочкина прервался; онъ уронилъ купчую на полъ, задрожалъ, упалъ на колѣни и закричалъ отчаяннымъ голосомъ:

— Отецъ, не погуби!

— Что вы, что вы?—сказалъ Мирошевъ.

— Батюшка, батюшка,—вопилъ Курочкинъ,—будь милосердъ!

— Да что это значить?

— А вотъ что,—подхватилъ Зарубкинъ:—Панкратій Лукичъ крѣпостной человѣкъ его сіятельства и приписанъ къ селу Вознесенскому, а въ исключенныхъ душахъ его нѣтъ...

— Вотъ тебѣ разъ!—вскричалъ Прохоръ. —Такъ вы, господинъ приказчикъ, попали къ намъ въ крѣпостные? . Ай да графъ!.. Дай Богъ ему много лѣтъ здравствовать!.. Эку штуку сдѣлалъ!.. Ну, Панкратій Лукичъ, не говорилъ ли я вамъ, что нашему брату чуфариться нечего: сегодня въ чести, а завтра...

— Перестань, Прохоръ!—прервалъ Мирошевъ. —Встань, Панкратій Лукичъ! Пусть проститъ тебя Господь, какъ я тебя прощаю! Ступай сегодня же въ городъ и пиши себѣ отпускную.

— Батюшка, я заплачу вамъ все, что угодно!

— Мнѣ ничего не надобно.

— Отецъ!.. Благодарѣть!..

— Хорошо, хорошо!.. Ступай съ Богомъ!

Курочкинъ поклонился и вышелъ вонъ, шатаясь какъ опьянѣлый.

— Тако Господь унижаетъ гордыхъ!—сказалъ Зарубкинъ, глядя вслѣдъ за Курочкинымъ.—Кузьма Пе-

тровичъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ хозяину, — честь имѣю васъ поздравить!.. Вѣрите ли, я этому такъ радъ, такъ радъ, что у меня и словъ нѣтъ!.. Экая оказія, подумаешь!.. Ну!!.. Батюшка, Кузьма Петровичъ, къ моему конопляннику изъ вашей теперешней земли подошла луговинка небольшая—такъ десятинки полторы... выгону у меня нѣтъ... еслибъ милость ваша была...

— Извольте, Андрей Ѳомичъ, съ большимъ удовольствіемъ!

— Покорнѣйше васъ благодарю!.. Марья Дмитриевна, Варвара Кузьминична, честь имѣю поздравить!.. Авдотья Лаврентьевна... Прохоръ Кондратьичъ... поздравляю!..

— Ну,—сказалъ Прохоръ,—дешево этотъ негодяй отдѣлся!.. Счастливъ онъ, что попалъ на такого барина!..

— Да-съ,—подхватилъ Зарубкинъ,—вы милостивы, Кузьма Петровичъ... Кабы вы изволили знать, что этотъ разбойникъ Курочкинъ противъ васъ затѣвалъ...

— И знать не хочу!—сказалъ Мирошевъ.

— Ну, воля ваша, а я бы поразсказалъ вамъ...

— Да полноте, Андрей Ѳомичъ! Богъ съ нимъ!

— Этакій злющій, подумаешь! — продолжалъ Зарубкинъ. — Вотъ сейчасъ еще говорилъ мнѣ: «Дай только мнѣ выиграть тяжбу, а тамъ ужъ я прижму этихъ Мирошевыхъ: отхвачу всѣ луга по самымъ воротамъ! Западетъ имъ дорожка къ Хопру. Будетъ съ нихъ — погуляли! Чужую траву топтать нельзя... А чтобъ они и изъ оконъ-то на рѣчку не смотрѣли, такъ построю противъ самаго дома сальный заводъ»...

— Ахъ онъ разбойникъ! — вскричалъ Прохоръ. — И онъ это говорилъ?

— Видитъ Богъ такъ! Я сталъ его усовѣщевать, сказалъ ему: «Что вы это, Панкратій Лукичъ, побойтесь Бога: притѣснять такихъ почтенныхъ людей! Да вѣдь имъдохнуть нельзя будетъ»... Куда, и слушать не сталъ!

— Ну, сударь, — прервалъ Прохоръ, — и послѣ этого вы отпустите его даромъ на волю?

— Непремѣнно.

— Ну, еслибъ я былъ на вашемъ мѣстѣ...

— И ты то же бы сдѣлалъ.

— Нѣтъ, Кузьма Петровичъ! Вы дѣло другое — вы зла не помните! А я человѣкъ грѣшный: ужъ онъ бы у меня мѣсяцъ-другой за коровками походилъ.

Во дворъ вѣхала коляска.

— Посмотри, Кузьма Петровичъ, — вскричала Марья Дмитриевна, — вѣдь это Иванъ Никифоровичъ!

— Въ самомъ дѣлѣ это онъ, вмѣстѣ со своимъ сыномъ.

— Ну, мой другъ, — сказала съ радостью Мирошева, — чего же ты опасался?.. Вѣдь онъ не могъ еще знать о перемѣнѣ нашего положенія?..

— Да! — прошепталъ Мирошевъ. — Славу Богу!!... Итакъ я не ошибался: Кирсановъ точно, добрый человѣкъ! Изъ любви къ сыну, онъ побѣдилъ свою гордость. О, теперь я не сомнѣваюсь: дочь наша будетъ счастлива!

XXXVII.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛѢТЪ СПУСТЯ.

Въ 1796 году, ровно пятнадцать лѣтъ послѣ того, какъ Кузьма Петровичъ сдѣлался помѣщикомъ села Вознесенскаго, въ юнѣ мѣсяцѣ, точно такъ же, какъ въ началѣ этого разсказа, Мирошевы пили чай со своими гостями, подъ тѣнью знакомой вамъ черемухи; она вовсе не измѣнила своего вида; точно такъ же, какъ прежде, была зелена, развѣсиста и душиста; но тѣ, которые укрывались подъ ея густыми вѣтвями, очень измѣнились: одни утратили первую свою молодость, а другіе изъ пожилыхъ людей превратились въ стариковъ. За самоваромъ хозяйничала прежде бывшая Варенька Мирошева, а теперь Варвара Кузьминична Кирсанова — женщина прекрасная собою, но нѣ-

сколько дородная. Подлѣ нея сидѣли рядомъ Кузьма Петровичъ и Марья Дмитріевна. Мужъ былъ еще довольно свѣжъ, но жена вовсе уже не напоминала своимъ увядшимъ лицомъ не только красавицу, сиротку Машеньку, но даже пригожую барыню, которая пятнадцать лѣтъ тому назадъ могла еще хоть кому вскружить голову. Подлѣ Мирошева сидѣли двѣ дѣвушки, одна тринадцати, другая четырнадцати лѣтъ — обѣ прелестъ собою. Меньшая поила чаемъ румянаго свѣтлорусаго мальчика лѣтъ шести; по ихъ семейному сходству не трудно было отгадать, что это двѣ сестры и братъ. Напротивъ Кузьмы Петровича допивалъ третій стаканъ чаю дюжій и широкоплечій старикъ-не-старикъ, а очень пожилой человекъ, въ драгунскомъ, прежняго покроя, мундирѣ, съ полнымъ краснымъ лицомъ, выражающимъ веселость и добросердечіе: это былъ новохоперскій городничій, Егоръ Васильевичъ Костоломовъ. Подлѣ него сидѣлъ мужчина лѣтъ за сорокъ, весьма пріятной наружности; онъ смотрѣлъ съ улыбкою на малютку, котораго одна изъ сестеръ поила чаемъ, и хотя въ этой улыбкѣ можно было прочесть всю нѣжность добраго отца, но она не значила ничего передъ взоромъ, исполненнымъ неизъяснимой любви, которымъ слѣдилъ за всѣми движеніями ребенка сѣдой, какъ лунь, старикъ, высокаго роста и наружности необычайно привлекательной. Если я скажу вамъ, что шестилѣтній мальчикъ — сынъ Владиміра Ивановича Кирсанова, то вы тотчасъ же узнаете въ этомъ старикѣ его дѣдушку, Ивана Никифоровича; одинъ онъ и могъ такъ смотрѣть на это дитя, потому что онъ видѣлъ въ немъ не только внука, но послѣднюю отрасль и единственную надежду древняго рода дворянъ Кирсановыхъ. Еслибъ его не было на свѣтѣ, или, — чего избави, Боже, — онъ умеръ бы въ ребячествѣ, то фамилія Кирсановыхъ исчезла бы навсегда изъ родословныхъ списковъ русскихъ дворянъ, и длинная цѣпь именъ, внесенныхъ въ *бархатную книгу*, окончилась бы этими ужасными словами:

«Владимиръ умеръ бездѣтенъ, и *Кирсановы прекратились*». Отъ одной этой мысли кровь застывала въ жилахъ у Ивана Никифоровича; и однажды умереть не легко, а это было бы для него все тоже, что умереть два раза сряду. Этотъ семейственный кругъ оканчивался Авдотьей Лаврентьевной Логиновой, женою новохоперскаго медика, который такъ удачно вылѣчилъ отъ мнимой чахотки Вареньку и такимъ страннымъ образомъ познакомился съ Дуняшей. Съ нею разговаривалъ вполголоса дряхлый старикъ, согнутый отъ лѣтъ и отъ привычки почти въ кольцо. Его острый подбородокъ лобызался съ концомъ носа и вмѣстѣ съ нимъ покрывалъ большую часть рта, въ которомъ, какъ обгорѣлые колья на пожарищѣ, виднѣлись дватри осиротѣвшіе зуба. Иванъ Никифоровичъ былъ старше его нѣсколькими годами, но казался передъ нимъ молодцомъ. Эти человѣческія развалины назывались нѣкогда Андреемъ Ѳомичемъ Зарубкинымъ; ихъ и теперь зовутъ такъ же, но только онѣ не всегда откликаются, потому что, къ довершенію всѣхъ недуговъ, происшедшихъ отъ частыхъ бесѣдъ съ пономаремъ Ферапонтомъ. Зарубкинъ сталъ плохо видѣть и сдѣлался крѣпокъ на-уху.

— А что, свать, — сказалъ старикъ Кирсановъ, обращаясь къ Мирошеву, — куда дѣвался твой земскій, бедотычъ?

— Сидитъ подъ арестомъ въ ткацкой, — отвѣчалъ Кузьма Петровичъ.

— Помилуй, любезный, какъ же ты этакого политика и знаменитаго витію засадилъ подъ караулъ?

— Спился съ кругу.

— Да отдай его мнѣ!.. Мой дуракъ, Аеонька, не стоитъ мизинца. Въ прошлый разъ онъ отпустилъ мнѣ такую высокопарную рацею, что я со смѣху умеръ. Въ самомъ дѣлѣ, уступи мнѣ его.

— Съ большимъ удовольствіемъ. Только онъ надоѣстъ: вретъ всегда свысока, ничѣмъ не доволенъ, всѣмъ обижается...

— Да это-то и хорошо! Дуракъ тогда только забавень, когда сердится.

— Ну, не говорите! — прервалъ Костоломовъ. — Неровень дуракъ; дураки - то бываютъ и наша братья, дворяне, люди чиновные, такъ поди-ка, разсерди его!

— Да вѣдь и на чиновныхъ дураковъ есть управа, — сказалъ Владиміръ Ивановичъ. — Слышали вы, что сдѣлалъ намѣстникъ съ нашимъ уѣзднымъ засѣдателемъ?

— Съ Алексѣемъ Панкратычемъ Курочкинымъ? — спросилъ Мирошевъ.

— Ну да, съ сыномъ бывшего приказчика вашего села Вознесенскаго.

— А что такое?

— Спросите Зарубкина: онъ только-что пріѣхалъ изъ Саратова.

— Андрей Оомичъ, — закричалъ Мирошевъ, — что такое сдѣлалось съ нашимъ засѣдателемъ, Курочкинымъ.

— Курочкинъ? . Да-съ, поѣхалъ въ Саратовъ выручать сына... Богатъ, батюшка, тряхнетъ казной, такъ все будетъ.

— Да я не о немъ васъ спрашиваю, — закричалъ еще громче Мирошевъ. — Что сдѣлалось съ его сыномъ, Алексѣемъ Панкратычемъ?

— А!.. Да-съ!.. Не хорошо, сударь, больно не хорошо!

— Да чтожъ такое? — спросилъ Иванъ Никифоровичъ.

— Попалъ сердечный въ уголовную.

— За что?

— Да все-таки подѣлу Агриппины Львовны Вертлюгиной. Вы изволите знать, что, по духовной покойнаго ея мужа, она владѣла всѣмъ его имѣніемъ. Родной племянникъ покойника завелъ съ ней тяжбу и доказалъ, что духовная фальшивая, и хотя подписана собственною рукою Ильи Сергѣевича Вертлюгина, да только ужъ тогда, какъ онъ умеръ.

— Что за вздоръ? — сказалъ Кирсановъ.

— Да такъ-съ!.. Агриппина Львовна водила по бумагѣ мертвою рукою покойника.

— Какой ужасъ!—вскричала Марья Дмитріевна.

— А простофиля Курочкинъ,—продолжалъ Зарубкинъ,—чѣмъ бы ему, какъ засѣдателю, вступить въ это дѣло или ужъ, по крайней мѣрѣ, отстранить себя, подписался на духовной свидѣтелемъ. Его совсѣмъ сбила Агриппина Львовна. «Тебѣ, дескать, опасаться нечего; ты, дескать, присягу можешь дать, что духовная подписана рукою покойника».

— Скажите, пожалуйста, — прервалъ Костоломовъ,—какую штуку выдумали!..

— Да-съ, штука важная! . Ну, да вѣдь Агриппина Львовна барыня умная; жаль только Алексѣя Панкратыча: какъ куръ во щи попался!.. Конечно, что говорить, — и за нимъ грѣшки важивались... не то, чтобъ большія взятки, а этакъ,—гдѣ курочку, гдѣ гуся... случалось, дирался также, и все безъ толку. Вцѣпится, бывало, сотнику въ бороду, или начнетъ лупить его палкой... ужъ маеть, маеть! А послѣ спроси, такъ не знаетъ самъ, за что поколотилъ... Да вѣдь это все по глупости, батюшка; а человѣкъ онъ право добрый.

— Ну, братъ, Андрей Ѳомичъ, — подхватилъ съ громкимъ смѣхомъ Костоломовъ, — мастеръ ты хвалить!..

— А что, батюшка?

— Да такъ! Пожалуйста, любезный, ругай меня пощаче, авось этакъ будетъ здоровѣе.

— И, что вы, Егоръ Васильевичъ!.. Да мы не на радуемся, что вы у насъ городничимъ; вы наше красное солнышко!..

— Охъ, полно, братецъ, не хвали, — меня такъ морозомъ по кожѣ и подираетъ!

— Дуняша, — сказалъ Мирошевъ, — да гдѣ твой мужъ? Онъ сегодня съ нами и чаю не пьетъ.

— Пошелъ взглянуть на Прохора Кондратыча, — отвѣчала Дуняша; — а отъ него хотѣлъ завернуть къ старостихѣ Власьевнѣ. Говорятъ, у ней лихорадка.

— А что, Кузьма Петровичъ, твой Прохоръ? — спросилъ Костоломовъ. — Полегче ли ему?

— Нѣтъ, очень худъ! Вчера его приобщали.

— Чѣмъ онъ боленъ.

— Богъ знаетъ! Я думаю, старостію... Да вотъ и нашъ докторъ! — продолжалъ Мирошевъ. — Ну, что, Степанъ Ивановичъ?

— Василиса ничего, — отвѣчалъ Логиновъ: — простудная лихорадочка.

— А Прохоръ?

— Очень трудень. Я заходилъ къ нему съ полчаса тому назадъ: врядъ ли доживетъ до завтраго.

На глазахъ Мирошева навернулись слезы.

— И, Кузьма Петровичъ, — прибавилъ докторъ, — дай Богъ и намъ съ вами столько же прожить! Вѣдь ему за девяносто.

— Да, это правда!.. Но еслибъ вы знали, какъ этотъ старикъ любилъ меня! Онъ нянчилъ меня ребенкомъ, и замѣнилъ мнѣ отца и мать, когда я остался сиротою. Въ этой жизни онъ служилъ мнѣ вѣрою и правдою, а тамъ—о, я увѣренъ, тамъ его первая молитва будетъ за меня! Егоръ Васильевичъ, хочешь ли вмѣстѣ со мною навѣстить нашего старика?

— Пойдемъ, братецъ?

Но прежде чѣмъ они встали со своихъ мѣстъ, изъ флигеля вышла женщина лѣтъ сорока, держа въ рукахъ окованный желѣзомъ ларецъ.

— Что ты, Акулина? — спросила Марья Дмитриевна.

Акулина, не отвѣчая на вопросъ своей барыни, подошла тихими шагами къ Мирошеву и сказала протяжнымъ голосомъ:

— Батюшка, Кузьма Петровичъ, Прохоръ Кондратьичъ приказалъ вамъ долго жить.

— Онъ умеръ?—вскричалъ Мирошевъ.

— Скончался, батюшка!.. Вчера послѣ исповѣди онъ наказалъ мнѣ, чтобъ я, лишь только онъ отойдетъ, снесла къ вамъ этотъ ларецъ.

— Прощай, мой добрый дядька! — прошепталъ Мирошевъ, заливаясь слезами. — Дай Богъ тебѣ царство небесное!

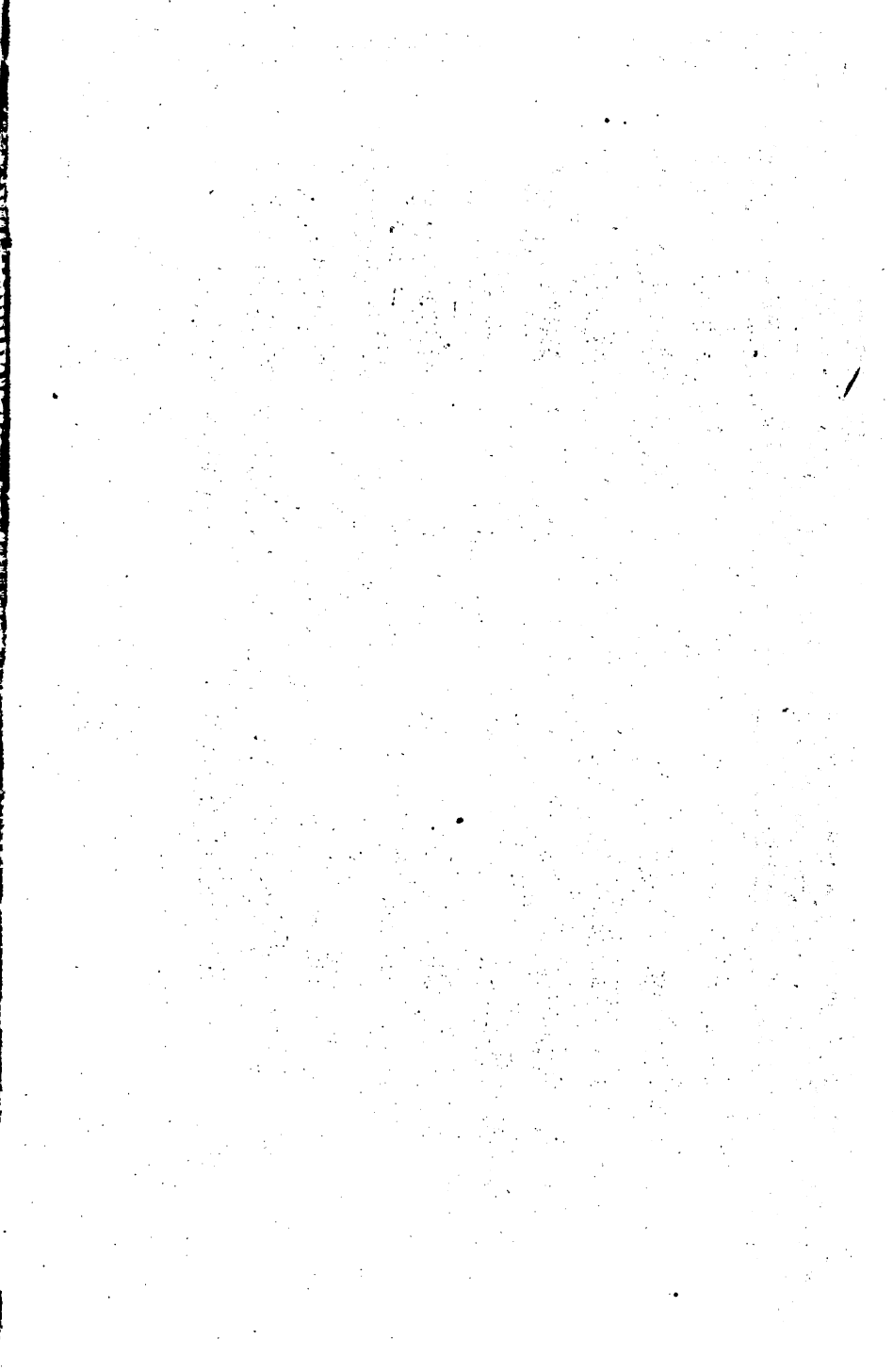
Кузьма Петровичъ и всѣ присутствующіе перекрестились. Нѣсколько минутъ продолжалось общее молчаніе, наконецъ, Костоломовъ вымолвилъ:

— Эхъ, жаль старика! Ну, дядя, не наживешь еще этакого!... Да что это онъ прислалъ къ тебѣ въ этомъ сундучкѣ?

— А вотъ посмотримъ! — сказалъ Мирошевъ, отпирая ларецъ.

Въ немъ лежала сверху икона преподобнаго Козьмы, епископа Холкидонскаго, мѣшечекъ съ десятью цѣлковыми и мелкимъ серебромъ, двѣ изломанныя игрушки-тетрадка съ дѣтскими прописями и бережно завернутая въ бумагу пара истертыхъ сафьяныхъ башмачковъ, которые Кузьма Петровичъ носилъ въ своемъ ребячествѣ.

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА.







36105 015 009 173

ZZ

1901

V. 4

[illegible]



• БИБЛИОТЕКА •
РУССКИХЪ И ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ
• КНИГА IV • 1901 ГОДЪ •